



ОЛЕСЬ ГОНЧАР

ЗНАМЕНОСЦЫ

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

ЗНАМЕНОСЦЫ

Роман в трех книгах

Перевод с украинского
Л. ШАПИРО



СЧАЛОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1953

4.

5.

6.

7.



Книга первая

А Л Ь П Ы

О, Русская земле! уже за шедомянем еси!

«Слово о полку Игореве».

I

С тех пор как передовые части перешли границу и скрылись за холмами чужой страны, прошло уже несколько дней. На переправе пограничники проверяли документы бойцов и отдельных команд, догонявших фронт. Они снова поставили пестрый столб и строили полосатую будку поста.

Граница! Мы вернулись сюда, и часовой встал на том самом месте, где стоял двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года. Мы ничего не забыли, но многому научились. Мы живы, возмужавшие и умудренные опытом. А жив ли ты, вражий авиатор с железным крестом на груди, ты, который в то далекое черное воскресенье сбросил первую бомбу на эту пограничную будку? Думал ли ты тогда, что так скоро придет час твоей гибели, что бойцы нового, рожденного в боях Второго Украинского фронта в своих бессмертных зеленых гимнастерках снова появятся на берегах этой реки и перейдут ее? «Судьба!» — сказал бы ты. Да! Судьба справедливых армий всегда прекрасна.

Когда Черныш подходил к мосту, его внимание привлек коренастый, плечистый сержант, беседовавший с пограничником. Рыжая, подстриженная под бокс голова сержанта все время тянулась вперед, а руки были согнуты в локтях так, словно он подкрадывался, чтобы внезапно накрыть перепела в траве. Насколько Черныш мог понять, этот рыжий сержант в тысяча девятьсот сорок первом году отбывал службу именно здесь, на границе. Сейчас он юмористически изображал, как их впервые

бомбили, как он искал укрытия в лозняке, как каждая яма казалась ему слишком мелкой и он вгрызался в землю, а вражеский самолет охотился за ним, как ястреб за полевой мышью. Сержант по-тигриному выгибал свою широкую пропотевшую спину, вспоминая, как мурашки бегали тогда по ней. Времена, времена!..

Пограничник, читая документы Черныша, переспросил наименование части. Сержант, прервав свой рассказ, обратился к Чернышу:

— Вы в Н-ский?

— В Н-ский.

— Буна дзива.¹ Мы попутчики!

По лицу сержанта нельзя было угадать, шутит он или говорит серьезно. У него было выражение той лукавой дурашливости, от которой можно ждать всяких неожиданностей. Глядя на него, бойцы заранее улыбались.

— Только извините, товарищ младший лейтенант, я вас что-то не припоминаю.

— Я... впервые...

— А-а! — протянул сержант, как будто удивленный этим обстоятельством. — Впервые! Тогда, будьте добры, отступите на пять шагов, я вам откозыряю!

Черныш вспыхнул.

— Товарищ сержант! (Сержант щелкнул каблуками с подчеркнутой лихостью.) Что вы из себя Швейка корчите? Почему у вас такой неопрятный вид?

Из-под куцей гимнастерки сержанта торчала нижняя рубашка, плохо заправленная в брюки. Она была грязная, и это как будто смутило сержанта. Но он не растерялся, не покраснел. Вообще трудно было представить, что он может краснеть. Его лицо оставалось землисто-серым даже после того, как он стер с него пыль.

— Не сердитесь, товарищ младший лейтенант, на мою рубашку за то, что она такая неряха, — сказал сержант, заправляясь, и его веки нервно задергались. — Видите ли, не мама ее стирала, а девочки из фронтовых прачечных, а у них руки давно разъедены мылом... Рубашка моя, рубашка! Я сам тебя скоро выстираю, в голубом Дунае тебя выстираю!.. На вас вот — другое дело! Все новенькое и чистенькое... Вы из-за Волги на Украину поездом ехали?

— Ну и что?.. Поездом.

— А я... на животе полз, — сказал сержант почти шопотом и с такой сердечностью, что Черныш вдруг пожалел о своей горячности.

— Так вы и в самом деле из Н-ского? — спросил Черныш примирительно.

¹ Добрый день (рум.).

— Шельма буду!

— Так что же... пойдём вместе?

— В натуре. Моя фамилия Казаков.

Козырнув пограничникам, они вступили на деревянную переправу, истоптанную за эти дни тысячами ног.

— Счастливо дойти до Берлина! — кричали вдогонку пограничники.

— Ждите телеграммы! — отвечал Казаков без улыбки.

Гудели под ними сосновые доски. Тусклое солнце, как перед дождем. Шумела река, покрытая сережками пены, — ржавые волны катились откуда-то с высоких гор в далекое море. Впереди из-за гор надвигалась синяя туча; дорога за переправой поднималась все выше, и казалось, что это не туча перед ними, а тоже гора и до нее можно дойти.

Казаков в своих трофейных сапогах с широкими низкими голенищами похож был на кривоногого кавалериста. Он шел, ступая на пятки, подавшись всем корпусом вперед, и рассказывал, как удрал из госпиталя. Там ему электрическими лампами лечили нервы, чтобы не дергались веки и не тряслись руки, когда он волнуется. Узнав, что его часть вместе с войсками Второго Украинского фронта уже перешла границу, он не выдержал и сбежал.

— Тянет, как пьяницу к рюмке, — говорил Казаков. — Наверное, для «гражданки» я пропащий человек. Так и останусь вечным солдатом.

— Вечный солдат! — усмехнулся Черныш. — Это когда-то были вечные студенты... А как вы про меня догадались?

— Что вы прямо из училища?

— Да.

— А у меня глаз разведчика.

На вершине горы над дорогой маячил белый столб. Поднявшись выше, они увидели, что это не столб, а высокий каменный крест, выбеленный известью и накрытый дощатым навесом, почерневшим и покоробившимся от времени. Распятие тоже потемнело и потрескалось от солнца и ветра.

— Вот наше «Л», — показал Казаков на большую букву со стрелкой на запад, начерченную углем под самым распятием. — Значит, идем правильно.

На запад, на запад! Словно охваченные одной мыслью, они одновременно оглянулись и посмотрели вниз, на переправу, на реку, ставшую снова границей. За рекою в дрожащем мареве раскинулся родной край. Казалось, не будь этого дрожащего синеватого марева, вся страна открылась бы перед ними как на ладони: и широкие теплые поля, изрытые окопами, и сожженные села, и взорванные города, и дороги, забытые скелетами обгоревших машин. Разоренный край, кровавый перекресток, поле битвы, — отсюда ты еще роднее сыновнему сердцу! Лицо Казакова стало сосредоточенным, выражение легкомысленного лукавства исчезло с него.

— Товарищ младший лейтенант, видел бы ты нас год назад! Мы только вступили на Украину... Весной, на рассвете... Грязь по колено, голодные, изнуренные. Подумать только: два года не были на этой земле, два года только слышали, как она стонет, издали видели, как она горит. И вот кончается Курская область, и уже за совхозом, знаем, Украина. Не спали перед тем несколько ночей, из боя не выходили, а тут снова... откуда только силы взялись! Штурмом взяли совхоз, поле перелетели на крыльях. «Вот это, — кричит комсорг Ярославцев, глянув на карту, — это уже Украина!» Сколько было нас там — и русские, и таджики, и белорусы, и украинцы — все припали к земле и поцеловали ее. Поверишь, плакали!.. Стоим на коленях среди непаханного поля, в шинелях, облепленных грязью, без шапок... Эх!

Мотнув головой, сержант умолк. Черныш пристально смотрел на дорогу.

Бесшумно набежала тень, кочковатая земля потемнела и будто слегка закачалась под ними, как палуба. Они впервые почувствовали и отметили, что земля эта чужая. Залопотал дождь, и по бурой пыли запрыгали дымки, словно от разрывных пуль.

— Где твоя шинель, сержант? — спросил Черныш, сбрасывая свою.

— Шинель я раздобуду, — нехотя ответил Казаков. — Перестоим под этим грибом, — сказал он, становясь у распятия. — Авось святой-то не прогонит.

— Это спаситель... Прячься под мою шинель, сержант.

Они накрылись ею оба.

Дождь все сильнее стучал по шинели, а там, далеко внизу, на родной стороне, еще светило солнце. Матово-белая дождевая коса, свисая над горизонтом, еще не дошла туда, и зеленеющие родные степи посылали свою последнюю солнечную улыбку им на эту чужую гору. И Черныш, еще совсем юный, затянутый в новые ремни, и Казаков, горбившийся около него, чтоб не стянуть на себя всю шинель, — оба восторженно вглядывались в эту солнечную даль, словно хотели вобрать ее глазами в свои сердца и унести с собой.

II

— Ты откуда? — спросил Черныш Казакова.

— Из Донбасса.

— Отец, мать пижут?

— Я из беспризорных.

— Сирота?

— Какой сирота! Сироты — это дети. А мне уже... сколько ж это мне? С двадцатого... Да... с тысяча девятьсот двадцатого.

Дождь прошел так же внезапно, как и начался. Последние капли стекали по распятому голому телу на кресте. Дождь смыл с него пыль, и оно заблестело.

Вышли из-под укрытия. Казаков начал сворачивать цыгарку.

— А боги у них такие же, как и у нас, — заметил он, исподлобья поглядывая на белый крест. — За что же его распяли?

— Это целая история, — ответил Черныш, но рассказывать не стал.

— Итак... вперед на запад?

— Марш.

Они двинулись. Размокшая глина налипала на сапоги, и стало труднее идти.

— Тяжелая земля, — заметил Казаков мрачнее. — На нашей было легче.

И они оглянулись еще раз. Глаза Черныша засветились и стали глубже, а лицо приняло такое выражение, словно он стоял в строю и перед ним знаменосцы пронесли знамя училища.

— Мать-отчизна! — невольно вырвалось у него по-юношески звонко и торжественно. И даже для Казакова, который не любил никакой пышности, эти слова прозвучали сейчас душевно и убедительно.

— Жди нас, — сказал сержант. — Вернемся победителями или... не вернемся совсем!

Они стали спускаться с горы, и родная сторона скрылась за холмом. Вдоль дороги тянулись незнакомые поля, раскroенные на узкие длинные нивки.

— Даже странно видеть такие лоскутки, — сказал Казаков. — Неужели и у нас когда-то было так?

Черныш молча смотрел на полоски, тянувшиеся по склону, словно читал книгу о великой нищете.

— Не такой я представлял себе Европу, — признался Казаков. — Я думал увидеть здесь сплошные города и сады, где с человеком не разминешься — так всюду перенаселено. Ведь им все нехватает жизненного пространства! А у них, оказывается, сёла реже, чем, к примеру, у нас в Донбассе.

Хлеба, омытые дождем, ярко зеленели. Вдоль кювета выстроились неисчислимые гибкие стебли. Снова прояснилось небо. До ближайшего села они не встретили ни одной живой души, только каменные кресты белели над дорогой, и указки, написанные на них углем, были обращены на запад.

Многочисленные надписи, покрывавшие сверху донизу стены на центральной улице села, свидетельствовали о том, что здесь недавно прошла большая веселая армия. Стены еще смеялись ее отголосками: «Васька и Колька, догоняйте!», «Балабуха с быком — в Бухаресте» (а до Бухареста еще сотни километров вражеской территории), «Владимиров, жми!» и т. п.

А над всем этим: «Л»... «Л»... — и большая стрелка на запад.

Внезапно среди села ударил бубен, запиликала скрипка. У желтой хатки собрались полукругом бойцы. На завалинке, прижав бороду скрипкой, сидел старый цыган, около него — глаза.

стый паренек с бубном. Перед ними, разбрызгивая грязь, танцовали мальчик и девочка. Смуглые, курчавые, высоко подобрав свои рубашонки из сурового полотна, они часто кувыркались, и тогда все собравшиеся раздражались громким смехом. Старик подбадривал детей энергичными выкриками. Заметив на Черныше офицерские погоны, скрипач вскочил и, согнувшись дугой, заиграл «Катюшу». Чернышу стало стыдно и за старика, и за его угодливость, и за жалкий танец детей. Он сказал Казакову:

— Пошли!

Но сержант непременно хотел остаться.

— Это, наверное, уже начинается западноевропейская культура, — говорил он. — Поглядим.

— Успеем еще, — тянул его Черныш.

За селом им встречались румыны и бессарабцы, везшие на волах наших раненых. Волы, сбившие ноги на каменистой дороге, прихрамывали, а румыны в серых свитках и высоких черных шапках невозмутимо шагали около возов с кнутами, как чумаки. Некоторые кормили волов на ходу, с рук. Почерневшие от солнца, сухие и изможденные, с выпуклыми печальными глазами, румыны напоминали собой распятия, — они словно сошли с белых крестов, стоявших у перекрестков.

Иногда на возу из-под окровавленной шинели тяжело поднималась голова:

— Браток!.. А браток... Дай покурить.

Казаков раздавал остатки своего табаку. Впервые Черныш пожалел о том, что не курит.

— Далеко фронт? — допытывался Казаков.

— Да-ле-ко...

— Сколько километров?

— Уже мы... двое суток...

Возы, проезжая, скрипели, на возах глухо стонали, и Черныш смотрел на раненых почти с благоговением. Они побывали там, где он еще не был, и казались какими-то особенными людьми. Он стыдился, что идет мимо них румяный и здоровый. Чувствовал, что лицо его пышет молодой, горячей кровью, и представлял себе, как он сам, может, скоро будет лежать на повозке, накрытый шинелью, и корчиться от боли всякий раз, когда деревянное колесо каруцы¹ наскочит на камень.

На ночлег остановились у хмурого румына, в хате, полной детей и цыплят. Хозяйка подала на ужин брынзу, выложила на стол горячий круг мамалыги и разрешила его ниткой. Хозяин в постолах и узких шерстяных штанах молча сидел на кровати с трубкой в зубах, хотя табаку в ней не было. Из углов на гостей сверкали глазами черные, замурзанные дети. Их, видимо, удивляло, что эти незнакомые люди, про которых говорилось в букваре, что они будут резать всех подряд, никого не режут, что

¹ Повозка (рум.).

они тоже умеют смеяться и есть мамалыгу. Женщина бросила и детям круглую мамалыгу и мелюзга облепила ее, как воробы подсолнечник. Казаков долго смотрел, как дети давятся горячими комками, и неожиданно вздохнул:

— Такие же и у нас... Когда шли зимой по Украине, зайдём. бывало, в село — нет ни души. Все сожжено, все разбито. Копышатся ребятишки в теплой золе, греются. «Где батько?» — «Нету». — «Где мать?» — «Нету». Скинем шинели, возьмем лопаты. Выроем им землянку, оставим сухарей и снова... вперед, на запад.

— После этой войны, — сказал Черныш, — такое не повторится! Дети не будут копошиться на пепелищах... Люди не будут гнуть спину, как тот сегодня, со скрипкой... После этой войны все люди должны стать людьми...

— Понимаешь, кучерявая, чего мы хотим? — подошел Казаков к худощавой девочке с крестиком на груди.

— Нушти...¹

Он положил ей на голову свою тяжелую, огрубевшую руку.

— Чтоб не резали мамалыгу ниткой, понимаешь?

— Нушти! — повторила она сердито.

— Чтоб свободной росла..

— Нушти... Траяска Романия Марэ!² — неожиданно выкрикнула девочка, и в черных ее глазах блеснула решимость.

Хозяин и хозяйка зацыкали на нее.

— Что она сказала? — спросил Черныш.

Хозяин, испуганно засуетившись, объяснил, что так писали в букварях. Девочка сверкала из угла глазами, как волчонок. Черныш встал из-за стола и, скрипя сапогами, прошелся по хате.

— Эта война не на год и не на два, — говорил он задумчиво. — Нам нужно не только разгромить вражеские армии. Нам придется не меньше бороться против шовинистического угара, которым здесь успели отравить даже таких.

— Нушти?... Когда мы будем возвращаться с победой домой, — сказал Казаков, — обязательно зайду сюда есть мамалыгу. Слышишь, волчонок? Как тебя зовут? Елена? Я уверен, Елена, что тогда ты меня встретишь поласковой...

Ночевать хозяин пошел в овчарню: он боялся, чтобы у него не украли овец. Хозяйка постелила Чернышу на кровати, а Казакову на полу, — она считала его денщиком молодого офицера. Однако Черныш не захотел ложиться на кровать и тоже устроился на соломе. Хозяйка дала им тяжелый, сбитый из шерстиковер, от которого несло овечьим лóтом. Казаков не стал раздеваться, только расстегнул ворот гимнастерки.

— Это роскошь, в которой я себе никогда не отказываю, — сказал он, — даже в окопе. Если не расстегнусь, не засну как

¹ Не понимаю (рум.).

² Да здравствует великая Румыния! (рум.).

следует. А расстегнувшись, я словно раздеваюсь догола и лежу дома, на перине. Прекрасно!

Хозяйка, уложив детей, села у их изголовья и так дремала всю ночь, не гася огня.

Проснувшись далеко за полночь, Казаков увидел, что Черныш сидит в нижней рубаше — раздетый, он выглядел совсем мальчишкой — и беспокойно осматривается по сторонам.

— Что случилось? — спросил Казаков встревоженно. — А? Что случилось?

— Блохи, — пробурчал Черныш беспомощно. — Блохи!

Казаков успокоился.

— Европа, — промычал он и, повернувшись на другой бок, снова заснул.

III

На следующий день указка вывела их на центральную дорогу. Тут былолюдно и шумно: без конца мчались машины с боеприпасами, пушками, кухнями; шли, обливаясь потом, бойцы и офицеры со скатками на плечах.

Казаков повеселел, словно приближался к родному дому. Медали с замусоленными колодками подслеповато сияли на его груди. С любопытством поглядывал он вокруг, пил студеною воду из зеленых криниц при дороге, черпая пилоткой, а потом помахивал ею проезжавшим девчатам из полевых пекарен.

Чернышу хотелось поскорее увидеть настоящую войну, однако он никак не мог ее догнать, — она уходила вперед, как мираж в пустыне, оставляя за собою только дороги, забитые народом, который плыл и плыл без конца, серый от пыли, и казалось — этот людской поток не кончится никогда. Вокруг звучали шутки и смех, кто-то рассказывал веселые истории.

Казаков, всюду поспевая, вмешивался во все эти разговоры, во всем он разбирался, и похоже было, что все тут давно знакомо ему. Его приподнятое настроение постепенно передалось Чернышу, которому начинало казаться, что нет на свете никакой войны, никаких ужасов, а есть только какой-то круговорот, большое гулянье, куда они все так страшно торопятся.

— Люблю фронтовой край! — выкрикивал Казаков. — Ты чувствуешь, что тут даже воздух другой, чем в тылу. Никакого тебе чорта!

Чабаны-румыны выходили на дорогу выпрашивать табак. Они гнулись в три погибели, сбрасывали шапки и протягивали худые, опаленные солнцем руки.

— Чего вы гнетесь? — не мог спокойно смотреть на них Черныш. — Выпрямитесь — и пошли с нами!

Будто захмелев, он приглашал и их на это фантастическое гулянье. А чабаны думали, что он смеется над их бедностью, и

испуганно пятились от него. Немцы научили их, разговаривая с военными, всегда держаться в отдалении.

На другой день Черныш и Казаков уже подходили к селу, где расположился штаб полка. Полевая стежка вилась меж высоких хлебов. Она была хорошо наезжена, хотя сейчас на ней не было никакого движения — ни подвод, ни машин.

— Тут только по ночам ездят, — заметил Казаков, разглядывая свежие колеи под ногами.

За селом, возникшим перед ними в буйной зелени, вздымалась, как огромный верблюд, двугорбая высота. Там был противник.

Высота молчала, все вокруг словно замерло. Никаких признаков жизни. Молчаливая, настороженная зелень. Холмы, горы, пышные сады — все зеленое и притихшее. Солнце неподвижно стоит над этим изумрудным морем, и горячий свет его льется так обильно, что режет глаза. Правее, в десятках или, может быть, в сотнях километров, высятся темносиние Карпаты в клубах серебристых спящие белых туч... Не слышно ни одного выстрела.

Так это и есть война, которую Черныш представлял себе в грохоте и в громе! Она встречала его неожиданной, неестественной тишиной, горячей дремотой юга, зловещим безлюдьем степных дорог. В селе тоже стояла тишина. Дворы заросли бурьяном, — жители отсюда были эвакуированы в тыл. В селах кое-где сновали бойцы, собирая на земле горькую мелкую черешню. Черешни тут росли высокие и роскошные, как дубы, чернея на солнце гроздьями ягод, облеплявших ветки.

Возле штаба Казаков встретил своих разведчиков.

Среди других бойцов их сразу можно было узнать и по уверенно-развалистой походке, и по речи, и по движениям, в которых было нечто солдатски-аристократическое. Их любил и баловал весь полк, и со временем это породило в них такую самоуверенность. Полк давно стал для них родной семьей, и они держались в нем непринужденно, как в семье. За несколько минут разведчики, толкаясь, смеясь и перебивая друг друга, успели рассказать Казакову, что они сейчас «кантуются», то есть бьют баклуши, потому что три дня назад достали трудного «языка» и «хозяин» дал им отдых на несколько дней. Кончилось тем, что, обнявшись, они потащили Казакова куда-то пить цуйку¹. Приглашали и Черныша, но он отказался, так как хотел сегодня же быть на месте.

Оформившись в штабе, Черныш, прежде чем идти в батальон, явился, по общему правилу, представиться командиру полка. Адьютант-таджик сообщил что «хозяин» в соседнем блиндаже, у майора Воронцова, и посоветовал зайти туда.

В блиндаже гвардии майора Воронцова, заваленном газета-

¹ Румынская водка.

ми, картами, книгами, стояла приятная, свежая прохлада. Деревянный пол тут, видимо, часто поливали холодной водой, чтобы не было так жарко. Из угла в угол по блиндажу не ходил, а почти бегал сам «хозяин» — гвардии подполковник Самиев. Из рассказов Казакова Черныш представлял его именно таким. Маленький, энергичный, удивительно подвижный таджик, он внимательно оглядел Черныша с головы до ног и, очевидно, остался доволен безупречной курсантской выправкой молодого офицера, который стоял у порога, вытянувшись, с запыленным ранцем за плечами.

— Черныш? — Самиев вдруг стукнул себя по лбу тонким коричневым пальцем. — Черныш!.. Вы откуда? Родом, родом?..

Черныш, смущаясь, ответил ему по-таджикски. Самиев засиял.

— Ваш отец инженер-геолог? Всеволод Юрьевич?!

— Так точно, Всеволод Юрьевич.

— Воронцов, слышишь, посмотри: земляк! Такое совпадение!

Самиев еще задолго до войны знал отца Черныша, с которым вместе работал в одной из экспедиций на Памире. Отец часто брал в свои поездки по Средней Азии сына, и Черныш с малых лет хорошо знал те места, про которые сейчас, волнуясь, расспрашивал его Самиев. Подчиненные Самиева не узнали бы в эту минуту своего командира: они считали его человеком суровым и вспыльчивым. Он пригласил Черныша сесть и, когда тот замаялся, насильно усадил его. Возбужденный, бегая по блиндажу, Самиев ласково поглядывал на Черныша, словно встретил тут, в чужом краю, свою далекую молодость.

— Я рад, рад, что вы попали именно в мой полк, — говорил подполковник скороговоркой, и Черныш едва успевал следить за его речью. — Воронцов! Уже у моих друзей сыновья офицеры! А мы всё еще считаем себя юношами!

Гвардии майор Воронцов лежал в постели, накрытый коужом и тяжелыми пестрыми коврами. Уже несколько дней его трясла малярия. В разговор он не вступал, лишь иногда бросал внимательный взгляд на Черныша. В дороге Казаков рассказывал легенды о Герое Советского Союза майоре Воронцове. Политрук роты под Сталинградом, герой Днепра, он вырос за время войны до заместителя командира полка по политчасти. Этот гвардейский стрелковый полк нельзя было представить себе без Воронцова. Другие, заболевая, могли ложиться в медсанбат. Воронцов болел в полку, не допуская и мысли, что может быть как-то иначе. Когда болел кто-то другой из командиров, к нему нельзя было входить и беспокоить его. К Воронцову же и к больному приходили и разговаривали, как со здоровым. У другого могло быть что-то не в порядке в личной жизни, и тогда он имел право жаловаться, требовать сочувствия, помощи. У Воронцова все должно быть всегда в порядке, и было странно слышать, что Воронцов вдруг на что-то жалуется: ведь это Воронцов! И в са-

мом деле, он никогда не жаловался, а ему жаловались все, и он сам считал это вполне нормальным. Когда его посылали на учебу, он отказался, и послали другого. Вызывали на работу в штаб фронта — отпросился, никого этим особенно не удивив. Разве могло быть иначе? Воронцов как бы составлял важнейшую и неотъемлемую часть сложного полкового организма. Он был в полку, будто мать в семье. А мать должна всех утешать, выслушивать, лечить, наказывать и пестовать, сама никогда не сваливаясь с ног. Она до того привычная и родная, что ее не всегда и замечают, и только когда ее не станет, сразу поймут, что она значила...

Не раз и не два Воронцов ходил в атаки с боевыми порядками пехоты, когда приходилось туго, а бывало — и когда не совсем туго. В дивизии штабисты не называли его иначе, как комиссаром, в глубине души завидуя его авторитету и храбрости. И вот теперь Черныш увидел этого человека, которого еще после рассказов сержанта Казакова считал образцом для себя. Правда, Черныш представлял себе майора, Героя Советского Союза, не таким — накрытым кожухом и коврами, с желтым, помятым лицом. Воронцов рисовался ему не иначе, как в гордой воинственной позе впереди пехоты, с пистолетом в руке и с газетой, торчащей из кармана, — таким изображал майора Казаков. А сейчас Черныш видел усталое лицо, совсем не воинственное, задумчивое, широкий потный лоб. Воронцов лежал желтый и сосредоточенный, натянув кожух до самого подбородка, блестя широкой лысиной, окруженной рыжими колечками редких волос. Серые, глубоко запавшие глаза часто вскидывались на Черныша, внимательно оглядывая его черный курсантский ежик. Чернышу хотелось услышать от майора хоть слово. Но Воронцов молчал, иногда беззвучно шевеля сухими, потрескавшимися губами. Зато Самиев, потирая маленькие, живые смуглые руки, говорил неумолимо.

— Вы не смущайтесь, будьте задирой, держитесь уверенней, — поучал он Черныша, — а то вам будут наступать на пальцы. Конечно, вам тут все незнакомо, странно... Я знаю, я сам только год, как выпорхнул из академии. Да, я академик, будьте любезны! Я уверен, что вам понравится наша семья. У нас вы быстро возмужаете, тут люди растут быстрее, нежели в тылу, если, конечно... Но я думаю, вы не из трусливых?..

— Бой покажет, товарищ гвардии подполковник! — ответил Черныш, заливаясь румянцем.

Воронцов вдруг повернул голову и уставился на Черныша из-под лохматых, рыжих, словно выгоревших на солнце бровей.

— Комсомолец? — спросил Воронцов.

— Так точно, комсомолец, товарищ гвардии майор! — поднялся Черныш со стула.

— Сядьте, — сказал Воронцов и отвернулся к стене.

— Да, бой — это для нас лучший экзамен, — продолжал Са-

миев. — Конечно, храбрость — самое ценное качество в человеке. Вы спортсмен?

— Альпинист, товарищ гвардии подполковник.

— Чудесно! Это сразу видно: жилистый, легкий. Вам это пригодится... в Альпах.

У Черныша от радости захватило дух.

— А мы и там будем?

— Где мы не будем? Мы всюду будем, гвардии младший лейтенант («Гвардии», — подумал Черныш), всюду, везде! Наши крылья только разворачиваются!

— Скоро наступление, товарищ гвардии подполковник? — не удержался Черныш, хотя понимал, что спрашивать об этом не совсем тактично.

Самиев и Воронцов переглянулись и одновременно улыбнулись. Улыбка изменила лицо Воронцова и будто всего его преобразила: Чернышу показалось, что он уже давно знает этого человека, простого и сердечного, и он почувствовал себя совсем непринужденно.

— Какой нетерпеливый, а? — сказал Самиев. — А вы готовы к наступлению?

— Готов, товарищ гвардии подполковник!

— Хорошо. Не волнуйтесь: наш эшелон тронется точно по графику Ставки. Минута в минуту, когда будет нужно. Вас — к Брянскому? В третью минометную? Чудесно. Брянский — ветеран полка, сталинградец, коммунист, культурный офицер, в прошлом студент, кажется из Витебска...

— Из Минска, — поправил Воронцов, медленно опуская утомленные веки.

— Да, да, верно, из Минска! Золотая голова! Когда кончим войну, я его обязательно пошлю в академию. Его место там. Ты как смотришь на это, майор?

— Не торопись, — отвечал Воронцов, не открывая глаз. — Война же не кончается сегодня? — И после паузы сам себе ответил: — Нет, еще не кончается...

Прощаясь, Самиев на мгновение задумался и, словно между прочим, спросил Черныша:

— Нам, кстати, нужен ПНШ...¹ Если бы я вам предложил? Что вы скажете?

Черныш покраснел. Хоть ему и льстило такое предложение подполковника, но, глядя Самиеву в глаза, он сказал:

— Весьма благодарен, товарищ гвардии подполковник! Но лучше я пойду на взвод. Мне и так совестно, что я до сих пор не принимал непосредственного участия...

— Понимаю, понимаю, — перебил его командир полка, кладя ему руку на плечо. — Ну, желаю успеха в предстоящих боях...

Воронцов вытянул из-под кобухи горячую руку и подал ее

¹ Помощник начальника штаба.

Чернышу. Рукав нижней рубахи закатался по локоть, и майор показался Чернышу совсем домашним, как отец.

— Мы еще встретимся, — сказал майор слабым голосом. — Перед нами дорога... далекая и... очень ответственная. Так вы говорите, готовы? — добавил Воронцов.

— Ко всему готов.

Выйдя из блиндажа, Черныш с минуту соображал, куда же теперь идти. Еще в штабе ему объяснили, как найти третий батальон, и теперь он пошел вдоль насыпи.

Проходя мимо штаба, который разместился в бетонированном помещении у виадука железной дороги, Черныш увидел запыленного связиста, привязывавшего к дереву белого коня.

Накануне Черныш встречал этого бойца в дивизии, что-то спрашивал тогда у него, и теперь боец козырнул ему, как старому знакомому.

Из помещения выскочил озабоченный начальник штаба с какими-то бумагами и сразу же поднял голову к небу, выискивая в нем румынских «музыкантов». Неожиданно взгляд начальника остановился на коне, привязанном к дереву. Начштаба устоял на него, как на что-то ужасное, и, заикаясь от волнения, накинулся на бойца:

— Ппо-чему конь белый?!

(Очевидно, он хотел сказать: почему белый конь не замаскирован?).

— Я вас спраши-ваю, — кричал он, потрясая папкой перед носом бойца, — ппо-чему конь белый?

Связист выпрямился и ответил плутовато:

— Не знаю, товарищ гвардии майор, почему белый! Возможно, от белого жеребца!..

Черныш улыбнулся и пошел, не ожидая конца разговора. Начиналась новая жизнь с новыми интересами.

Тропинка извивалась в высокой траве вдоль насыпи. Теплый воздух был напоен густыми запахами степных цветов и трав. Дремали пашни, млея в полуденной духоте. Среди хлебов белела разрушенная железнодорожная будка, вокруг которой торчали ободранные осколками снарядов стволы деревьев. Из-за будки ударило трупным смрадом.

IV

— Младший лейтенант Черныш — в ваше распоряжение.

— Ладно. Опустите руку.

Командир минометной роты откладывает газету в сторону и застегивает воротник. Шея у него по-девичьи нежная и белая, не тронутая загаром, словно он никогда не выходил из этой землянки.

— Мне уже звонили от хозяина, — продолжает он и, подавая

Чернышу руку, тоже белую и твердую, рекомендуется: — Гвардии старший лейтенант Брянский.

Они садятся на бруствере у входа в землянку и, обмениваясь малозначащими вопросами, внимательно изучают друг друга. У Брянского красивое лицо с тонкими чертами, бледное, но не худое. Из-под длинных светлых ресниц пристально смотрят голубые глаза.

Розоватые сумерки ложатся на землю. Вдоль насыпи строем проходит взвод с лопатами, ломami и кирками на плечах. Тяжело ступая, бойцы останавливаются против Брянского. Коренастый, широколицый лейтенант хриплым, сердитым басом докладывает Брянскому, что первый взвод возвратился с работы. Брянский с туго перетянутой талией, с пышным золотистым чубом стоит перед ним, облитый солнцем. «Как подсолнечник в цвету», — думает Черныш.

Брянский внимательно выслушивает рапорт, спрашивает, не забыли ли случайно лопаты, записывает, сколько кубометров вырыто, и, наконец, разрешает распустить взвод. Он знакомит Черныша с лейтенантом Сагайдой, командиром первого взвода.

— Тоже ванькой-взводным? — интересуется Сагайда, бесцеремонно оглядывая Черныша. — Давай, давай, будет, наконец, и мне облегчение...

— После войны, — добавляет Брянский.

Пошли осматривать огневую позицию. Она раскинулась во все стороны, разветвилась, как корень, ячейками и ходами сообщения. Накрытые маскировочными сетками, в ячейках стояли минометы, уставившись стволами в румынское небо. Бойцы, большей частью усатые, степенные, увидав офицеров, вскакивали на ноги и замирали в готовности. Они были из последнего пополнения, которое Брянский сам отбирал и сам обучал, пока стояли в обороне. Бойцы — преимущественно винницкие, подольские, приднестровские колхозники — были дисциплинированы и работящи. Односельчане, соседи и даже два брата — все они держались вместе, жили еще общими воспоминаниями о доме и запасном полку, еще называли друг друга по именам:

— Хома!

— Что надо?

— Куда ты девал паклю?

Словно спрашивал: «Куда ты положил вилы?»

Казалось, они так, всем колхозом, и пришли сюда и, вместо того чтобы пахать или сеять, взялись за угломерквadrант, за новую, незнакомую науку, которой овладели достаточно быстро; и Брянский был вполне доволен своими усатыми учениками.

— Я не ошибся в расчетах, отбирая именно этих усачей из пополнения, — говорил он теперь своим офицерам. — Они добросовестно относятся к работе, а это на фронте так же необходимо, как и на заводе, в тылу. Между прочим, вы заметили, из кого выходит больше всего героев в бою?

— Из бывших беспризорных, — сказал Сагайда, — из беломорканалцев.

— Совсем нет, — возразил Брянский. — Я, наоборот, знал немало таких, которые в тылу взламывали замки и бесстрашно забирались в чужие окна, а тут, перед лицом смерти, становились жалкими трусами. Лучшие войны — это вчерашние стахановцы, шахтеры, слесари, колхозники, вообще люди честных трудовых профессий. Война — это прежде всего работа, самая тяжелая из всех известных человеку работ: без выходных, без отпусков, по двадцать четыре часа в сутки.

— Товарищи, — сказал Сагайда, словно перед аудиторией, — вы прослушали небольшой доклад научного работника, исследователя проблем войны, гвардии старшего лейтенанта Брянского. У кого есть вопросы?

— Валяй, валяй, — сухо усмехнулся Брянский.

В эту ночь Черныш долго не мог уснуть. В землянке было жарко, рядом храпел Сагайда, он весь пылал и, фыркая во сне, все время забрасывал на Черныша тяжелую, горячую руку, словно пытаясь обнять его. На противоположных нарах ровно дышал Брянский. Лунный свет стелился через порог землянки, исчезая всякий раз, когда мимо двери проходил часовой. В головах у Брянского сидел телефонист, тихо напевая какие-то нежные мелодии и то и дело вызывая кого-то:

— «Заря», «Заря»! Я — «Гром»... Проверка!..

И снова наступала такая тишина, что казалось — настороженные шаги часового слышны на весь мир.

Черныш лежал с широко раскрытыми глазами и смотрел на перекрытый рельсами потолок, вспоминая мать, которая где-то там, в жарких краях, за Каспийским морем, думает, наверное, сейчас о нем, представляя себе, как он бросается всем телом на амбразуру дота.

— Женя, — говорила она ему в последнюю встречу, — я знаю, какой ты бываешь до самозабвения горячий. Ты слишком романтик. Конечно, я не советую тебе быть плохим воином или прятаться за чужие спины. Я знаю, что ты и не способен на это, и, может, именно потому больше всего люблю тебя. Будь таким, какой ты есть, будь мужественным, уничтожай их, но, Женя... думай иногда и о своей матери...

Бедная мама! Сколько тяжелых дум она теперь передумает! А он лежит в спокойной землянке, и никакой войны нет, — есть только лунный свет на пороге да гулкие шаги часового, и какая-то странная «Заря», которой молодой телефонист время от времени свидетельствует свою готовность.

И все же Черныш чувствовал, что сегодня он достиг чего-то необычайного, что-то очень важное произошло в его жизни. Отныне перед ним встала каменная стена, и он уперся в нее. Дороги все сомкнулись и никуда не поведут до тех пор, пока он сам не пробьет эту стену, чтобы прегражденные пути расправились,

как пружины, и устремились снова вперед с указками для других.

— Вы не спите? — спросил телефонист.

— А?

— Да... говорю — девчата надоели, звонят и звонят...

— Чего им надо?

— Гвардии старшего лейтенанта. И все не наши позывные: какая-то «Березка», какая-то «Фиалка».

— Так разбудите его.

— Нельзя. Старший лейтенант приказал отвечать «Фиалкам», что его нет.

V

Утром Шовкун, ординарец Брянского, вносит котелок, ложки, расстилает полотенце и режет на нем хлеб.

— Что там? — поднимается взлохмаченный Сагайда, чтоб заглянуть в котелок. — Опять гвардии горох! Здравствуйте, давненько не виделись!.. Шовкун!

— Я вас слушаю.

— Я знаю, как ты меня слушаешь! Водка есть?

— Сегодня не давали.

Сагайда глубоко вздыхает.

— Так вот знай, Шовкун, — говорит он, — твоя Килина взяла к себе в хату мужика. Милиционера!

Сагайда внимательно следит за тем, какое впечатление окажут его слова на ординарца. Пожилой боец начинает моргать, как ребенок, глаза его обволакиваются мягкой влагой, и весь он тоже как-то обмякает, тает, смущенно улыбаясь.

— Что вы, товарищ гвардии лейтенант... Не может этого быть... У нас и милиции нет поблизости. Она вся в Гайсине.

Сагайда думает.

— Все равно, связалась с бригадиром, — говорит он. — Бригадир повез ей соломы, а она уже тут вся перед ним — и так, и эдак. «Зайдите, — говорит, — Харитоныч, к вечерку, — будут и вареники со сметаной, будет и пол-литра...»

— Довольно тебе, — морщась, останавливает его Брянский.

Садятся есть. Шовкун стоит у двери, и кажется, что его совсем нет в землянке. Он обладает удивительной способностью как бы исчезать на глазах, становится совсем незаметным и никогда никому не мешать. Но стоит Брянскому хотя бы спросонок позвать его, как Шовкун сразу же тихо откликнется: «Я вас слушаю».

Сагайда ест чавкая. После еды ему хочется закурить. Но он знает, что у всех в батальоне уши пухнут без табака.

— Ты не куришь? — спрашивает он Черныша.

— Нет.

— И не пьешь?

— Нет.

— И девчат не целуешь?

Черныш краснеет. А Сагайда начинает жаловаться на Румынию. Нишенская, несчастная страна! Хаты без дымоходов, потому что каждый дымоход Антонеску облагает податью. Табаку не сей, потому что это, видите ли, государственная монополия.

— Все наши окурки пособирали на дорогах, а говорят — Европа!..

Брянский тоже страдает без курева, но стоически переносит свои муки.

Шовкун легкими движениями собрал посуду, перемыл, перетер, и хотя сам он поворачивался медленно, работа в его руках спорилась. Уже он все сделал и, переминаясь с ноги на ногу, поглядывал на старшего лейтенанта, которого, видимо, очень любил.

— Да, хоть бы разок затынуться! — жалуется, наконец, Брянский.

— Товарищ гвардии старший лейтенант, — обрадовавшись, отзывается Шовкун проникновенным голосом. — У меня немножко есть... В конверте прислала...

— Килина?! — кричит Сагайда. — Так чего же ты молчишь? Давай скорее!

Закурили.

— Шовкун! — зовет Сагайда, жадно затягиваясь. — Разве это табак? Какая-то мерзость!

— Это я немного буркуна подмешал, — оправдывается Шовкун. — Все наши хлопцы эту траву курят. Она ароматная. А румыны много ее развели на своих полях.

— Тоска, — говорит Сагайда. — Ненавижу эти обороны. Копай и копай без конца. Святое дело — наступление. Я только тогда и чувствую, что живу, когда наступаем. Черныш!

— В чем дело?

— Дай мне адрес какой-нибудь учительницы или агрономши. Черныш удивляется.

— Для чего?

— Напишу ей письмо.

Это у Сагайды мания. Он пишет много, куда попало и кому попало, с одной целью — получить фотографию. Если он достигает своего, то несколько дней ходит хвастаясь, — показывает каждому фотографию девушки, которой он никогда не видел и никогда не увидит. Он расхваливает ее на все лады, а потом вдруг заявляет мрачнее:

— Но я знаю: это она, такая-сякая, не свою прислала.

— Почему не свою?

— Потому что сама-то она конопатая.

— Ты же ее не видел.

— Все равно конопатая!..

И тогда его лучше не трогать: он сердито спрячет фотографию в свой бумажник и замолчит.

Чернышу все это кажется шутовством. :

— Я не понимаю, — говорит он, — как можно писать человеку, которого совсем не знаешь?

— А что мне, по-твоему, делать? — кричит Сагайда. — Скажи, что мне делать? Хорошо, что у тебя есть там какая-то узбечка, селям-алейкум, которая ждет тебя и, собирая хлопок, распевает «Темную ночь».

— Каждого кто-нибудь ждет.

— Каждого! Меня никакой чорт не ждет!

— А дома?

Лицо Сагайды кривится в злой гримасе, а губы начинают мелко дрожать:

— Мой дом, брат... ветер развеял!

И, сопя, он начинает рассказывать свою историю, давно уже известную всему полку.

— Ты, наверное, не знаешь, что наша дивизия носит имя моего родного города? Да, да, Красноград — это мой родной город, мне выпало счастье освободить его собственными руками. Тому уже скоро будет год — верно ведь, Брянский?

— Через месяц как раз год.

— Под вечер завязался бой, — с этого начинал Сагайда свою историю, — а в полночь мы уже вступили в город, немцы за Днепр драпали. Вошли мы — все трещит, горит, валится. Отпросился я в ту ночь у Брянского... Лучше б ты меня не отпускал, Юрий!.. Иду городом, наших бойцов мало, гражданских совсем никого, а улица вся пылает.. Я узнаю ее и узнать не могу, и знакомая она мне, и какая-то жуткая. Я никогда не видел такой жуткой багровой ночи!.. Свернул к заводу, — стены разрушены, над цехами свисают покореженные железные балки, а внизу, под ними, висят авиабомбы, как черные свиньи. Подвесили их немцы, но взорвать не успели. Летний театр в парке догорает, каждое дерево освещено, каждый листик видно. А ведь тут я когда-то... сидел и обнимался... Чертовня! Прихожу на окраину, на месте нашего дома — груда кирпича и пепла, вот и все мое счастье, брат! После долгих поисков нашел в одном погребе знакомых соседей, — трясутся, узнать меня не могут. Долго убеждал их, что я действительно Володька Сагайда — тот, от которого все заборы трещали. «Как ты возмужал! (То есть постарел!) Как ты изменился!» — «Где мои?» — спрашиваю. Отец, говорят, еще зимой сорок первого подался куда-то на село с тачкой за хлебом, да там где-то и помер или по дороге снегом занесло. А сестру в Германию увезли. Писала, говорят, из Гамбурга, еще когда была там на бирже. «А где же, — спрашиваю, — Лиля?» Была такая соседка, лаборанткой на заводе работала. «Замуж вышла». — «Как вышла?!» — «Так!.. Повенчалась и выехала куда-то...»

Некоторое время все сидели задумавшись. Потом вдруг Сагайда вскинул голову, отбросил чуб назад.

— Ладно! За все расквашаемся. Еще заплачешь ты, неметчина горькими слезами! Все тут перетопчем!

— Мы не дикие кони, чтоб все топтать, — с неожиданной резкостью вмешался Брянский. — Мы — самая передовая армия в мире. Такими нас и ждут.

— Знаю, знаю, ты сразу начнешь подводить базу! — отмахнулся Сагайда и снова пристал к Чернышу: — Так даешь адрес?

— Но подумай же, Сагайда, в такой переписке нет ничего настоящего, серьезного, глубокого, — стоял на своем Черныш. — Писать неведомо кому... И зачем? Нет, тут есть что-то нехорошее... даже... грязное.

— Грязное! — свирепо вскочил Сагайда. — Что значит грязное? Как ты это слово понимаешь? У солдата много чего грязного! У него бывают грязные руки, грязные ноги. Нередко ему приходится делать работу, которая кажется грязной..

— Выдумки, — говорит Брянский.

— Не выдумки! Смотри правде в глаза, Юрий!.. Да не в этом дело. Солдат должен все мочь и.. все преодолеть! Скажи, Шовкун?

Шовкун, который как раз чистил в углу автомат, видимо, не разобрался, о чем шла речь.

— Скажи, правду я говорю?

Тот боялся Сагайды, как напасти, и потому, взглянув на Брянского — не рассердился бы тот — сказал:

— А как же... слушаюсь!

Однако это не мешало остроумному Шовкуну вечером смеяться над Сагайдой в кругу своих земляков.

VI

Вечера в роте, если солдаты не идут рыть траншеи и носить шпалы, проходят в долгих задушевных разговорах.

В эти лунные вечера бойцы выползают из своих нор и собираются на траве, за брустверами ходов сообщения. С тыла к самой огневой подходит степь, и бойцы лежат у ее края, как на берегу огромного ароматного моря. Высокая ночь незнакомого юга, терпкий запах близкого поля действуют на всех, словно колдовское зелье: забываются дневные споры, утихают страсти, все становятся ближе друг к другу, доверчивей...

— Кто будет эти хлеба жать? — слышен задумчивый голос. — Видать, осыпятся и сгниют на корню.

— Да здесь не столько хлебов, сколько меж и бурьянов.

— Тут комбайном и работать нельзя.

— Что ж у них расти будет, как не бурьян, когда севооборо-

та нет. На кукурузе опять кукурузу сажают: тят-ляп, и растет мамалыга.

— Не обрабатывают землю, а только мучают.

— А сказывали: культура!

— Культура! Законы под бубен объявляют. Ходит колотушечник по селу, бьет в бубен и выкрикивает указы. А бабы перегнутся через плетень и слушают.

— Вывесил бы на стене и пусть читают.

— Пусть читают?.. Да у них в селах все как есть неграмотные...

— Смотри, Иван, — говорит один, лежа на животе и поглаживая огрубевшей ладонью травинку, освещенную месяцем, — смотри, и тут растет пырей! Совсем такой, как у нас.

— Земля везде под нами одна.

— И солнце над нами одно, а не два.

— Ходил я нынче за обедом через траншеи первого батальона. Ой, леле! Там целый подземный город. Если б не указки, заблудился бы, как в лесу. Одна стрелка в ту роту, другая в эту. Эта — на БО¹, та — в ленкомнату.

— Хорошо, что есть указки.

— А что оно значит, наше «Л»?

— Может быть, Ленин?..

— Недавно румынешты на наше БО наступали. Но там, молодцы, не растерялись: пустили их в траншеи и перебили потом лопатками.

— Бывает, чего ж!..

— Слухи есть, что скоро мы будем наступать.

— Я ходил вчера со старшиной на склад и видел: сколько там пушек за горой — не сосчитать! А ребята все крепкие и, видно, бывалые. Уже, говорят, все доты на карте обозначены. У каждого свой номер и даже кличка.

— И кличка? Это уж врут.

— ...И уже пристреляны все доты. Каждая батарея знает, по какому ей целиться. Та по этому, другая по тому. Как объявят артподготовку, будут сажать ему в лоб, аж пока он не треснет!

— Снаряды их не берут. Сюда Малиновский пустит тысячу самолетов. На каждый дот — самолет.

— Говорят, что эти доты тянутся от самых Карпат до Черного моря.

— Это им немецкие инженеры настроили.

— Подлюги! У меня хату пустили по ветру.

— А я от Германии спрятал дочку в чулане и заложил его кирпичом — так в управе меня до того стегали, что кожа полопалась.

— Сознался?

— Дудки!

¹ Боевое охранение.

— А про моего и вовсе не слышно. Был где-то в Руре... Может, разбомбили союзники. Да... Развезли наших деток по всему свету...

— Руки я, конечно, не хотел бы лишиться — очень уж это плохо, — ведь я только две зимы в школу ходил, одной головой трудно будет жить. А без ноги — ничего еще...

— А спать как?

— Жена снимет деревяжку!

При этом кто-то бросает соленую остроту, всем становится весело, и бойцы смеются долго, вволю и не спеша, словно едят.

Возле штаба батальона заиграл аккордеон, запел общий любимец Леня Волков, комсорг батальона:

Как усталый боец, дремлет — война...

Из командирской землянки минроты вышли офицеры и, о чем-то оживленно беседуя, направились на песню.

— Ладные хлопцы, — замечает один из бойцов, глядя вслед офицерам.

— Слишком молоды только.

— Молодые, да из ранних. Знаешь, сколько уже Брянский в этом полку? С самого основания. Шесть раз ранен.

— Оттого он и белый такой: видно, кровью изошел на операциях.

— А ты думаешь!

— А Сагайду не поймешь: когда — добрый, а когда — как зверь. Особенно не люблю, когда он меня донимает за то, что наркомовской нормы не дают... И напоминает мне про Килину.

— Зато в бою с ними надежно. Обстрелянные, не подведут.

— А этот новый, чернявенький наш, не татарин? Разговаривал по какому-то с Магомедовым.

— Глаза круглые, как у голубя.

— Такой вежливый, всех на «вы» называет.

— Когда он спросил на политинформации, кто скурил газету, я хотел соврать, что не видел, да не смог. Как-то он тебе в самое нутро смотрит.

— А моя пишет: «Хлеба стоят, как солнце, войдешь — и с головою скроешься. Никогда, — пишет, — Грицю, я не забуду дней нашей счастливой жизни, года наши молодые. Как выйду, — говорит, — под вечер за ворота с сыном на руках, стану, а теплый ветер дует с юга, так и кажется мне, что это ветер из самой Романии, от тебя, милый!»

VII

Ежедневно рота занималась боевой и политической подготовкой по плану, составленному Брянским. Командир роты не допускал ни малейших отклонений, словно рота стояла в мир-

ных лагерях, а не на передовых позициях под вражеской высотой, среди этой знойной южной степи. Политзанятия с бойцами Брянский проводил всегда сам.

— Яведу роту в бой, — говорил он, — и я больше всего заинтересован в том, чтобы она была воспитана как следует, была собрана — чтобы не подвела ни себя, ни меня. От того, как я ее воспитаю, зависит не только то, как она выполнит свой боевой долг. В конце концов от этого зависит и моя собственная жизнь. Я должен воспитать роту так, чтобы в любых обстоятельствах мог положиться на нее и верить ей, как себе самому.

Сегодня в роте бурный день. Парторг батальона принес экстренный выпуск газеты — листовку о подвиге Самойлы Полищука, который в бою под Яссами уничтожил собственноручно шесть вражеских танков. По телеграфу из Москвы был получен указ правительства о присвоении Полищуку звания Героя Советского Союза. Слава о никому до сих пор не известном рядовом бойце стрелковой роты за несколько дней облетела весь Второй Украинский фронт.

В подразделении Брянского на это событие откликнулись особенно живо, потому что Полищук был земляком многих бойцов роты. Это был не какой-то неведомый сказочный богатырь, а близкий и понятный им человек, обыкновенный винницкий колхозник-тракторист, который пришел на фронт с последним пополнением, как и многие бойцы роты Брянского. Еще недавно Полищуку, как и им, жена, наверное, приносила в запасный полк самогон и пироги в деревенской торбе.

Командир третьего расчета Денис Блаженко, высокий, с нахмуренными черными бровями, заявил неожиданно, что знает Полищука лично, — еще задолго до войны учился вместе с ним на курсах трактористов в Ямполье.

— Какой он из себя? Силач? Борец? Сорви-голова?

— Обыкновенный человек! — отвечал Блаженко хмурясь. — Такой, как и я, хотя бы. Смирный был, не забияка.

— Дело же не в том, силач он или нет, — терпеливо разъяснял Брянский смысл подвига. — Главное, что он не растерялся в решающую минуту. Времена танкобоязни давно миновали. Танки идут, а Полищук ждет. Танки его не видят, а он их видит. Они сверху, а он в траншее. Бей и жги!

И уже представлялись бойцам обожженные солнцем солончаковые степи под Яссами, траншеи полного профиля, и вражеские танки с черными крестами ползут на них, как слепые чудовища, дыша горячим смрадом. А винницкий тракторист стоит по плечи в сухой земле, с бутылкой КС¹ и ждет... Ждет, потому что не хочет, чтобы эти слепые уроды перешагнули через него и снова с грохотом полезли на советскую землю. Бей и жги!

¹ Химический состав, самовоспламеняющийся при соприкосновении с воздухом; применяется для уничтожения танков.

— Это каждый из вас смог бы, — говорит Брянский. — Разве нет?

— Я смог бы, — сердито бурчит Блаженко, мигая своими ястребиными глазами.

До самого вечера в окопах не смолкают разговоры бойцов о подвиге земляка. И горящие взгляды останавливаются на вражеской молчаливой высоте, переносятся дальше, влево, где до самого моря расстилаются залитые солнцем просторы чужой страны, закованной в железобетон.

Брянский видел, что сегодня бойцы с большим, чем когда бы то ни было, нетерпением ждали боя. Его радовал этот боевой дух, как возвышенная музыка, созданная им же самим.

— Скоро, скоро загремит гром и ударят молнии от края до края на этом чужом небе, — говорит Брянский, прохаживаясь по огневой и размахивая листовкой. — Скоро, скоро, товарищи!..

— А я.. смогу! — повторяет Денис Блаженко, поглядывая на высоту, как охотник на тигра.

VIII

Черныш лежал в траве, на краю железнодорожной насыпи, разглядывая притихшие, словно покинутые людьми доты. Что творится там, в их бетонированных чрева? Что делают там гарнизоны, что замышляют, к чему готовятся? И где та тропинка на согретую солнцем высоту, по которой ему придется бежать, сгибаясь под пулями, и где то место, на котором быть может...

Рельсы на насыпи поржавели за лето — давно тут не ходят поезда, а семафор вдалеке, на западе, стоит все время открытый. Черныш только сейчас его заметил. Кто открыл его? И когда? И в какие края он зовет?

— Товарищ гвардии младший лейтенант! — позвали снизу.

Обернувшись, Черныш увидел бойца своего взвода Гая, высокого тихого юношу. Недавно его принимали в комсомол, и Черныш запомнил рассказ Гая о том, как его брата убили фашисты.

— Вас зовет командир роты, — улыбаясь, сообщил Гай, подняв голову в маленькой пилотке, смешно сидевшей на самом темени.

— Уже вернулся?

Черныш знал, что Брянский в полку на партсобрании.

— Уже.

Черныш соскочил вниз и торопливо заправился. Когда шли на огневую, Гай все время оглядывался на него и как-то странно улыбался и шурился, будто собирался чихнуть. Он был чем-то встревожен.

«Наступление! — было первое, о чем подумал Черныш, глядя на парня. — Значит, наступление!»

— Страшно? — спросил он бойца.

— Нет... Только как-то... Знаете... хочется всех приголубить...

И оглянулся: не смеется ли Черныш?

— Это вам просто... страшно, — сказал Черныш.

— Э, не говорите, — уверенно ответил Гай. — Мне не страшно. Мне совсем не страшно. Я, товарищ командир... смелый!

Он снова оглянулся: не смеется ли Черныш?

— Поверите, когда гестаповцы хотели увести меня в Германию, я не раз на полном ходу прыгал с поезда, а другие боялись. Последний раз это было за Варшавой. Я тогда себе ногу вывихнул, — так поляки меня на телеге везли от села до села, с рук на руки передавали до самой Украины. Они ведь тоже ненавидят Гитлера... Я вас, товарищ командир, хочу только попросить... так, на всякий случай... Адрес вот...

Гай расстегнул гимнастерку и достал из кармана, пришитого изнутри, бумажку.

— Если что случится, напишите ей... Больше нет никого.

Буквы на бумаге расплылись, вероятно от пота. Подавая ее Чернышу, Гай еще сильнее сощурился и продолжал со стыдливой деликатностью:

— Напишите, будьте так добры, да чтобы складно... Чтоб жалобно... Пусть поплачет... Не бойтесь, не умрет! — добавил он уже сердито.

Чернышу хотелось подбодрить парня, но он не знал, как это сделать.

— Не волнуйтесь, — только и сказал он. — Ничего с вами не случится.

— А я и не волнуюсь, — усмехнулся боец. — Чего мне волноваться? Я не предатель и не злодей, плохого ничего не совершил. За святое дело и умереть легко. Когда моего брата и других привезли из лесу связанными и подъехала бестарка уже под самую виселицу, чтоб их вешать, то бабы заголосили, а брат поглядел вокруг и сказал: «Жаль покидать и тебя, родное Полесье, и тебя, высокое ясное солнце!.. Но я ни в чем не каюсь!» Возница ударил по коням и выдернул из-под него бестарку... «Ни в чем не каюсь», — повторил Гай. — Не в чем каяться!..

На огневой уже кипела работа. Брянский сам руководил подготовкой, прохаживаясь по брустверу в зеленых сапожках,шитых из плащ-палатки, и отдавая короткие приказания расчетам. Сетки с минометов были сняты. Бойцы подносили ящики с минами, распаковывали гранаты и делились ими, запасались патронами; все было возбужденно-торопливо. Взглянув на Брянского, Черныш окончательно убедился в том, что сегодня произойдет что-то особенное. Брянский был какой-то торжественный. Застегнутый на все пуговицы, туго затянутый, он стоял на бруствере. Пристально посмотрев на Черныша своими голубыми глазами, он сказал:

— Знаешь? Сегодня, наконец, работа.

И повторил:

— Большая работа, друг!

«Он на меня так смотрит, словно проверяет, каким я буду в бою», — подумал Черныш и сказал:

— Прекрасно!

— Я сейчас иду на НП¹. Вы остаетесь с Сагайдой.

Он взял Черныша под руку и говорил ему, как что-то самое интимное:

— Знаешь, тут возможны разные ситуации: это ведь первый бой для большинства моих орлов. Может случиться, например, что я требую огонь, а противник вас все время обстреливает; кто-нибудь, может, и в блиндаж нырнет, не выдержит... С таким поступай решительно, молниеносно. Никаких поблажек. Кроме того, внимательно смотри, чтоб наводчики, засуетившись, не перевирали. Каждый раз сам проверяй установки. А вообще я уверен, что все будет хорошо. Смотри: народ у нас — как на подбор. Надраили «самовары»², аж горят.

Брянский крикнул:

— Бинокль!

Ординарец козырнул у него за спиной.

— Есть бинокль!

Потом Брянский подозвал Сагайду, и тот подбежал к нему, топоча тяжелыми сапогами. Он тоже был сегодня весь подобранный, праздничный и отрапортовал торжественно, по всей форме:

— Товарищ гвардии старший лейтенант, по вашему приказанию гвардии лейтенант...

— Остаешься за меня, — не дал ему закончить Брянский.

— Есть за вас!

Брянский посмотрел на часы.

— Концерт начнется через пятьдесят минут.

Он взял у ординарца бинокль и повесил себе на грудь. Подал руку Сагайде, и они, по давнему своему обычаю, перед боем обнялись порывисто и как будто сердито. Прощаясь с бойцами, которые, сбившись вокруг своего командира, всячески желали ему счастья, Брянский успокаивал их:

— За меня не тревожьтесь, товарищи! Я знаю, что со мною ничего особенного не случится.

— Может и зацепить...

— Зацепить? Зацепить, конечно, может... и вообще... может. Но разве смерть — это самое страшное? Есть более страшное, чем смерть: позор! Позор перед Родиной. Товарищи, этого бойтесь больше, чем смерти. У каждого из нас есть дома жена, или дети, или мать, или... невеста. Они смотрят на нас оттуда, из-за Прута. Это смотрит на нас их глазами сама наша Родина, кото-

¹ Наблюдательный пункт.

² Минометы, на условном военном языке.

рая поручила нам отстоять ее честь и независимость. Вы знаете, какими она хочет нас видеть? Знаете?

— Знаем! — ответили хором бойцы.

— Хорошо! Я надеюсь!..

Брянский спрыгнул в глубокую траншею, ведущую в стрелковые роты. За ним сполз с бруствера Шовкун с автоматом, с флягой воды и плащ-палаткой для своего командира.

Все было готово. Расчеты стали на свои места и замерли в напряженном ожидании, — казалось, что сейчас должно начаться затмение солнца. Командиры в последний раз проверили минометы.

Ни одного разрыва. Ни одного выстрела.

Черныш нетерпеливо поглядывает на часы. Бойцы сосредоточенны, серьезны, как люди, которые вдруг почувствовали на себе огромную ответственность. От этого они словно выросли в собственных глазах и сразу как-то затвердели, заострились.

Черныш оглядывается и не видит уже тех знакомых благодушных, улыбчивых лиц, какие он видел до сих пор.

Огромная грозная тишина висит над степью.

И вдруг издалека послышалась несказанно прекрасная музыка, словно все небо сразу превратилось в грандиозный голубой орган и заиграло.

— Катюша!!!

Зашелестело небо, незримые волны мощного тугого шума понеслись над головой: шов-шов-шов!.. Молнии ударили по высоте, и она, обволакиваясь дымом, загрохотала. Казалось, инженер включил ток, и сложный, огромный агрегат войны начал работать — ритмично и ровно.

Телефонист в землянке припал к трубке, закрыв второе ухо, чтобы слышать только то, что передает Брянский с НП. Земля то и дело осыпалась с потолка, падала на столик и телефонисту на голову.

...Сагайда уже охрип, отдавая команды. Он стоял у входа в землянку с блокнотом в руках, мокрый от пота. Черныш, принимая команды на огневой, хотел бы петь их. Он кричал что было силы, но расчеты, хоть и были рядом, едва слышали его за сплошным грохотом. Стволы минометов уже раскалились так, что нельзя было прикоснуться к ним рукой. Земля гудела, лопаясь то в одном, то в другом месте, из нее вырывались гром и пламя, смешанные с чадом. Газы наполнили воздух, горько было дышать. А Черныш передавал и передавал короткие цифры.

Стройными, упругими клиньями пошла авиация, разворачиваясь над дотами. В этот момент Черныш ощутил больше, чем когда бы то ни было, гордость за то, что он сын могучей державы. Он гордился тем, что уральский металл сотрясает сейчас чужое небо над ним, что откуда-то из-за его спины летят и летят снаряды гвардейских минометов, рассекая воздух. Эти высокие багровые трассы, подобно молниям прорезавшие небо с востока

на запад, — настоящие буревестники, предвещавшие народам Европы близкое освобождение.

Выстрелов не было слышно — только сплошное грохотанье земли и неба, в котором выделялись лишь разрывы авиабомб, — казалось, рушатся высоченные крепости. В ушах непрерывно звенело, как после сильного, но не болезненного удара. Черныш не мог удержаться — то и дело выглядывал за насыпь. Высоты не было. Она исчезла, превратившись от вершины и до самой подошвы в какое-то сплошное ревущее месиво, в клубящуюся туманность.

Внезапно в небе засвистело. Свист нарастал, приближался с неимоверной быстротой и летел, как казалось Чернышу, прямо на него. Но ему не было страшно. Вообще все, что происходило вокруг в этом гремящем хаосе, воспринималось им как какое-то стихийное явление.

То, что свистело вверху, вдруг метнулось в землю, сухо грохнуло. Горячая волна забила Чернышу дыханье, с силой отбросила прочь, и он не почувствовал, как очутился в траншее, прижатый к стене, почти на четвереньках. Он оглянулся, не смеется ли кто, но услышал чей-то встревоженный голос:

— Не ранило?

Не ранило ли? Разве можно его ранить? Так просто?.. Со скрежетом пролетели согнутые рельсы. Снова разрыв, снова горько, нечем дышать. И все-таки он все время машинально слышал то, что ему нужно было, и, когда третий миномет вдруг замолк, ухо Черныша мгновенно уловило это. Он бросился в третью ячейку. Заряжающий Роман Блаженко стоял на одном колене возле миномета на глинистой земле, а его младший брат Денис, командир расчета, легко и умело стягивал с него рубаху. У пожилого бойца было мускулистое белое тело, только шею по воротник покрывал густой загар, который сейчас особенно бросался в глаза. Осколок снаряда, разорвав ему руку выше локтя, образовал на ней как бы две губы, и из них ключом была яркая чистая кровь, стекая по белому локтю на землю. Блаженко, шевеля длинными усами, растерянно смотрел на свою кровь.

— Кость цела, — успокоил его Денис, перевязывая рану.

— Болит? — спросил Черныш.

— Нет, не болит, — ответил раненый. — Только крови жалко. Вишь, сколько задаром вытекло. Денис, быстрее! — подгонял он младшего брата.

Хотя Денис был уже гвардии ефрейтор и в роте пользовался гораздо большим авторитетом, чем Роман, между ними сохранялись отношения семейной иерархии, и Денис беспрекословно подчинялся старшему брату.

— Скорее — и в санвзвод! — приказал Черныш, которому вдруг стало боязно: он почувствовал, что и его может ранить или убить.

Напоминание о санвзводе вконец расстроило обоих братьев.

— Товарищ командир... Товарищ командир... — заговорили они вместе.

— Я вас очень прошу, — умолял раненый, — не гоните меня в санзвод... И лейтенанту Сагайде сейчас не говорите...

Черныш ничего не понимал.

— Почему?

— Оно тут заживет... Присохнет... Я все буду делать... И стрелять.

— Но ведь там быстрее вылечат!

— Ой, не надо, товарищ командир!.. Очень прошу, не управляйте! — На загорелом, морщинистом лице Блаженко появился настоящий страх. Усы его жалобно обвисли. — Тут мой брат. Он в колхозе ветсанитаром был...

— Я сам его вылечу, — заявил Денис твердо.

— Тут все наши... А там вылечат и куда-нибудь зашлют... Сюда не попаду...

— А если заражение?

— Не будет, — уверял Денис. — У меня есть всякие медикаменты и коренья.

— Ну, смотрите!..

Черныш поставил заряжающим другого бойца, а Роману приказал идти в блиндаж. Раненый растроганно всхлипнул:

— Удачи вам, товарищ командир!

Очень мягкое и чувствительное сердце было у старшего Блаженко.

IX

Время артиллерийской подготовки истекло, и адский грохот постепенно спадал, как спадает море, взбудораженное штормом. Теперь, когда били уже только отдельные батареи и минометы, все услышали равномерный, непрерывный гул далеко на левом фланге. Бойцы вслушивались, как зачарованные.

— На Яссах!

— Значит, по всему фронту!

Дым над высотой таял, и сквозь ржавато-серые облака начали снова выплывать отдельные куски высоты. Воя она была перепажана за этот час. Станным казалось, что она еще существовала. Больше того — и доты стояли на своих местах, только совсем голые, землю с них разметало во все стороны, и они белели сейчас на склонах гигантскими черепами. Батареи продолжали молотить по ним, ослепляя и оглушая методическим огнем гарнизоны, сходявшие с ума в этих железобетонных черепах.

Вдруг из землянки выскочил Маковейчик, молодой лобастый телефонист, без пилотки, с землей на плечах, и выкрикнул во всю мочь:

— Пехота поднялась!

И снова исчез в своей пещере.

— Пехота поднялась! — пронеслось, как молния, от бойца к бойцу, и даже за холмом у артиллеристов услышали эту весть.

— Поднялась!

— Пошла! Пошла!..

Как слово самой высокой надежды, эта магическая весть сразу облетела весь фронт, штабы и батареи и докатилась до тылов. Пехота встала! Если бы тут были оркестры, они откликнулись бы на эту весть приветственным маршем.

Черныш с замиранием сердца видел сквозь дым, как на склонах высоты появились серые точки. Маленькие, едва заметные, они приковали к себе все взгляды. Они то и дело исчезали в дыму разрывов, пропадали, казалось, совсем, но дым рассеивался, и серые точки снова жили, ползли по склонам, как муравьи после дождя. За этими движущимися серыми крапинками, за этой мошкаррой следили, не сводя глаз, все — от бойца-артиллериста до генерала. Это была живая сила, перед которой не могло устоять ничто.

Брянский с НП передал приказ роте передвинуться под самую высоту. Сагайда, сияющий и лохматый, появился на бруствере и подал команду, какую он любил больше всего на свете:

— Отбой! Минометы на выюки!

Это означало — вперед. Телефонист с гордостью доложил в штаб:

— Я отключаюсь.

Ячейки опустели за несколько минут. Тяжелые плиты, двуногие лафеты, стволы уже были на спинах у бойцов, входивших в траншею.

Стоя в стороне, в нише, Сагайда пропускал роту и проверял, все ли взято. Вот впереди проходит раскрасневшийся Черныш с высоко поднятой головой; большие ясные глаза его блестят из-под черных, по-девичьи тонких бровей. Он ступает с какой-то особенной, счастливой упругостью. Вот высокий Бузько согнулся под тяжестью плиты и шагает, глядя под ноги, словно хочет запомнить каждый свой шаг на этой земле. Быстро шагает веселый балагур Хома Хаецкий с пышными усами, лихо закрученными вверх. Гай, весь обвешанный металлическими лотками с минами, гремит ими, как рыцарь латами, и смотрит на Сагайду, на товарищей, на все, что происходит вокруг, простоудушно и доверчиво. Проходят неразлучные братья Блаженко, темные и задымленные. Младший — с трубой на плече и с прицелом в руках, старший — с лотками в здоровой руке.

— Блаженко! — окликает Сагайда старшего, а братья останавливаются оба.

— Я вас слушаю, товарищ лейтенант гвардии.

— Сколько я вас учил, что не лейтенант гвардии, а гвардии лейтенант!

— Простите, забыл товарищ... лейтенант гвардии!

— Дайте сюда лотки!

— Он в моем расчете. — вмешивается Денис. — Это по моему приказу.

— Дайте сюда лотки!

— Товарищ гвардии лейтенант, — настаивает на своем Денис, — вы же не можете через мою голову отменять мои приказы. Боевой приказ...

— Так ты уставы знаешь! — говорит Сагайда и силой забирает лоток у Блаженко-старшего. — Почему не доложил, что ранен? Марш!

Роман моргает, переводя глаза то на Сагайду, то на Дениса. — Марш... с братом!

Сагайда сам берет лотки и тоже идет, замыкая роту.

Траншея, вырытая в полный профиль, спускается все ниже.

Сагайда видит головы почти всех бойцов, их загорелые, жилистые шеи. Головы поднимаются и опускаются, как будто отделившись от туловища, плывут по одному руслу, покачиваясь на волнах. В некоторых местах траншея перекрыта шпалами, и, когда бойцы входят в темный туннель, Хома Хаецкий выкрикивает своим певучим подольским говором:

— Ой, патку мий, патку!.. Словно прямо в ад!

— А ты думал, в рай?! — смеется кто-то из бойцов.

Ночью рота окапывалась уже на новой огневой позиции, в овраге под самой высотой. О сне не могло быть и речи. Бой продолжался. К вечеру заняли четырнадцатый, семнадцатый и восемнадцатый доты, некоторые были блокированы, но еще простреливали почти всю местность, которую нашим удалось захватить. Рота зарывалась в землю. Тяжело дыша, работали бойцы, скрежетали в темноте кирки, высекая искры, когда попадался каменный пласт.

С наступлением ночи ринулись к высоте подводы, груженные боеприпасами. Затарахтела дорога, еще днем заваленная разбитыми возами и трупами лошадей. Объезжая их, подводы грохотали в темноте, на полном галопе подсакивая к высоте и с ходу разворачиваясь, сваливали в одну грудку ящики и мчались за новым грузом. У подножия высоты выросла гора боеприпасов. Брянский нарядил почти половину роты носить мины на огневую.

Караваном теней брели в ночи бойцы с ящиками на плечах, залегая всякий раз, когда поблизости в твердый грунт врезался снаряд. Хаецкий, обладавший удивительно тонким слухом, всегда первый ловил нарастающий свист снаряда или шелест тяжелой мины.

— Летит! — выкрикивал он, а сам уже лежал, припав к земле, как осенний лист. Спина у него холодела, по ней пробегали мурашки. — Патку мий, патку!

Почему-то он был уверен, что мина обязательно ввинтится ему в поясницу, как сверло. Не в ногу, не в руку, а именно в

поясницу. Под рубахой даже холодок ходил, — Хома загребал руками землю и, ломая ногти, шептал:

— Пронеси!

Трахало где-то сбоку. Над головой фырчали осколки и падали, шлепаясь о землю, как спелые груши. Тогда Хаецкий первый энергично поднимал голову, выпятив усы вперед.

— Вон где упало! — сообщал он, будто другие этого не видели.

— Подымайсь! — командовал Черныш.

Бойцы молча поднимали на плечи груз и двигались, сгорбившись, дальше.

— Все идут?

— А как же?

Это был уже четвертый рейс за ночь.

— Покурить бы, — сказал кто-то, идя за Чернышом. Накануне наступления рота получила табак.

Поблизости, врезаясь в высоту, пролегалла какая-то траншея; Черныш разрешил остановиться в ней и сделать перекур.

Было уже за полночь. Бойцы, сложив ящики вдоль бруствера, чтобы потом было легче их брать на плечи, присели в окопе. Впечатления боя и тяжелая ночная работа утомили. Но надежные стены траншеи сразу вернули утраченную живость, наполнили уверенностью. Засверкали на дне рва звездочки цыгарок, развязались языки.

«Как в сущности немного нужно человеку, — подумал Черныш, — чтобы он почувствовал себя довольным и засмеялся».

— У нас был румынский комендант, по-ихнему претор, — слышался уже певучий голос Хома Хаецкого. — Так я к нему каждый день ходил, чтоб он вернул мне корову, а он каждый день меня стегал.

Бойцы смеются.

— А ты все-таки ходил?

— А я ходил... Чтоб ему косточки на мелкие части разнесло!

— И вернул?

— Жди! Увел в Бухарест.

— Пасется где-нибудь там, на площади.

— Узнаю — отберу.

— Удирая, они пели: «Антонеску дал приказ — всех румынов на Кавказ. А румын-то не дурной: на каруцу — и домой».

— Запели, когда припекло на Украине.

— Гляди, чего тут понастроили, не угрызешь.

— Припечет, так все одно удерут.

— Пусть уносит их с дымом и гарью.

Черныш встал.

— Кончай курить!

Внизу расстилается сизая прохлада ночи. На поле то там, то здесь все еще возникают багровые кусты разрывов. На высоте, над боевыми порядками пехоты, взвиваются ракеты и повисают,

вянут, падая, как скошенные, слепящие светом колосья. А за горою все небо рдеет. Пылает румынский тыл, пылает вся Румыния тревожно и загадочно.

— Тю, чтоб ты пропала! — выкрикивает Гай, мимо которого проходит Черныш.

— Что такое?

— Чья-то рука.

Черныш нагнулся над бруствером и в самом деле увидел скрюченную руку, свисавшую в самый окоп, преграждая дорогу. С чувством брезгливости, в котором не хотелось признаться, Черныш взял ее, холодную и твердую, и откинул на бруствер, чтобы пройти. А на ладони у него осталось что-то липкое. Идя, он все время тер ладонь землю; однако еще много дней спустя, всякий раз, когда Черныш принимался за еду, ему казалось, что руки пахнут чем-то тошнотворным.

Они приближались к залятому месту, к небольшой прогалине при входе в овраг. Она еще до сих пор простреливалась противником из пулеметов, и Черныш скомандовал залечь и лег сам. Он полз по изрытой, пропитанной вонью земле. Пули звенели все время, то пролетая над головой, то чмокая рядом во что-то мягкое, как в тесто. Трупы то и дело загораживали путь. А позади с тяжелым сопением ползли один за другим бойцы, таща за собой ящики.

Порою Чернышу казалось, что это не ночь, а ясный день и что врагу видно все, даже звезду на его пилотке. Тогда он на мгновение прятал голову за какого-нибудь убитого. А поборов причуду, собравшись весь в напряженный кулак, он полз дальше, двигая локтями и коленями, словно плыл по чему-то твердому и кочковатому.

Внезапно кто-то крикнул позади. Это был ужасный крик на полный голос — и потому особенно страшный среди темноты, где до сих пор все говорили почти шопотом.

— Хлопцы! Братики!..

Голос пронзительный, высокий прозвучал таким нечеловечески измененным, что Черныш не мог узнать, чей он.

— Братики!..

Крик среди ночи прозвучал так неожиданно, что казалось — услышат его на всей огромной высоте, на обоих склонах ее, и сейчас же все бросятся спасать человека.

Но Черныша кинуло вперед, подальше от этого крика, и он слышал, что за ним и все бойцы ползли быстрее и дышали тяжелее и чаще. Пули всё гуще прошивали воздух. Наконец Черныш достиг камня, за которым можно было передохнуть. Сюда пули не залетали.

«Что я сделал! — ужаснулся вдруг Черныш. — Что я сделал!»

Из темноты выползали бойцы и собирались молча вокруг, не поднимая голов от земли.

— Кого нет? — почти закричал Черныш, сердясь неизвестно на кого. — Кого нет?

Не было двоих: Бузько и Вакуленко. Черныш, готовый на все, решительно повернулся и пополз назад. Пусть лучше его убьет, но так он не покажется Брянскому. Кто-то схватил его за ногу:

— Не ходите... Лучше я.

Это был Гай. Не ожидая ответа, он зашуршал в темноте, как уж. Ловко маневрируя между трупами, боец пополз на стон. Свистели и шмякались пули, иногда позванивая, наверное, о чью-нибудь лопатку. Гай не обращал внимания на эти звуки, он слышал поблизости что-то несравненно более важное: глухое клокотание, словно где-то ворковали голуби. Нашупал рукой тело, еще теплое и все мокрое от пота. По сапогу домашнего покроя узнал, что это Бузько. Тело сжалось, расправилось, еще раз сжалось, и все время было слышно поблизости мягкое воркотанье: кровь била струйкой из подмышки. Гай приложил ухо к его груди. Стало тихо, как будто онемела в удивлении вся земля: сердце не билось.

Гай пошарил в карманах, забрал кошелек и патроны и снова пополз. В нескольких метрах от этого места он опознал Вакуленко, — в темноте блестела его лобастая лысая голова без пилотки. Этот был убит наповал: пуля попала в шею и вышла через затылок.

Вернувшись к камню, Гай передал Чернышу документы убитых, а себе оставил только патроны, взятые у Бузько. Все опять поднялись, подав друг другу трехпудовые ящики. Пулеметы татакали в темноте. Ракеты над высотой стремились достичь неба и, обессилев, гнулись к земле и умирали, рассыпаясь холодными искрами. Пока дошли до места, никто не проронил ни слова.

На огневой, отыскав Брянского, Черныш доложил ему, что люди с минами вернулись и что двое убиты. Брянский внимательно выслушал рапорт, расспросил о подробностях.

— Жаль, — сказал он после паузы, — жаль. Особенно этого... Вакуленко. Из него получился бы неплохой наводчик. Я держал его на примете. Ну, что же?.. — Брянский немного подумал. — Что же... Забирай, друг, людей — и... снова за минами. Мин, мин, друже! Утром снова предвидится «сабантуй»¹.

Черныш козырнул и подал команду на пятый рейс.

Х

Утром действительно начался «сабантуй», не смолкавший весь день. В бой были введены все стрелковые батальоны. Они блокировали слева несколько еще живых дотов. Противник тоже

¹ Праздник (татарск.).

подбросил значительные силы пехоты и бросал ее раз за разом из окопов в контратаки, стремясь выручить запертые в дотах гарнизоны. Несколько раз пехота сходилась врукопашную на самой вершине.

Бесперывный гул, трескотня и тучи дыма нависли над высотой, заволакивая солнце.

Брянский стоял на наблюдательном пункте седьмой стрелковой роты и отсюда руководил огнем. Он получил задание все время держать под обстрелом одну из важных траншей, что шла из румынского тыла на высоту, вплетаясь в сложное кружево ее обороны. В стереотрубу Брянский хорошо видел эту траншею, оплетенную изнутри лозой. По ней он бил и бил с самого утра. Корректируя огонь, он редко заглядывал в таблицу стрельб — знал ее почти наизусть, математическая память у него была необычайно развита.

Когда мины ложились где-нибудь поблизости от траншей, на опаленной, изрытой земле, Брянский не мог сдержать своего раздражения.

— Партачи! Партачи! Партачи! — кричал он после каждого неудачного выстрела и, не отрывая глаз от цели, грозил в телефонную трубку, требовал повторить установки — ему казалось, что там обязательно всё перепутали наводчики.

Зато, если мина разрывалась в самой траншее, наполняя ее дымом, лицо Брянского сияло от удовольствия, он хватал Шовкуна за плечо и энергично тыкал пальцем в том направлении, где разорвалась мина.

— Видишь, видишь? — говорил он, не спуская с траншей глаз. — Накрыта! Цель накрыта! Чудесно! Молодцы!

И наскоро записывал что-то в свой блокнот. Организацию боя он всегда воспринимал как процесс неустанного творчества, материал для все новых обобщений и уточнений. Брянский оценивал бой не только по его окончательным результатам, хотя это, конечно, главное. Брянский оценивал его еще и по тому, как он был подготовлен, проведен, как разворачивался, как преодолевались сложные ситуации и неожиданности, всегда возникающие в ходе боевых действий. Какой-нибудь, даже самый маленький бой батальона выступал перед Брянским либо «неопрятным», как он говорил, — с лишними жертвами, либо проведенным точно, смело, с наименьшими потерями. После очередного боя, когда комбат собирал командиров рот, чтобы подвести итоги, Брянский говорил:

— Уничтожение такой-то группы противника в таком-то перелеске было проведено решительно, точно, красиво.

Командиры стрелковых рот всегда были рады случаю подшутить над Брянским.

— Особенно, — говорил кто-нибудь, — «красиво» сержант Новиков засадил штык тому немецкому унтеру пониже пупа!

И сейчас, руководя огнем своей роты, Брянский все время

следит и за огнем других минрот и минометных батарей, всякий раз делясь своими наблюдениями с Шовкуном:

— Смотри, смотри, как Сергеев строит веер! Ишь, жук! Накры-ыл! Накрыл всех!

Шовкун, не знавший никакого Сергеева и слабо разбиравшийся в веерах, немало дивился неутомимости своего командира.

— И на что он вам, товарищ гвардии старший лейтенант, тот Сергеев? — осмеливался спросить ординарец с мягкой вежливостью. — Мало вам, что ли, хлопот со своей ротой? Разве вы и за Сергеева отвечаете?

— Шовкун! — взглядывал на него Брянский с неожиданной суровостью. — Мы за всех отвечаем! Понял? За всех и за все!

И снова, упершись локтями в сухую глину бруствера, впивался острым взглядом в поле боя.

А под обрывом, где разместились его огневая позиция, творилось что-то необычайное. Чаханье горячих минометов, гомон, суета, ругань. Посмотреть со стороны на этот ералаш, так подумаешь, что эти люди лишились рассудка и мечутся, не помня себя, запертые в этой клетке, наполненной палящей духотой. И только приглядевшись поближе, можно было заметить, что тут господствовали полный порядок и четкость хорошо налаженного механизма. Это было единственное сравнительно неуязвимое место под высотой, и сюда сбились все, кто имел на это право и возможность.

Кроме огневой Брянского, тут разместился командный пункт батальона со всем своим штатом, до писарей включительно. Писари, разложив на коленях свои нескончаемые сводки, придавали всей картине особую деловитость и уверенность.

Тут же развернулись и санитарные взводы, около которых собралось несколько десятков раненых, сидевших и лежавших на самом дне рва в ожидании темноты. Штабной офицер с молдаванином-переводчиком допрашивал первых пленных, захваченных сегодня. Они были еще мокрые от пота, очумевшие и ничего, кроме нашей вчерашней артподготовки, не помнили.

Какой-то контуженный сержант, собрав возле себя группу легко раненных, заикаясь, очень громко рассказывал, как он подложил взрывчатку под дот и как его оглушило, потому что не успел отползти подальше. Другой, совсем молоденький боец-грузин, смешно изображал, как подстерег фрица, когда тот, не ожидая гостей, открыл бронированные тыловые двери дота.

— «Буна дзива», — сказал я ему и оглушил прикладом. А в дот — противотанковую...

Жара нестерпимая. Весь овраг до самых краев залит прозрачным, расплавленным зноем. Сюда не залетит ветерок и не всколыхнет горячий воздух.

Расчеты у минометов стоят, обливаясь потом, черные, как негры. Но настроение у всех возбужденное и приподнятое, потому

что то и дело приходят вести о падении то одного, то другого дота.

Хаецкий, с красными от бессонницы глазами, сидит весь закопченный, вставляя в мины дополнительные заряды. Он безумолку балагурит, поблескивая из-под усов белыми крепкими зубами.

— Товарищ гвардии лейтенант, — обращается он к Сагайде, подбрасывая на руке мину. — А приятно какому-нибудь фрицу поймать в руки такой огурчик?

Где-то поблизости, вверху над обрывом, разрывается снаряд, и обессилевшие осколки фырчат над головой, как сытые перепела. Это немного тревожит Хаецкого, и он задирает голову туда, поверх обрыва, к небу. Он грозит в сторону противника миной.

— Эй, имей сознание! — кричит Хома, развлекая всю роту. — Куда ты стреляешь? Чего ты хочешь? Или надумал меня убить? Но это было бы очень плохо! У меня дома жена, и двое детей, и отец-старик! Да ведь и я жить хочу!

Роман Блаженко тоже заряжает мины. Это легкая работа, и рана ему не мешает.

— Я бы постыдился, — говорит он, — сидеть сложа руки, когда у всех такая страда, такая запарка... Я ведь съедаю такой же котелок каши, как и другие.

Все знают, что он очень работающий. Без работы он чахнет, как колос в засуху. Роман — человек нежной и тихой души. Заведут они, бывало, с братом Денисом, словно ярмарочные лирики, только им одним известную песню про «песочек, что замечает милого следочек», и Блаженко-старший сразу разжалобится до слез. Однако смеяться над ним, обидеть его никто не отважится, потому что около него находится Денис, атлетического сложения человечище лет тридцати, с вечно насупленными черными бровями и, как ястреб, поглядывает вокруг. В любую минуту и перед кем угодно он готов заступиться за брата.

У телефона сидит Маковей; в роте его все называют Маковейчиком, потому что он тысяча девятьсот двадцать шестого года рождения и у него симпатичное лицо с широким, как бумажный кораблик, носом. Сам Маковейчик маленького роста, но грудь у него молодецкая и всегда выпячена вперед, а на плечах сидит лобастая подвижная голова, которая, по словам Сагайды, предназначалась для великана и по ошибке очутилась у Маковейчика. Сагайда любит забавы ради всей пятерней провести по голове Маковейчика от лба до подбородка.

— Не балуйте! Не пацайте! — кричит тогда боец и бросается на Сагайду бороться, потому что это «пацание» означает, что сейчас можно пошутить и с лейтенантом.

Когда рота стояла еще на формировании и много пела по вечерам, Брянский добился перевода Маковейчика в минометную роту из стрелковой, потому что Маковейчик — прекрасный запевала. Иногда талант этот ему же вредил. Дежурия ночью у ап-

парата, он, бывало, от скуки начнет соловьем заливаться в трубку, очаровывая незнакомых и невидимых девушек-телефонисток, пока разъяренный командир взвода связи не обрушится на него, угрожая всяческими взысканиями. Однако Сагайда, который не терпел, чтобы на его бойца наседали кто-нибудь, кроме него самого, трижды «пацал» Маковейчика пятернею, и этим все ограничивалось.

Но сейчас Маковейчику не до песен. Он сидит у аппарата с трубкой, привязанной через голову к уху. Он передает команды Брянского, его похвалы и проклятия, сообщает обрывки подслушанных разговоров о положении на дотах, а сам думает и закликает, чтобы снова не порвало кабель. Сегодня он уже шесть раз бегал по открытой высоте на линию, и каждый раз старшие бойцы провожали его сочувственно, потому что в конце концов все его любили. Правда, он не приходился им настоящим земляком и даже ехидно подтрунивал над их разговором, передразнивая, как «Г'андрей г'узенькою г'уличкой повез пахарям г'обедать». Но старшие не были на него в претензии за эти шутки — мальчишка многим из них годился в сыновья и, может быть, напоминал им собственных детей и тепло родных гнезд. Когда он возвращался с линии, появляясь на гребне окопа и прыгая оттуда, как с неба, рота облегченно вздыхала:

— Маковейчик! Живой!

И все же линия опять замолкла. Маковейчик, проверяя самого себя, некоторое время кричит в трубку, ругает своего напарника, сидящего где-то на наблюдательном пункте. Но напарник молчит, и Маковейчик, чертыхаясь, выскакивает из окопа. Он просит у Хаецкого нож на случай, если придется зачищать концы кабеля. Хаецкому жаль давать нож, и он долго ищет его в своих карманах, полных «имущества».

— Быстрее ищи! — кричит Маковейчик. — Вижу, что жалешь.

— Смотри, не потеряй!

— А если и сам не вернусь?

— А нож чтоб был.

Маковейчик хватается за кабель в руки и бежит вдоль линии. Пока линия идет по оврагу, Маковейчик чувствует себя спокойно. Но вот она потянулась в гору. Маковейчик пошел вдоль нее и очутился на открытом месте. Тут ему начинает казаться, что он совсем голый. Безлюдная земля, выгоревшая трава, и разрывы грохочут то тут, то там по всей высоте. Маковейчик бежит, пригибаясь, издала напоминая катящийся клубочек, а кабель бежит у него в руках, обдирая пальцы. На какое-то время линия входит в разрушенную траншею, потом снова взбирается вверх и тянется по пригорку.

Солнце стоит где-то над головой. Пот заливает глаза, и солоно становится на сухих губах. Невдалеке упал снаряд. Маковейчика обдало горячей волной, он ощупал, оглядел себя: цел и не-

вредим; и снова покатился в пороховых газах, в горьковатой духоте, один, как в пустыне. Глядя на эту высоту со стороны, он никогда не представлял, что она так велика! А сейчас ему кажется, что он бежит по ней уже целый час. Но вот и обрыв кабеля. Маковейчик зубами зачищает концы провода, забыв, что в кармане у него лежит нож Хаецкого. Соединив провод, он пускается обратно. Вниз бежать значительно легче. Он чувствует удовлетворение оттого, что наладил линию, и уже не так сильно пугается снарядов. Кое-где желтеет ободранное дерево; пахнут, изнывая от жары, полевые цветы, еще не срезанные металлом.

И вдруг Маковейчик останавливается, как вкопанный.

В нескольких метрах впереди из-за бугорка неожиданно показался румын в зеленом мундире и постолах. Он, видимо, тоже не ожидал такой встречи и остановился с разгону, тяжело дыша. Худой и черный, он смотрел на Маковейчика, а Маковейчик на него. Это длилось считанные секунды, а им казалось, что они стоят друг против друга уже давно.

И сразу, как по команде, оба круто повернули и... пустились наутек в разные стороны.

Лишь отбежав довольно далеко, Маковей почувствовал за спиной автомат. Налетев на румына, он совсем забыл о своем ППШ¹, как забыл, наверное, и румын о своей винтовке.

Словхотившись, Маковей быстро снял автомат и оглянулся. Эге, догони попробуй! Постолаы зеленого румына мелькали уже далеко. На его вылинявшей спине болталась забытая винтовка. Телефонист пустил ему вдогонку длинную очередь. Румын оглянулся на бегу, нагнулся и... глумясь пошлепал себя по заду.

— Ах ты, мамалыжник! — крикнул Маковей, беззлобно выпуская еще одну очередь, хотя румын уже скрылся за бугорком. — Бежит, аж кости стучат, а еще насмешки строит!

Маковей было как-то и стыдно, и легко, и весело.

«Счастье твое, что автомат был у меня за спиной, — мысленно грозил телефонист румыну. — Я бы тебе показал, нушти русешти!..² И откуда ты здесь взялся? Заблудился, как поганая овца, и мечется во все стороны».

Вернувшись на огневую, Маковей не удержался, чтобы не рассказать о своем конфузном приключении. Товарищи подняли его на смех:

— Эх ты, растяпа!

— Эх ты, соловей!

— Ты бы ему: хендэ хох!

— Забыл, — неловко каялся Маковейчик. — Все вылетело из головы. Глаза у него, как два черных колодца... Большие, блестят...

— Смотри, Маковей, в другой раз растеряешься — аминь тебе!

¹ Пистолет-пулемет Шпагина (автомат).

² Не понимаю по-русски (рум.).

Вся рота потешалась над своим соловьем, но в душе товарищи делали скидку на зеленую молодость телефониста. К тому же для Маковейчика это был первый бой.

Сидя над аппаратом, Маковей терпеливо сносил шутки и насмешки.

— Как ты мой нож не потерял, когда показал румыну спину? — говорил Хома Хаецкий. — Я бы с тебя шкуру на кисеты содрал. Полосами драл бы!

«Погодите, — думал Маковей, — погодите... Разве на этом конец?.. Стану и я таким солдатом, как наши полковые «волки». Сказано ведь: солдатом не родишься, а делаешься...»

На сердце у Маковейчика легко и просторно, потому что кругом так много солнца, что даже небо добела раскалилось, а внизу, далеко-далеко, за насыпью, виднеются луга, и, дрожа, бежит по ним марево, как отары прозрачных водяных барашков. А на тех лугах, припомнил Маковейчик, румыны в белых штанах пасут с собаками свои стада. И у овец на шеях маленькие звонкие бубенчики...

В сердце маленького телефониста поют весенние, солнечные хоры.

XI

Наконец высота пала.

Это случилось на следующую ночь, перед рассветом, и первым об этом узнал Маковейчик. Линия сразу наполнилась радостным клетотом, поздравлениями. Ночью румыны отступили. Никто еще не знал тогда, что отступили они в последний раз, что в эту ночь Румыния, окутанная заревами, капитулировала.

Снималась наша пехота. Связисты, свободно прохаживаясь по высоте, сматывали кабель, обозы потянулись к высоте и уже не возвращались обратно, а стали под нею огромным шумным табором. Утро было высокое и ясное, как после грозы. Саперы-подрывники подкладывали под пустые доты десятки килограммов тола, и доты с ревом подымались из земли и, почти неповрежденные, становились на дыбы, как фантастические чудовища, растопырив скрюченные лапы железных креплений.

Взяв минометы на вьюки, рота Брянского двинулась вперед. Здоровая свежесть летнего утра омывала бессонные глаза бойцов, охлаждая опаленные, давно не мытые лица. Один за другим поднимались бойцы на высоту за командиром роты. Рубахи на спинах побелели за эти дни, на них выступила и засохла соль.

Впереди Черныша шагал Гай, неся тяжелую плиту, которую всего несколько дней назад чистил и нес Бузько. Навьюченная на спину бойца металлическая плита поблескивала, как лемех.

Достигнув вершины, остановились передохнуть. Какая открылась картина!

Далеко справа, на западе, румянятся под утренним солнцем

вершины Карпат. Среди зелено-сизых полей, извиваясь, поблескивают воды тихого Серета. В окутанных легким туманом степях, сколько хватает глаз, виднеются вдаль зеленые островки сел, утопающих в садах, над которыми высятся белые церкви. Как будто и не было там никогда войны и никто не слышал, что она вообще существует на свете. Казалось, там, как и раньше, ревет скот, угоняемый утром на пастбище, и ходит по улицам допотопный старик, объявляя законы под звон своих цимбал. И только эта высота стоит перепаханная, перегоревшая, изодранная, словно прошел над нею страшный смерч, покрыв ее трупами, клочьями одежды, брошенным оружием, противогазами и разным хламом, каким засоряет землю война. А по всему этому кладбищу высятся бетонированные доты, вывороченные нашими подрывниками из земли.

— Корчуйте их, корчуйте! — кричит Хаецкий, словно саперы могут услышать его. — Корчуйте их под железный корень! А мы выкорчем и тех, кто разводит на земле такую погань!

Саперы группами снуют по всей высоте с миноискателями в руках, обозначают минные поля, делают проходы бойцам в логово врага.

«Л»... «Л»... — возникают на высоте свежие деревянные таблички.

Всеми овладело повышенное настроение, потому что чистое, словно выкупанное, августовское утро раскинулось до самого горизонта, потому что после горькой духоты и напряжения этих дней враг отступал, а они остались живы и впервые дышали вольно, полной грудью. Ни единого выстрела не слышно было над землей.

— Вот и траншея, по которой мы вели огонь, — сказал Брянский, и всех потянуло взглянуть на результаты своей работы.

Глядя под ноги, чтобы не наступить на мину, бойцы подходили к траншее.

Траншея представляла ужасное зрелище. Это было какое-то месиво из глины, окровавленного тряпья и замерших в различных позах желтых трупов. Один босой, с портянками на ногах, сидел, опершись спиной о стену траншеи и склонив голову, словно в раздумьи. На коленях у него как будто прикорнул лицом вниз другой, с брезентовым открытым ранцем на плечах, откуда торчало грязное белье. Рядом, наполовину заваленный землей, лежал третий.

Не обращая внимания на трупы, Брянский привычным взглядом профессионала сразу определял, куда падали мины.

— Эта разорвалась на бруствере... Эта ударила в стенку... Интересное попадание... А эта легла на самое дно...

И, обращаясь к своим офицерам, продолжал:

— В этом бою я сделал очень интересные наблюдения. Мне кажется, что то построение огня из нескольких минометов, какое

мы применяли до сих пор для траншей такого типа, может, при некоторых коррективах, давать намного лучшие результаты... Смотрите, под каким углом эта траншея стояла к нам...

И он начал развивать свои идеи, глядя на Черныша.

— У тебя после каждого боя целая туча идей, — замечает Сагайда, который, видимо, давно привык к этому. — Факт, что мои усачи дали жару. А ты все кричал, что партачим!

Денис Блаженко молча опустил ся в траншею и отыскал там несколько сизых осколков.

— Это из моего миномета, — заявил Денис, хмуро взглянув на Брянского.

Осколки пошли по рукам.

— Почему обязательно из твоего?

— Вот моя маркировка. Она у меня записана.

— Не волнуйтесь, Блаженко, — улыбнулся ему Брянский, разгадывая тонкий ход мыслей бойца. — Я все помню. У меня каждый честный боец свое получит.

Шли по самой высоте, перепрыгивали через траншеи, не могли удержаться, чтобы не осмотреть все воронки. Встретился один из батальонных связистов и показал тропку, по которой недавно прошла пехота.

Кое-где на высоте покачивались белые пушистые метелки ковыля, певучей степной травы, которая от малейшего ветерка начинает тонко звенеть. Из каких степей и какими ветрами занесены и посеяны тут ее семена и каким чудом спаслась она от огня и металла в эти дни? Кое-где возле воронок седеет безводная полынь или кустится пахучий чебрец, и Гай, сгибаясь под тяжелой плитой миномета, не ленится наклониться, чтобы сорвать душистый кустик. Потом, закинув голову к солнцу, он несколько раз глубоко вдыхает запах сухого цветка и щурится как-то особенно ласково, улыбаясь неведомо кому.

— Ловко пахнет, — приговаривает он, — это наша трава... По-нашему пахнет.

Удивительной была любовь к растениям и запахам у этого полесского юноши.

— Ты бы еще, как дивчина, веноч сплел из этих цветочков, — смеются бойцы.

— Я сплел бы, если б время было, — отвечает Гай зардевшись. — Я умею.

Каждый чего-то искал, словно здесь были рассыпаны драгоценности. Кто-то нашел сигареты, кто-то натянул на себя пеструю, как ящерица, плащ-палатку, но ему закричали, что она в крови, и он брезгливо отбросил ее прочь. С интересом поднимали всякую блестящую вещицу чужого солдата и, повертев в руках, бросали ее и опять что-то искали, пока не прозвучал внезапно громовой взрыв, и ясное утро сразу нахмурилось: Гай наступил на мину.

Еще минутой перед этим Черныш видел его. Он стоял над си-

ними васильками, ласково улыбаясь им. Потом нагнулся, бережно сорвал цветок и не успел ступить и шагу, как земля грохнула и все исчезло в черном дыму. Там, где стоял Гай, вздыбился черный столб, и когда он рассеялся, внутри ничего не оказалось, словно боец, в одно мгновение, вспыхнул и сгорел...

Сняли обожженную взрывом плиту, которая придавила его к земле. Тело, освобожденное от брезентовых скривленных лямок, словно вздохнуло и сникло бессильно. Гай лежал, вытянувшись во весь рост, и только теперь все увидели, какой он был красивый, стройный, широкогрудый. Шелковистые светлые брови лежали на задымленном лице, как две ковыльные косички, занесенные сюда буйными ветрами из восточных степей. Доверчиво и немного удивленно смотрел он в чистое небо, а глаза были еще синее неба, прозрачные, как сапфир. И удивительнее всего были синие, опаленные взрывом васильки, стиснутые в мертвых пальцах юноши. Так и похоронили его с этими полевыми цветами родного края.

С трудом нашли иссеченные документы. В том же кармане была и пригоршня автоматных патронов. Маковойчик выгреб их, словно золотые семечки, и пересыпал в свой карман. Он не знал, что становится уже третьим хозяином этих патронов.

Смерть Гая оставила тяжелое впечатление, усиленное, может быть, тем, что случилась она не вчера, в кромешном пекле боя, а именно в это утро, когда такая ясность разливалась вокруг и бескрайние степи дышали пышностью юга.

Бойцы шли, сурово задумавшись, исподлобья поглядывая на незнакомые, чужие края, расстилавшиеся перед ними внизу, на далекие белые города, в каких они еще не были, но непременно должны побывать.

— И там вас настигнем, — яростно блеснул белками Хаецкий. — И ничего не забудем. Ни капли!..

Вскоре догнали батальон. Он также еще не успел спуститься вниз, хотя разведка докладывала, что и в первом городке и дальше противник не обнаружен. Старшины кормили людей. Впервые за трое суток бойцы ели как полагается, сидя на зеленом склоне, где еще вчера был вражеский тыл. Ели не спеша, пригреваемые солнцем, и улыбались солнцу так, будто долго не виделись с ним. Черныш сидел в стороне от роты, на траве, опершись подбородком на руки. Смерть Гая ошеломила его.

Припомнилась та ночь, когда Гай, рискуя жизнью, пополз вместо него, Черныша, отыскивать среди трупов Бузько и Вакуленко... И сегодняшнее утро, и боец, лежавший на высоте, иссеченный взрывом, с васильками в руках... Было нестерпимо грустно.

За дни штурма Черныш заметно похудел, его смуглое мальчишеское лицо вытянулось, густой румянец на щеках потемнел, как дубовый лист, охваченный багрянцем.

Солнце уже поднялось. Внизу, на равнине, в дрожащем го-

рячем мареве, раскинулось степное местечко; Черныш не раз видел его на топографической карте у Брянского. Там оно было только группкой черных прямоугольников, а в действительности тут, перед глазами, какой красивый городок! Широкие улицы бегут к солнечной, слепящей реке, в зелени кварталов поблескивают жестью крыши, виднеются белые стены, словно развешанные экраны. Но Черныш знает, что все это только развалины.

Задумавшись, Черныш не заметил, как сзади подошел к нему Роман Блаженко, и, остановившись, тоже молча стал смотреть на городок.

— Я бы их не убивал, — вдруг промолвил боец, и Черныш, вздрогнув, оглянулся на него сухими, воспаленными глазами.

— Кого?

— Вот тех гитлеров, антонесок разных, — вот тех министров, каким не сидится без войны... Убить — что ж... Этого мало. Я заковал бы их в цепи и водил бы... Нет, пусть бы те маленькие сироты водили, каких они, как маковые зерна, пустили по миру. Пусть бы они их водили по всем дорогам и по всем странам... И не давать бы им ни хлеба, ни воды... Пусть бы они ели пепел наших сожженных хат... Грызли бы задымленный кирпич наших разрушенных городов... Я бы припекал их медленно, изо дня в день, тем огнем и железом, какие они обрушили на нас. Чтоб нажрались войны, чтоб никому уже не захотелось ее никогда!..

— Будем жечь.. Выжжем... Как заразу! — угрюмо подтвердил Черныш.

Блаженко, спросив разрешения, сел рядом на траву и, снова глядя вниз и шурясь, отчего его морщинистое лицо стало казаться более старым, укоряюще продолжал:

— Только и этого мало, мало!.. Вот Гай был... Такой славный хлопец... Молодой, хороший, совестливый такой... Разве прожил он свой век? Разве он не хотел еще посмотреть на это солнышко! А они ему... так! — и боец глубоко вздохнул.

Взглянув ненароком на младшего лейтенанта, Блаженко окаменел: Черныш плакал. Плакал, не замечая слез, впившись суровым затуманенным взглядом в зеленый пустой городок с белыми экранами. Если бы его спросили, о чем он плачет, он не смог бы ответить. Бывают минуты, когда становится жаль всего на свете: и товарищей, и солнце, и этот вот румынский городок...

«Хочется всех приголубить!» — не выходили у него из головы слова Гая.

Это были его первые и последние слезы на войне. Позже, вспоминая их иногда, Черныш стыдился своей чувствительности, не зная, что это, может быть, был самый нежный голос его еще не огрубевшего сердца.

Подали команду двигаться. Впереди шли, не рассредоточиваясь, стрелковые роты, затем штаб батальона, за ним рота Брянского. Спускаясь вниз, Брянский и Сагайда о чем-то спо-

рили, скользя по сочной траве. Зеленые парусиновые сапожки Брянского совсем вылиняли за эти дни.

«Они уже все забыли, все-все, — без упрека подумал Черныш. — И штурм, и опасности, и Гая...»

Через несколько дней на марше, когда они ближе сошлись с Брянским, Черныш напомнил ему этот эпизод. Старший лейтенант задумался.

— Знаешь, Черныш, — сказал он после некоторой паузы, — знаешь... Я видел за эту войну то, что, может быть, немногие видели. Я понял то, что, наверное, также поняли немногие. И от того, что увидел и понял, я стал или мудрее, или... Да что нам об этом сейчас говорить, ты все это на себе испытываешь.

XII

Тыргу-Фрумосский и Ясский укрепленные районы противника были прорваны. Триста пятьдесят железобетонных оборонительных сооружений, которые, казалось, стояли нерушимым железным валом от Пашкани до Ясс, теперь оставались уже позади наших бойцов. В прорыв были введены ударные войска Второго Украинского фронта. Громя врага, уничтожая его резервы, встречающиеся на пути, они вскоре вышли к городу Васлуй, овладели им и быстро продвигались на юг. Один за другим пали города Роман, Бакэу, Бырлад, Хуши. Выйдя в район Лопушна — Леушени на реку Прут, войска Второго Украинского фронта встретились с войсками Третьего Украинского, наступавшими все эти дни с плацдарма возле Бендер на запад, вдоль знаменитого Троянова вала, обходя таким образом с юга и юго-запада кишиневскую группировку немецко-фашистских войск. Соединившись, войска обоих украинских фронтов наглухо сомкнули кольцо вокруг кишиневской группировки противника. Началось планомерное, беспощадное сжатие этого грандиозного кольца, в котором оказались, кроме румын, пятнадцать немецких дивизий из группы войск «Южная Украина».

Развертывалась одна из блестящих битв Великой Отечественной войны. Несколькими сокрушительными ударами наши войска разрубили на части окруженные вражеские дивизии, ликвидируя отдельные группы, продолжавшие жить, как живет некоторое время разрубленная на части гадюка. И ни один полк, ни одно подразделение из десятков тысяч окруженных не вырвалось из кольца.

День и ночь гремело в районе Ганчешт, Минжира, Хуши, Бакэу. Красная Армия уничтожала окруженные вражеские дивизии. Полководцы сталинской школы устроили здесь врагу поистине новые Канны. Тем временем другие войска обоих украинских фронтов вели общее наступление на центральные районы Румынии. В состав одного из этих наступающих соединений Вто-

рого Украинского входил и гвардейский стрелковый полк гвардии подполковника Самиева.

Весенним потоком хлынули с гор войска, затопили все дороги, которые вели в глубь Румынии на юг и на юго-запад. Уже доходили сведения о взятии Кишинева, Ясс, о капитуляции Румынии, но пока это были только слухи, ничего точного, определенного войска еще не знали. Шли форсированным маршем дни и ночи, почти не отдыхая. И было странно, что группы сдававшихся румын бредут навстречу без конвоя и никто их не трогает. Разве что какой-нибудь веселый боец крикнет:

— А, Романия марэ!

— Спасайся кто как может, — в кукурузу!

А румыны брели, не отвечая на шутки, молчаливые и затаенно радостные, изнывая под пузатыми ранцами и солдатскими пожитками. Видно было, что это идут хлеборобы и пастухи, когoрых Антонеску оторвал от родных клочков земли, продав Гитлеру на убой, как стадо овец. Им уже мерещились родные дома, и они спешили туда по обочинам, уступая дорогу нашим колоннам.

Потом появились румыны не только без конвоя, но и при полном вооружении. Потянулись обозы, артиллерия — та самая артиллерия, которая, может быть, еще несколько дней тому назад была по нас из-за дотов, а теперь смиренно двигалась навстречу в походном порядке.

Постепенно бойцы начали обзаводиться лошадьми. Хаецкий появился в минроте, гордо сидя в каруце, покрытой брезентом и запряженной сытыми конями. Брянский начал распекать бойца, хотя подвода роте была очень нужна, — его люди обливались потом под тяжелыми выюками с материальной частью минометов.

— Что вы, товарищ гвардии старший лейтенант! — взмолился Хаецкий, чувствуя себя невиновным. — Помилуй бог, чтобы я грабил!.. Я свое отобрал! Это ж наши лошади, — или я уже неспособен их узнать?.. Из нашего колхоза! Я их и в Америке узнал бы! Два года на них зерно возил на станцию!.. Этой кличка — «Веселая», а этой — «Маринка»!

— Да это жеребец! — засмеялся кто-то из бойцов.

Хаецкий не растерялся:

— А кто запретит мне жеребца называть «Маринкой»?.. Тут еще где-то и корова моя у них, тоже отберу!

В конце концов Брянский разрешил сложить материальную часть на повозку. Бойцы в одно мгновение развьючились, и минометы уже лежали в каруце, заботливо переложенные сеном.

— Вьо! — крикнул Хаецкий, блеснув плутоватыми глазами. — Айда на Букурушти!

Лошади, почуяв, что вожжи попали в крепкие руки, по-лебединому выгнули шеи, весело пошли.

Утомленные круглосуточным маршем, бойцы мечтали о лоша-

дях. Как раз навстречу роте Брянского двигалась румынская кавалерийская дивизия, сверкая новой сбруей. Пока где-то там штабные работники ломали голову, как оформлять в бумагах передачу капитулирующими войсками средств передвижения нашим войскам, — такая передача была предусмотрена в акте о капитуляции, — серые от дорожной пыли пехотинцы с радостными возгласами накинулись на остолбеневших кавалеристов. В конце концов они имели на это право и без бумажной волокиты! Разве могли они, переутомленные последними боями, безостановочным маршем, потерять такой случай получить транспортные средства?! Враг удирал без оглядки, и его надо было догонять. А мимо проезжают на лошадях войска вчерашнего сателлита Германии. Может быть, это были и в самом деле те лошади, что еще недавно топтали поля за Днестром!..

...Сагайда появился в роте на высоком, стройном коне, как богатырь. Черная кубанка его была сбита набекрень.

— Чего вы спите? — кричал он хрипло. — Ни черта не останется!

И снова куда-то исчез.

Мимо Черныша пробежал Казаков.

— Привет, младший лейтенант! — крикнул он на ходу. — Айда за конями!

Черныш очутился с Казаковым в самой гуще.

Румыны растянулись на целый километр, сбились с лошадыми на обочинах дороги. Черныш видел, как какой-то пехотинец, ругаясь, тянул за ногу с лошади чужого кавалериста, а тот, упираясь, восклицал:

— Капитуляция! Капитуляция!

Подскочил Казаков, оттолкнул бойца и, свирепея, крикнул кавалеристу:

— Слезай! Разве вам на таких конях ездить?

Кавалерист мгновенно очутился на земле, а Казаков в седле.

— Это нам сама судьба их посылает! — крикнул Казаков. — Разве не заслужили?!

Черныш схватил первую попавшуюся лошадь.

— Слазь! — властно крикнул Черныш седоку, поймав лошадь за разукрашенную уздечку.

В седле сидел чернявый молодой сержант и в упор смотрел на Черныша, играя нагайкой.

«Похож на меня! — невольно подумал Черныш. — Наверное, тоже спортсмен!»

— Слезай! — крикнул он сержанту.

Тот неожиданно ответил по-русски:

— Без приказа не могу. Капитуляция!

«Наверное, в Одессе был, если говорит по-нашему, — подумал Черныш. — Может, это он и Гая убил, поставив мину под васильками!..»

И, чувствуя, как гнев переполняет его, Черныш снова скомандовал:

— Слазы!

— Доминэ офицер! — взмолился сержант, но тут же вылетел из седла с доброй помощью Казакова, который подъехал к нему с другой стороны. Черныш легким движением послал ногу в стремя. Оно напомнило ему светлое детство, степи Казахстана, где он ездил на маленьком коне в отцовской экспедиции...

Навстречу Чернышу скакал без оглядки на разгоряченном коне какой-то лысый пехотинец без пилотки с редкой серенькой бородкой. Он, видимо, никогда не сидел на лошади и сейчас крепко вцепился обеими руками в гриву; трензеля упали, и конь уже оборвал их ногами. Зацепившись и храпя, конь летел во весь дух, почувствовав на себе непривычного седока.

— Останови! — молил не своим голосом пехотинец, дергая гриву. — Останови, останови!

Бойцы хохотали.

Среди подвод суетился Маковейчик. Он искал транспорт, чтобы уложить на него катушки с кабелем. Маковейчик терялся и не знал, на чем остановиться. Наконец его внимание привлекла желтая легкая рессорка. В ней не было никого. Маковейчик, словно тигренок, вскочил в нее и схватил вожжи. Кучер, обедавший в стороне, подбежал с ложкой в руке.

— Пожалуйста! — весело говорил он Маковейчику, очевидно довольный тем, что его освобождают от этой обузы. Теперь он уже непременно покончит с войной и вернется домой. — Пожалуйста, товарищ!

Румын объяснил, что он хочет забрать из тачанки свое имущество.

— На, на, забирай! Мне, кроме лошадей, ничего не нужно!

Маковейчик начал сам выгружать все из шарабана; одеяло, мешок, облезлую смушковую крестьянскую шапку. На самом низу в сене лежали яблоки. Румын отказался их взять, оставляя Маковейчику в знак расположения.

Солнце сияло, кони ржали, румыны, освободившись от них, уже весело варили что-то на бездымных кострах. Вокруг стоял веселый гомон ярмарки, синее небо звенело, сухая дорога дымилась пылью, лысый пехотинец уже мчался с другой стороны на своем злополучном коне.

— Останови! Останови! — вопил он охрипшим голосом, вцепившись пальцами в гриву, а полы его шинели развевались, как серые крылья.

— Держись, казак! — смеясь, отвечали ему бойцы, и никто даже не пытался остановить коня. — Атаманом будешь!

За несколько часов все пересели на лошадей. Штабные писаря наскоро оформляли передачу на бумаге. У Брянского каждый расчет достал себе подводу. В третьем расчете ездовым сел Блаженко-старший. Он терпеливо, по-хозяйски выбирал лошадей и

подводу. У лошадей осматривал копыта, заглядывал в зубы. Каруцу он обошел с братом Денисом несколько раз.

— До Бухарестов дойдет, — и постукивал кнутовищем по колесам.

Крепкие колеса звенели. Все же, посоветовавшись между собой, братья добыли еще и запасное колесо и положили его в повозку.

— Потому что там, говорят, камень пойдет.

Все шоссе теперь загремело, заскрипело, затопало. Подразделения на ходу строились в походную колонну. Командир полка Самиев то и дело обгонял ее на мотоцикле, удовлетворенно оглядывая бойцов и приказывая командирам строжайше следить, чтобы никто не отстал.

— Теперь мы их догоним, товарищ гвардии подполковник! — не утерпел Хаецкий, чтоб и тут не высказаться. — Догоним, хоть на краю света!

Гремела дорога, поднималась пыль, окутывая бойцов серой тучей. Только головы всадников выплывали из нее, покачиваясь ритмично то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Шоссе не вмещало могучего потока, и много верховых скакало вдоль дороги, прямо по хлебам, со свирепо-радостными криками, в бурной ярости погони.

— На войне как на войне! — воскликнул Черныш, скача с товарищами-офицерами впереди своей роты, и отчаянно свистнул плетью, забывая обо всем на свете.

XIII

Мчались, не переводя дыхания. Врывались в неразрушенные, чистые города. Белые флаги свисали с каждого крыльца, с каждого балкона. Черныш с гордостью смотрел на эти флаги, на эти символы покорности, которые как бы утверждали непобедимую мощь его родной армии. Городская публика шпалерами стояла на тротуарах и смотрела, как с грохотом проносились по улицам незнакомые войска — неуправляемые, полные энергии. Бойцы, обветренные сухими ветрами юга, с потрескавшимися губами, верхом мчались по асфальту, не останавливаясь даже ради того, чтобы выпить глоток воды. Потому что на стенках городских домов уже выросло огромное, в рост человека, «Л» с толстой, как рука, стрелой. Кто-то уже промчался здесь до них, кто-то уже начертал это «Л», хотя они думали, что идут первыми. Казалось, это «Л» само вырастает на стенах домов по всему пути. И они гремели и грохотали по городским асфальтам, вылетая снова в степь, и гнали, гнали коней, охваченные азартом преследования. Враг, избегая боя, поспешно отступал и еще сильнее притягивал и дразнил этим, как дразнят охотника свежие звериные следы.

Как-то под вечер впереди возникли мягкие силуэты гор, словно выступили незаметно, из голубизны горизонта. За ними заходило солнце, выпуская пышные румяные стрелы в белые облака, и эти стрелы так же, казалось, указывали бойцам дорогу вперед, как естественные огромные указки. Всю ночь без остановки мчались к тем горам. Теперь уже было ясно, что дивизия идет не на Бухарест, как предполагали офицеры, а повернула на запад, в Трансильванские Альпы. Похоже было, что горы стоят вот тут, рядом, а пришлось еще скакать день и ночь, пока, наконец, войска не начали входить в ущелья.

Опустился вечер, и сразу похолодало, хотя днем была нестерпимая жара. Сагайда, передав лошадь бойцу, забрался в повозку и скоро уснул. Он любил поспать и при малейшей возможности не отказывал себе в этом. И сейчас, несмотря на то, что колеса прыгали по камням и что-то металлическое то и дело постукивало его по голове, он спал и даже видел сон. Ему мерещилось, что это командир полка Самиев тычет его кулаком по затылку и приказывает выбросить вон кубанку. По поводу этой кубанки с казачьим красным донышком у Сагайды не раз возникали конфликты с полковым начальством. Командир полка, горячий патриот пехоты, очень не любил «модников», «кубанщиков», как он говорил, а Сагайда принадлежал как раз к закоренелым «кубанщикам». Он носил кубанку в холод, отмораживая уши, в жару, обливаясь потом, причем она сидела у него почти на самом затылке. Командир полка, встречая его, не шутя грозил Сагайде кулаком. Сагайда давал слово бросить кубанку и никак не мог разлучиться с ней.

«Потеряю я свою кубанку...» — любил он напевать в землянке.

Шовкун, покачиваясь, дремал в седле. Мокрая, пропотевшая за день спина теперь мерзла. Плащ-палатку он только что отдал Брянскому, сказав, что сам наденет шинель, но шинель его была где-то глубоко завалена в повозке, и до привала он не мог ее достать. А привала все не давали;

Дорога поднималась выше и выше. Впереди, в темноте, она извивалась и грохотала, как бескрайняя река, которая текла не вниз, а в гору.

— Это ты, Шовкун? — окликнул всадник в темноте, поровнявшись с ним.

По голосу нельзя было узнать, кто это, потому что всадник хрипел; тут все охрипло, как только вошли в горы с их резкими переменами температуры. Приглядевшись, Шовкун узнал Романа Блаженко. Роман был в высокой смушковой шапке, словно в богатейшем шеломе.

— Ты же ехал в каруце? — заговорил Шовкун.

— А теперь Дениса посадил на нее, пускай передохнет, а то он весь разбился в седле.

— Без привычки оно, конечно... А ты, вижу, в шапке?..

— Добрая шапка! Это мне Хома дал. И где он их достает?! А пилотку я спрятал в карман, потому что еду и дремлю... того и гляди потеряю.

— Уже многие едут без пилоток, растеряли спросонок.

— Ну и дорога! Это уже Карпаты, как ты думаешь, Шовкун?

— Это Альпы.

— Альпы? А где ж Карпаты? Нашего батьку в ту войну в Карпатах убило... Сосед, который с ним был, рассказывал, что даже могила его есть в горах.

— Где наших могил нету? Наши люди всюду бывали.

— Нам словно на роду написано — всегда освобождать всех и спасать всех.

— А тут и люди, сам видишь, тонкокожие.

— Углые... А немец драпает — и на коне не догнать.

— В горах зацепится.

— Опять будет крещение.

— Будет, ой будет!..

Проскакал мимо них комбат и, на ходу сорвав с Блаженко шапку, швырнул ее далеко в сторону.

— Вот тебе и на! — спокойно сказал Блаженко, будто ждал этого, и полез в карман за пилоткой.

— Он со всех поскидал эти шапки, — усмехнулся Шовкун. — По всему кювету лежат.

— Да я ж ее только ночью надевал, днем я знаю, что нельзя.

— Нет, тебе, Роман, в пилотке лучше... В шапке ты на чабана похож. А на нас, что ни говори, Европа смотрит.

— То правда. Она присматривается к нам, примеряется... Что, мол, за солдаты у Сталина, что они за люди?.. А холодно, однако...

— Я и сам озяб, — пожаловался Шовкун.

Несмотря на лютый холод, его все больше клонило ко сну. Тепло, шедшее снизу, от коня, приятно согревало и убаюкивало. Темнота тяжелела, словно сами горы смыкались над головой. Иногда Шовкуну казалось, что лошадь идет не вперед, а пятится.

«Что за чертовщина?» — вскидывает Шовкун голову. Но через минуту ему снова кажется, что лошадь ступает назад, будто чем-то напуганная.

Переехали вброд быструю горную речку и снова вышли на шоссе.

В полночь поднялся ветер. Среди скал загудели сосны, глухо, как бандуры.

— Уже, наверное, противник близко, — высказал предположение Блаженко.

Шовкун сопел в седле и не слышал его.

Среди темной ночи впереди вдруг занялось зарево, и чем выше забирались бойцы, тем больше оно разрасталось. Наконец

стало видно, что горит высокий мост над какой-то горной речкой. Пламя билось на ветру, как огромная багряная птица. Мрачные отблески ложились на горы, на сосны, на скалы. Вскоре оно осветило и лица бойцов, ехавших ему навстречу.

Скомандовали привал.

Сагайда проснулся оттого, что подвода остановилась и металлическая ножка лафета перестала толочь его по голове. Если б еще толкла, спал бы! Высунувшись из-под шинели, Сагайда в первый момент не мог понять, где он. Почему эти скалы поблескивают, почему гудят сосны?

— Коня отрезали! — хрипло закричал кто-то поблизости. — С поводьями отрезали! Остался ни с чем!.. И что мне теперь делать?

Послышался смех, шутки, стук котелков. Сагайда понял, что это не сон, а все наяву. Он соскочил с каруцы, дрожа всем телом от лютого холода. В стороне, при свете факела, два бойца ковали коня. Они спешили, то и дело поглядывая на кухню, тревожась, что не успеют поест. Так бывало на каждом привале, — проголодавшиеся бойцы прежде всего бросались ковать коней. Подковы терялись каждый день, а босой конь не мог тут пройти по камню и десяти километров. Охромевшего, замученного, его приходилось сгонять с дороги в сторону и бросать, отыскивая себе другого. А найти коня в этих глухих горах было не легко.

Вдоль дороги полыхали костры, бойцы, согреваясь, приплясывали вокруг них. Некоторые надвинули пилотки на уши. Возле одного костра Сагайда увидел Брянского и Черныша; они ели из одного котелка и о чем-то разговаривали. Сагайда направился к ним, на ходу доставая из-за голенища свою ложку.

— ...И самая высшая, по-моему, красота — это красота верности, — услышал, подходя, Сагайда воркующий, бархатный голос Брянского. — И пусть бы пришлось мне быть на фронте еще двадцать, тридцать лет... Быть еще шесть раз раненным... Посесть, состариться, а я все оставался б ей верен.

— Опять красота верности, — вмешался Сагайда, подсаживаясь к котелку. — Да ты уже забыл, какая она... ты веришь в сказку! Третий год ни письма, ни фотографии.

— Да, третий год, — продолжал Брянский. Он был сейчас в том настроении, когда человеку после долгого молчания вдруг хочется поделиться с кем-нибудь своим самым интимным.

Пофыркивали поблизости лошади, жуя овес; трескучий сосновый костер обдавал ласковым теплом.

— Она училась со мной на физмате, — продолжал Брянский, ловя руками тепло костра. — Три года мы с ней сидели рядом на одной скамье. Мы уже так знали друг друга, что даже мысли угадывали безошибочно. Собственно, у нас были не две, а одна мысль, разделенная на двоих. Я мог бы каждый ее взгляд перевести в слова и записать их с точностью все, до одного. У нас не было «моего» и «твоего». У нас было только «наше». И мы зна-

ли, что так будет всю жизнь... Вскоре после начала войны меня ранило. Я лежал в госпитале под Смоленском, и она ко мне приезжала. То была наша последняя встреча. Очень скоро немцы захватили Минск, и я еще успел получить от нее открытку с дороги. Она шла на восток, не зная, где остановится. Помню ее последние слова: «Если тебя не будет, Юрий, я ни с кем, ни с кем не смогу найти счастья... До самой смерти останусь одна!»

— И ты веришь? — перебил Сагайда.

— Верю. Верю, ибо знаю, что иначе не может быть. Это не самоуверенность. Конечно, она может встретить более красивого, чем я, более умного... Но я глубоко убежден, что... сердца... именно такого сердца не встретит. Потому что нет на свете двух абсолютно одинаковых сердец. А она любила именно такое, как мое. Тысячами граней светится каждое человеческое сердце. И только у нас, между нами двумя, эти тысячи граней, все до последней, светились одинаково, взаимно притягиваясь. Я после нее видел многих девушек, даже более красивых, чем она, даже настоящих красавиц, но ни одна из них не могла сравниться с нею. Не потому, конечно, что она самая лучшая в мире, нет, я не идеалист. Но именно такую, не худшую и не лучшую, я только и могу любить. Для меня она самая лучшая на земле. Поэтому я так верю и себе и ей... И я рад, что родился таким однолюбом. Это делает меня богатым и сильным. Я чувствую себя всегда богатым и сильным. Вот почему я и говорю, что наивысшая красота — это красота верности. Люди, которые мечутся, разменивая свои чувства направо и налево, по-моему, в конце концов должны чувствовать себя нищими.

— Однакоже я уверен, что ты ее позабыл, — не унимался Сагайда. — Разве она сейчас такая, как три года назад? Она уже и физически изменилась. И ты продолжаешь ее любить просто... из своего рыцарского упрямства. «Дама сердца»! Собственно, ты уже любишь не ее, а свое студенческое прошлое, свою молодость. Сказку!

— Пусть даже так! Пусть сказку. Но эта сказка будет светить мне всю жизнь.

— Выходит — ты идеалист? — спросил Черныш улыбаясь.

— В этом — возможно.

— А если и она тебя еще любит, — продолжал Сагайда, — то также лишь воображаемого, тоже как сказку. Фантазирует девочка, обтачивая для нас мины где-нибудь в Магнитогорске или Челябинске. Ведь ты тоже стал не таким, каким она знала тебя до войны и какого любила. Что ни говори, Юрий, а ты стал... до некоторой степени солдафоном... возможно только чуть меньше, чем мы.

— В какой-то мере ты прав, Володька, — согласился Брянский задумавшись. — Может быть, в сердце нет уже той нежности, что была... Сколько новых привычек, сколько новых жесто-

ких страстей пустили в нем корни. В сердце много кой-чего сгорело за эти годы. Но от этого оно стало... лишь более крепким.

Черныш лежал, опершись на руки перед костром и смотрел на огонь. Отблески пламени дрожали в его глазах.

— Более крепким, — бормотал Сагайда, выскребывая котелок. — Более крепким, а? Здорово!

— Сгорело... Выгорело... Но ради какой цели! — мечтательно произнес Черныш. — Ради такой, лучше которой у человека не может быть ничего.

Брянский не слушал его. Он сидел, обняв белыми руками свои выцветшие парусиновые сапожки, и равномерно покачивался. В этой позе он казался совсем маленьким, было что-то девичье в его остро поднятых плечах с твердыми аккуратными погонями. В глубокой задумчивости он глядел на костер, следил, как пламя пожирает зеленые ветки и на них, закипая, выступает смола.

— Всё, всё мы отдаем тебе, Родина, — произнес он вдруг каким-то странным голосом, ни к кому не обращаясь. — Всё! Даже наши сердца. И кто не изведал этого счастья, этой... красоты верности, тот не жил по-настоящему.

Он продолжал, покачиваясь, смотреть на пламя. Все молчали.

У соседнего костра Хома Хаецкий, облизывая ложку, серьезным тоном рассказывал товарищам:

— А я ей отвечаю: милая моя Явдошка! Твоего письма, в котором ты просишь денег, я не получал...

Подали команду двигаться. Снова сели на лошадей. Речку переезжали вброд. Некоторые лошади пугались воды, брыкались, рвали постромки. Пришлось бойцам, скинув брюки, заходить по грудь в ледяную воду. Перекинув вожжи вперед, они тянули за собой норовистых коней силой, как бурлаки баржу.

— Так и помогают всю дорогу, — сказал какой-то боец, — то лошади людям, то люди лошадям, а все вместе — вперед.

Теснота, шум, ругань, грохотанье подвод — и снова черная дорога в горы, взблески искр из-под копыт, цокот подков. Позади, разбушевавшись на ветру, догорал высокий мост, а вдоль дороги тлели осиротевшие, покинутые костры.

Холодная горная ночь на чужбине невольно располагала к откровенности. Сегодня даже Брянский, всегда сдержанный, охотно делился мыслями с товарищами, которые ехали плечо к плечу с ним. До сих пор Черныш не думал, что этот человек, который, казалось, был целиком занят лишь своими формулами, делами роты, боями, живет еще чем-то другим. Брянского он считал хотя и очень способным офицером, но сухим и до некоторой степени педантом. И, может быть, только эта походная ночь способна была вызвать Брянского на откровенность. Ему, видимо, сейчас хотелось еще и еще говорить о ней, о далекой любимой девушке, говорить хоть в пространство, хоть ветру, — словно она

могла где-то услышать его речь. Его неожиданно горячие слова о ней были овеяны песенной красотой.

— Где б она ни была, я найду ее! — уверял он товарищей. — Кончится война, и я вернусь к ней, отыщу ее!.. Она любит Бегховена. Она будет играть мне. А я буду слушать и вспоминать эту ночь в горах и думать о «Бессмертной возлюбленной»...

— А почему ты уверен, что она жива? — спросил вдруг Сагайда. — Я, конечно, желал бы ей сто лет жить, но ведь ты сам знаешь, что значит сейчас три года. И бомбежки, и пожары, и болезни... Да мало ли что...

— Нет, нет она жива! Она у меня крепкая, как алмаз! Где-нибудь на Волге, или в Сибири, или на Урале!.. Может быть, и в самом деле стоит в цехе, обтачивая для нас мины.

— Может быть, это она в азиатских степях на голом месте строила военный завод, — произнес Черныш, — В ветер, в буран, в жгучий мороз. И не забывала о тебе, Юрий!

— Может быть, и сейчас, читая сводки Информбюро, мысленно ищет меня в этих самых Альпах...

— Вот рыцари, вот фантазеры! — смеется в темноте Сагайда. — Фантазируйте, так теплее.

Черныш оглядывался на ходу и видел горное шоссе, забитое войсками, багровую реку, через которую артиллеристы переправляли пушки, и даль за рекою, где исчезала темная движущаяся масса войск. Казалось Чернышу, эта живая лента тянется к границе и дальше, дорогами родной земли, до самой комнаты его матери. Может быть, она сидит сейчас перед репродуктором, ожидая отца из треста, и слушает «Последние известия», накинув шаль на худенькие плечи. И хочет услышать о своем Жене. А Женья... Разве он еще Женья? Ведь он теперь уже гвардии младший лейтенант Черныш, новый неведомый матери.

Мост, перегорев, с грохотом повалился в воду.

— Мы сжигаем за собой все мосты, — сказал Черныш.

— Это не мы, это фриц, — возразил Сагайда, — Фриц думает, что без мостов не догоним. А Иван и сквозь ад пройдет...

Брянский внимательно смотрел вперед, на тесную щель дороги, в которую вползали войска.

— Сюда, в эти Альпы, можно идти только наступая, — говорит он. — Отступать отсюда невозможно. Это было бы гибелью для всех нас. Но поскольку отступать мы не собираемся, — хрипло засмеялся он, — то и рвемся все выше в эти каменные катакомбы.

Далеко в голове колонны затарахтели подводы, грохотание все нарастало и приближалось, и вот уже перед Брянским, Сагайдой и Чернышом загремели колеса, и кони под ними сами перешли на рысь.

Фронт все глубже входил в горы. Началась полоса горных хребтов. Уже не один такой хребет перевалили войска. Сбитый с высот противник откатывался все дальше.

Полки стали на дневку.

Черныш и Брянский лежали в саду на выгоревшей траве. Брянский достал из своей планшетки какие-то схемы и записи с формулами и объяснял их Чернышу, явно удовлетворенный тем, что Черныш его понимает. Над ними раскинула корявые ветки черная, обгоревшая яблоня без листы; странными казались висевшие на ней, как на новогодней елке, сморщенные, испеченные в пожаре плоды.

Неподалеку тлела куча пепла, и только труба, уцелевшая среди развалин, свидетельствовала, что еще вчера здесь было высокое человеческое жилье.

Последние дни авиация противника житья не дает. Бомбит горные дороги, бомбит селения, где войска останавливаются передохнуть. Тогда дороги и сады оцетиниваются стволами зениток.

Это уже настоящая Трансильвания. Типичная картина: село, окруженное со всех сторон грядами бесплодных гор, и только в котловине роскошно разрослись густые сады, огороды, виноградники. Накануне это село бомбили, и пепелища еще и до сих пор дымятся.

— Пошли эти свои соображения в наркомат, — советует Черныш Брянскому. — Там, я уверен, их обязательно примут во внимание при разработке нового наставления.

— Мне кажется, — говорит Брянский, — что эти наблюдения я обосновал довольно убедительно, с математической точностью. Ведь наши минометы — относительно новый вид вооружения, и естественно, что их огневые возможности еще не полностью испытаны. У миномета большое будущее. Возьми хотя бы «катюши», лучшие минометы мира... Да, так ты согласен?.. Ведь построенный таким образом, как я предлагаю, огонь трех минометных рот полка обязательно покрывает траншею противника и не дает ему возможности поднять голову. Тут ни одна мина не ляжет зря. Наши стрелки могут смело бросаться на первую позицию обороны!..

К ним подходит Сагайда. Сегодня здесь, на дневке, батальон получил, наконец, почту за несколько дней — свежие газеты, журналы, полмешка писем. Сагайда не получил ничего. Он, видимо, тоскует и не находит себе места. Срывает от нечего делать запеченное пожаром яблоко и ест его, почти не жуя, как кашу.

— У нас на окраине на песках жила баба Шураиха, — начинает он, ложась под деревом. — Иду я, бывало, с хлопцами в парк, на танцы, а она стоит на пороге и кричит мне: «А, Сагай-

дин-пройдоха!.. Это ты мою собаку убил!» Однако... славная была бабуся. Интересно знать, жива ли она еще?

Появляется откуда-то Денис Блаженко и, браво шелкнув каблуками, спрашивает разрешения у гвардии старшего лейтенанта обратиться к нему. Брянский разрешает. Блаженко коротко докладывает. Как известно, брат его, Роман, несмотря на то, что был ранен в руку, продолжал оставаться в строю и выполнять боевые задания. За такой поступок брат его Роман заслуживает награды, — он, Денис, справлялся об этом у замполита гвардии майора Воронцова.

— Вы немного опоздали, Блаженко. Я уже представил и Романа, и вас, и многих других. Будьте и впредь честными воинами, не сомневайтесь, засияют у вас на груди и «Отвага» и «Слава». Я не скупой для хорошего солдата. Можете идти.

— Ой, жила! — сказал Сагайда, когда ефрейтор, откозыряв по всем правилам, отошел.

— Жила-то жила, — согласился Брянский, — но командир из него вырабатывается прекрасный. Волевой, дисциплинированный и стреляет лучше других...

Брянский не успел закончить. Небо вдруг загудело где-то совсем близко, кто-то закричал:

— Воздух! Воздух!

Они вскочили на ноги и бросились к ближайшей щели. Брянский на ходу запихивал бумаги в планшетку. В садах залопотали зенитки; бойцы до сих пор и не знали, что они тут есть. Люди заметались. Некоторые кинулись в горы, отвесными каменными стенами обступившие село.

Небо с воющим свистом опускалось на землю, все быстрее и стремительнее. Черныш прыгнул в щель на чьи-то упругие тела.

Земля раскололась и ударила вверх зловещим пламенем. Стало горько и темно.

— Пронеси, пронеси! — жарко шептал кто-то под Чернышом.

Земля дрожала. Взрывы возникали всё ближе. Промчались через садик перепуганные лошади в запряжке и без ездового. Небо, воя, падало прямо над щелью.

«Неужели сюда? Неужели сюда? — лихорадочно работала мысль Черныша. — Не может быть!»

Земля сдвинулась, что-то тяжелое навалилось на Черныша, ему стало душно. Следующий разрыв уже — он слышал — раздался дальше, следующий — еще дальше.

— Отгудело, — первым отозвался Сагайда, отряхивая с себя землю.

Он помог Чернышу вытащить ноги, заваленные землей. Едкий туман еще стоял вокруг. Со дна щели поднялся Хаецкий, выбирая сено из усов.

— Хаецкий! — удивился Черныш. — Это вы были подо мной?

— Как видите, товарищ гвардии младший лейтенант. Действительно, я.

— Вы и шептали: пронеси?!

— Я или не я, а хорошо, что пронесло. Такие пряники летели на нас. Га!

Через садик бежал Шовкун, тревожно озираясь вокруг. Увидев своих, он крикнул:

— Старшего лейтенанта не видели?

— Нет, — ответил Сагайда. — Мы и самих себя не видели.

— Горюшко! Горе мое! — ударил Шовкун о полы руками и бросился бежать дальше.

— Вот они тут! — пожалел земляка Хома.

Шовкун, остановившись, облегченно вздохнул и подошел к щели, смущаясь перед всеми за свою тревогу.

— Все там живы? — обратился к нему Брянский, вылезая из окопа.

— Наши все. А в четвертой роте... Беда!.. Их было двое или трое под черешней... Так ни один не встал.

— Горит! — вдруг выкрикнул Хома. — «Мистер» горит!

Все посмотрели, куда он указывал. На одной из самых высоких гор, распластавшись на деревьях, как черный ворон, догнорал подбитый нашими зенитками вражеский самолет. Столб черного дыма вставал над ним.

— Хорошо горит, — сказал Брянский.

Вылезли на траву, закурили. Даже Черныш закурил за компанию и почувствовал, что голова у него пошла кругом.

Какой-то боец с кнутом в руке бежал мимо, расспрашивая всех, не видели ли лошадей.

— Запряжены? — спросил Хома Хаецкий.

— Запряжены.

— Гнедые?

— Гнедые!

— Не видели.

Всеми овладело бодрое, возбужденное настроение, как после боя, когда все опять встречаются живыми. Горький дым медленно выветривался из котловины, и горы словно расступались. На их хмуром, сером фоне ясная голубизна неба казалась еще нежнее.

— А какие тут подсолнухи растут, па-атку мий! — пропел Хаецкий. — С нашу хату!

— А созревает все же позднее, хоть и юг, — заметил Шовкун. — Смотрите, август, а овес еще почти зеленый. И слива...

Прибежал Роман Блаженко, запыхавшийся и встревоженный, и сообщил, что убило пять лошадей, вдребезги разбита его каруца.

— А вашего коня ранило, — обратился он к Чернышу.

— Сильно? — порывисто поднялся Черныш и помрачнел.

— Как вам сказать... Когда началось, он совсем ошалел, сорвался с повода и выскочил на шоссе. Хотел скакать куда-то... Там и лежит.

— Покажите где.

Они пошли с Блаженко.

— Не огорчайтесь, мы вам другого коня достанем, — успокаивал Блаженко своего командира.

Шоссе было забито лошадьми и вдребезги разнесенными повозками. Черныш еще издали узнал своего коня. Он барахтался в кювете, то и дело поднимая голову с белой звездочкой на лбу и пытаясь встать на передние ноги. Но ноги его не держали, и конь снова падал, тяжело хряпя. Куда он хотел бежать?.. Ему вырвало грудь. Конь узнал Черныша и потянулся навстречу, не спуская с него печальных умных глаз.

«Доминэ офицер!» — Черныш вспомнил взгляд юноши-румына, бывшего хозяина этого коня.

«Немало мы, друже, прошли с тобой с тех пор!..» В горле у коня заклокотало, словно там бились и не могли вырваться наружу членораздельные звуки. «Что ты хочешь сказать, всрный мой товарищ?..» Черныш расстегнул кобуру, достал пистолет и прицелился прямо в лоб, в белую лысинку...

XV

На другой день Блаженко с Хаецким и в самом деле откуда-то привели Чернышу лошадку. Она была маленькая, но ладная и на диво сильная.

— Наш, отечественный, — отметил Хаецкий, как цыган обходя коня и старательно заглаживая выстриженное тавро.

Горы оказались настоящим испытанием для армейских лошадей. И бойцы, которые видели немало трофейных коней, добытых у врага, — немецких, французских, венгерских, — убедились, что все-таки самые выносливые лошади — наши. Трофейные тяжелые битюги и красивые рысаки спалили в теле за несколько трудных переходов, тощали на глазах и падали в горах на каждом километре. Наши же лошади, неприхотливые в корме, легкие и неутомимые, топали и топали дни и ночи, поднимаясь на самые крутые кряжи, всюду служа бойцам.

Хома Хаецкий по этому поводу философствовал:

— Куда их лошадям до наших! Они у них задыхаются от ожирения сердца!.. Слабодушные, как и их хозяева! А посмотрите на нашу мелкоту, на наших коней. Они всюду пройдут!..

Один недостаток был у лошади, которую добыли Чернышу: расковавшись, она стерла копыто и хромала на правую переднюю. Может быть, именно поэтому Хоме и Блаженко и удалось взять ее. Кинулись подбирать подкову, но ни одна не подходила, — все были для этого малыша слишком велики. Вообще подкова стала в горах драгоценностью. Когда она, оторвавшись, звенела по камням, за нею бросались, соскочив с седел, сразу несколько всадников, словно это звенело золото. Маленькие же

подковы для наших лошадей ценились особенно высоко, как пи-
столетные патроны самых дефицитных калибров.

Подогнать подкову на лошадь Черныша можно было только
в кузнице. У Брянского конь тоже щелкал подковами: они ос-
лабли, и нужно было их подтянуть.

Брянский и Черныш попросили у командира батальона раз-
решения заскочить в какое-нибудь окрестное горное селение в
кузницу. Комбат вначале возражал, а потом разрешил. Пообе-
щали ему догнать колонну до темноты и раздобыть флягу вина.

Дорога крутой спиралью спускалась вниз и далеко, по ту сто-
рону долины, снова спиралью поднималась по склонам. И сколь-
ко видно было, на целые километры двигались и двигались ко-
лонны войск, вздымая бурю пыль.

Слева, в долине, покрытой лесом, на значительном расстоя-
нии от шоссе Брянский и Черныш увидели крыши горного селе-
ния. Там должна была быть кузница.

Когда Брянский и Черныш уже свернули на дорогу к этому
селению, их обогнал Казаков. Он во весь дух мчался по шоссе
в красной пожарной машине с колоколами по бокам. В машине
стояли еще несколько полковых разведчиков с автоматами, в пи-
лотках набекрень. За рулем сидел маленький боец в больших зе-
леных очках. Очки, предназначенные для предохранения како-
нибудь европейского господинчика от преждевременных морщин,
теперь защищали бойца от солнца и пыли.

— На запад! — крикнул Казаков Брянскому и Чернышу. —
На задание!

Лошади шарахнулись в кювет при виде красной машины, со
страшным грохотом промчавшейся мимо них. А вдали командир
полка, остановив свой мотоцикл, выскочил из коляски и поднял
нагайку, как регулировщик красный флажок.

— Даст жару, — сказал Брянский. — Академик, академик, а
взгреет — будь здоров.

Их лошади топали по каменистой тропинке, все дальше углуб-
ляясь в лес. Рядом журчал прозрачный ручеек, прыгая по зеле-
ным, обросшим мхом камням. Черныш остановил коня и подо-
шел к ручейку напиться.

— Юрий! — крикнул он, склонившись над водой. — Настоя-
щий нарзан!.. Попробуй!

Брянский тоже сошел. Это была не обычная, а минеральная
вода. От ее приятной остроты захватывало дыхание, и слезы вы-
ступали у офицеров на глазах, когда они пили.

— Запомни это место, Евгений, — сказал Брянский. — После
войны приедем сюда на курорт.

— Доживем?

Брянский не ответил.

— Когда будешь, Евгений, уже стариком... вспомни когда-ни-
будь этот ручеек... где это было и с кем ты пил. Мне приятно
думать, что через много лет кто-нибудь вспомнит обо мне.

Они наполнили фляги водою, чтобы угостить комбата. Чем она хуже вина?

Снова сели на лошадей.

Горы вокруг как бы висели в воздухе, живописные и легкие и в эти последние летние дни. Леса словно светились насквозь. Контуры каждого дерева, каждой скалы были удивительно четкими, как в панораме бинокля. В чистом горном воздухе никогда не бывает туманов, которые в низменных местах уменьшают видимость. Кое-где в лесах уже пробивалось первое пламя осеннего багрянца, от которого деревья становились более пестрыми и пышными.

Самый незначительный шорох, шум птичьего крыла, цокот копыт, — все резонировало здесь с необычайной гулкостью — звонко, чисто, в полный голос. И воздух, и горы, и леса, — казалось, все начинало от каждого слова звенеть, как грандиозная мембрана.

У въезда в село всадников поджидали, толпясь, ребятишки. видимо издали заметившие их.

— Ковач? Ковач? — предупредительно допытывались дети. — Ван, ван!

Заметно было, что дети с радостью ждали их и теперь наперебой хотели чем-нибудь услужить офицерам.

Сопровождаемые толпой оборванных малышей, Брянский и Черныш поднимались узенькой кривой улочкой в гору, где, по словам детей, жил кузнец. Из каждого двора целыми семьями выходили жители, мужчины поднимали измятые шляпы, а женщины, улыбаясь, приглашали выпить молока.

Черные неповоротливые буйволы, жуя жвачку, лежали за изгородями в загонах.

Тем временем дети восклицаниями и красноречивыми жестами старались рассказать, что тут уже были русские и среди них какой-то веселый Иван Непытай, они тоже ковали лошадей и потом уехали.

За поселком, под самой горой, на висячем мосту виднелись вагонетки, а ниже, между высокими конусами дробленого камня, тянулась узкоколейка и стояли новые деревянные бараки. Там были каменоломни.

В конце улочки Черныш и Брянский вдруг остановились и удивленно переглянулись. Что это? До их слуха откуда-то из-под горы донеслось пение — торжественное, плавное, грозное — будто раздавалось оно из каменной пещеры. Они не понимали незнакомых слов, но сразу узнали мотив, родной с детства, с пионерских отрядов... «Интернационал»!

Дети тоже остановились и с гордой радостью смотрели на офицеров. «Интернационал»!

Брянский и Черныш ударили лошадей и поехали быстрее.

¹ Кузнец? Есть! (венг.).

Вскоре улочка кончилась, и перед глазами открылась небольшая, окруженная нежилыми строениями мощеная площадь перед каменоломнями. Возле одного из сараев чернела куча древесного угля, лежали разные машины, железный лом, кирки. Это, видимо, и была кузница — мастерская каменоломен. Напротив широко открытых задымленных дверей выстроились в ряд кузнецы. Их было человек десять, все без шляп, в брезентовых фартуках, с молотками в руках. Они-то и пели пролетарский гимн.

Когда Брянский и Черныш подъехали, один из рабочих вышел вперед и торжественно поклонился им.

— Зрас-твуй, ту-ва-риш! — сказал он старательно одному, затем другому.

Офицеры смутились, растроганные столь церемонной и неожиданной встречей. Тем временем кузнец объяснял украинским говорком, что сам он родом из Буковины, а работает тут, в каменоломнях барона Штрайха. Его товарищи, рабочие, хотели бы достойно встретить советских офицеров, но они бедны, у них, кроме детей, ничего нет, и они решили встретить сталинских воинов «Интернационалом». Немцы забрали у них молодежь и погнались строить укрепления. Немцы отняли скот у тех, кто не успел его спрятать в горах. Но они не могли забрать у них «Интернационал».

Брянский и Черныш, приятно взволнованные, соскочив на землю, пожимали кузнецам руки. Окружив лошадей, кузнецы ловко хватили их за ноги и всматривали копыта. Загудел, разгораясь горн.

Особенную симпатию вызвал хромающий конь Черныша. Крепкий, как кочан, смирный, с густым чубом на лбу, конь позволял детям баловаться с ним, лазить под животом и аккуратно подбирал лакомства с их ладоней. Ему давали очищенные орехи, персики, виноград, и он все поедал.

— Русский конь! — кричали дети, играя и радуясь тому, что лошадка такая маленькая и все ест. — Русский! Иов! Иов! ¹

Тем временем кузнецы подгоняли на него подковы, не позволяя ни Брянскому, ни Чернышу помогать им.

Буковинец-переводчик уверял, что они теперь наготовят много маленьких подков специально для русских лошадей. Подкуют так, чтобы они взобрались с бойцами на самые высокие гребни Альп.

Вскоре вся площадка перед каменоломнями была заполнена жителями поселка — мужчинами, женщинами, стариками, детьми. Тут были венгерские, румынские семьи и несколько семейств украинцев из Буковины. Все они много лет работали здесь на каменоломнях. Были также беженцы, преимущественно молодые девушки из Альба-Юлии, Сибиу и других городов. Они спаса-

¹ Хороший (венг.).

лись в этих горах от войны и голода. Некоторые из девушек, не стыдясь стариков, подходили к Чернышу и Брянскому, неприужденно осматривали их с ног до головы и ласково похлопывали по щекам. «Йов!» Все приветливо смеялись, не осуждая девушек за их вольности, от которых обоих офицеров бросало в жар. К таким ласкам, да еще на виду у всех, они не привыкли.

Женщины несли им фрукты, козий сыр, молоко, но Брянский и Черныш ели только фрукты, а от соленого сыра отказывались.

— Нэм отравит¹, — уверяли женщины, первые пробуя еду. — Германам отравит, а русским — нэм отравит.

Они все жаловались на барона Штрайха. Когда Брянский сказал, что уже не будет здесь барона Штрайха, а установятся новые, демократические порядки, все бросились жать ему руку, а дети принялись с увлечением свистеть в сторону гор, словно в них еще сидел барон Штрайх.

Молодая цыганка пристала к Чернышу — погадать ему, предупредая, что не требует никакой платы. Черныш рассмеялся:

— Нам не нужно гадать. Мы и так знаем, что нас ждет впереди.

Когда лошади были подкованы, кузнецы привязали еще по несколько запасных подков к седлам. Они не хотели брать денег, только попросили звездочки с пилоток.

— Добре пидковали, от сердца пидковали, — уверял буковинец на прощанье. — Пусть не сотрутся подковы, пусть не подобьются ваши кони!

— Прозвенят по всей Европе! — сказал Брянский, прыгая в седло.

Когда они отъехали, спускаясь по той же каменной улочке, позади них снова зазвучала величественная мелодия. Гимном провожали рабочие своих освободителей в далекий благородный путь. В мужской хор теперь вплетались, как шелковые цветные нитки, детские и девичьи голоса.

Песня нарастала и нарастала. Вечернее небо, горы, леса отражали эту песню, и она еще долго звенела в чистом воздухе.

XVI .

Гора была такая, что с нее спускались весь день. Тормозить приходилось сразу два колеса, и они раскалялись на камнях, как на огне. Потом почти всю ночь снова поднимались.

За полночь колонна вдруг остановилась, и ездовые подложили под колеса камни, чтобы повозки не подавались назад и лошади отдохнули. Камни на такой случай каждый ездовой возил с собой в передке, чтобы потом не искать их в темноте, когда понадобятся. Ждали команды кормить лошадей, но команды не

¹ Не отравлено (венг.).

было. Вместо нее откуда-то сверху передавался от бойца к бойцу, перебегая вниз, другой приказ:

— Командиры рот, в голову колонны!

Это предвещало тревогу. Офицеры пробегали вперед, на ходу расправляя гимнастерки под ремнями. Вскоре они вернулись к своим подразделениям. Колонна стала быстро рассредоточиваться. Транспорт съезжал с шоссе на обочину и маскировался в соснах. Пока что ехать было некуда. С транспортом оставили совсем мало ездовых, по одному на несколько подвод. Остальные, став сразу напряженно-суровыми, деловито-строгими, вьючили лошадей. Запасались канатами. Кто не имел фляг, получал их у старшин. Издали с горы донеслось несколько спокойных пулеметных очередей, как будто стреляли в небо.

Тем временем разведка приносила все новые и новые сведения. Там, наверху, на одном из самых высоких перевалов, засел противник. Небольшое горное селение он превратил в надежный опорный пункт. Дорога перед селом была перекрыта дубовыми завалами, эскарпами. Под высотой, пересекая шоссе, тянулись в несколько ярусов траншеи, дзоты и открытые огневые точки. Подножие высоты опоясывали сплошные проволочные заграждения. О штурме перевала в лоб не могло быть и речи. Это стоило бы слишком больших жертв, да и надежды на успех было мало. Командир полка послал конную разведку далеко влево и вправо от дороги, чтобы уточнить характер вражеской обороны и огневую систему.

Разведчики вернулись на рассвете. Докладывали то, что примерно представлял себе командир полка. На флангах не было не только каких-нибудь дорог, не было даже тропинок. На самых выгодных гребнях враг выставил одиночные пулеметы, а еще дальше, в горах, как будто и живой души нет. Там начинались дремучие леса и отвесные стены диких скал. Противник был уверен, что леса и скалы надежно охраняют его и никто через них не сможет пройти. А Самиев снова погнал разведчиков на фланги, поставив задачу — искать проходы, потому что и он и Воронцов, оценивая обстановку, приходили к одному выводу: перевал придется брать именно там, в непроходимых лесных чащах, в непролазных скалах, откуда враг совсем не ждет их. Они должны где-то на фланге перевалить этот кряж и зайти врагу в тыл.

В полдень разведчики вернулись. Дополнительные данные подтверждали результаты ночной разведки: в глубине флангов начинался такой глухой край, что враг не считал нужным выставлять там даже одиночные засады.

Самиев вместе с начальником штаба засели за разработку детального плана.

Майор Воронцов собрал коммунистов и комсомольцев. Полк должен был продвигаться вперед отдельными отрядами и мелкими группами и, возможно, действовать определенное время децентрализованно. Роль коммунистов и комсомольцев в самостоя-

тельных группах становилась особенно большой и решающей. Вообще роль одиночного бойца в горных условиях значительно возростала по сравнению с условиями равнины. Тут общий успех зависел от инициативы, находчивости, боевого настроения каждого в отдельности. Воронцов, хорошо понимая это, расставлял людей с таким расчетом, чтобы коммунисты были в каждой группе, которой предстояло действовать самостоятельно. Именно коммунисты должны были задавать тон и все время поддерживать высокий боевой дух солдат.

Это было необычное собрание. Коммунисты и комсомольцы явились по приказу майора уже в полной боевой готовности, обвешанные гранатами и дисками, с автоматами на груди. Не выбирали председателя и секретаря, не писали протокола, не составляли резолюцию. Времени для этого не было — выступать предстояло немедленно.

Одни присели на пеньки и коряги, другие слушали стоя. Воронцов говорил, прохаживаясь между ними. Опавшие листья шуршали под его порыжевшими сапогами. Майор говорил негромко, голос его шелестел, как эти листья, и все-таки все слышали каждое его слово.

— Мы переходим к новой тактике, — говорил он. — До сих пор мы бились с врагом в степях и на равнинах, в лесах и болотах. Отныне мы будем биться с ним в горах. Будем сражаться чаще всего не днем, а ночью. Наша цель — захватить перевалы, захватить дорогу. Война в горах, как видите, — это прежде всего война за дороги. Но мы, пехота, гвардия, не можем приковывать себя к дорогам. Мы должны уметь хорошо маневрировать в горах, по какой угодно пересеченной местности. Тогда эти пустынные кряжи, эти непролазные лабиринты превратятся из наших врагов в наших друзей. Немцы считают их непреодолимыми. А мы их преодолеем. Немцы их боятся, а мы их победим. Потому что наша тактика — сталинская тактика — гибче, смелее, современной, чем немецкая.

Черныш слушал майора, не сводя с него глаз. Он впервые видел Воронцова после той встречи под дотами, когда Воронцов лежал в блиндаже больной малярией. Замполит только недавно поправился. Лицо его после болезни все еще было какое-то осунувшееся, блеклое. Снова на Черныша повеяло от него чем-то гражданским, как от отца. Этот хрипловатый голос... Короткая фуфайка, из-под которой выглядывает гимнастерка... Слегка ссутуленные плечи...

Для многих было загадкой: чем этот невзрачный майор, разговаривающий со спокойствием сельского учителя, изредка откашливаясь, — чем он мог так влиять на своих бойцов и офицеров? Никогда не слышали, чтобы он кричал и светился. Он все делал, как и говорил, спокойно, ровно, поблескивая из-под лохматых бровей серыми глазами, то с суровым выражением, то с

лаской. И его слушались все, его приказы выполнялись не менее точно, чем приказы командира полка. Полк любил его.

— От нас в первую очередь будет зависеть успех этого боя, — говорил Воронцов, как будто оттачивая каждое слово. — Мы, коммунисты и комсомольцы, обязаны знать, где наше место в походе и в ночном бою. Наше место — в первом ряду. Ночью наш голос должен всегда звучать впереди бойцов. Боец верит нам, боец всегда поднимется за нами в атаку.

«Сделаем! — хотелось крикнуть Чернышу. — Будем впереди!»

Автоматные рожки-магазины, набитые патронами, выглядели у Воронцова из-за обоих голенищ.

— Нас не испугают ни горы без дорог и тропинок, ни глухие места, где, может быть, еще не ступала нога человеческая. Мы пройдем тут, потому что мы большевики. Чаше, чаще напоминайте бойцам слова фельдмаршала Суворова: «Где олень пройдет, там и наш солдат пройдет. Где олень не пройдет, и там наш солдат пройдет».

XVII

План операции, маршруты отдельных групп и отрядов были разработаны подполковником до мельчайших деталей. Только точное выполнение каждым отрядом своего задания могло принести успех. Поэтому с отрядами и отдельными группами пошли даже штабные офицеры. Они должны были, как штурманы на самолетах, все время ориентировать бойцов, которые легко могли заблудиться в этих ущельях, особенно ночью.

Первый батальон оставался на месте, чтобы атаковать перевал с фронта. Второй батальон шел налево в горы. Третий — направо в горы. За сутки они должны были перевалить хребет, сделать до полусотни километров каждый, а к вечеру следующего дня выйти с двух сторон в тыл врага и незаметно оседлать шоссе. По сигналу зеленой ракеты должна была начаться ночная атака.

Минометная рота Брянского в этом бою тоже действовала рассредоточенно. Взводы были приданы отдельным стрелковым ротам. Взвод Черныша выступал со вторым батальоном в тыл противника и, выбрав огневую позицию на господствующей высоте, должен был расстреливать оттуда вместе со станкистами тыловое шоссе врага и вершину перевала.

Второй батальон выступил после обеда. Несколько часов двигались ложиной по дну ущелья, все больше углубляясь в лес. В поводу вели лошадей, навьюченных минометами, боеприпасами, термосами с водой. Впереди минометчиков шел взвод батальонных автоматчиков и четвертая стрелковая рота. С ними, кроме комбата, был и гвардии майор Воронцов. С автоматом за плечами, с трубками газет, торчащих из карманов, он то и дело оглядывался, посматривая на бойцов, которые гуськом брели за

ним. Их было мало. Когда шли маршем, их всегда было мало, а когда завязывался бой и они рассыпались, и оружие их начинало говорить, — тогда, казалось, их количество увеличивалось в несколько раз.

Лес становился все гуще. Вековые деревья сошлись над головами бойцов, и солнце не могло пробиться сквозь них. Сырость, никогда не просыхающая здесь, насыщала воздух. Камни, покрытые толстым слоем прогнивших листьев, были мягкие, как подушка, и оседали под ногами. Среди листьев то здесь, то там шуршали, извиваясь, змеи, копошились ежи.

Часто дорогу загромаждал бурелом. Бойцы, как белки, прыгали через поваленные столетние деревья, но лошадям с грузом пробираться было трудно. Некоторые застревали между деревьями и, стараясь высвободиться, ломали ноги. Их бросали, разбирая боеприпасы по рукам.

Все время делали на деревьях зарубки для связных. Очищали поросшую мхом кору стволов и вырезали «Л».

— Эл, эл! — выкрикивал темпераментный, как всегда, Хаецкий. — Повсюду идешь ты за нами!.. Будешь ты везде — и на горах, и в степях, и в чужих краях!..

Словно линия вечных маяков, оставалась эта буква за бойцами в темных недрах дремучих чужих лесов. Первая буква бессмертного имени вождя. Словно витал над бойцами дух великого Ленина, все время сопровождая их.

Вскоре настал момент, когда пришлось окончательно расстаться с лошадьми. Перед бойцами высокой стеной встала крутая скала. Черныш приказал разгрузить коней и отправил их с двумя бойцами обратно. Воду из термосов разлили по флягам, а остаток выпили.

Начался долгий, упорный штурм гранитной стены. Черныш разулся, обвязался канатом и полез первым.

Было время, когда он взбирался на вершины Памира, не думая о войне. Он любил спорт, солнце, сияющие серебром вершины. А Родина учила его взбираться на самые высокие пики не только ради спорта... И сейчас он благодарил ее за эту науку.

— Вы говорили, что были альпинистом, — сказал Воронцов, который до сих пор помнил разговор в блиндаже. — Видите, это пригодились.

Закинув голову, Воронцов внимательно следил за осторожными и цепкими рывками Черныша вверх. Иногда Черныш останавливался отдохнуть, держась за скалу руками и ногами. Босой, без ремня, без пилотки, он казался почти штатским.

Воронцову припомнилась где-то виденная картина: немцы привели комсомольцев на расстрел. Один из осужденных был похож гордой юношеской фигурой на этого младшего лейтенанта.

Затрав черную чубатую голову, Черныш изучал ближайшую зазубрину, за которую можно было бы ухватиться и подтянуть-

ся на руках. Потом цеплялся за нее сильной, мертвой хваткой. Он уже взобрался метров на двадцать, а стена и дальше поднималась над ним, отвесная, как небоскреб. Снизу бойцы, застав дыхание, следили за каждым его движением. Внизу высокой грудой были сложены хворост, плащ-палатки, ватники — на тот случай, если Черныш сорвется.

«Ой, мало это поможет!» — думал Хаецкий, поглядывая на зеленую постель, приготовленную для его командира.

— Держись! — резко командовал Воронцов, заметив неосторожное движение младшего лейтенанта. Лицо майора от напряжения становилось твердым, как камень. — Передохни!

И Черныш, выполняя и там команду, отдыхал, осматривая в то же время скалу над собой и старательно изучая ее вершок за вершком. Вниз он не посмотрел ни разу. Отсюда он был похож на сильную зеленую птицу с черной головой, что впилась когтями в гранит и повисла, распластавшись на нем.

«Такой цепкий!» — думал Хаецкий, со страхом поглядывая вверх, на головокружительный небоскреб, и содрогаясь при мысли, что ему придется туда взбираться.

Солнце уже заходило, под скалой залегали темные тени, а Черныш все еще не достиг гребня. Тонкий двадцатипятиметровый канат, который тянулся от него вниз, уже кончился, и его дотачали другим, такой же длины.

— Хватай скорее, притачивай хвост, — кричал, суетясь, Хома Хаецкий. — А то взберется и улетит, а мы тут останемся!

— Тебя пошлем, Хома!

— И думаешь, не взберусь?

— Языком?.. Хорошо, что у тебя он такой длинный, и каната не нужно!

— Всё! Есть! — вдруг радостно крикнул Черныш с высоты. — Есть, товарищ гвардии майор! — докладывал он во весь голос, так звонко, что даже боковые патрули услышали его и обрадовались.

Бойцы видели, как младший лейтенант ступил на какой-то широкий карниз и быстро пошел все выше и выше наискось по скале, пока не встал босыми ногами на самый гребень. Рубаха его заплескалась на ветру, и червонное солнце неожиданно озарило всю его фигуру. А внизу, под скалою, было совсем тихо, безветренно, и солнце уже давно зашло.

— Что видите там, гвардии младший лейтенант? — кричал Хаецкий, уставив в небо свои черные усы.

— Сюда гляну — вижу Москву, туда гляну — Берлин!

— Кто следующий? — спросил Воронцов.

Каждому казалось, что эти серые пытливые глаза смотрят только на него.

— Я, товарищ гвардии майор!

— Я! Я!

— Альпинисты еще есть?

— Есть, — глухо ответил Денис Блаженко, подступая к канату.

Земляки Дениса тарашили глаза на своего ефрейтора. Альпинист! Блаженко Денис — альпинист! Да знает ли он хотя бы, с чем это едят? Ведь он выше своей клуни никогда не лазил.

— На какие же вы горы всходили? — вежливо допытывался Воронцов у ефрейтора, который уже туго затянулся канатом. — На Казбек? На Эльбрус?

— Я бы сказал, товарищ гвардии майор, куда он взбирался, — не удержался Хома, — да боюсь, наложит взыскание! Строгий!

Но все-таки он что-то тихо сказал ближайшим бойцам, и те прыснули со смеху.

— Давайте! — крикнул Блаженко вверх и полез, словно некованный конь по льду.

Черныш, стоя за гребнем, тянул канат, упираясь коленями в каменный выступ. Ветер трепал его чуб.

Когда поднялись уже все бойцы и втянули вверх оружие, тогда, наконец, обвязался и Хома.

— Скорее! — кричали ему, как всегда кричат последнему. А он спокойно обвязывал себя как можно крепче, чтобы не сорваться. Зато бойцы, сговорившись, потащили его быстрее, чем других, тянули шутливо все вместе, как ведро с водой. Хома едва успевал перебирать руками и ногами и во-время отклонять голову, чтоб не ободрать лицо о скалу.

— Легче! — молил он. — Ой легче, пропал человек!

А когда уже стал на гребень, то огляделся вокруг — вечер был синий, прозрачный — и всплеснул руками.

— Ой-ой! Какой свет широкий! Горы и горы без края! Такое все большое, что и сам словно подрастаешь!.. Явдошка моя, стань на цыпочки, посмотри-ка сюда!.. Эге-ге!.. Увидела б Явдошка, как ее Хома взбирается на небо, не узнала б Хому. Скачала б: «Это не тот Хома!»

Хаецкий начал развязывать себя и, наматывая канат на руку, заговорил-запел по-подольски:

— Ой, канат, канат, ты родной наш брат! Нигде мы тебя не бросим, всюду понесем с собой! Плетеный, ты нам дороже, чем если бы сковали тебя из чистого золота! Если один с тобой в гору поднимется, то и всех вытянет! Если один падать будет, то все его поддержат и не дадут разбиться! Добрэ будем держать-ся этого каната, братья славяне!

«Братья славяне» — с некоторых пор стало общепринятым обращением бойцов между собой, когда они были в хорошем настроении. Сейчас «братья славяне» выючили минометы на себя.

— Кажется, и вы теперь становитесь альпинистом, — сказал Хаецкому Воронцов, с улыбкой слушавший, как Хома философствовал с канатом.

— Становлюсь, товарищ замполит, становлюсь!.. Разрешите прикурить! Спасибо!.. Однако просто чудеса делает с человеком физкультура. Внизу под скалою был один Хома. А поднялся на скалу — это уже совсем другой Хома! И видит дальше, и слышит лучше! И голова как будто умнее стала! И сердце чище. Ей-богу, становлюсь альпинистом.

— А мы издавна альпинисты, товарищ Хаецкий, — сказал Воронцов, шагая рядом с бойцом. — Мы — альпинисты еще со времен Суворова.

И майор, перебираясь вместе с бойцами с камня на камень, начал рассказывать про Чортов мост.

Черныш изредка взглядывал на Воронцова и удивлялся тому, как замполит изменился. Еще утром, на партийно-комсомольском собрании, он выглядел поблекшим и хилым, а сейчас он ступал по острым камням, иногда балансируя, как молодой. Лицо его в синих сумерках казалось заострившимся. Он рассказывал и рассказывал бойцам разные истории, и бойцы старались не отставать и быть ближе к нему, чтобы все слышать. Во время коротких привалов, когда бойцы опускались на холодные камни, Воронцов не садился, а все время прохаживался между ними. Он казался им неутомимым — они не знали, что если майор сядет, то ему будет очень трудно снова подняться на свои больные ноги.

Синяя светлая ночь стояла над горами. Она светилась насквозь, как драгоценный камень чистой воды. Высокие звезды дрожали над головами бойцов, иногда падая, словно кто-то оттуда, с неба, пускал сигнальные ракеты. Позванивали в такт шагам фляги и тугие диски на ремнях. Цокали ботинки по вековым камням, на которые доселе еще никто не ступал.

«Там, где олень не пройдет...»

XVIII

Гвардии сержант Казаков шел с несколькими бойцами-разведчиками впереди третьего батальона, который вел сам «хозяйин», командир полка Самиев. Батальон шел в обход перевала, далеко вправо от шоссе.

Худенькие, как девочки, разбрелись елки по бесплодным горам. По дну ущелья, между тысячетонными каменными глыбами, сквозь колючий кустарник продирались бойцы. Почти все были уже оборваны, окровавлены, исцарапаны. Даже у подполковника Самиева на смуглой, тщательно выбритой щеке появилась царапина, покрывшаяся сухой, темной коркой запекшейся крови. Он шел с комбатом впереди, красиво ступая своими тонкими, обтянутыми в коленях ногами, то и дело останавливаясь и разворачивая карту, когда замечал где-нибудь на горе деревянную хатку, похожую на ласточкино гнездо. Покусывая полную

губу, подполковник смотрел на карту, потом чертыхался и порывистым, энергичным жестом закрывал свой огромный планшет: гнезда ласточки не было на карте, его уже после составления карты свил себе какой-нибудь лесник-романтик.

— Маршь! — с акцентом командовал Самиев и шел дальше. Разве он мог останавливаться из-за того, что перед ним была несколько устаревшая карта Центральной Европы!

Казаков оставлял по дороге «маяки», а сам пробирался все выше и выше, с компасом в руке по заданному азимуту. Он хорошо ориентировался на местности и потому шел среди этих вековых седых ярусов камня так твердо, словно не впервые проходил тут.

Как и всему батальону, Казакову приходилось продвигаться со своей группой медленно, все время маскируясь, часто переползая по-пластунски, потому что с края, вдоль которого они шли низом, их мог заметить противник.

Километрах в двенадцати от шоссе, в хаотическом нагромождении диких скал, обрывов, круч, где, казалось, не могло быть ни одного живого существа, неожиданно ударил сверху пулемет. Казаков сигналом положил бойцов и сам залег тоже, внимательно изучая скалу, с которой его обстреляли. Она напоминала средневековый замок — мрачную цитадель, заостренную кверху, как башня. Оттуда-то, с той башни, и была обстреляна разведгруппа.

Сержант послал одного из бойцов навстречу батальону предупредить «хозяина», что на пути их продвижения выявлена огневая точка противника.

— Передай, что через час она будет уничтожена, — приказывал Казаков посыльному, — а пока что пусть хлопцы перекурят и попьют холодной воды, если она у них есть.

Будет уничтожена... Легко сказать, что будет уничтожена! Но ведь это надо еще и сделать: «хозяин» не любит пустых слов! Казаков принял решение. Раз уж его группа все равно замечена, он оставляет тут несколько бойцов, которые будут демонстрировать подготовку к штурму башни в лоб. Вражеские пулеметчики сосредоточат внимание на этих «гастролерах», как называл Казаков мысленно своих товарищей, а он тем временем незаметно проберется к самой сопке, зайдет с тыльной стороны на вершину и уничтожит пулеметный расчет гранатами. Казаков не поручил этого дела никому из своих бойцов, а решил все сделать сам. Не потому, что он не надеялся на своих хлопцев, — он знал их давно и верил им, как самому себе. Он попросту сам хотел полакомиться таким кусочком. От возбуждения у него «дрожали поджилки» всякий раз, когда представлялся случай дать волю своей находчивости, уменью, храбрости, когда возникала возможность разгуляться мысли, развернуться рукам. И по праву командира Казаков всегда забирал себе самые опасные за-

дания, не задумываясь над тем, что в конце концов это может стоить ему жизни.

— Ты, рудой, злоупотребляешь своими сержантскими лычками, — упрекали его товарищи. — Всегда сам лезешь к чорту на рога!

— Это я даю Казакову по блату, — отшучивался сержант, говоря о себе в третьем лице.

Разведчики начали «давать гастрологи», и сразу же с башни прозвучало несколько коротких очередей.

Казаков пополз между камнями, едва заметный, серозеленый, как степная ящерица.

Бойцы продолжали дразнить огневую точку.

Снова пулемет дал несколько тактов, однако пули тонко прозвенели высоко над головами разведчиков в чистом, сухом воздухе.

— Что за чорт? — удивился один из разведчиков. — Стреляют не по нас, а над нами!

— Может быть, мы в мертвом пространстве?

— Кой чорт? Смотри...

Они измерили на глаз угол от вершины сопки до них. Вышло, что пули могли сечь их.

Казаков полз неумимо. Он, Казаков, которого на тактических учениях никакой силой не удавалось командирам заставить ползать по-пластунски, как полагается, сейчас полз так, словно это с детства было его излюбленным занятием. Оглянувшись, он встал на ноги только тогда, когда приблизился совсем к подошве башни, где уже в самом деле было мертвое пространство и сверху не могли его видеть. Растертые о камни локти зудели. Во время отдыха, когда дивизионная прачечная с девушками стояла недалеко от полка, локти на гимнастерке Казакова были всегда старательно заштопаны. Тогда и трофейные сапоги его блестели, а рыжая, как огонь, большая голова, подстриженная под бокс, благоухала духами лучших европейских марок. Тогда!.. Но когда полк вступал в бой или когда «хозяин» еженощно гонял Казакова за «языком», а «язык» не попадался, тогда сержант на весь свой внешний блеск махал рукой. Ходил молчаливый, как с похмелья, и только веки у него нервно подергивались. Ему советовали хоть умыться и причесаться, но даже это становилось для него неразрешимой проблемой. Казаков отделялся угрюмыми шутками. В таком состоянии он был и сейчас. Несмазанные сапоги потрескались. Рыжая поросль покрывала костлявый подбородок. Теперь он забыл прачечную, ни на что не обращал внимания, ничто его не интересовало, кроме задания. В такие минуты его зеленоватые, немного раскосые глаза становились сосредоточенными. Он стоял, прислушиваясь, склонив голову набок и раскрыв рот. Видно было, что в лукавых его глазах бродят тысячи выдумок и комбинаций.

Он продвигался вверх, хватаясь за колючие кусты огрубев-

шими веснушчатými руками. Надежные, широкие руки, которые так нравились девочкам... Оглядывался, прислушивался и снова продирался среди камней, напрягаясь всем телом, похожим на сплошной гибкий мускул.

Ни одной тропки здесь не было.

Кто там на высоте? Сколько их? Эти мысли не пугали Казакова, а только увлекали, подгоняя. Ему не терпелось поскорее взобраться туда и померяться силами.

Горные орлы кружили высоко в синем небе.

«Сюда, наверное, никогда даже и не залетали наши птицы! — подумал Казаков. — А мы прилетели!»

И вот, наконец, вершина. Она представляла собой площадку значительных размеров, беспорядочно заваленную голыми камнями, хотя снизу казалась острым шпилем. С гранатой на боевом взводе в руках сержант крался между камнями в ту сторону, откуда изредка слышались скупые пулеметные очереди.

«Почему не взять их живьем? — вдруг решил Казаков. — Возьму! «Хозяин» будет доволен!»

Снова прицепил гранату к поясу. держа наготове автомат.

То, что он увидел, остановившись за последним камнем, крайне удивило его. За пулеметом на краю пропасти лежал один-единешенек солдат в венгерском желтом обмундировании, босой. Вокруг него валялись картонные пакеты с патронами, стреляные гильзы, открытая фляга. Больше не было никого и ничего. Солдат внимательно всматривался вниз, не замечая, что кто-то уже стоит у него за спиной.

«Почему он босой?» — подумал Казаков и, направив автомат, привычно, с подчеркнутым безразличием, сказал:

— Хенде хох!

Солдат повернулся к нему лицом. Это было лицо мертвеца, лицо фараоновой мумии, много веков пролежавшего в гробнице. Сухое, темножелтое, с глубоко запавшими глазами. Только глаза еще жили и вспыхнули таким удивлением, смешанным с безумной радостью, что Казакову стало жаль своего пленника.

— Хенде хох! — сказал сержант еще раз так, словно предлагал земляку закурить.

Солдат сел и сидя поднял руки. Только теперь Казаков понял, почему пулеметчик босой. Обе ноги его были прикованы к камню короткими железными цепями.

«Смертник! — мелькнуло в голове у Казакова. — Ведь это же смертник!»

Он много слышал об этих смертниках, которых враг оставлял при отступлении.

— Комрад, не убей! — сказал солдат, испуганно и беззлобно всматриваясь в Казакова. — Я хорват, товарищ.

Сухим скрипучим голосом он пропел по-хорватски какой-то фривольный куплет, чтобы убедить этого плечистого юношу с автоматом, что он действительно хорват. Губы его, запекшиеся,

как хлебная черная корка, едва разжимались. Казаков снял с пояса флягу, и хотя там было воды всего на один глоток и у него самого пересохло в горле, он, не задумываясь, подал солдату:

— Пей.

Солдат схватил флягу обеими руками. Сухие, старческие руки его вздрагивали, когда он пил, и даже седеющие волосы на голове дрожали.

— Кесенем сейпен¹, спасибо, мерси, — благодарил солдат на всех языках, возвращая флягу. — Я этого никогда не забуду.

Волнуясь, еще не совсем опомнившись, солдат рассказывал о себе. Он венгерский хорват из Балатона, чизмарь по профессии, то есть сапожник. Когда Салаша призвал его в армию, запродав немцам, он не хотел стрелять в своих восточных братьев славян и решил сдаться в плен. Привязав однажды ночью к своей винтовке белый платок, он ушел в горы. Целую ночь кружил он в каких-то трущобах, каменных лабиринтах, без компаса, со своим белым платком на винтовке. На рассвете ему показалось, что он достиг цели. Со скалы над ним чахкали маленькие минометы, и он закричал в ту сторону, размахивая белым платком. К нему оттуда быстро спустились... Это были немцы и мадьяры. Проблуждав ночь в Альпах — жестокие Альпы! — он снова попал к своим. Гитлеровцы сразу догадались, в чем дело. Отвели в штаб батальона. Там офицеры долго издевались над его неудачным переходом в плен, а потом хотели расстрелять. Однако с солдатами у них туго, и один из офицеров посоветовал оставить его в засаде на крайнем глухом фланге батальона. Это была верная смерть. Его приковали к каменной башне возле МГ², оставив ему вдоволь патронов. Теперь они знали, что он будет стрелять, защищая себя до последнего патрона, когда на него будут наступать. И он вынужден был стрелять. Это была единственная надежда для него, прикованного к этой альпийской скале, потому что только выстрелами он мог дать знать о себе, что он есть, существует, живет. Он был обречен на гибель, без хлеба и без воды, среди раскаленных солнцем камней. Потому что — кто услышал бы его стон среди этих бесконечных, пустынных каменных громад? Кому пришло бы на ум искать живого человека тут, на краю света? Разве что голодные орлы прилетели бы выклевать ему глаза. Казаков представил на миг, как лежало бы здесь через месяц почерневшее солдатское тело, высушенный скелет, прикованный к нему, поржавевшему от дождей МГ. Хорошо спасать людей! Куда лучше, чем убивать!

Рассказывая о себе, хорват все тянул рукой, чтоб коснуться Казакова. Словно еще и сейчас ему не верилось, что перед ним живой советский сержант в выцветшей пилотке, с автоматом на груди. Посреди рассказа хорват вдруг умолк, остановив зача-

¹ Благодарю (венг.).

² Система немецкого станкового пулемета.

рованный взгляд на ордене Славы, блестящем у Казакова на гимнастерке, пропитанной потом.

— Кремль? — указал солдат на силуэт Спасской башни на ордене.

— Кремль.

— То есть сила. То есть виктория¹.

Казаков поднялся, подошел к тяжелому МГ и взял его обеими руками за теплый ствол.

— Сейчас я тебя раскую, братыш!..

Орлы клекотали, величаво паря над глубокими ущельями.

XIX

В полночь, когда гвардии подполковник Самиев выпустил из ракетницы одну за другой шесть зеленых ракет, фашисты, защищавшие перевал, не подозревали, как близок их конец. Часовые, не понимая в чем дело, удивленно поглядывали на ракеты, рассыпавшиеся над их головами холодным зеленым огнем. Кто из них знал, что два советских батальона уже с вечера лежат вдоль шоссе в их тылу и ждут этих зеленых огней?

Теперь батальоны дождались и встали. Тишина треснула, ночь загремела, тысячи огней от трассирующих пуль, прошивая темноту, помчались на перевал.

На опыте предыдущих боев за высоты подполковник Самиев убедился, что между боем у подножия и боем на вершине проходит, как правило, определенный отрезок времени. Это дает возможность противнику опомниться и собраться с силами. Чтобы избежать этого сейчас, подполковник заблаговременно расставил соответствующим образом силы и огневые средства полка. Батальоны, вышедшие в тыл, сейчас лежали выше перевала, в скалах над шоссе. Установленные там станковые пулеметы и минометы по сигналу накрыли вражескую оборону почти навесным огнем.

Бойцы же первого батальона еще с вечера залегли дугой внизу, под перевалом, так, чтобы на фоне неба им видны были силуэты вражеских солдат. Огни сверху и снизу скрестились, накрывая перевал. То, что полк начал бой ночью, давало ему особые преимущества. Ошеломленный неожиданным ударом, противник кинулся к аппаратам, но связь уже была перерезана.

Тем временем штурмовики первого батальона проложили гранатами проходы в проволочных заграждениях. Среди темноты не смолкало «ура» и поднималось все выше, опоясывая вершину. Дезорганизованный дерзкой ночной атакой, враг не успел оказать сопротивления. Это был один из самых коротких и самых блестящих боев, проведенных полком в горных условиях.

¹ Победа (лат.).

Бой почти без потерь. Академик долго гордился перед генералом своей умело организованной ночной операцией.

К утру шоссе было освобождено от дубовых завалов. Противотанковый ров засыпали так, что по нему мог двигаться транспорт. Снова затарахтели кованые колеса, поднимаясь на перевал, один из самых высоких в трансильванских Альпах.

Бойцы спешили достигнуть вершины и посмотреть вперед: что там? не степи ли?..

А перед ними снова вставала знакомая панорама гор, низкие и высокие хребты, словно грандиозные волны каменного моря. Горы, горы, горы...

Бойцы думали: бои, бои, бои...

XX

«Жив, здоров. Все время с боями продвигаемся в горах. Воюем в Трансильвании, если ты слыхала о такой стране. Бьем всяких фашистов — и немцев и мадьяр. Вспоминаем нашу далекую золотую Родину. Не видим ничего, кроме солнца над головой. А ночью тучи белеют под нами. У нас есть все, что нужно солдату. Мечтаем: выйти из этих бесконечных гор, — душа тоскует по степным просторам.

Не скучай, мама. Будь счастлива.

Женя»

XXI

Маковейчик сидит, согнувшись над аппаратом. То и дело он поднимает воспаленные глаза и сообщает:

— Убило комсорга.

— Убило лейтенанта Номоканова.

— Ранена санитарка Галя.

Минометы, охлаждаясь, мрачно смотрят вверх, на высоту 805. Третий день ее штурмует пехота и не может взять. В батальонах полка осталось мало людей. Командир полка Самиев, разговаривая по радию с высшим начальством, только еще больше темнеет лицом и коротко повторяет сквозь зубы:

— Есть... Есть... Есть...

В тылах шла чистка за чисткой. В пехоту забрали поваров, писарей, езловых, старшин. Они теперь там, наверху, ползли метр за метром, все выше и выше, среди раскаленных камней, о которые чиркали, плаваясь, пули.

Комбат вызвал Брянского к аппарату. И Брянский, разговаривая, тоже повторял, стиснув зубы:

— Есть... Есть... Есть...

А потом сел на камень и сжал голову руками.

— Что там? — спросил Сагайда.

— Требуется дать в пехоту четырех человек. Что я ему дам?.. Кого я ему дам?

И, достав блокнот, обвел глазами своих бойцов.

Кого он даст? Комбат говорит, что это временно, но Брянский хорошо знает, что из пехоты к нему не возвращаются. А сколько честных усилий, неутомимого труда он положил, чтобы эти люди стали такими минометчиками, как сейчас. Свой опыт, знания, свою страстную любовь к делу он терпеливо на каждом привале передавал им. Особенно в горах... В горных условиях роль минометного огня сразу повысилась сравнительно с тем, как это было на обычной местности. Бездорожье и резко пересеченный рельеф, ограничивавший обзор и обстрел, вынудили стрелковые подразделения обходиться наиболее легкими и подвижными артиллерийскими системами. Современный миномет оказался словно специально созданным для гор. Его можно перенести на выюках там, где никогда не пройдет тяжелое орудие. Своим огнем он всюду проложит дорогу батальону и продвинется сам с помощью минометного расчета. Крутизна траектории мин оказалась в горах особенно ценной. Мина, выброшенная под нужным углом, с одинаковым успехом может сбить вражеский пулемет на высоком гребне и достать врага на дне самой глубокой складки, закрытой для всех других видов огня.

В горах Брянский встретился с новыми трудностями. Его минометчики, привыкшие вести огонь на равнине, должны были особенно старательно учитывать специфику новых условий. В горах, например, при глазомерном определении расстояний до цели, скрадываются пространства и ошибки неминуемы. Кроме того, тут дальность стрельбы зависит от углов места цели. На равнине точное определение дальности до цели, выбор нужного заряда и угла возвышения обеспечили почти точную вертикальную наводку миномета, ибо условия стрельбы близко подходили к тем, по которым составлены таблицы, какими обычно пользуется каждый офицер-минометчик. А в горах угол места цели часто был больше, нежели тот, при котором составлялись таблицы, и это заметно сказывалось на дальности выстрела. Только основательная математическая подготовка Брянского дала ему возможность быстро учесть всю специфику новых условий, и, доучиваясь сам, он подучивал все время своих офицеров и бойцов.

Воздух в горах прозрачней, чем на равнине, и видимость значительно лучше. Поэтому наводчикам и наблюдателям, привыкшим определять расстояние в условиях равнины, здесь эти расстояния казались меньшими, чем в действительности. Брянский поставил задачу:

— Перестроить глаза!

Пока глаз не привыкнет к горным условиям, старший лейтенант запретил и себе и своим подчиненным пользоваться глазомерным определением дистанций. Брянский требовал, чтобы

данные глаза обязательно проверялись хотя бы сеткой бинокля. Ни себе, ни подчиненным Брянский не давал в горах покоя. Даже Сагайду и Черныша он тренировал часами, приучая «смотреть по-новому». И снова свой опыт, свои эксперименты и наблюдения он старался обобщить и записать. Все время спешил, как будто боялся, что не успеет в другой раз это сделать. Почти не зная сна и отдыха, он, как фанатик-экспериментатор, лежа где-нибудь среди горячих камней, выводил какие-то дополнительные формулы для стрельбы снизу вверх и другие — для стрельбы сверху вниз. Набивал ими свой планшет и, улыбаясь утомленными глазами, говорил Чернышу:

— Если что случится со мной, возьмешь этот планшет в наследство.

И добавлял задумчиво:

— Жаль, если наш опыт, добытый такой ценой, пропадет. Кто знает? Возможно, он еще когда-нибудь пригодится тем, кто ходит сейчас в пионерском галстуке... Мы ведь с тобой не думаем, что эта война — последняя на земле. Ты же знаешь, как много врагов у нашей отчизны.

И вот сейчас он сидит с блокнотом и карандашом в руках и смотрит на роту, которую пестовал, учил, растил, как мать своих детей. С ними, с этими людьми, честными и преданными, он уже прошел сотни километров и мечтал пройти еще сотни. Но...

«Кого ж я ему дам?»

И он начал писать. Записал троих и задумался.

Потом, обломав карандаш, добавил четвертого: «Шовкун».

Уходили: старик Барабан, его сосед Багрий; молдаванин из Рыбницы Булацелов и Шовкун. Выслушав приказ, никто из них ничего не сказал, ни о чем не попросил. Молча, глядя в землю, забрали свои солдатские пожитки и попрощались с товарищами. Уже отойдя несколько шагов, Шовкун вдруг вернулся и, смущаясь, подошел к Брянскому:

— Вот... чуть не забыл... ваши подворотнички, товарищ гвардии старший лейтенант... постираны.

И, еще раз поглядев со скрытой нежностью на своего командира, козырнул и бросился догонять товарищей.

Это было в обеденную пору.

Не прошло и нескольких часов, как Шовкун снова спускался на огневую той же самой тропинкой между бурыми кустами и огромными каменными глыбами. Подбородок у Шовкуна был перевязан, и сквозь марлевую подушку проступала свежая кровь. Его обступили товарищи и земляки. Но Шовкун не мог как следует владеть раздробленной челюстью и не говорил, а только шипел сквозь зубы.

— Я ничего... и не успел. А Булацелова убил рядом... Те еще были живы...

Вторично расставаясь с товарищами, теперь уже чтобы идти в тыл, Шовкун снова подошел к Брянскому.

— Товарищ гвардии старший лейтенант... Поберегитесь... Вы поберегитесь, — едва мог разобрать Брянский. — Потому что мне плохое приснилось...

На прощание Брянский крепко пожал ординарцу руку.

— Поправитесь, возвращайтесь в роту. Я вас всегда приму.

— Постараюсь, товарищ гвардии старший лейтенант.

Когда Шовкун пошел, медленно спускаясь на дно ущелья, Брянский долго провожал его пристальным взглядом.

Потом подошел к Чернышу, сел рядом с ним на теплый камень и сказал с какой-то особой задушевностью:

— Женя... Я тебе уже говорил... Если со мной что случится, — заberi планшет. Тут все мои... Всё мое... Я знаю — ты доведешь это до конца. Ты знаешь все мои идеи. Знаешь и понимаешь сам...

Черныш молча сжал руку товарища.

Высоко над грядюю гор пролетали в солнечном небе какие-то тонкие ширококрылые птицы, вытянув вперед головы. Брянский следил за ними.

— На юг, в теплынь. Ты не интересовался, Женя, дорогами птиц?.. Наши сюда не летают. Из Беларуси они через Украину, а затем, кажется, через Черное море...

Черныш впервые услышал от Брянского это «Беларусь». Прозвнес его старший лейтенант с какой-то особенной мягкостью.

Хома Хаецкий, высунувшись из ячейки, которую он всю ночь долбил киркой, вглядывался в заросли, лежавшие слева под высотой.

— Немцы! — вдруг сказал он побледнев.

Бойцы настороженно посмотрели в ту сторону.

— Тебе показалось! Там где-то наши.

— Та немцы!

— Да нет же.

Вдруг еще несколько голосов одновременно крикнули:

— Немцы!

Теперь уже все увидели, как, извиваясь между камней, молча ползут и ползут враги. Где они просочились, никто не знал, хотя в конце концов здесь это не было чем-то необычным, — в горах нередко ни у них, ни у нас не было сплошной обороны. Тут защищались и штурмовались большей частью дороги и отдельные высоты, как бастионы, вздымавшиеся над окружающими хребтами.

Брянский сразу разгадал маневр противника и оценил опасность. Обтекая высоту, гитлеровцы хотели отрезать батальон, который штурмовал ее наверху. Он немедленно приказал повернуть на врага все минометы, коротко сообщил комбату и закончил словами:

— Принимаю бой.

Минометы задрали свои трубы почти вертикально, в самый зенит. Было видно, как мины, словно черные рыбы, прочертив в

голубизне самую крутую траекторию, саданули в гущу вражеских цепей. Там, среди камней, дыма и пламени, поднялся страшный гвалт, и гитлеровцы пошли в атаку.

Вечерело, тени от высот заволакивали ущелье.

Брянский взглянул на своих опаленных солнцем бойцов.

— Товарищи, — спокойно сказал он, и только бледность лица показывала, каких усилий воли стоит ему это спокойствие. — От нас зависит судьба батальона, судьба наших товарищей-пехотинцев. Шаг назад — уже измена. Отступить нам некуда. Может быть, кому-нибудь из нас суждено тут погибнуть, не дожив до Дня Победы. Но будем помнить одно: на нас лежит великая миссия. Будем же стоять насмерть!

Он вспомнил, что точно так же обращался к бойцам под Сталинградом.

Бойцы стояли по грудь в ячейках, словно загипнотизированные. В мире наступила полная пустота, все как бы исчезло, — были только согнутые фигуры в чужой униформе, которые все приближались и приближались.

— Огонь! — скомандовал Брянский.

Ударили из всех автоматов и карабинов.

Вражеские солдаты беспорядочно строчили на ходу из автоматов, падали среди трескотни, поднимались и снова бежали, приближаясь, и уже видны были их искаженные лица.

— Гранаты! — крикнул Брянский и первый метнул гранату, следя за ее полетом, и сразу взял другую. Его глаза загорелись острым синим огнем. — Гранаты! Гранаты!

Гранаты летели одна за другой, поднялся черный туман, немцы вбегали на огневую. В этот момент все услышали, как выкрикнул Брянский.

— За Родину! За Сталина!

Никогда, ни до, ни после того, Черныш не слышал этой фразы, так произнесенной. С какой-то особенной силой и значимостью прозвучала она здесь, смыкая их всех в один кулак. Перед ним блеснули, как в феерическом огне, и река на границе, и солнечные поля за нею, и выпускной вечер в училище, и мать в далеком городе, и длинный караван в песках, и еще что-то неясное, неопределенное, но бесконечно прекрасное промелькнуло перед ним в одну секунду — и все стало для него еще более понятным. Он видит, как Брянский маленькими руками вцепился в каменный бруствер и легко выскочил наверх, не оглядываясь, словно ничуть не сомневаясь в том, что и бойцы сделают то же самое, и прыгнул с бруствера вперед, заноса тяжелую противотанковую гранату. Черныша тоже единым движением вынесло наверх. Глядя все время вперед, он успевал как-то краем глаза видеть, как и другие бойцы вылетали из ячеек, будто их оттуда что-то выталкивало, и у всех были бледные, сосредоточенные лица.

— За Родину! — еще раз крикнул Брянский, и Черныш не узнал его сильного голоса, измененного резонансом гор.

Черныш видел еще, как Брянский боком проскочил несколько шагов и метнул гранату, выхватывая в то же мгновение пистолет. И сразу среди фашистов, которые были вот тут, рядом, грохнуло, заклубилось, и они на какую-то долю секунды исчезли в черном дыму. Черныш видел, как упал Брянский, но не остановился, и никто не остановился. Все, согнувшись, мчались вперед, и все что-то кричали, и Черныш тоже кричал.

Гитлеровцы бежали с огневой.

Это придало Чернышу силы, такой силы, что, казалось, его не мог бы сейчас остановить никакой приказ. Перед ним мелькнул френч. Накрытая кружкой фляга билась на толстом заду бежавшего впереди врага, и Черныш хотел за нее уцепиться, побежал еще быстрее — не бежал, а летел, как птица, все тело его сделалось легким, упругим, как мяч. Черныш, чувствуя в своей руке что-то тяжелое, размахнулся и ударил врага по темени. Тот сразу присел, и Черныш только теперь заметил, что ударил миной, которая неизвестно когда и каким образом очутилась у него в руке.

«Хоть бы не взорвалась!» — мелькнуло у него в голове...

— Руби! Бей!!!

— За Брянского!!! — выкрикнул кто-то поблизости, и Черныш снова ринулся вперед в сплошной рев, стон, топот ног. «Значит, Брянский убит!» — догадался он на бегу, но это не остановило, а наоборот, еще больше наполнило лютой силой и его не удивило, что имя друга уже гремит среди них как боевой клич. Черныш видел, как перед Денисом Блаженко возник высокий гитлеровец в очках и, поднимая руки, истошно завопил:

— Гитлер капут!

Денис молча рубанул его киркой прямо по переносице.

— За Брянского!!!

Ущелье гремело боевым клекотом. Перед Чернышом скрежетали по камням кованые сапоги, и он, стиснув зубы, напрягаясь до последнего предела, прыгнул еще раз вперед и ударил фашиста обеими руками в шею, в спину, повалил и вцепился пальцами в горло, и тот, наливаясь кровью, захрипел.

Промчался мимо Хаецкий с растрепанными, страшными усами; он все время бил немца по спине маленькой саперной лопаткой и пытался схватить его за полы френча.

На мгновение Черныш увидел Сагайду, который промелькнул в распахнутой гимнастерке, с голой волосатой грудью, с налитыми кровью глазами. Он держал в руке пистолет. Черныш вспомнил, что и у него есть пистолет, на бегу выхватил его и бежал, и все бежали — уже между вражескими солдатами, которые с перекошенными от страха лицами неслись куда-то вслепую. В воздухе свистели приклады, взлетали крики и стоны. Снова перед Чернышом появился враг, как будто тот самый, которого он

душил, — скрежетали на камнях кованые сапоги, болталась на заду фляга, кто-то близко кричал: «Стой!» — и Черныш тоже закричал:

— Стой! Стой!

Немец инстинктивно оглянулся, зашатался на камнях и упал.

— Я русский! — вскричал он, вставая на колени и поднимая дрожащие руки. — Я из Солнечногорска!

— В Солнечногорске таких нет! — ответил Черныш и, подняв пистолет, выстрелил ему прямо в грудь.

Черныш утер лицо рукавом, и неожиданно взгляд его остановился на высоте. Там, на фоне вечернего неба, четко выделялся человеческий силуэт, неподвижный, словно высеченный из камня. Солнце давно ушло за высоту, а небо над ней светилось, переливалось красками. Силуэт не двигался. Дерево?

Но в это мгновение фигура, стоявшая до сих пор в профиль, повернулась и стали видны контуры автомата в поднятой руке.

«Высота наша!» — мелькнуло у Черныша в голове, и он закричал изо всех сил:

— Наша! Наша!

XXII

— ...Он погиб, очевидно, от собственной гранаты, — говорил Сагайда, склонившись над Брянским и отыскивая рану. — Она разорвалась слишком близко.

Старший лейтенант лежал на правом боку, откинув голову и подавшись всем телом вперед, как птица в полете. Он напряженно вытянул руку вдоль камня, словно хотел достать что-то лежавшее совсем близко. В руке застыл пистолет, маленький ТК.

Брянский лежал, как живой, крови не было на его белом лице, но глаза не закрыты и только слегка прищурены, как тогда, когда он смотрел в бинокль и командовал. Неожиданно среди всеобъемлющей тишины треснул пистолетный выстрел, и пуля звякнула о камень где-то в нескольких метрах от Брянского.

— В чем дело? — крикнул Сагайда, увидев, что из пистолета Брянского вьется дымок. — В чем дело?

Оказалось, что кто-то из бойцов невзначай коснулся в сумерках руки Брянского, и его пистолет выстрелил от этого неосторожного движения.

— Брянский! — с болью воскликнул Черныш, стоя над маленьким холодным телом командира и друга. — Юрий! Ты и мертвый стреляешь!

Горы темнели, выплыл далекий месяц.

На Брянском расстегнули гимнастерку, осмотрели рану. Осколок прошел в сердце.

Сгрудившись вокруг старшего лейтенанта и присвечивая фонариком, бойцы по очереди разглядывали найденные при нем фотографии. Мертвый командир теперь словно открывал им все свои тайны.

Скорбная женщина в черном платке, повязанном по старомодному, сложив на коленях руки, смотрит прямо в объектив.

— Мать, — говорит Сагайда.

Мать! До сих пор мало кому из бойцов приходило в голову, что и у Брянского может быть мать.

Девушка стоит на берегу моря в купальном костюме, с веслом в руках. Солнце бьет ей в глаза, она щурится и смеется.

— Невеста...

Молча рассматривали бойцы незнакомую красивую девушку. Где она теперь? Что теперь с нею будет?

Из левого кармана гимнастерки достали партбилет. Он весь слипся, пронизанный осколком.

— Пошлют в Москву... В ЦК партии...

Денис Блаженко, не обращаясь ни к кому в отдельности, сказал твердым голосом:

— Я вступаю в кандидаты.

И, встретившись глазами с братом, добавил:

— Я уже подготовлен.

Прибыл старшина с бойцом. Они вели лошадей, навьюченных боеприпасами. Вьючные седла были системы Брянского. Когда в горах пришлось бросить значительную часть обозов и перейти исключительно на вьюки, Брянский предложил эти простые седла вместо стандартных армейских вьюков, тяжелых и громоздких. Седла Брянского, введенные сначала в минроте, быстро распространились, и теперь ими пользовались все полки дивизии. Лошадь Брянского тоже была навьючена боеприпасами и дымилась под тяжким грузом.

— Старшина! — позвал Сагайда. — Ты видишь?

Он указал на трупы, лежавшие возле огневой.

— Я знаю, — мрачно ответил старшина. По дороге он встретил раненных в этом бою, направлявшихся в санроту.

— Знаешь, старшинка... Если знаешь, то скидай свою рубаху. А то глянь...

Сагайда расстегнул на груди булавку, и разорванная гимнастерка разошлась на две части.

Бойцы сели вокруг термоса ужинать.

Старшина разливал спирт по норме и подносил им сегодня с особым уважением, словно перед ним были не те люди, что всегда. Маковейчик раньше не пил спирта, боясь, что сгорит от него; свою порцию он отдавал Хоме. Сегодня Маковейчик неожиданно выпил да еще попросил у Хомы. Хаецкий не дал, пообещал расплатиться в другой раз.

Молча пили и молча ели, как после смертельно утомительной работы.

Позвонил комбат и передал Сагайде командование ротой, пока штаб не пришлет кого-нибудь из резерва.

— А Шовкун сказал, что вернется в роту, — произнес Роман

Блаженко. — Он как-то говорил старшему лейтенанту, что до Берлина с ним будет итти.

Брянского похоронили в тот же вечер на самой вершине только что отбитой безыменной высоты 805. Как ветерана полка, его хоронили с воинскими почестями, какие только возможны были в этих условиях.

В суровой задумчивости стояли бойцы вокруг могилы, слушая пророчальное слово гвардии майора Воронцова. Он справедливо считался лучшим оратором в полку и в дивизии. Но сейчас говорил не только оратор. Воронцов стоял в своей фуфайке, с которой почти никогда не расставался, левая рука его была повязана на груди. Майор сам принимал участие в штурме высоты, и его легко ранило. Лысый, с большими оттопыренными ушами, чуть ссутулившись, он стоял над могилой, как старый отец среди своих сыновей. Золотая звезда ясно светилась над рукой, повязанной белым.

Брянский был для Воронцова не только командиром одной из минометных рот. С Брянским он прошел путь от Сталинграда. Брянскому он давал рекомендацию в партию. Воронцов следил, как растет этот молодой одаренный офицер, словно это был его родной сын.

— ...Он до последнего вдоха сохранил верность присяге, верность знамени, верность своей Родине, — говорил гвардии майор.

А Брянский лежал на палатке, белый, спокойный, с открытым челом, и, сверкая при луне орденами, как бы слушал, что говорят о нем.

Высокий, ясный вечер был наполнен простором, тем запахом беспредельности, какой присущ только вечерам этого поднебесного края.

— Это не первый и не последний боевой наш товарищ, которого мы оставляем в Альпах. Мы идем вперед, а они остаются за нами на каждой сопке как наши верные заставы. Оглянемся, и мы увидим их образы, их силуэты на близких и дальних высотах. Они будут стоять на чужбине как вечные стражи, как вечное напоминание всему миру о жертвах нашего народа, который грудью встретил полчища фашистских орд и собственной кровью оплачивал освобождение Европы.

Черныш стоял с планшеткой Брянского через плечо, стиснув в руке пистолет, приготовленный для салюта, и смотрел на далекие вершины, четко очерченные под мертвым сиянием месяца. Временами Чернышу казалось, что отсюда можно увидеть и ту высоту, на которой остался боец его взвода Гай.

— Днем эти силуэты на горах будут видны за сотни километров, а ночью будут сиять, напоминая о себе и о своей державе. Это не только жертвы, — говорил майор. — Это неугасимые, горячие призывы, написанные нашей кровью!

Было необычайно светло вокруг, полная луна, как матовое

солнце, заливала светом океан хребтов, раскинувшихся во все стороны.

Черныш двинул локтем и почувствовал чью-то теплую руку. Это его несколько утешило.

Чем дальше оставалась за ним родная земля, чем больше сотен километров отделяли Черныша от нее, тем дороже становились ему боевые товарищи, которые словно дышали на него ее дыханием, говорили с ним ее языком, несли в себе ее верность. Это чувство братства наполняло, наверное, и других бойцов. Именно поэтому, стоя сейчас молчаливым суровым кругом у могилы Брянского, они всё теснее смыкались, прижимались плечом к плечу, локтем к локтю, чтобы почувствовать теплое касание, единственное среди холода этих чужих гор.

— ...Его образ, озаренный красотой верности, останется навсегда в наших сердцах. В честь большевика — офицера Сталинской гвардии — салют!

Брянского, в тех же парусиновых сапожках, завернули в плащ-палатку и опустили в могилу. Отдавая последнюю почесть офицеру великой армии, все присутствовавшие подняли свое разнокалиберное, поблескивавшее при луне оружие, отечественное и трофейное. Выстрелили по команде в небо — раз, и другой, и третий...

Всю ночь рота Сагайды пробивалась за пехотой через ущелье, втягивая за собой коней, навьюченных минами и материальной частью в седлах системы Брянского. И было непривычным, что уже не идет впереди твердой походкой, часто оглядываясь, светлый юноша с задумчивыми глазами. В строевой части полка чертежники уже снимали копию с топографической карты и наносили пометки на высоте 805, в том месте, где он похоронен.

Ущелья белели внизу, затопленные молочными озерами туманов. Месяц клонился к закату, камень остыл за ночь, и бойцы мерзли в гимнастерках.

— Черныш, какое у нас сегодня число? — спросил мрачно Сагайда, ковыляя рядом. Он сорвался этой ночью в какой-то овраг и повредил ногу.

Черныш не знал, какой сегодня день. Ему казалось, что уже прошло много времени с тех пор, как они ведут бои в Трансильванских Альпах.

— Ты знаешь, — продолжал Сагайда, — мать у него совсем старая. Одна. Она жила на его аттестат. Я решил послать ей свой. А?

— Хорошо будет.

— Скажи, на что мне деньги? Все, что мне нужно, я получаю без денег. А ей пошлю — все-таки помощь. Юрий писал ей обо мне, какая у меня история с родными... Так она в каждом письме и мне привет передавала. Тоже называла... сынком.

Камни поблескивали под луной тусклыми осколками.

От жгучей тоски руки Черныша сжимались в кулаки. Кажет-

ся, в его короткой жизни не было еще такого горя, какое могло бы сравниться с этим. Брянский был его первым другом на фронте. Эта мужская дружба, не раз испытанная смертью, забывается труднее, чем первая любовь.

Перед глазами Черныша стояла девушка с веслом на берегу моря и смеялась солнцу. Он видел ее только на фотографии, но обращался словно к живой.

«Люби его, кохай его! — заклинал он в тоске. — Люби, хотя он никогда не вернется к тебе с этой высоты... как и боец Гай со своей. Не вернется!.. Кончится война, загремят салюты в честь победы, а они останутся тут, как наши заставы. Люби его, не забудь вовек, люби, люби его, не забудь ради другого! Может, тогда он будет здесь не таким одиноким!»

А на следующее утро какой-то молодой сапер, проходя по следам батальона и ставя указки, увидел огромную глыбу, под которой был похоронен Брянский. Ее легко мог заметить каждый, кто шел по указкам. Боец рубанул несколько раз киркой по камню, и возникло «Л» со стрелкой, направленной на запад.

XXIII

В это же утро бойцы Сагайды, взобравшись на последний хребет, облегченно вздохнули. Внизу простиралось огромное плато, зеленевшее виноградниками, лугами и садами. Ласкала и успокаивала глаз эта степь в горах, раскинувшаяся на десятки километров. А вдалеке на западе синели и синели горы.

— Это, наверное, и есть тот альпийский луг? — обратился Сагайда к Чернышу.

— Какой?

— Когда-то до войны у нас были духи «Альпийский луг». Я их однажды подарил Лиле на именины.

— А теперь тебе их дарит сама природа.

Догорая, дымились селения. По дорогам двигались бронетанковые части и конница казачьего корпуса, прорвавшаяся где-то слева.

В ближайшем местечке расположился полк. Сагайда узнал от комбата, что полк вышел во второй эшелон и будет стоять тут, наверное, до завтра, ожидая пополнение, которое где-то уже ведут офицеры резерва.

Местечко было полуразрушено ударами нашей штурмовой авиации. В уцелевших домах уже хозяйничали бойцы. В трофейных бочках из-под горячего грелась вода, голые бойцы мылись на солнце, стриглись, писали письма, читали газеты. У полковых разведчиков играла гармошка, и на воротах уже белела надпись: «Добро пожаловать!» Из ворот, как раз когда мимо них проходила минрота, выехал Казаков верхом на маленьком белом ос-

ликс. Сержант был выбрит, чист и доволен. В руке он держал огромную пустую бутылку.

— Куда, Казаков?

— В Иерусалим.

Бойцы гикнули, свистнули на осла, и он помчался во весь дух по улице. Казаков, обняв животное длинными ногами, ловко балансировал на нем с бутылкой в руке.

Минометчики расположились в саду на окраине. Душистые белые яблоки наполняют сад запахом ликера. Краснощекие, налитые персики сгибают ветки. Осыпаются созревшие волошские орехи, устилают траву. К саду примыкает виноградник. Никто о нем не заботится. На площади в несколько гектаров белый прозрачный виноград свисает тяжелыми гроздьями до самой земли.

— Гей, кумэ! — зовет Хома Романа Блаженко. — Идите ко мне персики есть. Ешьте, сколько душе угодно. Тут хватит и на вашу жинку, и на ваших деточек, и на всех ваших родичей, хоть их у вас батальон!

Почистив оружие, большинство бойцов ложится спать. Только Хаецкий, хоть он тоже не спал всю ночь, не может угодниться. Он шныряет по двору со щупом в руках, заглядывает во все углы и пробует землю. Он всегда ищет какие-то клады в этой чужой земле, как будто он тут уже когда-то был и закопал их. Он мечтает найти закопанную бочку столетнего вина, чтобы угостить весь «колхоз», как он называет свою роту. Он хочет доставить удовольствие всей роте. Прощупав весь двор и ничего не найдя, Хома, наконец, успокаивается. Берет лопату и копает для себя щель. Копать землю он мастак. За несколько минут щель готова, дно ее устлано душистой травой. Хома влезает туда и укладывается спать, положив автомат под голову. Хаецкий ненавидит проклятых «мессеров» и может спокойно отдыхать, только зарывшись в землю.

— Земля моя, матинка моя, — обращается он к ней, — с тобой мне лучше всего! В тебе я словно у матери за пазухой!..

Всадник-автоматчик гонит по улице пленных. Солнце пригревает, они топают рысцей, тяжело дыша.

— Гони их, гони, — говорит Роман, стоя у ворот на посту. — Ишь как обливаются потом, а мешки с барахлом не скидают. И чем они их понабили?

С грохотом проезжают наши и румынские танки, не останавливаясь в местечке. На танках сидят румынские солдаты в черных беретах и пьют сырые яйца.

— Что, они тоже вступают в бой с Гитлером? — спрашивает Блаженко знакомого ординарца из полка.

— Уже вступили!

Блаженко щупает свою руку, рассеченную румынами при взятии дотов. Она уже зажила.

— Пусть испускают свои грехи, — говорит Роман, провожая взглядом танкистов, исчезающих в сухой пыли.

После обеда Черныш с Денисом Блаженко пошли к Воронцову за рекомендациями, которые тот обещал дать. Майора они застали на террасе дома, где расположилась политчасть полка. Воронцов сидел на стуле, а некрасивая, сердитая фельдшерница из санроты делала ему перевязку.

— Садитесь, — пригласил Воронцов, — я сейчас...

Присев, Черныш смотрел на майора и вспоминал первую встречу с ним под дотами. Казалось ему, что это было давно-давно... Тогда он впервые только услышал о Брянском, не зная, что станет его самым близким другом и что пройдет еще немного времени, как он будет хоронить его ночью на сопке.

«Брянский! Самиев мечтал послать тебя после войны в академию!..»

Покончив с перевязкой, Воронцов достал лист бумаги, ручку и приготовился писать. Он задал Чернышу несколько вопросов.

Черныш родился в ту зиму, когда страна прощалась с Ильичем. Он лежал еще несмышленишем в люльке, когда Сталин давал Ильичу клятву на верность его заветам. И те, что лежали тогда в колыбелях, — только что рожденное поколение, — неосознанно принимали на себя эту клятву, всасывая ее с молоком матери... Теперь они несут ее по дорогам Европы...

Пионерский отряд, десятилетка, путешествия летом с отцом в горы, военное училище. И всё! Жизнь была ясна и прозрачна до дна. В ней было мало горя, мало потерь, много смеха и солнца. И первой самой болезненной утратой для него была смерть Юрия Брянского. Тяжелым, физически ощутимым камнем она сейчас лежала на сердце.

Майор писал. Закончив и помахивая листком, пока не подсохнут чернила, он смотрел с террасы на далекие синеватые горы.

— Там опять Альпы, — сказал он.

— Я знаю, — ответил Черныш, угадывая мысль Воронцова.

Когда и Денису рекомендация была написана, ефрейтор, беря ее, вытянулся и взял под козырек.

Дорогой, когда они уже возвращались в роту, Денис заговорил с не свойственной ему раньше сердечностью в голосе:

— Наверное, у нас сегодня воскресенье, товарищ гвардии младший лейтенант... Так как-то празднично... Видите, вступаю... Не знаю, так ли вам, как мне. Ведь знаю, что это вступление каких-то... практических преимуществ мне не даст. Как был ефрейтором, так и останусь. Как носил миномет на плечах, так и буду носить. Наоборот, обязанностей больше будет. Теперь еще парт-орг начнет мне давать поручения. И все-таки хорошо. Если бы я докладывал о правах и обязанностях члена партии, то про обязанности рассказал бы лучше, чем о правах. Вступаю в партию, значит беру на себя добровольно дополнительные обязательства перед народом. Беру новую ношу на плечи. Пусть тяжелей бу-

дет, но на сердце-то как хорошо!.. Будто воскресенье, будто праздник...

Под вечер тучи закрыли небо. Весь мир стал серым, и пошел обложной дождь, равномерный и тихий, какие идут подолгу. Все сразу заметили, что лето уже прошло, что наступает осень с нескончаемыми дождями, размокшими дорогами, холодными ветрами. Солдату это было страшнее, чем пули и снаряды. В такую пору тоска по родному краю становится нестерпимой.

Вечером Черныш и Сагайда сидели у разведчиков. Играла гармошка, тоскливые мужские голоса из разных углов комнаты подпевали ей.

До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага...

Казаков сидел у края стола, склонившись на руку, печальный и задумчивый. Родные песни навевали и на него много воспоминаний.

Частый дождь тарахтел в стекла, грохотала под ветром железная крыша, и от этого в освещенной комнате было еще уютнее. «Добро пожаловать!», написанное на воротах, уже смывалось дождем. Приятно было думать, что сегодня не придется никуда идти: можно в сухом помещении петь с друзьями допоздна, а потом спокойно поспать на соломе до утра.

Часовой за окном на террасе остановил кого-то окликом, спрашивая пропуск. Потом в дверях загремело, и ординарец Сагайды остановился на пороге мокрый с автоматом на груди. Вода ручьями стекала с его плащ-палатки.

— Товарищ лейтенант, батальон выходит.

Сагайда чертыхнулся и быстро встал, затягивая ремень.

Прибежал полковой связной с приказом: Казакову немедленно явиться к начальнику штаба.

Черныш и Сагайда вышли на улицу, и колючий дождь ударил в их разгоряченные лица. Было слышно, как во дворах перешлепывают бойцы, собираясь и позвякивая оружием.

— Иванов, где ты? — кричал кто-то в темноте. — Где ты, чорт бы тебя взял?!

На западе полнеба было охвачено неподвижным заревом, дождь лил, стекая холодом на горячие шеи, и было странно, что это зарево не гаснет под ним.

— Горит... Горит Европа, — сказал Сагайда, топая по грязи.

Черныш видел в тусклых отблесках его мокрое лицо.

Промчался улицей черный всадник в развевавшейся плащ-палатке, грязь стрельнула из-под копыт во все стороны. Сагайда поднял руку, прикрывая лицо, и выругался.

Зарево, подымаясь в ночи, стояло перед ними, как вздыбившееся в небо пылающее море.

Батальон, не рассредоточиваясь, продвигался вперед. Бескрайный мрак разливался вокруг. Казалось, это была другая земля, не то зеленое широкое плато, которое утром предстало перед глазами бойцов, залитое солнцем до самых далеких синих гор.

Молча плелись бойцы навстречу мокрому ветру. Лошади минометчиков храпели и стонали в темноте — они вязли в пашню. Виноградники, кукуруза, подсолнухи трещали под ногами. Шли без дорог, их, казалось, и не было тут. Ночью как будто исчезли все те асфальты, по которым утром двигались части казачьего корпуса, вздымая тучи пыли.

Комбат со старшим адъютантом время от времени останавливались, чтобы при свете фонарика под плащом свериться по карте и снова догонять пехоту. Чавкала и чавкала вязкая земля, словно целовала неутомимые солдатские ноги.

— Патку мий, патку! — слышится голос Хаецкого, который бьется где-то сзади с конем. — И когда же будет край этому болоту?

В этот момент сапоги переднего бойца зазвенели о камень, и весь батальон облегченно вздохнул:

— Шоссе!

Знали пехотинцы, что не ходить им по этому шоссе, знали и минометчики, что не мчать им по этой звонкой дороге на конях, ибо она, пролегая с севера на юг, не сходилась с направлением наступления, а ее не передвинешь, как стрелку часов... Знали это и все же обрадовались. Хоть десять шагов, хоть пять шагов — только бы почувствовать под ногами твердую почву, а не хлюпкую, тяжелую пашню, в которую, кажется, увяз бы с головой, если бы не двигался все время вперед.

С ходу пересекли асфальт, и сразу из темноты возникла железнодорожная насыпь, протянувшаяся параллельно шоссе. Под насыпью сновали силуэты людей, слышалась румынская речь и русское: «Давай, давай!»

— Слышишь, как румынешти гвоздят по-нашему? — сказал кто-то повеселев.

— Они будут нашим правым соседом, — сообщил Чернышу Сагайда, только что вернувшийся от комбата.

По другую сторону железной дороги, где-то совсем недалеко, вражеские транспортеры открыли огонь. Гулкие выстрелы МГ как будто ударяли по жестяному небу. То ли дело в темноте встречались румынские солдаты с охапками кукурузы для своих окопов.

— Здоровеньки булы, товаришочки! — кричал им Роман Блаженко бодрым голосом. — Здоровы будьте, братцы!

Бойцы, скинув с себя плащ-палатки, укрыли ими от дождя минометы, а сами, оставшись в гимнастерках, рыли ячейки, по-

звяжывая лопатками. Сагайда и Черныш сидели под насыпью, не прячась, от дождя, потому что и негде и незачем было прятаться: они промокли до костей. Земля мягкая, как губка, теплела под ними, нагреваясь от их тел.

— Иногда представляю себе, — глухо говорил Сагайда, — что было бы, если бы все на свете стало единым. Чтобы ни языков, ни кордонов... Ни усобиц, ни войн!.. Города хорошие, белые. Хочешь — езжай в Багдад, хочешь — в Буэнос-Айрес... И люди стали бы все равными, свободными... А то не живут, а бродят по миру и лякают друг на друга зубами...

И после паузы добавил уже другим тоном:

— Если бы я встретил того гада, который украл мою дивчину, представляешь? А?

— Разве только у тебя, Сагайда? Сколько они украли наших людей! А сколько они украли, покалечили людских надежд, ожиданий, прекрасных планов! У меня все время перед глазами стоит Брянский, звучит в ушах его голос. Помнишь, он как-то сказал: «Всё, всё мы отдаем тебе, Родина: даже наши сердца...» Как это справедливо! Разве и в самом деле мы не отрекаемся от всего, на что имели право на земле? И личное счастье, и собственные желанья, все мечты и все чувства мы слили в одно единое стремление — жажду победы... Может, потому она, Родина, для нас становится тем дорожке, тем прекрасней, чем больше лишений мы переносим за нее. Вот прожил я двадцать лет. Конечно, сталкивался с разными людьми, были среди них и хорошие, — очень много хороших! — были и мелкие, завистливые, злые. Но, странно, сейчас эти последние забылись, вспоминаются только хорошие люди, и вся наша страна от севера и до Памира представляется прекрасным единым лагерем только хороших, честных, трудящихся людей... Великодушен народ, пославший свои многотысячные армии, цветущее свое поколение для освобождения Европы!

Среди бойцов, копавших поблизости в темноте, кто-то громко стукнул лопатой о камень.

— Знаете, чем бы я казнил Гитлера и всех виновников войны, если бы поймал их? — послышался голос из ячейки. — Я его не расстрелял бы... Я бы только выволок его из кресла и засадил бы в этот окоп, полный грязи, и пусть бы он копал и копал все осенние ночи, пока не сгнил бы в этом болоте. Пока не нажрался бы этой грязищи... Тогда больше не захотел бы воевать никакой фюрер, никакой министр!

Только окопался, как прибежал вестовой из батальона и доложил, что приказано сниматься и идти вперед, потому что противник отступает.

Сагайда подал команду вьючить лошадей.

Скользя и вытягивая один другого за руки, словно на скалу перебрались через насыпь, и снова темная пустыня залегла перед ними. Среди черного океана, как багровые острова, вздыма-

лись пожары. Ближние и дальние, они своими неподвижными за-ревами вызывали ощущение космической беспредельности этих темных просторов. Казалось — иди хоть столетия, все будет под ногами чавкать вязкая земля, тучи будут сеять и сеять нескончаемый дождь, всё будут выситься в темноте неподвижные острова крутых розовых скал.

Далеко за полночь бойцы Сагайды приблизились к одной из багровых сопок, и Черныш увидел, что нет никакого скалистого острова из розового камня, а есть лишь длиннющие скирды, конюшни, сараи, которые горят со страшным медленным безразличием. По временам затрещат балки, с грохотом посыплется раскаленная черепица с крыши, и опять все горит медленно и ровно.

Не горел только помещичий дом в центре просторного двора, озаренный со всех сторон пламенем. Стройные белые колонны, увитые диким виноградом, высились у входа. Не тронутый пламенем, белый дом возвышался, как властелин этой черной степи. Зияющие провалы окон с оранжевыми отблесками на уцелевших кое-где стеклах молчаливо и загадочно глядели на незнакомых вооруженных людей, которые заполнили двор и на мгновение остановились, пораженные. Всегда бывает эта остановка хоть на одну секунду перед тем, что только что было другим таинственным миром и стреляло по тебе, а сейчас ты должен войти в его нутро. Знаешь, что там уже нет врага, и все же остановишься, потому что оно, это строение, по инерции еще дышит на тебя неприязненно. И только войдя внутрь и крикнув что-нибудь товарищу или даже самому себе, ты словно овеешь чужие стены своим дыханием, и они уже становятся близкими и понятными, как трофейное оружие, выстрелившее впервые в твоих руках.

В сараях ревел привязанный скот, задыхаясь в дыму и сгорая живьем. Опаленный жеребенок, фыркая, выскочил из пламени и стал, испуганно озираясь. Увидев возле минометчиков лошадей, он пошел к ним, ища мать. Совсем маленькое, беспомощное существо топало тонкими ножками и доверчиво тянулось к рукам бойцов. Каждому захотелось погладить его. Роман Блаженко обнял жеребенка за шею и прижался шершавой щекой к его атласной мордочке. Черныш горько усмехнулся. Какое-то теплое воспоминание мелькнуло перед глазами.

— Смотри, заколешь его своими усищами! — кричали Блаженко бойцы.

Воздух нагревался от близкого пожара, и бойцам становилось теплее.

XXV

Во второй половине дня пронесся слух, что соседи справа бегут. Неизвестно, кто первый сообщил эту новость, но каждый уже знал ее. Нервная тревога появилась в движениях бойцов. И хотя минометы из-за дотлевающей скирды чавкали, как и рань-

ше, боец, даже опуская мину в трубу, одним ухом настороженно прислушивался к тому, что делается в пехоте. А там, вдоль лощины, за помещьем, где залегла пехота, было неспокойно. Пулеметы захлебывались. Пробежал связной из полка и на окрик Сагайды ничего не ответил, только махнул рукой. Появились штабные работники, озабоченно спеша куда-то. Пробежала полковая разведка. Казаков мчался в расстегнутом ватнике, с автоматом в руке и с каким-то особым вниманием вглядывался вперед. Он даже не заметил Сагайду.

Комбат требовал огня и огня. Сагайда бил и бил, встревоженно поглядывая на растущую грудку пустых ящиков, потому что транспорты с боеприпасами еще где-то пробирались по бездорожью.

Черныш стоял на наблюдательном пункте, открытом этой ночью в поле, за именем. Он сам напросился у Сагайды корректировать огонь, и Сагайда согласился, считая Черныша лучшим корректировщиком, чем был сам. В окопе, у ног Черныша, сидел над аппаратом Блаженко-старший. После того как в бою под высотой один телефонист был ранен, Романа поставили на аппарат, и он с присущим ему усердием взялся за новую работу. Одновременно он выполнял при Черныше обязанности ординарца, хотя делал это не по приказу, а вполне добровольно, по собственной инициативе.

Черныш направил огонь минометов на правый край лощины, куда вползали вражеские бронетранспортеры с десантами. Минометчики стреляли на шестом заряде, и попасть в бронетранспортер было трудно. Но несколько мин легли за ними, там, где брели десантники, и, когда дым рассеялся, Черныш увидел, как вражеские цепи сбились в группы, наверное возле убитых или раненых.

Шум и трескотня поднялись и слева, совсем близко, где до сих пор было спокойно. В лощине не смолкало «ура», но пехоты не было видно. Транспортеры заходили в балку, прошивая ее трассирующими пулями. Поднялась настоящая огненная метель, грохот нарастал.

Из этой метели один за другим выскакивали бойцы и бежали сюда, к имению.

Черныш понял, что румыны и в самом деле ударились в панику и фланг оголился. К тому же противотанковую артиллерию еще не успели подтянуть. Полк очутился в тяжелом положении. Видимо, там уже была дана команда отходить к усадьбе. Уже не одиночки, а группы пехотинцев побежали мимо Черныша.

Тяжелые, заляпанные грязью шинели шумели возле него. Чернышу показалось, что пробежал здесь и тот лысый пехотинец, который носился по румынской дороге без седла на коне и молил: «Останови, останови!»

Стонали раненые, густо свистели пули, тяжело чавкали сапо-

ги бегущих. Всё стремительно летело мимо Черныша, и он, напрасно пытаясь остановить бегущих, вдруг ойкнув, раскинул руки, словно хотел своей грудью остановить эту ослепленную ужасом лавину. Упал. А пехотинцы под градом пуль, который становился все гуще, бежали, перескакивая через Черныша, не оглядываясь.

Блаженко, как будто и не следивший за Чернышом, сразу же заметил, — вернее, почувствовал, что нет уже младшего лейтенанта среди тех, кто метался вокруг. Нет! И он, не задерживаясь, решительным прыжком выскочил из окопа и сразу же наткнулся на своего командира. Черныш, смертельно бледный, лежал, распластавшись, в грязи с пистолетом в руке. Закрыв глаза, он слегка стонал, будто во сне. Блаженко с одного взгляда отметил, что Черныша ранило куда-то в затылок, потому что чубатая голова его лежала в луже крови, смешанной с грязью. Блаженко даже не представлял, чтобы можно было бросить своего командира среди этого поля и удрать. Властным окриком Роман позвал ближайшего пехотинца, и тот остановился, испуганный, подвластный.

— Помоги взять!

Блаженко взвалил Черныша на свои плечи, взяв его, как брал в колхозе мешки с зерном, — обеими руками. Черныш застонал. Блаженко не думал, что этот сухошавый юноша такой тяжелый. Он словно во сто крат потяжелел в этом бою.

В стогах, трескотне, страшном геме тонуло все вокруг. Туманилось сознание, и ноги приобретали необычайную быстроту. Блаженко казалось, что ни одна пуля не заденет его, пока эта ноша лежит на спине. Был уверен, что за такой святой работой никакая сила не может убить человека.

* Упал перед Романом какой-то боец, разрывная пуля ударила в голову так, что снесло череп.

«А меня не может!» — подумал Блаженко и переступил через ноги бойца.

Он бежал, вспотев, кряхтя, задыхаясь, вскидывая глаза, чтобы видеть дальше вперед. Бойцы уже пролетали через поместье, одни минуя его, другие заскакивая в дом, чтобы передохнуть. Пули крошили каменные стены, словно кирками. Блаженко остановился на ступенях и поднялся к двери. На первом этаже возле дверей уже набилось много бойцов из разных рот, батарейцев и полковых разведчиков, радистов, связных. Некоторых Блаженко знал в лицо, большинство были незнакомы ему.

— Черныш! — вдруг послышался из толпы голос Сагайды. — Черныш!!!

Его положили осторожно на цементный пол.

Подожел Казаков, который тоже забился сюда. Теперь перед Казаковым лежал уже не тот молоденький чистенький офицер, какого он встретил впервые на пограничной переправе. Брюки Черныша были в грязи, подошва на одном сапоге отстала, пого-

ны смялись, слиняли... А черный густой чуб отрос, и на верхней губе пробивались темные усики.

Товарищи перевязывали Черныша, разрывая свои засаленные пакеты, которые месяцами носили в карманах.

Черныш лежал без сознания. Он был ранен не только в голову, но и в бок. Пока с ним возились, бойцы один за другим выскакивали из дома и бежали через двор. Некоторым удавалось прорваться между взрывами мин, иные исчезали в клубах дыма, и клочья одежды летели вверх вместе с дымом и брызгами грязи. А когда двое упали, корчась, уже на самых ступенях, никто больше не рисковал выбежать из дома. Слева, где-то совсем близко, зашел бронетранспортер и прошивал двор.

Страшное слово метнулось среди бойцов:

— О-кру-же-ны.

Сагайда приподнялся, шагнул через ноги Черныша.

— Что такое? Что?

— О-кру-же-ны!!!

Он инстинктивно рванулся к выходу, но порог загородили раненые, которые ползли со двора внутрь, оставляя на ступенях дорожки крови.

Двор опустел. Лишь кое-где еще стонали раненые. Шум стихал удаляясь.

Сагайда встревоженно окинул глазами присутствующих, и встретился взглядом с Сиверцевым, знакомым лейтенантом из полковой батареи. Сиверцев смотрел на него так, что Сагайда сразу поверил: да, это было оно, то самое, чего каждый из них боялся больше, сильнее смерти. Железное кольцо сомкнулось.

Бойцы, притихшие и настороженные, остро следили за каждым движением Сагайды. Не глядя на них, Сагайда видел их глаза, полные вопросов, ищущие надежды, и большая, доселе неведомая ответственность — чувствовал — ложится на его плечи своей тяжестью. Его пригибала эта тяжесть.

— Что ж, — сказал Сагайда выпрямляясь, — что ж...

Плечи его поднялись. Напротив стоял с ручным пулеметом высокий пожилой боец. Щеки у него глубоко западали, так, что кости натянули кожу.

— Пулемет исправный? — спросил Сагайда.

— А что? — глянул боец исподлобья. Руки у него были в застывшей грязи, словно наждак.

— Исправный, спрашиваю?

— Ну, исправный...

— Не нукай, не поедешь!.. Ложись тут, при дверях.

— Я не из вашего батальона...

— Ложись!

— Не кричи! — спокойно поднял голову боец. — Страшнее видели — не испугались... А тут мы сейчас... все одинаковые!

Темная кровь ударила Сагайде в лицо.

Он четким шагом подошел к бойцу вплотную и, едва сдерживаясь, проговорил:

— Я приказываю!

— Своим приказывай...

Не успел боец закончить, как Сагайда коротким ударом сбил его с ног.

— Ложись!

Боец, не поднимаясь, молча пополз к дверям и начал с привычностью профессионала устанавливать пулемет на пороге.

— Второй номер!

— Я.

— Давай сюда!

Казakov тоже выступил вперед, обращаясь к Сагайде с какой-то подчеркнутой официальной почтительностью:

— Товарищ гвардии лейтенант! Тут наиболее опасно. Разрешите и мне стать при дверях!

— Становись.

Выставив охрану в дверях, Сагайда осмотрел внимательно весь дом, подсчитал оружие, бойцов и боеприпасы. Чем больше он занимался этим делом, тем больше росла в нем уверенность, и положение начинало казаться не таким безнадежным.

Сагайда выставлял посты возле окон, возле каждой дыры, откуда можно было вести огонь и наблюдать. Инструктировал он при этом бойцов детально, как наряд на разводе. И бойцы успокаивались, будто и в самом деле шли в гарнизонный наряд. Незнакомые, из других подразделений, они уже выполняли волю Сагайды без слов и обращались к нему с уважением, словно к карначу¹. Смотрели на него с готовностью и скрытой надеждой, будто от него зависело теперь их спасение.

Большинство бойцов собралось в многооконном зале второго этажа. Отсюда можно было обстреливать значительную часть двора, на который уже вошли бронетранспортеры и обступили дом, словно конвоиры.

— Рус, сдавайся! — донеслось оттуда в разбитые окна. — Сдавайся, мы не будем убивать!

А увидев в окне бойца-казаха, закудахтали, загикали:

— Монголия! Азия!

— Рус, сдавайся!

— Гранатами! — скомандовал Сагайда бойцам, что стояли напротив окон. — Рус никогда не сдается!..

Бойцы, пряча головы, высунули только руки и опустили гранаты. Внизу грохнуло, заревело и долго стонало: «О-о-о!»

Пулеметы резанули по всем окнам.

Черныш лежал в углу, под стеной. На мгновение он очнулся и попросил пить. Губы его пересохли, слиплись, и он с трудом разжимал их. Блаженко, спросив разрешения у Сагайды, спу-

¹ Караульный начальник.

стился вниз поискать воды. Наверху, в зале, было еще светло, а чем ниже он спускался путаными лестницами, тем больше темнело. Он добрался до подвала, из полуоткрытых дверей которого пробивался свет. Роман открыл их и вступил в мрачное помещение, длинное и низкое, со сводчатым потолком. На столике горела свеча, а возле в широком кресле сидел седой венгерец, глубоко задумавшись. Увидев бойца, он повернул к нему отекавшее лицо с клинышком седой бородки.

— Вы еще тут? — спросил он.

В подвале, заваленном узлами и мебелью, все стояло вверх дном.

— Воды! — сказал Блаженко, показав жестом, будто пьет. — Воды!

Старик взял со стола небольшой бронзовый бюст и показывая его бойцу, проговорил с какой-то напыщенной гордостью:

— Кошут!

Блаженко спутал это слово с «тешик»¹, какое он знал, и возразил.

— Нет, не это! Воды, понимаешь, воды! — И снова показал, будто пьет.

А венгерец говорил ему что-то поучительное, неприязненно и сердито смешивая русские, немецкие и словацкие слова. Роман, который за время пребывания на чужой территории с удивительной сметливостью научился ловить общий смысл чужих языков и жестов, понял из речи старика, что и тут когда-то была революция и предок этого седого венгерца был офицером революции и погиб в бою с войсками царя Миклоша². И что этот старый граф тоже решил никуда не уходить из фамильного замка, где некогда собирались революционеры Мадьярорсага³ и где живет славный дух его предков-повстанцев.

— Габору нем йов!⁴ — закончил старик, а воды и не думал искать.

Тогда Блаженко сам пошел на поиски.

Он наткнулся на множество различных изумительных вещей, каких никогда не видел раньше, и теперь, повертев в руках, отбрасывал прочь. А старик, не спуская глаз, следил за ним, удивляясь, что чужой солдат не берет его добра. В далеком углу, за пуховиками, боец нашел, наконец, то, чего хотел. Там стояла стеклянная банка с маринованными черешнями. Взяв банку, Блаженко подошел к столу и подал старику:

— Пей, граф.

Роман боялся отравы.

— Пей... Кошут!

Венгерец начал пить.

¹ Пожалуйста (венг.).

² Николая Первого (венг.).

³ Венгрии (венг.).

⁴ Война — нехорошо! (венг.).

— Стой! Довольно!

Блаженко забрал банку. Выходя, на мгновение задержался в дверях. Он хорошо знал, куда идет.

— Слушайте, мадьяр... если нас тут перебьют, капут... понимаешь... то, чтоб похоронил! Слышишь?

Он пояснил слова жестами. Венгерец утвердительно закивал.

Наверху, в зале, было полно дыма. На полу стонали раненые. Тут уже образовался целый госпиталь. Сагайда предлагал раненым для большей безопасности спуститься на первый этаж, но они отказывались. Они хотели быть все вместе до конца и жалась к Сагайде. Сагайда в глубине души был рад, что они с ним, все вместе.

Блаженко, хлюпая по лужицам крови, на четвереньках пополз вдоль стены к младшему лейтенанту. Пули впились в стену над головой, и штукатурка сыпалась ему за воротник. Бойцы неподвижно стояли у окон и не стреляли. Немцы боялись показываться на видном месте.

На дворе прояснялось, серое небо на западе оголялось голубыми островами.

«Солнце заходит на погоду», — отметил Роман.

Черныш, голый по пояс, лежал спокойно, будто отдыхал. Голова его была забинтована марлевой чалмой. На голой груди скрещивались белые бинты. Продолговатое лицо Черныша еще больше вытянулось, подбородок заострился, исчез густой румянец со смуглых щек. Маленькие сухие губы были крепко сжаты.

— Товарищ командир...

Черныш сосредоточенно, не мигая, смотрел на противоположную стену и не слышал Блаженко.

Стену, обогренную ярким закатом, клевали пули. Большая картина в золотой раме покачивалась на шнуре: какой-то венгерский рыцарь на добром белом коне рубился с окружавшими его турками в красных жупанах. И всех их клевали невидимые птицы, и они покачивались.

— Товарищ командир... Товарищ командир!..

Черныш поморщился, с усилием оторвал глаза от картины и сурово посмотрел на Блаженко. Блаженко разомкнул его твердые губы краем банки. Черныш глотнул несколько раз и вздохнул.

— Где Брянский?.. Где Сагайда?

Сагайда и Сиверцев в противоположном углу зала хлопотали около рации. Рядом с ними лежал радист, раненный в обе руки, и давал указания.

— Отправьте меня в санчасть, — проговорил твердо Черныш. — Я ранен.

В это время от окна кто-то крикнул:

— Идут!

Бойцы оглушительно застрочили из автоматов. Стреляные гильзы зазвенели о пол, как золотые.

— Почему они стреляют? — поморщился Черныш. — Ох, зачем они стреляют?.. У меня болят уши.

За окном, где-то близко, заскрежетал транспортер, и трассирующие пули влетали в зал, как обломки молний. Снова послышались крики немцев. Глаза Черныша расширились.

— Так. Значит, они кругом?

Блаженко молча вздохнул.

Солнце зашло за далекие горы, и стена померкла, красные жупаны турок потемнели, и красавец-рыцарь лотемнел. Только белый конь попрежнему гарцовал на полотне.

Неожиданно где-то внутри дома заиграл баян и послышалась песня. Бойцы онемели, пораженные: так необычно, так дико ворвалась песня в эту страшную стрельбу, в общее напряжение.

Всю-то я вселенную про-е-е-хал —
Ни-где ми-лой не нашел!..

Дерзкое пение приближалось, нарастало, словно из далекой степи. В дверях появился приземистый кривоногий боец в расстегнутой гимнастерке, с перламутровым аккордеоном в руках. Боец усмехнулся широкой безразличной усмешкой, как будто ему не было никакого дела до того, что творилось вокруг.

— Всё! — выкрикнул он, перестав играть. — Конец!.. Тут наша могила!

Те, которые были в зале, не отрывали от него глаз.

— Внизу — вино!.. Товарищи! Ребята! Милые мои, эх!.. Предлагаю выпить бочку! Всю, до дна! А тогда противотанковую под себя!.. Пусть видит поганый фриц, как русские умеют умирать!.. Пусть вся Европа!..

— Замолчи, паскуда! — высунулась из-за угла пианино бородастая голова раненого. — Это не цирк — показывать себя... Не для того послали нас!

Глубокие морщины залегли у Сагайды на лбу. Он оставил рацию и подошел к бойцу, некоторое время молча оглядывая его с головы до ног.

— Товарищи, — сказал Сагайда хрипло, обращаясь к бойцам. — Взгляните на этого типа. Это дезертир. Да, да, ты еще с нами, но ты уже дезертир и предатель. Ты давал присягу?

— Несколькое раз, товарищ гвардии лейтенант! — выпрямился кривоногий.

— А присяга что нам говорит? До последнего вдоха! До последнего вдоха, где б ты ни был, в любых обстоятельствах... Держись, грызись зубами за Родину!.. Будь достойным своей великой исторической миссии!..

— Есть быть достойным... исторической миссии! — козырнул певец, все еще держа в одной руке аккордеон.

— Нас ждут народы Европы, — подбирал Сагайда не раз слышанные слова. — Нас послали освободить их.

— Есть освободить Европу! — снова крикнул боец, стойко держась на ногах.

— Замолчи! — гаркнул на него Сагайда. — Пьяная ты морда! И снова обратился к бойцам:

— У нас здесь нет трибунала. Мы сами трибунал! Что мы с ним сделаем?

— За окно! — закричали бойцы единодушно. — За окно!

Сейчас им жаль было потратить на него и девять граммов свинца — патронов было мало.

В это время через порог вполз тот пулеметчик с запавшими щеками, которого Сагайда поставил на главном входе. Пулеметчик поддерживал рукой расстегнутые штаны, и Сагайда в первый момент подумал, что этот тоже пьян.

— Меня франило, — тихо сказал пулеметчик.

Он сел возле порога, опершись спиной о косяк двери, и поднял одной рукой свою грязную рубаху, другую, окровавленную, все время держал на животе. Сагайда нагнулся и невольно вздрогнул: под пальцами пулеметчика зияла рваная рана.

— Кто пулеметчик? — не мешкая, обратился к бойцам Сагайда.

— Я! — ответил кривоногий.

— Ты пьяный.

— Гвардии лейтенант! Я не пьяный!.. Я... Я дурной! Я иду к двери.

Сагайда подумал и снова смерил его взглядом. Тот стоял серьезный и не качался.

— Сержант Коломиец! — позвал Сагайда полкового связиста, которого знал еще с Донца и который сейчас выполнял у него обязанности разводящего. — Отведи его на пост.

— Есть на пост!

— Проверишь: уснет — застрели.

Боец осторожно поставил аккордеон в угол. Они пошли. А раненый пулеметчик, закусив потрескавшиеся губы и стараясь не стонать, все что-то шарил у себя на животе. Сагайда приказал сделать ему перевязку.

— Не надо, — со странным спокойствием сказал пулеметчик. — Пакетов мало... у нас... А мне... все равно...

Он поднял к Сагайде серое лицо с большими глазами.

— Товарищ гвардии лейтенант...

— Я вас слушаю.

— Простите меня!..

Сагайду бросило в жар. Он сразу догадался, о чем хочет сказать боец.

— Пустое!

— Нет, простите, простите...

Сагайда нагнулся к его впалой колючей щеке, и они как-то особенно торжественно, страшно трижды поцеловались.

Казаков лежал в дверях, положив автомат диском на порог. Рядом с ним, возле другой половины двери, темнел пьяный гармонист за пулеметом. Вдоль стены стояли гранаты со вставленными запалами. Когда сержант Коломиец привел этого приземистого, плюгавого бойца на смену раненому пулеметчику, Казаков оценил его невысоко: блоха! Разве он сможет заменить своего раненного в живот предшественника, который даже Казакова удивил своей виртуозной работой и которого сержант ласково называл «батькой». Однако кривоногий пьянчужка залег у пулемета так уверенно, словно давно тут лежал. И во время боя впечатления Казакова постепенно менялись. Руки у малого были на удивление ловкие, каждое движение уверенное и твердое, — видно было, что ему не впервой лежать за ручным пулеметом. Поставленный на опасный пост, он весь собрался, быстро отрезвел и покрикивал теперь энергично и властно на своего подручного, который подавал магазины.

— Живей поворачивайся... пьяная морда! — подгонял он, хотя тот был трезвее трезвого.

Когда на темном дворе возникал подозрительный шорох или сдерживаемый лязг оружия, пулеметчик немедленно давал в том направлении короткую очередь. Стеляя, он весь сжимался и разжимался в такт пулемету, как пружина. Казалось, что он стреляет не только руками, а всем своим куцым упругим туловищем.

Казаков по себе знал, как опасность меняет человека. Это он испытывал много раз, выходя ночью на задание: исчезают сразу вялость и томление, и напряженные до предела нервы наполняют тело тугой силой. В такие минуты он сознавал, какую огромную силу носит в себе человек, сам не замечая ее в обычное время — она просыпается только перед лицом смертельной опасности. Словно мускулы и воля не одного, а сотни здоровых людей соединяются вдруг в одном теле так, что им становится тесно. Это произошло с Казаковым и сейчас. Может, потому лежал он у дверей, уверенный, что его не убьют. Эта странная убежденность не покидала его в самые трудные минуты фронтовой жизни. Быть раненым, оглушенным, искалеченным — это он представлял, потому что уже испытал, а исчезнуть совсем, не существовать — этого не могло случиться!

За помещьем, где-то в районе железной дороги, взвивались ракеты. Странно было то, что между ним, Казаковым, и его полком громыхают, ездят, пускают ракеты враги. Временами казалось, что это не он окружен тут, загнанный в темный каземат среди горной степи, а наоборот, враги окружены, потому что полк перекликается с Казаковым, стреляет, живет. Полк! Разве он, Казаков, вечный солдат, может существовать без полка? Это невозможно, немислимо! Когда сержант стрелял, он ясно пред-

ставлял себе, что выстрелы слышат и там, в его родном полку. Слышат, как и тогда, когда он выходил с товарищами на задание во вражеский тыл и весь полк, приготовившись прыгнуть вперед, вслушивался в поднятую им суматоху за вражеской обороной. И горячий «хозяин», командир полка Самиев, наставив ухо в ночь, говорил скороговоркой:

— Волки, волки действуют! Молодцы! Передайте первому хозяйству — поднимать «карандаши»!

Вспомнил Казаков, как в свободные часы «хозяин» шутя заставлял его ходить «по-граждански». «Что ты, Казаков, все горбишься, все на пятках ходишь, все крадешься!.. А ну, выпрямись, пройди по-граждански, представь, что ты где-то на проспекте ухаживаешь за дамой!..» И Казаков старался так пройти и не мог, — он все-таки крался по-волчьи, а товарищи смеялись: «У сержанта волчья жила в ногах, товарищ гвардии подполковник!»

Припомнив эту сцену, Казаков словно согрелся в холодной темноте.

«Полк, полк! Пока с тобой — до тех пор живу!..»

Сержант обращается к своему соседу-пулеметчику:

— Как думаешь, коряга, выстоим?

— Что за вопрос! Им тут верный конец!..

И щелкнул, загоня новый магазин.

В зале было темно, и Роман, пробираясь к окну заступать на смену, боялся задеть какого-нибудь раненого. Невзначай провел рукой по клавишам пианино, и басы заворчали, как из могилы. Роман стал у окна, в которое врывался холодный ветер, и, прислонившись плечом к стене, зорко вглядывался одним глазом в то, что делается во дворе.

Небо исходило звездами. Тьма, глубокая и холодная, разлилась над миром, и казалось — ее не перейти, не перелететь. Ветер стонал и качал темноту и небо, звезды сыпались с него и падали в руки кому-то далекому, счастливому. «Замечает ветер песочек, замечает милого следочек...» Когда-то он был молодым, сидел при луне под калиной с девушкой. Было то на самом деле или приснилось ему? А сейчас? Тут... Тут, среди этой бескрайной степи, под чужими звездами, под черным ветром, что развеивает пепел пожарища, — даже распалются искры, — тут он, рыбак с Буга, может быть, закончит свой путь. Нечего утешать себя напрасно, он не ребенок, может смотреть горькой правде в глаза.

Противник как будто утихомирился. Броневики, словно огромные черные гробы, замерли на пепелище, притихли. Но ведь они не забыли, что в доме полно красноармейцев. Наверное, составляют какие-то планы, — их образованные офицеры обсуждают, как укоротить век Блаженко и его товарищам. Чтобы осиротела где-то над зеленым Бугом его Аленька с малыми детьми. Чужие мужья возвратятся домой из походов, а она, защищаясь ладонью от солнца, будет высматривать его на пыльном шляху,

а его все нет и нет. Может, придет Денис — хоть бы он остался жив! — и расскажет дома о Романе. Дениса теперь принимают в партию, он фронтовик, быть ему после войны председателем колхоза. Расскажет он о Романе, как дрался с гитлеровцами в окружении где-то в Трансильвании и погиб честной смертью. Поставят и для Романа на стол полную чарку, однако останется она невыпитой. Ой, Буг, Буг! Далеко от тебя забрались мы!

Версту за верстой внимательно оглядывает он свой жизненный путь, все ли там было в порядке. Иногда он мысленно обращается к кому-то:

«Кум Дорош! Простите меня, что я ваши невода потрусил. Было тогда мне очень скрутно, а в мои ничего не ловилось!..»

Когда мелькнет тень через двор, он, тщательно прицелившись, посылает пулю.

И снова думает, вспоминает, надеется. И когда Роман представлял, как они будут лежать здесь, разорванные в клочья собственной последней гранатой, то не усматривал в этом ничего неестественного. А как же может быть иначе! Это даже лучше, чем если бы их жарили живьем где-нибудь под скирдою... А он видел после того ночного боя в горах, когда захватили перевал: возле сожженного сена лежали наши бойцы, рядышком, все обугленные. Перед тем их где-то захватили фашисты. Нет, тут разминуться негде, прятаться бессмысленно, надо стоять грудью вперед. Теперь он считает патроны бережно, как скряга, целится так, чтобы не промазать. Давно прошли те времена, когда он стрелял по врагу, не целясь, выставив карабин на бруствер, а голову спрятав в окоп, как страус. Было, было такое, и сейчас в эту, может быть последнюю минуту, можно и в этом признаться. Но теперь он уже другой. Провело тебя, Роман, через Альпы, как через горнило, стал ты закаленным, настоящим солдатом, что бьется с врагом не лукавя! Целится, чтобы не промахнуться!

Только было ему горько от того, что старый граф не похоронит их как следует, не посадит в головах калину. А как хотелось, чтобы осталось что-нибудь после него на земле, хоть кустик певучей калины. Она рассказала б ветрам о романовых думах, а ветры понесли б их через Альпы на восток... Правда, придут же скоро сюда наши, придет Денис, он отыщет брата и похоронит.

Роман долго копается в кармане, нащупывает металлическую замасленную протирку и, повернувшись к стене, скребет по ней в темноте:

«Денис, брат, — выскребывает он, — с лейтенантом Сагайдой мы все тут...»

Он долго думает, подыскивая слова. Вспоминает бои в горах, вспоминает гвардии старшего лейтенанта Брянского и как он говорил с ними перед боем, незадолго до своей смерти... И снова скребет:

— «...стояли насмерть...»

Вниз на кого-то сыплется штукатурка, и с пола чертыхаются.

— Что ты там стену грызешь?

— Опупел с голодухи!

Блаженко прячет протирку в карман. Теперь ему становится легче. В кармане он нащупывает нежный шелковый платок. Как-то он припрятал его, приготовив в подарок дочурке, когда еще мечтал вернуться в семью. Под шершавыми пальцами приятно течет ткань, как вода мягкого Буга. Течет и течет, пока Блаженко не выпускает платок на ветер за окно. Уже ничего ему не нужно! Теперь он словно в последний раз вымыт и одет в чистое белье. В карманах нет ничего лишнего, только патроны. Роман перебирает их пальцами, считает...

Считает, как скряга...

На фоне еще не остывшего пепелища шмыгнула тень, и Блаженко нацелился в нее.

— Порядок! — вдруг слышится из темного угла радостный бас Сагайды. — Готово!.. Товарищи!.. Есть!..

Они наладили рацию.

И полк, который остановился вдоль железной дороги, облетела волнующая новость: установлена связь с имением.

И в минроте Маковейчик на всю огневую закричал, подпрыгивая:

— Я ж так и знал, что они не сдались!

Имение требовало огонь на себя.

Артиллеристы получили приказ непосредственно от генерала: снарядов не жалеть. Боеприпасы везли и везли всю ночь, в тылах не ложились спать. Минометы Сагайды также стояли готовые к бою. Как и всегда, стояли около них расчеты, хотя и пошедшие в последних боях. И слушали они уже не хриплые команды Сагайды, а суровый голос Дениса Блаженко, — он, как наиболее опытный из младших командиров, взял на себя командование ротой. Денис уверенно выполнял свои новые обязанности, они были ему хорошо знакомы. Еще с вечера он пристрелял отдельные участки имения и самый дом, который был сейчас записан у наводчиков как цель номер один.

Присвечивая шкалу цыгарками и фонариками, они в последний раз проверяли установки. Блаженко, нахмурив брови, похаживал по огневой, и Хома Хаецкий, которого он назначил ординарцем, следил теперь за ним с такой же готовностью, как когда-то Шовкун за старшим лейтенантом, чтобы кинуться выполнять любое задание командира. Они все уже были хорошо обстреляны, и солдатские суровые обычаи впитались им в кровь.

Денис знал, кто из их батальона находится в окружении, и теперь изредка бросал на имение внимательный взгляд, будто надеялся увидеть там брата. Может, Роман сейчас сидит, отстреливаясь, где-нибудь на чердаке; может, первая мина, что вылетит по команде Дениса, шуганет к брату в окно. Даже если бы Денис наверняка знал, что это будет именно так, он, кажется, ни на минуту не задержался бы со своей командой.

Это война, и поместье требует огонь на себя. И когда, наконец, среди темной ночи прозвучал залп и мины, по команде Дениса, вырвались из огневых жерл и зашелестели вверх, Денис стиснул кулак. «Получай, брат, письма! Посылаю тебе горячие письма!» Не отрывая взгляда от поместья, он рубил кулаком:

— Пять беглых — огонь! Огонь! Огонь!..

И когда поместье среди многочисленных взрывов засияло белыми колоннами, Денис как будто и в самом деле увидел брата, который поднялся среди степной темноты уже не простым рыбаком с Буга, а могучим, неборимым воином.

XXVII

Когда двор загрохотал разрывами, все в зале потянулись к окнам. Раненые поднимали головы, опирались на локти, тянулись к колеблющимся красным отблескам, не обращая внимания на пули, бешено стучавшие в стены над их головами.

Гром и феерическая извивающаяся река, засверкавшая в зале, как будто вывели Черныша из тяжелого бреда. Красные янычары весело затанцовали на стене, белый конь, выгнув шею, то вдруг исчезал со своим рыцарем в тени, то снова вырастал, когда за окном вспыхивало.

— Я «Крейсер», я «Крейсер»! Как меня слышите, как меня слышите? Прием, у рации Сиверцев.

— Не привалит ли нас тут? — посмотрел кто-то на потолок.

— Не пробьет! — отвечали ему из-под стены. — Не должно пробить!

Вооруженные бойцы, сбившиеся возле окон, стояли суровые и сосредоточенные. Два бронетранспортера уже горели во дворе. Другие загудели моторами, расползаясь в темноте.

— Я «Крейсер», я «Крейсер». Как меня слышите, как меня слышите, прием, прием!..

Крейсер?! Почему крейсер? Черныш вслушивался горящим ухом, как гудит и глухо вздрагивает все под ним, словно корабль во время шторма. Куда он плывет и почему так ослепительно и так жарко? Пышет горячее море, бушует, бьет жаркими волнами... Это он проплывает в песках, в горячих пустынях Азии. Караван выступил в далекую экспедицию. Никнут в бессилии сожженные солнцем травы, бредут отары овец, опустив головы в поисках водопоя. А перед ними плетутся чабаны в сухих чуйках и острых румынских шапках.

А вот он уже где-то под зелеными деревьями, где много людей сидят на коврах и пьют из цветастых пиал. Пьют и смеются и дружески беседуют между собой, и среди них он узнает Брянского, но Брянский уже не Брянский, а вожатый каравана. У него бритая голова и пестрый халат, а говорит он по-венгерски. Девушка с черными косами откидывает паранджу. И Черныш

неожиданно видит, что перед ним та цыганка из Альба-Юлии, что хотела гадать ему. Она смотрит на него ласково, как его мать, гладит смуглой рукой по горячей щеке и шепчет ему: «Красивые горы вы, Альпы!» А цыган играет «Катюшу», и он, Черныш, танцует с детьми, а потом и все присутствующие закружились в танце под зелеными деревьями, и громкий говор и дружный смех сплелись в единую какофонию звуков и красок, в фантастическое кружево, словно тут собрались люди всех наций мира. И среди мешанины самых разных языков, какие он знал и каких не знал, выделяется только смех, у всех одинаковый и понятный всем.

Счастливый и веселый, он посмотрел на высокое небо, и это было уже не небо, а огромный голубой циферблат, и вращались на нем огромные стрелки, похожие на каменные дороги. Черныш командовал, ощущая в себе могучую силу и безграничные права:

— Хаецкий! Поверни шоссе! Поверни шоссе на запад! Так! Прицел шесть шестьдесят шесть!..

— Бредит, — говорит кто-то поблизости, и Черныш пытается подняться на локоть и видит мерцающий зал и людей с оружием, грозно поблескивающим в их руках.

— Кто бредит? — спрашивает он сурово и снова валится на огонь, который ему подложили вместо подушки.

Он снова слышит глубокие голоса и далекий смех. Они доносятся откуда-то сверху, словно с хоров величественного храма, и он взбирается к ним по отвесной скале, раскаленной, как огонь. Оглядывается и видит внизу странные колодцы, где едва приметна вода. Где он их видел? И когда? Когда был маленьким и бросал в них камешки, которые летели туда целую вечность, пока, наконец, не булькали звонко. Булькали и начинали говорить:

— Доминэ офицер!.. Доминэ офицер!..

— Это ты? — пристально вглядывается Черныш в глаза-колодцы. — Это ты? Чего ты хочешь? Твоего коня уже нет. Нету. Говори! Где ты был?

— Я никуда не ходил, — говорит Роман, пробираясь к Чернышу. — Я стоял на посту.

— На посту, на посту, — жарко шепчет Черныш. — Где же твой пост?

— Возле третьего окна, товарищ командир.

— Возле окна? Почему возле окна? Возле какого окна? А, это там... на высоте... Я вижу отсюда твой пост. Ты кто? Но ведь ты убит!

Он в ужасе закрывает глаза, и снова кто-то зовет его:

— Доминэ офицер!..

— Замолчи! Вот твой конь! Посмотри!

И показывает ему на стену, на нескончаемую разбитую дорогу, по которой бредут бойцы по колено в грязи, подоткнув по-

лы шинелей, идут машины и танки, а из кювета поднимается белый конь с вырванной грудью, и уже нет вокруг него красных жупанов и нет на нем юноши-рыцаря, а конь упирается дрожащей ногой в грязный кювет и тяжело поднимает свою лебединую белую шею, но она снова бессильно никнет и падает в грязь, а конь стонет, и плачет, и умоляет:

— Останови! Останови! Остановись! Остановись!

А войска проходят мимо коня-лебеда, хлупает под ногами неисчислимых армий, ползут пушки, режут тягачи и танки, и никто не обращает на него внимания, все проходят дальше, оставляя его в кювете при дороге.

— Порядок, порядок, — радуется Сагайда, — два горят, два горят, еще огня, еще огня..

— Не нужно огня! — кричит Черныш, порываясь вскочить. — Я лежу на огне. Весь в огне.

— Еще огня, еще огня, — скандирует Сагайда в противоположном конце зала.

XXVIII

Глухая сила, сотрясавшая огромный дом, подняла и старое графа, и он, взяв свечу, медленно поплелся наверх.

Остановился у двери, не смея войти в свой зал. Сюда с шипеньем врывались трассирующие пули, словно ветром заносило в окна трескучий огненный дождь. А странные люди с незнакомым оружием в руках стояли возле окон с обеих сторон, отблески багровых взрывов прыгали на их бледных лицах, на шинелях, словно на стальных латах древних рыцарей. В дом графа, в это гордое фамильное гнездо, как будто снова вернулась его далекая мятежная молодость. Бойцы безостановочно вели огонь, зал наполнился грохотом, дымом и гарью. Теперь, когда сторожевые бронетранспортеры были разогнаны артиллерийским огнем, враг шел волна за волной в контратаку, стремясь ворваться в дом, боясь потерять добычу. С прищуренными острыми глазами, с запекшимися губами стояли бойцы на своих местах, ведя методический огонь только по живым целям. На старое графа никто не обращал внимания.

— Король! — кричал боец от окна какому-то раненому. — У тебя мой диск?

— Я заряжаю Мостовому.

— А где же мой? Кто набивает мой диск? — кричал боец раненым, которые, кто только мог, набивали обоймы и диски. — Эй, борода, у тебя мой диск?

Венгерц не понимал языка, не понимал этих людей и их упорство. Какой-то раненый, заметив его, сердито крикнул из-за пианино:

— А ты чего zenки вытаращил? Чего со свечкой прилепал? Хоронить надумал? Рано, брат..

— Он при нашем огне не видит ничего, вот и пришел со своим...

Не нужна была здесь свечка графа — и так было светло, как днем: бронетранспортеры пылали против окна. Дрожащие отблески тысячами безмолвных крыльев трепетали в зале. А незнакомые рыцари стояли в серых шинелях, как каменные, поражая старого венгерца своим таинственным мужеством. Какой-то раненый, припадая на одну ногу, шел из коридора, неся в поле грязной шинели пачки немецких патронов. Их немало осталось внизу после немцев, и теперь бойцы, у которых было трофейное оружие, не жалели их.

— Чего стал тут, путаешься, старый хрен? — оттолкнул раненый старика, облизывая сухие губы. — Давай сюда или туда.

Граф закивал головой и потопал вниз со своей свечкой, что-то бубня про себя.

Вскоре он снова появился в дверях со стеклянной банкой консервированных фруктов. Руки раненых потянулись к нему со всех сторон, готовые разорвать банку. Старик растерялся, а какой-то стриженный боец в шинели с поднятым воротником уже приложил банку ко рту.

— По одному глотку! — сказал он, глотнув и передавая банку товарищу.

— По одному глотку! — кричали отовсюду; все вдруг почувствовали нестерпимую жажду.

— Оставьте офицеру! — крикнул Блаженко.

Но не хватило и по одному глотку. Тогда все накинулись на графа, словно он был виноват во всем:

— Давай еще, скряга!

— Только раздражил!

— Давай, такой-сякой!..

Он понял, чего от него хотели, и снова пошел в подвал.

На этот раз Блаженко встретил его в дверях и потащил с банкой к Чернышу.

Черныш напился, и горький чад, тошнотворный запах крови, содрогания всего дома перестали мутить его сознание. Мысли прояснились. Он ощутил в своей руке судорожно зажатую маленькую гранату «Ф-1». В минуту просветления Черныш тайком взял ее под стеной у соседа и спрятал под себя. Он прятал ее, как вор, чтобы не заметил Блаженко. Она была заряженная — маленькая рубчатая его спасительница. Вся жизнь Черныша сосредоточилась в этой гранате, и он зажал ее, эту жизнь, в своей ладони. Если бы все было конечно, если бы чужой говор заполнил темные своды и загрели чужие сапоги тут, рядом, он сорвал бы чеку, последнюю чеку в своей жизни. Поэтому он не нервничал и чувствовал себя спокойно, почти в безопасности.

— Товарищ гвардии лейтенант! — обратился кто-то к Сагайде. — Пулеметчик кончился. Не дышит.

— Вынесите в коридор.

Снаряды падали и падали, с пением опускаясь с высоты, и Сагайда на мгновение засмотрелся на них. Ему казалось, что летят они откуда-то издалека, где о нем думает кто-то. Словно это сама Родина посылает им сюда, за тысячи верст, свой привет, осыпая сынов своих жгучим красным цветом.

— Какая же сегодня сводка Информбюро? Как ты думаешь, Сагайда? — спросил Сиверцев, сидя около рации. — Что, если запросить, а?

— Выругает «хозяин».

— А про нас будет?

— Ты что, смеешься? Это... мелкий эпизод.

Мелкий эпизод! На самом деле Сагайда думал не так. Раньше, воюя вместе с Брянским, он как-то мало задумывался над смыслом своей деятельности, над своей ролью в общих событиях. Он как бы надеялся, что Брянский все обдумает и за него, а ему останется только козырнуть и стремглав броситься в огонь и в воду, выполнять боевой приказ. Сейчас же, когда сами обстоятельства заставили его взять на свои плечи непривычную ношу — ответственность за жизнь товарищей и за судьбу этой крепости, он взглянул на все события шире и глубже. Он представил себе весь огромный фронт от северной Норвегии и до Балкан, где армии его страны ведут неутомимую борьбу с врагом. И на этом железном тысячекилометровом пространстве маленькой грядкой стоит его «Крейсер». Конечно, если он падет и Сагайда взорвется со своими товарищами на последней гранате, то почти ничего не изменится. Но разве это в самом деле так? Разве не из таких незаметных «крейсеров», что борются и выстаивают изо дня в день, разве не из них складывается единое движение вперед, к тому ясному дню, который будет назван Победой? Мелкий эпизод! Пусть не будет его в сводке Информбюро. Но он нужен людям, как воздух, иначе почему раненый пулеметчик так смотрел ему в глаза и за то, что Сагайда его ударил, молил: «Простите, простите...»

Снизу прибежал взволнованный Казаков с автоматом в руке.

— Лейтенант! Танки урчат!.. Ракеты!.. Кажется, наши идут в атаку!

Сагайда вскочил, и они оба загрохотали по ступеням вниз, к парадному. Черное поле за именем вихрилось ракетами, трассирующими пулями, ревело и стонало, словно катилась сюда по омытой дождями земле какая-то необоримая вечная сила.

XXIX

Гул моторов нарастал.

В сумерках бледного сентябрьского рассвета все четче становились контуры строений. Они за ночь стали ниже, потому что крыши, перегорев, обвалились, и оттого весь двор, без-

людный и тихий, казался иным, чем вчера. Кругом будто стало просторней, стало больше неба.

Шум боя катился где-то в поле, правее и левее поместья, гул моторов усиливался, и вдруг из-за стены сожженного коровника высочила группа немецких солдат.

— Танки, танки! — орали они по-своему и мчались через двор вслепую, пригнув головы.

Грязь летела во все стороны из-под их ног, хотя бежали они, казалось, по твердому. Уже ясно видны были их лягушечьи плащ-палатки.

Они мчались, ослепленные ужасом, прямо в дом.

— Приготовьсь! — резко крикнул Казаков соседу, сам замирая в напряженном ожидании: добыча шла на них.

— Режу!

— погоди!.. Мы их живьем!.. Чорт с ними, пусть отспраивают Сталинград!

В это мгновение из-за той же задымленной стены вылетел на полной скорости наш танк, ведя пулеметный огонь. Пули зацокали по каменным ступеням и с шипеньем зарикошетили. Казаков отвернул голову в сторону. Когда он снова выглянул, то увидел танк, который, разворачивая и разбрасывая землю, как корабль волну, уже уходил со двора в поле. На его грохочущих гусеницах трепыхались клочья лягушечьих палаток.

Вражеский снаряд прошумел над домом и разорвался где-то неподалеку. А из-за покоробившихся, задымленных стен хлынули наши — наши братские серые шинели! — и кинулись прямо к дому. Пулеметчик и Казаков сорвались им навстречу. Трудно было переступить этот порог, на котором они, немея от напряжения, пролежали эту дьявольскую ночь, зато за порогом Казаков бежал не чувствуя, что касается земли, и не мог ничего крикнуть, потому что звуки застыли в горле, а глаза затуманились слезами. Очень, очень редко на этих глазах появлялись слезы! Схватив первого пехотинца, какого-то маленького, курносого, радостного, Казаков оторвал его от земли и изо всей силы прижал к своей груди.

— Черти! — только и выкрикнул он и цапнул курносого за ухо так, что тот запищал.

Среди наших запестрели зеленые румынские шинели, — румыны тоже принимали участие в общей атаке. Пробежал знакомый Казакову командир стрелковой роты в кожанке, все время энергично выкрикивая:

— За мной! За мной!

Пехота, не задерживаясь, миновала поместье, на ходу дозаряжая оружие. Моторы гудели все дальше, голоса уходили все глубже и глубже в степь, клекот вражьих пулеметов долетал все глуше. Бойцы-пехотинцы, которые продержались ночь в доме, вырвавшись снова на свежий воздух, на ходу присоединялись к своим подразделениям. Разрушенное поместье и этот дом, изгры-

зенный снарядами, оставались за ними в самом деле лишь как более или менее памятный боевой эпизод. За помещьем открывались серые волнистые равнины, светились кое-где на них стальные озера и зеленели шеренги посадок вдоль дорог, еще занятых врагом. А еще дальше на запад снова вставали горы. Низкие дымчатые тучи плыли над ними, обтекая вершины.

В дом пришли санитары и начали сносить раненых и убитых на первый этаж. Сюда же принесли нескольких раненых, наших и румын, подобранных только что на поле боя. Ждали санитарных подвоов.

Вынося из зала раненых и поскальзываясь на стреляных окровавленных гильзах, один из санитаров обратил внимание своего товарища на стену возле окна:

— Смотри, Каширин, что-то нацарапано...

Денис, брат,
с лейтенантом Сагайдой
мы все тут
стояли насмерть.

Медленно разбирали они эту надпись. И она уже звучала для них как нечто легендарно-давнее, таинственное, написанное кем-то особенным, а не этими простыми людьми, их однополчанами.

XXX

Через помещье уже шли минометчики с трубами на плечах, и Сагайда вышел им навстречу, как живой из ада.

— Товарищ гвардии лейтенант, — рапортовал ему Денис Блаженко, выпрямившись старательнее, чем когда бы то ни было. — В роте за время вашего отсутствия ничего особенного не произошло.

И потом уже, глядя в сторону, сдержанно спросил вполголоса, где брат.

— Живой, — успокоил его Сагайда. — Усы засмолил за ночь. Сдаст в санроту младшего лейтенанта и нагонит.

— А я знал, что вас не возьмут! — радостно сказал Маковейчик.

Сагайда за это «пацнул» его пятерней.

Отыскав комбата, Сагайда также отрапортовал, что в его роте был из строя по ранению командир взвода Черныш, а кроме этого ничего особенного не случилось. Комбат молча обнял Сагайду и они пошли рядом.

— Черныша... очень?

— В голову... В бок... пулевые.

— Выживет?

— Выживет.

— Хотя бы!.. Славный парень.

Они выходили в поле. На поблекших лугах перед ними уже

пролегли следы наших танков и самоходок, как множество новых дорог. Рассыпавшись, шли минометчики с лафетами и металлическими плитами на спинах, словно закованные в броню.

Первой к дому подъехала румынская санитарная повозка с плоской открытой платформой. Роман, помня наказ Сагайды, настоял, чтобы в первую очередь взяли его офицера. Черныша, забинтованного, окровавленного, вынесли и положили на повозку рядом с румынским сержантом, раненным, очевидно, в легкие, потому что кровь выступала у него из ноздрей и изо рта.

— Блаженко, — тихо позвал Черныш. — Возьмите... — И он, разжав свою сухую руку, указал на гранату. — А где планшет?

— Есть, — успокоил его Роман, прикрепляя планшет Брянского к поясу на брюках Черныша.

Артиллеристы тащили через двор орудия, лошади напрягали мускулистые груди. Прошла минрота первого батальона с навьюченными лошадьми в седлах системы Юрия Брянского. Озабоченные связисты прокладывали кабель вперед. Шли ротные старшины с термосами на спинах и расспрашивали у каждого: далеко ли пехота? Горячие термосы с борщом уже напекли им спины, а они, обливаясь потом, все не могли нагнать своих.

— Там! — махали им рукой вдаль, в поле, изрезанное колеями танков и пушек.

— Куда прошла пятая рота?

— Куда третья?

— Все туда! Вот указка...

Действительно, на изгрызенной сталью стене дома какой-то сапер уже успел начертить «Л», и тугая стрела, как волевой жест вождя, устремилась на запад. А там опять вставали Альпы, кутая вершины в тучи.



Книга вторая

ГОЛУБОЙ ДУНАЙ

Полечу, рече, зегзицею, по Дунаеви..

«Слово о полку Игореве».

I

Машины мчались с гор.

Был предвечерний час октябрьской сухой осени. Пестрые леса на склонах вдоль дороги не только не гасли под косыми лучами вечернего солнца, а разгорались еще ярче, нежели днем.

Шура Ясногорская стоит в кузове, держась руками за кабину и смеется пробегающим золотым лесам, смеется дороге, что шумит ей навстречу. Вся земля — в шелестящей багряности.

На прогалине, у ручейка, расположились на привал бойцы маршевой роты. Тонкий лист, облетая с желтых деревьев, ложится на потные плечи маршевиков. Один, сбрасывая скатку, закинул голову и на мгновение застыл, замороженный... Что он там увидел? На самой вершине горы виднеются развалины древнего замка. Сквозь проломы в стене прорывается солнце.

Трансильванская осень до самого горизонта пылает золотыми пожарами.

Почему так необычно хорошо, празднично, ласково сегодня на свете? И бойцы шуршат покоробленными сапогами не по серому камню, а по такой чистой красоте, устилающей землю! И следы за ними такие чистые! Рота за ротой, рота за ротой... Шуршите, сапоги, не знающие износа, шуршите! Вы хлюпали на вязком украинском черноземе. Вы становились белыми на бессарабских известняках. Вы краснели, как медь, на румынских суглинках. Шуршите, шуршите! Вы достойны ступать по таким коврам.

Машины летят, словно в сказке. Ветер шумит навстречу:

шу... шу... шу... шу... Шура... Шура... Ветер шепчет ее имя, это он доносит голос Юрия оттуда из-за Тиссы, где глухо рокочут бои. Летите, машины, летите! Шуми, высокое шоссе, навстречу счастью!

Счастье! Оно пришло, как всегда, неожиданно-негаданно. Шура ждала его в письмах из Минска, а оно было уже тут, под боком, в ее полевом армейском госпитале, в девятой палате челюстников. И как все это случилось? Она задержалась в палате, разговаривая с земляком-сержантом. В углу усатый Шовкун толковал с соседом о горных боях. Шовкун! Хороший, милый Шовкун с подвязанной челюстью! Как она раньше не замечала, что у него такое симпатичное лицо, такие мягкие, задумчивые глаза? Когда Шура заходила в палату, он прятался под одеяло и не вылезал из-под него, пока фельдшерица не выйдет. Бойцы шутили над тем, что он стыдился своего госпитального неглиже, и Шура поддерживала их шутки. И вот из-под этих стыдливых усов, старательно расчесанных солдатским самодельным гребешком, вылетели тогда слова, которые заставили ее вздрогнуть: «Седла Брянского!» Шовкун с мягким спокойствием рассказывал собеседнику что-то о горных переходах. Седла Брянского! Шура стояла, не дыша, оборвав на полуслове разговор с сержантом. Боялась: а вдруг ей только послышалось?

— Как вы сказали, Шовкун?

— А?

— Про седла... Чьи... седла?

— А-а, седла... Нашего командира роты гвардии старшего лейтенанта Брянского.

— Брянского?

— Ну да, его. Он сам их придумал, когда мы перешли на выюки. Потом и все полки...

— Ах, я не об этом, Шовкун! Скажите, как зовут... вашего Брянского? Как?

Ожидая, она медленно поднимала к груди свои маленькие ладони, словно готовилась схватить то слово, как птицу.

— Зовут? Гм... Дайте подумать... Как это они между собой... Ага: Юрий.

— Юрась!

— Нет, Юрий.

— Юрась! Юрась! Юрась!

Она наливалась счастьем, как весенняя яблоневая почка. Упала на грудь Шовкуну, смеялась и плакала умоляя:

— Говорите еще, говорите еще!

— Что ж говорить? Я больше ничего не знаю, — растерянно смотрел на нее боец. Щеки его горели.

А хлопцы из углов поддавали жару, крича, чтобы целовал товарища фельдшерицу, пока есть шанс.

— Говорите же, говорите, Шовкун!.. Все, все расскажите!.. Как ему там? Какой он сейчас?

— Ну, какой... Такой маленький, живой, белявский... Напрасно бойца не обидит... славный такой...

— Где вы с ним виделись в последний раз?

— В последний раз? О высоте восемьсот пять слышали? Скаженная высота! Арараты! Много наших забрала... Когда меня ранило, я еще заходил к ним на огневую. Разговаривали мы там с гвардии старшим лейтенантом. Они мне тогда еще сказали: «Как выздоровеешь, то вертайся ко мне в роту. С радостью приму». Я ж у них... ординарцем был.

Шовкун знал все, что интересовало девушку. Слушая бойца, она узнавала своего Юрася таким, каким он был сорок месяцев назад. Сдержанный и скрытно-нежный, упрямый и справедливый до мелочей... Озабоченный бесконечными проектами усовершенствования минометов и стрельбы. Она видит, как он едет на коне среди зеленых елей с биноклем на груди. А вот он идет во главе роты вдоль каменных обрывов, скрываясь и вновь показываясь, как на волнах. А вот ночью у дороги разговаривает с товарищами хриплым голосом.

— Хриплым? А не кашляет?

— В горах мы все хрипели... Это не беда. А чтоб кашлять, то не кашляют. Как заснут, то дышат ровно. Только часто бросаются и командуют во сне: «Огоны!.. Огоны!..»

Шура, не таясь, горячо завидовала бойцу, который еще так недавно слышал дыхание ее любимого, смотрел в его синие глаза, тайком укрывал во время сна его ноги собственной шинелью, чтобы «не озябли» в брезентовых сапожках.

— Благодарю!.. Благодарю вас, Шовкун!

И с глазами, полными слез, Шура крепко стиснула шершавую руку бойца.

На другой день она взяла назначение в полк, где воевал Брянский.

Горный трансильванский городок, в котором разместился ее полевой госпиталь, уже исчез позади, за перевалами. Колонна машин несется вниз, и багряные горы расступаются как живые, давая дорогу. Кажется через какой-нибудь километр дорога кончится, машины с ходу налетят одна за другой на скалу и рассыплются в щепы. Проехали и этот километр, а дороге нет конца, это только крутой поворот, — берегись! — и снова, огибая скалу, побежало шоссе, вырубленное неведомыми каменотесами.

Идут и идут маршевые роты. Но эти роты уже, видимо, сформированы не из тех бывалых вояк, которые плывут, зарубцованные, из госпиталей. Эти — как один — в новом обмундировании, с незакопченными котелками за спиной.

— Почему они такие хмурые? — обращается Ясногорская к артиллерийскому технику, сидящему у кабины, желтому, словно с похмелья.

— Вчерашние узники, — поясняет техник. — Из румынских тюрем и лагерей. Доброкачественное пополнение. Злое.

— А где же их оружие?

— Оружие будет. Может быть, вы как раз на нем стоите.

Только теперь Ясногорская заметила, что стоит на длинных ящиках, забитых наглухо. В задке кузова из-под брезента выглядывают старательно уложенные какие-то зеленые трубы.

— Это тоже оружие? — кивнула Шура на трубы.

— Спрашиваете... Это минометы восьмидесяти двух!

Шура припомнила, что именно такими минометами командует Юрась.

— Они, страшные?

— Рвут фашистов в клочья. У нас их зовут самоварами.

— Самоварами? — Ясногорская удивленно подняла брови. — Говорите: страшное, а так нежно называется!

— А гвардейские минометы, наши красавицы «катюши»?... Может быть, потому и нежно, что страшное.

«Какой диалектик» — усмехаясь, подумала Ясногорская.

Леса пылают под солнцем пышным, нежарким пламенем. На горных склонах рассыпаются отары коз и овец. Высоко над шоссе стоит, как в песне, девочка в яркой юбке. Приветливо машет белым платочком. Шура скинула свой зеленый берет, отвечая на далекое приветствие.

— Какие тут люди любезные! — глаза ее заблестели. — Моя хозяйка-венгерка, провожая меня, даже заплакала...

— Да, — говорит техник, — любезные. Ночью у нас как-то оружейный мастер отбилсь в горах. На другой день его нашли в винограднике задушенным.

— Что вы говорите? — ужаснулась Ясногорская.

— А как же вы думали? Фашизм заползает в норы. Это уже не молодчики сорок первого года с закатанными рукавами. Эти хитрее. С такими воевать тяжелей, чем с открытыми. А мы про это нередко забываем. Они нашего оружейного мастера и вином напоили, и девушку-красавицу рядом посадили. Так-то...

— В самом деле, — задумавшись, сказала Ясногорская, — мы, советские люди, бываем иногда слишком благодушными. Всех меряем на свой аршин. А тогда... скажите, их нашли, тех, которые задушили оружейного мастера?

— Кое-кого. Не всех.

Машины выбрались на высокий перевал. Ясные, охваченные багрянцем горы стояли до самого горизонта, далекого, синего, чистого.

— Взгляните, взгляните, товарищ техник, — указывала Шура на острую сопку, поднимавшуюся над другими голой каменной вершиной, а внизу опоясанную желто-горячим лесом. — Взгляните, какая красивая! Совсем золотая!

— Высота 805, — буркнул техник, — наша дивизия брала.

Если бы артиллерийский техник был более разговорчив, он

рассказал бы, какой ценой досталась дивизии эта золотая, далекая сопка. Рассказал бы, что там остался на вечной страже белорусский студент, прекрасный офицер-минометчик, которого техник хорошо знал еще с Терновой балки под Сталинградом. Может быть, техник плохо себя чувствовал, а может, ему хотелось спать, только он ничего больше не сказал. А Ясногорская не допытывалась, потому что впереди открывались невиданные еще пейзажи.

Колонна машин спускалась в венгерскую равнину. Навстречу катились блеклые степи, повитые вечерними сумерками-дымами.

Фронт тут, видимо, прошел недавно. Вдоль шоссе тянулись штабеля зеленых и желтых ящиков взрывчатки, груды обезвреженных мин. Наши саперы тысячами повытягивали их с разбитых дорог, мостов и обочин. Поле было уже разминировано на сто метров по обе стороны от шоссе. В кюветах, выставив черные обгорелые зады, торчали носами в землю немецкие броневики и автомашины.

Равнина, как море, накатывалась необозримой бесцветностью, терялась далекими берегами в вечерних туманах. словно стародавние корабли, покачивались на равнине до самого горизонта фермы хуторян-венгерцев. Машины неслись в седое море, фермы качались, плыли в туманы под парусами садов, с высокими мачтами тополей.

Машина подпрыгнула на повороте, техник стукнулся затылком о кабину и перестал дремать.

— Наконец-то горы остались позади, — лениво обратился он к спутнице, кивнув на горы с таким видом, словно они ему осточертели донельзя. — Замучили нас пробками!

Шура обернулась. Солнце заходило, и горы в последний раз осветились легким, ажурным золотом. Блеск оголенных скал, пестрые ярусы лесов, горные поселки с узкими и высокими, как терема, деревянными домами трансильванцев — все сливалось в величественную картину, поражающую роскошной декоративностью. Чистое небо не давило на горы, а, напротив, своей высокой легкостью создавало впечатление, что оно плывет над ними. Казалось, что и в самом деле где-то за горизонтом стоят грандиозные белые колонны, которые подпирают высокую, тонкую голубизну.

По дороге на целый километр вытянулись гроыхающие танки. Машины были новые, они, видимо, недавно сошли с платформ, однако экипажи сидели у открытых люков уже в замасленных орденах и медалях.

— Это бывалые, — заметил техник. Он стал беспокоиться о том, чтобы танкисты не помяли какую-нибудь из его машин. — Этих опасайся. Ничего не щадят!

— Куда они идут?

— Куда... Известно куда: на Дунай!

— На голубой Дунай!

— «За Родину!.. За Сталина!.. За Родину!.. За Сталина!..» — читала Ясногорская эти надписи, когда «студебекер» обогнал грохотавшую колонну, окутанную тяжелой бензиновой гарью.

Запасные бочки с горючим, увязанные металлическими канатами, стояли на каждом танке.

Далеко впереди глухо грохотал фронт. Танкисты смотрели вперед, сдвигая на затылок свои черные шлемы.

— За Родину!.. За Сталина!.. — повторяла Ясногорская, как присягу, хотя танки с этими надписями уже остались позади. Не знала она, что повторяет последние слова Юрия Брянского, с которыми он упал на горячие камни.

II

Шура, не помня себя от счастья, переполнявшего ее, старалась представить себе первую встречу с Юрием. Она не предупредит его о своем прибытии. Пусть это на какое-то время будет тайной, она хочет встретить его неожиданно, увидеть его таким, какой он есть. Если с бородой — пусть! Она еще никогда не видела его бородатым. Юрась — бородатый!.. Девушки, вы слышите?

Ее факультетские подруги как будто сидели рядом.

А каким будет его первый взгляд, когда он увидит свою Шуру в зеленой шинели с длинными рукавами, с погонами на плечах? Не будет ли ему это неприятно? Может быть, он и до сих пор представляет ее в белом легоньком платье, в босоножках, над которыми всегда потешался. «Ты в них, как Афина-Паллада», — смеялся он. А может быть, он помнит ее по тому фото, которое ему больше всего нравилось: на берегу моря, возле байдарки, с веслом в руке... Солнце там совсем ее ослепило. Да! Тогда она была легкой, как косуля, Юрась никогда не мог поймать ее, быстроногую. Теперь ей, наверное, не удрать от него в своих кирзовых. Но что осталось в ней внешне таким, как и раньше, — это ее девичьи косы. Тугим плетеным перевяслом они уложены спереди вокруг ровного пробора, охватывают голову, как корона. Юрась особенно любил эти «косы русачки», и она ради него не подрезала их.

«Где ж ты была, моя быстроногая Афина-Паллада, как жила, что делала эти годы?» — спросит он ее.

И она расскажет все, все до конца! Расскажет, глядя ему прямо в глаза. И ничего не надо будет скрывать — в ее глазах не будет бегать вороватая женская вина, как это бывает у других. Она с гордостью расскажет, как в тяжелые годы бед и скитаний сберегла в своем сердце все, что они называли «нашим». Нашим! Они это «Наше» писали в письмах с большой буквы.

Это был такой богатый, их интимный мир, чистый и неисчерпаемый, — его стоило пронести через всю жизнь, как самую любимую песню. Стоило в самые тяжелые времена военных неудач надеяться без писем, что Юрий где-то живой на Западном фронте или на Северном, на Кавказе или под Сталинградом. Стоило вынести вдвое и втрое больше горя, чтобы только дожить до этой минуты их встречи, дожить, нигде не спотыкнувшись, отталкивая соблазны, дойти до него незапятнанной, верной. Пусть бы побелели ее косы, но остались бы глаза ясными и правдивыми...

Нет, не может Юрась ни за что осудить ее. Он знает, что она могла вести себя только так, как вел себя он.

А он уже в первые дни войны перевязал шпагатом свои математические конспекты, отложив их до лучших времен, а сам с батальоном студентов-добровольцев ушел на фронт.

Шура пошла на работу в один из минских госпиталей. Некоторое время они переписывались, потом одно ее письмо вернулось: «Выбыл из части». Между ними было заранее условлено, на случай, если связь оборвется, искать новые адреса через родных. Родители Шуры и мать Брянского эвакуировались на восток. Старший брат Шуры, видный партийный работник Белоруссии, остался в Минске для подпольной работы, но об этом ей стало известно значительно позже. Однажды он приехал в госпиталь. От него Шура узнала, что в дороге, во время бомбардировки, погибли их родители. В этот день она вторично получила: «Выбыл из части». С матерью Юрия тоже не удалось установить связь, потому что несколькими днями позже во время налета немецкой авиации на госпиталь Шуру ранило.

В санитарном эшелоне ее отправили на восток. Ехали долго, больше десяти суток, и за это время люди в вагоне свыклись, сжились. Тут были и летчики, и танкисты, и артиллеристы, а больше всего, конечно, пехотинцев. Помнится, один из летчиков рассказывал, что летал на Плоешти. Товарищи слушали его, как зачарованные. Плоешти! Ведь это было так далеко! Не могла тогда Шура знать, что пройдет три года — и Плоешти будет для нее уже глубоким тылом, тылом даже для армейского госпиталя.

В одном купе с Шурой ехал пожилой политрук-пехотинец с дорожками лысин над выпуклым лбом, с перебитыми, в гипсе, ногами. Целые дни политрук молчал. Его широкое суровое лицо было неподвижно, как будто тоже залито серым гипсом. Только когда кто-нибудь заслонял от него окно, политрук сводил на переносице рыжие колоски бровей и требовал негромко, но твердо, чтобы отошли от окна. С утра до вечера он не отрывал глаз от окна, за которым пролетала его страна, словно полк, поднятый по тревоге.

Шура припоминает как они въехали в первый незатемненный заволжский город. Схватив костыли, она прыгнула на пер-

рон. Освещенный вокзал, яркие огни трамваев в желтом тумане моросящего дождя... Репродукторы на площади, музыка... Может быть, тогда она впервые в полную силу почувствовала всю прелесть вчерашней довоенной жизни. Всеми непрожитыми радостями и всеми незажившими болями навалился этот город на нее. Ей и невыразимо радостно от того, что есть, есть еще в ее стране города, куда бессильны добраться фашистские бомбовозы, не нависла над ними черная ночь, сопровождающая оккупантов. Тут горят бесстрашные огни — огни! огни! — и в репродукторах звучит голос Москвы. И в то же время Шуре было нестерпимо больно от того, что где-то в родной стране бойцы курят тайком в рукава, что над головами у них гудит черное небо и воздух рвется от воя сирен и свиста бомб.

За каких-нибудь два-три месяца она потеряла родителей, разминулась с Юрием и стоит с костылями одна, на незнакомом освещенном перроне. Вернувшись в свое купе, она ткнулась головой в подушку и дала волю слезам. Эшелон двинулся дальше, монотонно цокотали колеса, в вагоне погасили свет — все спали. Она могла наедине выплакать все, чем болело сердце. Однако она ошиблась, думая, что все спят. Не спал ее загипсованный сосед. Ночами ему, видимо, становилось хуже, потому что слышно было, как он скрипит зубами.

— Почему вы плачете? — спросил политрук Ясногорскую.

Девушка в темноте чувствовала, что он смотрит на нее.

— Я не плачу, — сказала она. — Я так... вспоминаю.

— Что же вы вспоминаете?

— Вспоминаю, как мы жили когда-то... Очень давно... Перед этим.

Политрук промолчал. Мирные огни первого освещенного города, которые он только что видел в окно, вызвали и у него тысячи мыслей.

— Мы многое вспоминаем, — сказал он погодя. — Это хорошо. Но это мало. От этого сейчас и в самом деле можно только плакать. Нам бы нужно поменьше вспоминать, а больше думать, что делать. Думать о том, что нас ждет...

— Что нас ждет! Госпиталь где-нибудь в Чите или в Иркутске.

Шура молча плакала.

В другом конце вагона все громче стонал обожженный танкист. Он то угрожающе умолял, то жалобно ругался, требуя морфия. Он кричал уже много дней подряд.

«Ему еще тяжелей, чем мне, — подумала вдруг Ясногорская. — А этому политруку, который скрипит зубами каждую ночь, словно грызет стекло?.. Я хоть на перроне была, а он?»

Политрук закурил цыгарку.

— А вам разве никогда не хочется вот так... вырветесь? — сказала она почти сердито.

— Мне хочется... ходить, — ответил политрук. — Ходить, ходить... Бежать. Лететь бы!

Он тяжело вздохнул.

— А тогда... куда?

— Куда? В пехоту. Только в пехоту.

Фамилия политрука была Воронцов.

Начался Урал. Усеянный огнями, как звездами, он дырил круглые сутки заводскими трубами, гремел эшелонами, принимал станки, эвакуированные с Украины. И этот непрерывный тяжелый грохот индустриального края был сейчас девушке куда милее голубых берегов южного моря, где она однажды провела лето. Шура слушала эту грозную музыку вдохновенного труда и не могла наслушаться. Ибо это была не просто музыка, это была ее собственная сила, ее спасение, ее будущее. Политрук тоже изменился, с его лица как будто сходил гипс, оно оживало и светлело.

— Какая сила! — несколько раз обращался политрук к Ясногорской.

Прогремели уральские туннели, эшелон влетел в Сибирь. Поезд мчался, почти не задерживаясь на станциях, врезаясь в белую глубину березовых лесов. Ехали день, а за окном все леса, все бело, бело, бело.. Ехали второй, а за окном бело, бело, бело.. Леса стояли прозрачные, чистые под голубым небом. Такой Сибирь и осталась навсегда в представлении девушки — ясным, белым краем. Она никак не могла понять, почему при царизме Сибирью карали людей.

— Моя Сибирь! — с гордостью говорил политрук. Родом он был откуда-то из-под Ачинска.

Как-то в вагоне завязался интересный спор. Веселый чубатый сержант вечером рассказывал товарищам о своих любовных приключениях, о том, с какими хитростями он всегда выходил сухим из воды, удачно скрывая грехи от своей жены. Было это в каком-то овцеводческом совхозе в Сальских степях.

Политрук долго и терпеливо слушал веселого сержанта, а потом все-таки не выдержал.

— Чем вы хвастаетесь? — спросил политрук так, словно сержант обидел его. — Своими изменами?

— Изменами? — Сержанта резануло это тяжелое слово. — Какие же это измены... товарищ политрук? Это — семейные дела.

— А семья что по-вашему? Портянка? — грубо возразил политрук. — Захочу — обмотаю ногу, захочу — выброшу, заматаю другой... Разве семья — это не та основа, из которой складывается наше общество, наше государство, наша сила?

— Атом! — сказал стрелок-радист, спуская ноги с верхней полки.

— Атом... И разве не в этом атоме начинается школа нашей выдержки, дисциплины, верности? Не тут ли наши дети начинают проходить свою допризывную подготовку? Они смотрят на

вас, они на родительских примерах учатся и гражданской верности. А вы... чем хвалитесь?

Ясногорская тогда горячо поддержала политрука. Ей тоже семейная и гражданская верность представлялись как части единого целого.

Задетый этой беседой за живое, сибиряк рассказал присутствующим одну из охотничьих историй. Это была притча о лебедях, у которых, как известно, существует великий закон: самец и самка сходятся на всю жизнь. И когда один погибает, гибнет и другой.

— ...И если подруга осталась одна, — рассказывал Воронцов, закрыв глаза, — то, выбросившись из воды, она взвизгивает с криком высоко в небо — едва белеет... И с огромной высоты, сложив крылья, камнем падает на землю...

И сейчас Ясногорская, трясясь в машине среди темных чужих степей, вспомнила услышанную ею еще в сорок первом году легенду о лебединой верности. Встретившись с Юрием, она расскажет ему и про это. Расскажет, как искала его по сибирским госпиталям, как бегала вниз всякий раз, когда прибывала с фронта новая партия раненых.

В госпиталь, который стоял над самым Енисеем, часто приходили шефы.

Вниз по Енисею свистели, как в трубе, ветры Заполярья, мчались белые метели, а в госпитале было тепло и зеленели украинские столетники, подаренные шефами. Вечерами в коридорах на языках многих народов звучали песни.

После операции Шура некоторое время была в тяжелом состоянии. Ее немало изрезали, пока вынули осколки из ног. Она несколько дней выдыхала наркоз, и подушка казалась ей насквозь пропитанной наркотом. Отбросив ее, Шура клала голову на голый матрац. Бредила Минском и звала Юрия. Есть не могла ничего. И, словно угадав желание больной, одна из женщин-шефов принесла ей ягод. Они были такие кислые, такие вкусные!

— Откуда вы? — спросила Шура женщину.

— С Полтавского паровозоремонтного.

— Полтавцы! Землячки! — (Белоруссы и украинцы считали себя тут земляками.) — Что вы делаете в этой тайге?

— Все делаем. Кое-что даже лучше, чем в Полтаве.

Позже, вылечившись, Шура увидела это лучшее. За городом, который трещал и звенел от ясного мороза, сновали в синем небе самолеты. Среди них были и такие, каких еще никто не видел на фронте. С утра до ночи их испытывали и испытывали.

С товарной станции ежедневно уходили на запад длинные эшелоны. Как-то Шуре впервые удалось увидеть легендарные «катушки». Десятки платформ были загружены ими. Укрытые брезентом, подняв рамы, они неслись и неслись на запад. В те солнечные дни, при пятидесяти градусах мороза, думая о полтавчанах, об истребителях новых систем, которые испытываются

за пять тысяч километров от фронта, об эшелонах гвардейских минометов, несущихся сквозь тайгу, — думая обо всем этом, Шура с особенной силой почувствовала, что никогда, никаким врагам не покорить ее родину. И, может быть, именно эта вдохновенная вера в свой народ наполнила тогда Шуру уверенностью в неминувости и ее личного счастья.

Никаких известий от Юрия она не имела, а между тем была убеждена, что он где-то есть.

III

В дивизию приехали ночью. Собственно, не в дивизию, а в тот городок с темными готическими шпилями, где она стояла накануне. Сейчас ее тут уже не было. Даже тылы снялись и выехали вперед. Техник, ругаясь, обегал покинутую стоянку. Он сразу стал таким деятельным и азартным, каким Шура не ожидала его увидеть.

— Где их искать? — кричал техник даже на нее, как будто девушка могла знать. — Вперед, а куда вперед? Тьма, ночь!

Он освещал фонариком стены и все искал указок.

Шуру пробирал холод. Ночью неожиданно подул северный ветер, небо быстро затянулось тучами, стало моросить.

— Заберусь в бункер и буду спать до утра! — грозил техник в темноту. — Чтоб знали, как не оставлять «маяка»!

— Известно, куда ж ехать в такую темень! — поддержал кто-то из шоферов-новичков. — Где-нибудь в кювете или на мне шею свернешь. Лучше переждать до утра...

— До утра, до утра! — еще громче закричал техник, разозленный тем, что его мысль понравилась шоферу. — Я кому-то всыплю до утра!

И побежал снова освещать фонариком стены и телеграфные столбы.

— Получил! — смеялись шоферы над новичком, который так простодушно согласился ждать до утра. — Ты его еще не знаешь, друг! Он тебе поспит, слушай его угрозы... Всегда кричит одно, а делает другое. Всю ночь будет бегать, высунув язык, пока не отыщет наше «Л».

Через несколько минут техник вынырнул из темной улочки.

— По машине! — скомандовал он, садясь в передний «студебекер». — Есть «Л»!

Колонна двинулась. Ехали при зажженных фарах. Дождь в полосе света перед машинами ткался густой косой сеткой.

Ясногорская забила под большой жесткий брезент, которым были накрыты ящики. Брезент был весь иссечен осколками, сквозь него задувал ветер, как сквозь морской изодранный парус.

Машины то и дело останавливались, техник вылетал из кабины, чтобы осветить столб и орать на все поле.

«Чего он ругается? — думала Шура в теплой дремоте. — Так хорошо, а он ругается...»

Жесткий парус стучит над ней. Гудит просмоленное днище. Голубое широкое море разлилось во все концы. В высоком небе вьются птицы, облепляют мачты, падают на соленые плечи матросов. Загорелые матросы поют на палубе о еще не открытых землях, о зеленых тропических странах. Горит, расцветает море, взрытое кормой.

Когда Шура, проснувшись, откинула брезент, уже светало. Колючий дождь ударил ей в лицо. Где-то впереди едва слышно клекотали пулеметы. Как и вчера, вдоль дороги виднелись вдали все те же фермы, заретушированные седым дождем, с журавлями колодцев, поднятыми, как семафоры. Неужели за ночь так мало проехали?

Шура соскочила с машины и пошла в голову колонны. Дорогу загораживал фургон-«газик», лежавший боком посреди шоссе. Возле него возились шоферы. Тут же, ползая на коленях в грязи, что-то собирали, закатав дукава, два старших лейтенанта.

— Чего вы так смотрите? — обратился один из них к Ясногорской. — Не узнаете? Хозяйство первопечатника Ивана Федорова.

Это была дивизионная редакция. Она довольно удачно подорвалась на mine. Удачно потому, что журналисты хоть и оглохли, но остались живы и теперь усердно выбирали из грязи шрифты, разбросанные взрывом.

Ясногорская решила не ждать, пока освободят дорогу, а идти дальше пешком. Узнав, что ей нужно в полк Самиева, старшие лейтенанты объяснили, как ближе туда пройти. Журналист всюду остается журналистом: выбирая среди дороги из грязи шрифты, оглушенный, как рыба, он все же каким-то образом узнал расположение полков.

Шура, поблагодарив техника за то, что подвез, накинула на плечи палатку и пошла.

Дождь лил и лил. Кюветы наполнились мутной водой. На развилке дорог дивизионная указка поворачивала влево, а полковая сходила с шоссе прямо на луга, изрезанные колеями. Куда ни глянь, луга лоснились дождевыми озерками, из которых кое-где торчали таблички указок. Следы сотен ног виднелись на незачищенных местах. Шура старалась угадать среди этих многочисленных отрисков след Юрася. Сама смеялась над своим причудливым желанием и все-таки искала... Вот эти мелкие, четкие, может быть, его. Уверенно вдавленные от каблука до носка. Вот они перекинулись через канаву, вот исчезли под водой. Косые венгерские дожди, не размойте его следов! Пусть станут они, высушенные ветрами и солнцем, твердыми, как камни!

Из седой мороси вынырнул обоз крытых брезентом подвод.

«Это, наверное, из полка едут на дивизионные склады, — подумала Ясногорская. — Спрошу. Они должны знать».

На задней подводе кто-то пел. Медленная, журчащая песня далеко уходила в мглистые луга...

Темная ночь разлучила, любимая, нас...

Голос был густой, красивый, широкий. Шура и ездового представила красивым, молодым бойцом. Казалось, и эта песня сложилась именно здесь, в темные венгерские ночи, среди степи, в окопах над чужим шоссе.

Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах...

Когда певец проезжал мимо Ясногорской, она окликнула его. Из-под палатки выглянуло пожилое доброе лицо с мокрыми седыми усами.

«Неужели это он пел?» — удивилась Ясногорская и спросила:

— Вы из хозяйства Самиева?

— Да.

Боец остановил лошадей.

— Вы знаете старшего лейтенанта Брянского?

— Брянского? — солдат окинул девушку каким-то особенно теплым, хорошим взглядом. — Чего ж, хорошо знаю. Это наш сталинградец... — Солдат помолчал. — Башковитый был командир.

— Был? — похолодела Ясногорская. — Почему был?

— Э-эх, дочка, дочка, что спрашиваешь, — вздохнул солдат. — В Альпах... Под высотой восемьсот пять... смертью храбрых...

Шура закрыла лицо руками.

— Эй, Ульяныч! — крикнули ездовому. — Чего стал? Трогай!

Она не слыхала, как двинулась подвода. Все стояло, закрыв лицо руками. Ткался и ткался дождь тысячами тонких веретен. Солдат, догоняя обоз, несколько раз оглянулся. Вся степь была затянута седой пряжей. И девушка стояла, не двигаясь, как пенный тополь, склоненный ветром.

«Смертью храбрых...»

Он сказал: «смертью храбрых». Шура не плакала. Она еще не чувствовала боли, как сгоряча не чувствует ее раненый. Все тело как-то онемело, стало терпким...

Холодная, страшная ночь пролегла между нами..

В самом деле кто-то далеко поет или ей это только слышится? Ясногорская подумала, что может окаменеть вот так, как стоит, окаменеть на самом деле за какую-то минуту и остаться

стоять среди этой пустынной степи, словно каменная скифская баба.

«Почему он перестал петь? — как будто очнулась она при-слушиваясь. Как это часто бывает в моменты крайнего горя, ее мысли цеплялись за постороннее, чтобы забыть главное. — Почему он не поет?»

Подводы уже едва виднелись в дожде.

Девушка вдруг почувствовала себя совсем обессиленной. Ей захотелось сесть, упасть, распластаться на земле. Чтобы этого не случилось, она, спотыкаясь, двинулась вперед.

Под высотой 805... 805... Ведь это же та сопка! Та золотая сопка! Шура, вскрикнув, подняла руки. Тяжелые тучи быстро бежали над ней, казалось, над самой ее головой. Теперь она могла рыдать, биться, кричать, потому что она была одна, одна во всем мире. Разве не хлюпкая пустыня безразлично лежит до самого горизонта? Где-то клёкчут пулеметы. Где они? Никого нигде не видно.

Впереди замаячила ферма.

Шура шла, машинально стараясь попадать в отпечатки чьих-то следов.

Первое, что она заметила, приблизившись к ферме, было «Л», глубоко выцарапанное на стене, наверное штыком. Шура долго стояла, вглядываясь в эту единственную родную букву на чужой стене.

На дворе и в саду расположились подводы с ящиками боеприпасов. Мокрые лошади, которым не хватало конюшен, стояли распряженные около подвод, горбясь от холода.

Шура вошла в сад, дотянулась до какого-то дерева и, обхватив руками мокрый ствол, застыла. Неужели это всё? Перед войной они с Юрием терпеливо ждали, пока окончат институт, поженятся, будут вместе работать. Впереди было столько широкого счастья, что они даже не представляли, как его может не быть. Казалось, что, взявшись по-детски за руки, вступят они в звонкую румяность весеннего утра и так пойдут и пойдут...

— Юра! — шептала она почти в забытьи, прижимаясь горячим лбом к мокрой коре. — Юрасик!

Плечи ее дрожали. Если б она знала, то соскочила бы вчера с машины, полетела б на ту золотую сопку.

За спиной слышались шаги. Шура медленно повернула голову. Перед нею стоял коренастый крепыш на словно вросших в землю ногах, выгнутых по-кавалерийски. Он был ростом ниже Шуры, но широкий в плечах, крепко сбитый. Острые монгольской прорези глаза смотрели на Шуру с готовностью помочь.

Крепыш быстрым рывком отдал честь.

— Вы кого-то ищите? — заботливо спросил он с заметным нерусским акцентом. — Чем могу служить?

— Я ищу Брянского...

— Брянского? Брянского я знаю.

Ясногорская вострепнулась: он говорит, как о живом! Что-то невыразимое, такое, что относится только к живым, а не к мертвым, зазвенело в интонациях его голоса! И Шура обостренным, обнаженным чутьем сердца уловила это живое. Сразу прониклась мыслью, что на лугу ей сказали неправду.

— Вы... Вы его знаете?

Она подалась вперед, застыла в порывистом движении. Тысячи надежд налетели на нее и падали на плечи, на руки, как голуби. Нежно-белое лицо ее зарумянилось. Никогда, кажется, Ясногорская не была такой вдохновенно-прекрасной, как в это мгновение.

— Вы его знаете?

— Я старшина его роты.

— Так он жив?

— Его... к сожалению...

— Не-ту?

— А рота его есть...

IV

Старшина минометной роты Вася Багиров был из тех людей, для которых война давно уже стала привычным делом. Башкир по национальности, энергичный, настойчивый, буйный, он жил до войны неугомонной жизнью. Закончив национальную среднюю школу, Вася нетерпеливо бросился в белый свет. В двадцать пять лет он уже успел постолярничать в далеком Заполярье, доходил до Монгольской Народной Республики со стадами скота, обошел Урал в поисках самоцветов. С юношеской жадностью накинулся Багиров на жизнь, открывшуюся своей необъятностью перед ним, перед его народом, который века был темен и забит. Как будто опьяневший от новых безграничных возможностей, Вася хотел скорее все увидеть, обо всем узнать, коснуться всего, что было в этом чарующем океане, каким представлялась ему великая его держава.

В этих путешествиях железный организм Багирова не надломился, а, наоборот, приобрел богатырскую закалку. Болезни его не брали, морозы его не беспокоили, — получив солдатские рукавицы, он терял их на следующий день и никогда не жаловался на то, что мерзнут пальцы.

В минометную роту Вася пришел под Сталинградом, испил всю горечь жизни рядового бойца и только на Днепровском плацдарме, когда их в роте оставалось столько, что Багиров должен был считать себя взводом, Брянский назначил его старшиной. На этом посту и раскрылись полностью его таланты.

Интересы роты, честь роты стали как бы целью его бытия. Волевой, пронырливый, он мог пойти на что угодно ради своего подразделения. Он заводил знакомства, хитрил, лишь бы его бойцы были накормлены, напоены, образцово снаряжены, вдо-

воль снабжены боеприпасами. Он, например, прилагал бешеные усилия к тому, чтобы минометчики выступали на самых лучших лошадях, вызывая зависть всего полка. Бывало, Вася исчезал на целую ночь, возвращался утром весь в синяках и уже не на том коне, на котором выезжал, а на каком-то кошлатом одре.

— Среди казаков побывал, — сочувственно говорили тогда ездовые, но так, чтобы Вася не слышал. В такие дни он бесился при одном напоминании о казаках.

Донские хлопцы из кавалерийского корпуса, который, начиная с Румынии, часто соседствовал с полком Самиева, не раз чесали плетками минометного старшину, который повадился к ним за лошадьми. Однако, ради справедливости, следует оговориться, что Вася Багиров никогда не доходил до позорного для гвардейца бегства, а дрался хоть один против десятерых, пока его не сбрасывали с коня, пуская на волю божью пешком. Однажды ночью он по ошибке отвязал коня даже у своего командира полка. Извиняясь потом перед Самиевым, старшина объяснил свой промах тем, что «было очень темно и к тому же он спешил».

Багирову многое прощали, ибо знали его бескорыстие: лично для себя он не взял бы и нитки. Когда у бойца на марше разлезались сапоги, Багиров, не задумываясь, разувался и отдавал ему свои.

А больше всего искупал Вася свои грехи боем.

Из боя он выходил амнистированным за все. Где уж было наказывать человека, об отчаянной храбрости которого знал весь полк! Кто из старых однопольчан мог забыть, как минувшей весной в боях у Днестра Багиров верхом на коне, с бутылкой в руке, помчался по полю за немецким танком и поджег его? Кто, как не Багиров, выкрал в Трансильвании у немцев кухню с кашей и прогрохотал с нею среди ночи через всю нейтральную? Его тогда даже не ранило. Наверное, сама судьба любит отчаянных и покровительствует им.

Бой для него был священнодействием, ради которого Вася не давал пощады ни себе, ни своим подчиненным. Пока на передовой было спокойно, Багиров вел себя смирно. Ни с кем не ссорился, двигался, как сонный, казалось: погладь его — и он замурлычет, как ручной тигренок. Его скуластое, загорелое лицо было добрым, а косые щелочки глаз доверчиво щурились.

Но когда начинался бой, тогда держись! Тогда он круглые сутки не слезал с коня, метался то на передний край, то в боепитание, то чорт его знает куда, и все горело на его пути. Беда размазне, если он попадался под руку Багирову в такой момент.

Брянский дорожил своим старшиной и гордился им. Другим командирам рот, которые хвастались перед ним своими «фельдфебелями», Брянский говорил:

— Что у вас там за «фельдфебели». У меня — да, фельдфе-

белы! Пусть бы меня занесло в самый ад, и то он нашел бы и доставил «огурцы». Как-никак, а грыз он со мною сухую землю под Сталинградом. А сталинградские курсы много значат...

За Брянским Багиров и в самом деле, не задумываясь, пошел бы в огонь и в воду. Брянский принимал от него присягу, Брянский вручал ему новый автомат. Брянского сама Родина назначила ему в командиры. И потому о командире роты Багиров заботился значительно больше, нежели о самом себе, его честь хранил бережнее, чем свою собственную, потому что это была честь роты. Попавшись где-нибудь на грешном деле, старшина всячески старался взять всю вину на себя, ничем не очернить командира роты.

И только с Брянским Вася до конца делился самым интимным.

Вася был женат. Зимой прошлого года, когда они держали оборону в степном хуторе на Кировоградщине, одна веселая девчина в ярких монистах не на шутку влюбилась в Багирова. Она почуяла в нем надежного мужа и хозяина, на плечо которого с уверенностью можно опереться. Пренебрегая пересудами соседок, она с радостью отдала свою руку этому бедовому солдату с выгнутыми ногами врожденного всадника. «Будут у нас сыны, — шептала она, — такие хорошенькие, чернявые, косоглазые китайчата». Сыграли короткую солдатскую свадьбу с бураковым самогоном. Безусый Брянский по старшинству был посаженным отцом. Прожил Багиров со своей певучей молодницей без году три дня. Однако и в далеких краях не забывал ее. Сосредоточенно сопя, отвечал на ее нежные письма, вкладывая в свои ответы ласковые зернышки украинского языка, запомнившиеся ему. Посылал полностью все, что платила ему армия, и твердо намерен был вернуться после войны только к ней. Брянский поддерживал в нем это намерение, помогал Васе избавиться от легковерных подозрений, которые кое-кто, ради потехи, пытался посеять во вспыльчивом сердце старшины.

Вася переписывался со многими бойцами и офицерами, выбывшими из роты в госпитали. Даже те, которые выбыли очень давно, решив обратиться в роту с каким-нибудь посланием и припоминая, кому его адресовать, всегда останавливались на Васе. Не считали ли его хлопцы бессмертным?

О погибших товарищах их родным писал также старшина. Если за убитым не было каких-либо значительных подвигов Вася сам наделял его такими подвигами. Разве мог Вася без различия писать о бойце, с которым вместе пробивался трансильванскими лесами, переходил вброд по шею ледяной Муреш, справлял октябрьские праздники под мокрыми скирдами в венгерских хуторах? Нет, про этих людей Вася мог писать только с горячей нежностью, они все выходили у него выдающимися людьми, разрушавшими дзоты, рвавшими гранатами танки грудью встречавшими смерть. Всех их Вася помнил поименно

новичкам рассказывал о них трогательные легенды, и пусть бы кто-нибудь попробовал высказаться о его товарищах без должного уважения! Это были святые традиции его роты — его честь, его слава, — и старшина хранил их нетронутыми в своем сердце. Ибо только в деятельности своей роты он усматривал и смысл своего собственного существования, только с боевым подразделением чувствовал себя настоящим человеком.

И когда он узнал, что перед ним стоит суженая его любимого командира, то, чтобы утешить ее в горе, у него не нашлось ничего более убедительного, чем слова о том, что рота Брянского есть, что она живет. Вася считал, что более высокого утешения, чем это, быть не может.

И Ясногорская поняла его именно так.

«Когда у человека уже нет ничего, — подумала она, — когда человеку кажется, что он одинок, как последний колосок на скошенном поле, он ошибается: у него еще остается высшее, самое прекрасное — родной народ. Это так много, что ради этого стоит жить, бороться».

Старшина повел Шуру в дом, что-то шепнул бойцам, и их лица стали серьезными и торжественными. Солдаты отдавали девушке честь с подчеркнутым уважением. В комнате было тепло, потрескивали дрова в печи, и только тут Шура почувствовала, что промерзла до костей, — все ее тело дрожало. Ее поили чаем, заплаканные глаза девушки были красны и круглы, как у голубя. Скинув тяжелую, мокрую шинель, она склонилась на угол кушетки и не почувствовала, как заснула.

Ездовые ходили на цыпочках, повар перестал греметь сковородками, на огневую по беспроволочному телеграфу полетела весть о том, что в тылах минометчиков спит на кушетке смертельно уставшая, красивая худенькая девушка — невеста Брянского.

Шура, вздрагивая, спала беспокойным сном, спала и не спала, видела сны и бредила наяву. Даже во сне тяжело было у нее на сердце.

Когда она проснулась, на столе уже горела свеча, в комнате никого не было, в черные, как смоль, окна тарахтел дождь, словно в стекло стучались клювиками ласточки, ища, где бы обогреться. На стуле, возле кушетки, лежала просушенная ее шинель, удивительно легкая, стояли на полу ее кирзовые сапоги, начищенные так, что их трудно было узнать.

Шура медленно оделась, прошла на кухню, повар предупредил, что ужин готов. Девушка, поблагодарив, вышла на веранду.

Ветер стучал железной крышей. Глухо, по-осеннему гудели деревья, все было окутано густой, непроглядной темнотой. Казалось, что и дождь льется с неба черный, как смола. Фронт молчал, а может быть, его не было слышно из-за ветра. Постепенно глаза привыкли к темноте, и в ней очерчивались силуэты

коней возле подвод. Тускло поблескивали наполненные водой колен.

К дому примыкали хозяйственные строения. Как это заведено у венгерских хуторян, они и свое жилье, и конюшни, и сараи строят под одной крышей.

Из стены тянуло свежей прохладой. Девушка дышала полной грудью, чувствуя, как голова ее постепенно проясняется.

У самой вранды, возле настежь открытых дверей конюшни, топтались лошади, хрупая корм. Где-то вверху, на сене, разговаривали, ездые.

— Эх, Роман, Роман! — услышала девушка задумчивый голос. — Какие тут края богатые... Какие земли! Не найдешь у них румынской мамалыги. Хлеб пшеничный и белый, а ходят в хромовых чоботах. Не успели еще немцы их объесть и в деревянные колодки обуть.

— Пусть нам скажут спасибо, Хома. Разве им самим удалось бы выскочить из гитлеровского хомута? Да ни за что!

— Так бы и жили: как будто дома, а в самом деле — в наймах. А нет ничего горше, чем быть вот так... бездомным!.. Помнишь, как старший лейтенант Брянский перед своей смертью крикнул нам: «За Родину!» И голос у него тогда был какой-то не простой... Что это значит: Родина! Пока она у тебя есть, ты и богатый, ты и сильный, ты и всем нужен, Роман. А не дай бог потерял, тогда считай уже, что нет у тебя ничего. Что ты без нее? Подумать страшно. Тогда б тебя и на этой ферме псами затравили. Кварты воды не дали б... «Проходимец, — сказали б, — байстрюк безродный, чорт его дер!»

Сверкнула наверху зажигалка, и Ясногорская увидела уса-тые, загорелые лица, словно отлитые из красной меди. Прикурив, бойцы снова заговорили.

— А так, смотри, Роман, тебе всюду и почет и хвала. Только глянут на твои погоны, на пятиконечную звездочку на лбу, на твой ППШ — сразу шляпы с голов... Потому что ты для них большой представитель из района... нет, не из района, а из самого центра...

— Теперь я знаю, Хома, почему наш Брянский так сердился, когда мы натягивали на головы трансильванские чабанские шапки... Вид не тот. Помнишь, он заставлял нас гвардейские значки глиной тереть? Тоже неспроста. Хотел, чтобы хлопцы были, как орлы, чтобы все на них лежало по форме. Чтоб держались, как положено представителям такого государства. Говорил бывало: «Пусть тебя любят, пусть тебя и боятся...» Ты им слово скажешь, а они уже бородами кивают: йов, мол, йов. Добрэ. Кто твоего языка не понимает, все равно: йов... Авансом... А все трудящиеся радуются...

— А как же! Сколько мы лагерей пораскрывали! Сколько б душ там истлело. Всё после тебя — как после весеннего дождя:

воздух свежий, земля зеленая... Историческая миссия, говорил, бывало, Брянский...

Брянский... Юрась... Ясногорской казалось, что он продолжает тут всюду жить, продолжает требовать и поддерживать. разрешать и запрещать, деятельно проникает в духовную жизнь своих бойцов.

Разве ж это не бессмертие?

Во двор, не торопясь, въехал всадник. его окликнул невидимый среди подвод часовой. Всадник ответил неохотно. По голосу Ясногорская узнала старшину.

— Не заблудились в степи, товарищ старшина? — заботливо спрашивал ездовой, принимая от Багирова скрипучее седло. — Такая темень!

— И, как назло, нигде ничего не горит, — сердился старшина, — фермы одна на другую похожи. Глухо, пусто. Только по колеям и ориентировался.

— По колеям?

— А чего ж... Там, где мы хоть раз проехали, они светятся.

«Где мы проехали, колеи светятся! — подумала Ясногорская, проходя через веранду в дом. — Как хорошо он это сказал...»

V

Прибытие в полк девушки, невесты погибшего офицера, стало своеобразной сенсацией. Заместитель командира полка гвардии майор Воронцов добился того, чтобы Ясногорскую, согласно ее желанию, назначили командиром санитарного взвода в третий батальон, — батальон, где прошел свой боевой путь Брянский.

Воронцова Шура узнала сразу. Он внешне не очень изменился за эти годы. Те же серые настороженные глаза под рыжими, лохматыми бровями. Большая лобастая голова, которая теперь уже совсем полысела. Спокойные, уравновешенные движения. Ясногорскую удивило, что тогдашний сердитый политрук с перебитыми ногами теперь даже не хромал.

Третий батальон стоял во временной обороне среди степных холмов и балок на виноградных плантациях, в нескольких десятках километров на северо-восток от Будапешта. Целыми днями сеялись сквозь серое сито осенние дожди, а когда их не было, над полем с рассвета до самого вечера бродили туманы. Роты зарылись в размокший чернозем, каждую ночь поднимаясь на авралы: траншеи заливало водой. Пехота вычерпывала ее ведрами, а минометчики притащили откуда-то небольшой пожарный насос и выкачивали воду, похваливая «технику».

Минометы стояли на огневой, как девушки под кокетливыми зонтиками европейских модниц. Поэтому и обращались к ним только на «вы».

— Разрешите проверить ваш прицел...

— Разрешите протереть вас банником...

В первые дни пребывания Ясногорской в батальоне ей пришлось испытать немало огорчений. С разных сторон на нее наступали поклонники, добиваясь взаимности. Некоторые молодые офицеры, из тех, что прибыли в батальон уже после гибели Брянского и знали его лишь по рассказам, теперь были непрочь выдать себя при случае за его друзей. Они рассказывали про него Ясногорской разные фантастические подробности. Не добились успеха, некоторые вдруг «заболевали». Шуру вызывали по телефону то в одну, то в другую роту. Она терпеливо ходила по всем подразделениям, не обнаруживая никаких серьезных заболеваний. В то же время она проверяла личный состав по форме 20, беспощадно гоняла неопрятных за грязные котелки, если обнаруживала в них засохшую кашу.

На командный пункт возвращалась усталая, вся в глине, потому что в пехотных траншеях хоть и были положены доски и двери, жидкая грязь все же брызгала сквозь них до самых колен. После шуриных посещений «больные» офицеры просто-душно хвастались по телефону друг перед другом, что Шура слушала их пульс.

«Заболел» как-то и старший адъютант батальона капитан Сперанский. Он засел в своем блиндаже и весь день не выходил. Его «ломало» и «знобило». Вечером в блиндаж к Ясногорской явился ординарец Сперанского: капитан болен, просит зайти.

Шура, набегавшись за день по траншеям, должна была накинуть на плечи шинель и итти. Приближаясь к землянке адъютанта, она услышала звон гитары. Но, когда постучала в дверь, гитара смолкла и послышался почти стон:

— Да-а...

В блиндаже было чисто, пахло духами. На столе горела гильзовая лампа. В головах у капитана стояла блестящая венгерская сабля, с которой он не разлучался.

«Морда чуть не лопнет», — подумала Ясногорская и, скрывая раздражение, спросила:

— Что с вами?

— Не знаю, Шура, что-то такое... понимаете...

— Температурит?

— Возможно, температурит.

Поставили термометр. Измерили.

— Нормальная, — сердито сказала Ясногорская.

— Чего вы сердитесь, Шура? — поднялся Сперанский. — Знаете, какая здесь тоска... Какая собачья тоска — сидеть в этих прокисших виноградниках! Наступать бы...

— Вы для этого прислали ординарца?

— Шура... А хотя бы...

Шура задыхалась.

— Капитан... Капитан... Вы — хам!

Чтобы не разрыдаться, она быстро пошла к выходу, придерживая руками борта шинели. На блиндаже затопали.

«Подслушали в дымоход, черти, — выругался мысленно Сперанский. — Раззвонят теперь...»

Шура вошла в свою сырую землянку. На полу, на брезентовых носилках, спал санитар, прикрывшись шапкой. Девушка добралась до своих нар, разулась и села, подобрав ноги. Горькая обида душила ее. Разве она виновата, что такая собачья тоска в этих чужих виноградниках? Разве она пришла сюда, чтобы стать для кого-то игрушкой и развлечением? Уткнувшись головой в острые колени, она заплакала.

На другой день в батальоне побывал Воронцов. Он зашел с комбатом Чумаченко и в землянку Ясногорской.

— Не очень тут тепло, — сказал майор, присев на нары. — Как думаешь, Чумаченко?

— Не очень.

— Поменяться бы вам... Не согласен?

Комбат покраснел.

— Так вот, Чумаченко, чтоб вам не меняться, прикажи поставить сюда печку... Печку, понимаешь? Может быть, тут еще придется раненым лежать. Да и дочка, видишь, как посинела.

Ясногорская и в самом деле стояла бледная, с синими кругами под глазами. Она была в суконном зеленом платье со знаком гвардии на высокой груди.

— Тогда вы были совсем другая, — глухо заговорил майор, обращаясь к Шуре. — Помните, в эшелоне? Все гремела своими костылями через весь вагон и заслоняла мне окно. Теперь вы солиднее, серьезнее...

— Научилась кое-чему, — скупно сказала Ясногорская.

— Конечно, как не научиться!.. Такие университеты... А тогда вы большей частью ревели по ночам и вспоминали.

— Я и сейчас вспоминаю...

— Что?

— Всё.

— Например?

— К примеру, вашу лебединую легенду.

— А-а, легенду. Помню. Нет, это не легенда... Нет. У них и в самом деле так.

— Только один единственный раз? На всю жизнь? А потом вниз головой?

— Да. Но не забудьте, что лебеди — птицы. Чистые, красивые, воспетые всеми поэтами, но только птицы.

— А у людей?

— А у людей так не может закончиться. Разве наши интересы ограничиваются этим? Лебеди!.. Лебедь видит только свою пару, свое озерко, а человек — го-го! Ему видны широкие горизонты. Разве есть кто-нибудь на земле более крылатый, чем человек? Так-то, дочка... А как тебе тут у нас живется?

Хорошо.

Чумаченко вздохнул.

— Даже хорошо? - удивился майор. — Не надоедают? Дают отдохнуть?

— Дают, — девушка зарделась, как яблочко.

— А я слышал кое-что, — нахмурился замполит, поднимаясь и похрустывая коленными чашечками. — И ты, Чумаченко, слышал?

— Слышал, товарищ гвардии майор.

— Как оборона, так бесятся! - выругался майор.

— Это всё с жиру.

Спустя некоторое время весь командный пункт видел, как замполит вошел, сутулясь, в блиндаж к капитану Чумаченко, выгнал всех и вызвал к себе Сперанского. Адьютант, весь в ремнях, пробежал, позвякивая трофейными шпорами. Признанный полковой лев, он тщательно заботился о своей внешности.

Никто не знал, о чем так долго разговаривал бравый адъютант с замполитом один на один в блиндаже комбата. Но Сперанский вылетел оттуда красный как рак и гут же ни за что ни про что пропесочил своего ординарца, который первым попался ему на глаза.

Замполит приказал Чумаченко: всех юных офицеров-«стрелкачей», у которых «ненормальные пульсы», посылать в боевое охранение на поправку.

— На грязи! — сухо приказал Воронцов, зная, что в окопах боевого охранения грязь была по пояс. — Там пройдет. Порок сердца и всякие другие пороки как рукой снимет.

После этой истории Ясногорскую в разговорах называли не иначе, как Верной. Верная! Больше других были довольны этим новым именем Шуры минометчики. Они десятками глаз и ушей неотступно следили за ее поведением. И прежде всего самих себя они считали бы кровно обиженными, если бы Ясногорская — невеста их славного командира! — дала повод называть себя не так, как ее теперь называли в батальоне.

У Ясногорской с минометчиками сложились особые отношения. По неписанному и несказанному договору девушка считала это подразделение своим, а минометчики считали Шуру своей. В роте уже было немало новых людей, которые Брянского не застали, но и они, под влиянием его воспитанников, прониклись высоким уважением к погибшему командиру, знакомому им, словно по песне.

Из воспитанников Брянского в роте еще оставались Роман и Денис Блаженко, телефонист Маковей, веселый подолянин Хома Хаецкий, старшина Багиров и несколько других. Из госпиталя, адресуясь к старшине, писал Евгений Черныш. Здоровье его поправлялось. Лейтенанта Сагайду контузило на Тиссе, и он сейчас тоже отлеживался где-то во фронтовом госпитале.

Ротой теперь командовал гвардии старший лейтенант Кар-

мазин, присланный из резерва. В батальоне Кармазина чаще всего величали просто Иваном Антоновичем, возможно из уважения к его педагогическому прошлому. До войны Кармазин был директором средней школы где-то на Черниговщине. Солидный человек лет сорока, он пользовался у подчиненных и у начальства большим авторитетом как знаток своего дела и к тому же человек принципиальный. Когда между офицерами возникал из-за чего-либо спор, то Ивана Антоновича обычно избирали судьей. Знали, что во имя справедливости он не пощадит ни брата, ни свата.

К своему боевому предшественнику Иван Антонович относился без ревности. Он нисколько не обижался на то, что его роту и сейчас, по старой памяти, называют ротой Брянского.

— Я стараюсь подходить к людям не субъективно, а объективно, не торопясь, взвешивая каждое слово, говорил Иван Антонович, когда заходила речь на эту тему. — Брянский заслужил, чтобы его не забыли.

И бойцы, выученики Брянского, отдавали должное Ивану Антоновичу за эту его благородную объективность.

Когда Ясногорская приходила на огневую минометчиков, все уже было подготовлено к ее встрече. Зеленые «самовары» из-под кокетливых зонтиков как бы приветливо улыбались ей. Иван Антонович неуклюже вылезал из своей землянки, обтирая стены узкого прохода крыльями плащпалатки. При этом вид у старшего лейтенанта был такой торжественный, что, казалось, не хватает у него в руках только хлеба-соли на рушнике.

Бойцы со скрытой радостью ждали, когда фельдшерница зайдет в их подземелье, осмотрит котелки, горящие на полках, как солнце, натертые, конечно, к ее приходу. Проверя минометчиков по форме 20, Ясногорская каждый раз дивилась тому, какие они опрятные. Ставила их в пример остальным подразделениям батальона. Могла ли она подозревать, что к ее приходу эти несчастные рубахи беспощадно жарились над огнем? Когда у кого-то из новеньких было случайно «обнаружено», покраснела вся рота. Такой ужас! Старший сержант Онищенко, парторг роты, не сходя с места, присягнул, что «больше этого не будет».

Пока Шура была на огневой, ни одно плохое слово не слышалось ни у кого с губ. Не только разговоры, но даже взгляды бойцов приобретали особую скромность. Самым приятным для Ивана Антоновича было то, что ребят никто не предупреждал заранее, чтобы они так держались. Это получалось у них само собой, просто потому, что перед ними была невеста их героикокомандира, что была она Верная, что она своей верностью и девичьей чистотой тоже — чувствовалось — поддерживает в глазах других честь и заслуженную гордость их роты.

Бывая в батальонных тылах, Ясногорская никогда не обходила владений Васи Багирова. Ее тянуло сюда, как в родной дом, с родными семейными запахами. И хотя бойцы-ездовые с

чувством большой деликатности никогда первые не заводили разговора о Брянском, девушка по незначительным мелочам замечала, что Юрась продолжает тут существовать, продолжает влиять на них.

Приветливость ездовых никогда не переходила в панибратство. Возможно, их сдерживали офицерские погоны Ясногорской, а может, просто каким-то человеческим инстинктом они чувствовали, где лежит грань.

Ротный портной долго раздумывал, прежде чем решился, наконец предложить Ясногорской свои услуги.

— Давайте-ка я немножко переделаю вам шинельку...

Шура взглянула на свои длинные, подогнутые рукава и едва сдержала готовые брызнуть радостные слезы. О ней думали, о ней заботились, с такой нежной, трогательной неловкостью!

По случаю прихода Шуры повар минометчиков Гриша жарил и шкварил разные деликатесы, на какие только у него хватало выдумки. Подавая Шуре жаркое, он выбирал для нее куринные пупки, наверное потому, что сам их больше всего любил. При этом ребята, внимательно следившие за Гришей, не замечали никаких двусмысленных взглядов в сторону стройного девичьего стана. А между тем вся рота знала, что Гриша — опытный донжуан. Картофель ему чистили какие-то покрашенные верхивостки, которых он добывал в степных хуторах, как из-под земли. Ездовые долго соображали, чем их повар, маленький и сутулый, как дьячок, так привлекает чужеземец. Хома Хаецкий почему-то видел причину этого в том, что Гриша — горбатый.

Сам Хаецкий был стройный, как струна. Накручивая свои усы, как часовую пружину, он заводил с Шурой разговор о венгерском адмирале Хорти. Хому очень интересовало и даже беспокоило: как это в стране, где нет ни одного моря, вдруг правит адмирал?

— Ведь так можно дойти до беды! — говорил боец с характерным подольским напевом. — На море, допустим, он может, а на земле нужно уметь держать вожжи... Вот я сам...

Шура при этом не могла сдерживать улыбки.

Пропуская роты через баню, Шура ловила себя на том, что относится не ко всем одинаково. Когда приходили мыться минометчики, она не могла удержаться, чтобы не выбрать им белье получше, побелее. И к ним чаще забегала спросить, достаточно ли горячей воды и мыла. Ребята, красные от затылков до пят, поворачиваясь к стенам, кричали дружным хором:

— Достаточно! Достаточно!

Шура упрекала себя за то, что не может быть беспристрастной. Да и как она могла относиться одинаково ко всем, если Вася Багиров, устраивая вечером подводу специально для того, чтобы подвезти Шуру от бани на командный пункт, набрасывает ей на плечи плащ-палатку, как настоящий рыцарь! Ездовому, который должен везти Шуру, Вася наказывает быть внима-

тельным, не заблудиться в тумане, не заехать в гости к фрицам.
— Товарищ старшина! Вы ведь меня знаете не со вчерашнего дня! — обижается боец.

Прощаясь, Багиров отзывает Ясногорскую в сторону и, сверкая темными раскосыми глазами, говорит с трогательной таинственностью:

— Может быть, там кто-нибудь будет приставать к вам... или говорить разные такие слова... Вы нам скажите. Одно слово скажите. А мы уж ему физиономию распишем правильно... По-гвардейски!..

VI

Хому Хаецкого фронтовая жизнь изменяла на глазах у всех. Это был уже не тот лукавый, немного суматошный подолянин, который при приближении «мессеров» впивался зубами в землю и молил неведомую силу:

— Пронеси! Пронеси!

Вопреки всем лишениям и заботам переднего края, Хома даже растолстел, щеки у него налились. Привозя мины на огневую, Хома затевал борьбу с лобастым Маковейчиком и брыкался при этом, словно конь. Вместо осторожности и робости в его поведении постепенно появилась гордая решимость, даже самоуверенность и бахвальство. Ни днем, ни ночью он не снимал с пояса чехол с немецким штыком-ножом, хвастая, что когда-нибудь собственноручно резанет-таки тем ножищем какого-нибудь фрица.

— Ой, фриц, фриц! — грозил Хома кулаком в сторону противника. — Чи не говорил я тебе в сорок первом, что кривдой полсвета пройдешь, а назад не вернешься? Вот и не вернешься, грясца твоей матери!

На боку у Хома висела пустая кобура, готовая принять трофейный пистолет, — давнюю мечту Хома.

Раньше, когда, бывало, на марше или ночью, в тесноте переправы, возникали обычные в таких случаях стычки между ездowymi разных частей, Хома держался от греха подальше. Старшина Багиров дал ему однажды за это такой нагоняй, что Хома долго не мог притти в себя.

— Вы что ж это, Хаецкий, тушуетесь? — кричал Вася. — Почему спрятались под повозку, когда транспортная рота чесала Островского батогами?

Багиров всегда требовал от своих, чтобы в драку вступали дружно все, раз уж кто-нибудь ее начинал.

— Я левша, — оправдывался Хома. — И, кроме того, у меня колесо спало.

— Колесо! Штаны у вас спадали, а не колесо. За то, что не выручили товарища, получите три наряда вне очереди.

— Есть три наряда вне очереди! — глотал пилюлю Хома. —

Но, товарищ гвардии старшина, когда же я их отстою? Я и так каждую ночь на посту. Разве после войны?

— Прекратите ваши шуточки, Хаецкий! Три ведра картошки! Слышишь, Гришка?

— Слышу, товарищ гвардии старшина! — откликается повар.

Он рад запрячь Хому. Языкастый Хома всегда издевается над гришиными «романами».

— Но товарищ гвардии старшина, — умоляет Хома, — смилуйтесь!

— Ладно, — говорит Вася. — Посмотрю еще на ваше поведение...

Больше Хома уж не пырлял под повозку. Со временем его цыганские усы и громкий, певучий голос стали господствовать над переправами. Он влетал на гремящие доски первым, угрожающе подняв над головой тяжелый, с кисточками, кнут.

В ездовые Хаецкий попал благодаря реформам Ивана Антоновича. Чтобы рота была более дружной, чтобы не создавалась особая, по его словам, каста ездовых, Иван Антонович завел порядок, по которому миновозы периодически менялись. После некоторого времени работы на конях командир роты отзывал их на огневую, а других, из огневиков, ставил на их место. Иван Антонович гордился своей реформой, ибо при ней никто из его бойцов «не забывал, как стрелять». Теперь Хома отбывал этот тыловой период.

Правда, транспорт минометных рот назвать тылом можно лишь условно. Где только есть возможность, этот «тыл», располагается рядом с огневой. На маршах двигаются большей частью совместно. Только если огневая расположена под самыми боевыми порядками пехоты и негде замаскировать коней, подводы останавливаются в километре или двух сзади, в населенном пункте. Тут их не достают вражеские пулеметы, однако огонь чужой артиллерии и минометов обрушивается и на них. Кроме того, во время боя миновозы должны курсировать все время с боекомплектом на огневую, проскакивая среди бела дня на глазах у противника. Огневая не может ждать. Этим объясняется, между прочим, то, что среди ездовых потерь было всегда больше, нежели среди огневиков. И все же Хому тянуло поближе к старшине. Он, как и старшина, любил лошадей. Его кони с заплетенными гривами, с мускулистыми грудями брали всех на буксир в гиблых местах. Правда, и съедали они не только свой паек овса. Ездовые это знали и прятали от Хомы овес подальше. Однако, если Хома задерживался на передовой, без него ужинать не садилась. Каждому не хватало неугомонного подоянина.

С начальством Хома держался достойно и был мастак поговорить. Поболтать с высоким начальством было для Хомы удо-

вольствием. Особенно радовали его встречи с Героем Советского Союза гвардии майором Воронцовым.

С майором Хаецкий близко познакомился, мытарствуя в Трансильванских Альпах. Теперь, заходя к минометчикам, замполит всякий раз спрашивал, сохраняется ли у них тот альпийский канат, с помощью которого они когда-то штурмовали скалу. И Хома уверял майора, что канат лежит у него в перелке. Потому что, может быть, им встретятся на пути еще не одни Альпы....

Затем майор спрашивал Хаецкого, что слышно из дому. Хома как-то пожаловался замполиту, что бригадир не даст Явдохе соломы покрыть хату. Воронцов написал письмо председателю колхоза. Он писал такие письма десятками: председателям колхозов, секретарям райкомов, военюмам. И бойцы тянулись к нему со всеми своими болями. Этот плечистый майор с серыми умными глазами, казался им всемогущим защитником, который все может, стоит только обратиться к нему. Майор в самом деле заботился о семейных делах бойцов так, словно о своих личных, если не больше.

Получил письмо, — хвалился Хаецкий.

— Дал бригадир соломы?

— Сам и покрыл, товарищ гвардии майор. Подействовало!

И Хома начинает при всех бойцах читать майору письмо от Явдошки:

— «Хомочка, мой дорогой, хоть бы бог дал скорее разбить ворога и здоровым домой притти. Передавай от меня и от деток наших широе спасибо твоим офицерам, что прописали нашему председателю. Я только услышала на работе, что прибыло в контору письмо, и пришла домой — арба соломы во дворе, словно из земли выросла. Сам бригадир вверху, на хате ходит, как анст. Не знаю, что там такое писали им твои офицеры, что аж на хату его вынесло... А то уж и потолок падал и по стенам текло.

Хомочка, мой дорогой, не знаю, как мое сердце рвалось к тебе, я уже не могла на постель взобраться и по свету ходить. Я говорю: разве я еще мало наплакалась, мало набедовалась, что его не слышно? Буду просить, чтобы писал мне каждую неделю, и не забывал, хозяин мой далекий...»

— А вы почему же не писали? — сурово перебивает Хому замполит. — На чернявых мадярок засмотрелись? Про свою забыли?

— Что вы, товарищ гвардии майор! Побойтесь бога! У меня тоже чернявая. На все село молодница!

— В чем же дело?

— Да это еще когда мы к Мурешу скакали, так я редко писал. Знаете, как мы там наступали... Не до писания было! День и ночь без передышки!.. Километрами, а не ярдами!..

— Не употребляйте слов, каких не знаете, — замечает майор. — Разве вы знаете, что такое ярд?

— Ярд? — У Хома это слово вызывает явное презрение. — Ярд союзники придумали. В нашей армии такой мизерной меры нет. Это что-то вроде старорежимных локтей. Наша армия измеряет только километры: сто двадцать по фронту, шестьдесят в глубину, при этом уничтожено...

— Хома, — говорят бойцы, — ну-ка, расскажи, какая сводка у союзников.

Кое-кто при этом уже посмеивается.

— Там неуклонно наступают, — серьезно говорит Хома. — После упорных боев три дивизии союзников ворвались в сельский населенный пункт. Захвачен в плен один айн-цвай.

— А потери союзников?

— Один контуженный. Остался на отдых.

— Ого! В таком разе у них есть время писать домой! — говорят бойцы.

— И вы пишете, — строго говорит майор. — Им свое, нам свое. Наши жены стоят того, чтобы мы им писали часто. Чтобы наши Явдошки не плакали.

— Солдат слезам не очень верит. — Хома, как негр, ворочает белками. — С Тиссы я ей написал. А теперь, говорю, напишу с Дуная. Смотри, говорю, там сама. За меня будь спокойна. Ведь у меня теперь не один наш колхоз. Имею большие дела. На очереди девятый удар, как сказал товарищ главнокомандующий.

— А десятый? — спрашивают Хому бойцы.

— Десятый — это уже домой!

— «Хомочка, мой дорогой, — продолжает читать Хаецкий, — нашей телке уже шестой месяц, а овца котная. Не забывай нас и на синем Дунае, потому что мы ложимся и встаем, думая о тебе. Посылаем тебе низкий поклон — от белого лица до сырой земли...

Еще забыла: у нас пришел Стах, левая рука не действует, и миколин шурык без ноги, сапожничают... А смертью храбрых — Олекса, и Штефан, и Прокоп...»

— Обоих кумовьев нету! — с болью восклицает Хаецкий. — Товарищ гвардии майор!.. Многих наших людей нету! Гибнут! Вот вы упрекаете меня, что редко пишу... А что писать? Бить их надо скорее, проклятых! Скажу вам правду, товарищ гвардии майор: раньше телка у меня из головы не выходила. А теперь все реже и реже снится. И овца котная... Пусть окотится на здорovie... Разве у меня сейчас только это на уме? Когда вся Европа нас ожидает и порядка ждет? Потому что Олекса, и Штефан, и Прокоп сложили головы... Я спрашиваю: за что? Я должен знать, как тут будет после нас.

— Ваше право, товарищ Хаецкий.

— Вот ходят слухи, что в румынскую дивизию, которая за

нами, поналезли фашистские офицеры и мутят воду... за нашей спиной... Разве для того мы Румынию бурей пролетели, а всю Трансильванию на локтях переползли, чтобы там всякая нечисть снова голову поднимала? Еще не высохла там кровь наших Штефанов, и Прокопов... и Брянских! Верно ведь? Так надо мне знать, кто там у них засядет: приятели наши или враги!

— Друзья будут, товарищ Хаецкий, — успокаивает Хому Воронцов, — демократические правительства.

— Вот же, граждане европейцы, — вдруг обращается подолжанин к воображаемому обществу европейцев, — вот же! Не для того мы вас освобождали, чтобы вы вместо старых фашистов насажали новых, в демократических штанах!

Хому интересовало все, он до всего допытывался. В самом деле, он все меньше думал о домашних делах, о своей телке. Что касается этого, то он целиком полагался на Явдошку. А его самого все больше захватывали европейские и международные дела. Они так волновали Хому, словно он сам готовился завтра — послезавтра стать дипломатом. Его своеобразного «диспута» с майором Воронцовым бойцы ждали с нетерпением. Воронцов же считал эти «диспуты» одной из форм воспитательной работы среди личного состава. Кадровый политработник, он знал тысячи путей к сердцу солдата. И Хаецкий, вырастая сам, одновременно помогал и майору в его работе.

У Хаецкого был острый взгляд, он все замечал, во все хотел вносить свои коррективы. То его вдруг беспокоили дела партизан на Балканах, и он желал знать, помогают ли им союзники. То Хома, задумавшись, неожиданно высказывал предположение, куда будет удирать Гитлер, когда «ему припечет». Тут же он давал свои рецепты, где и как нужно будет искать людоеда.

Когда Воронцов уходил, Хома с бойцами провожал его до шоссе.

Мокрый, кое-где разбитый снарядами асфальт сверкал в туманной степи, как меч.

Хаецкий некоторое время стоит задумавшись, оглядывая прекрасную дорогу. Потом, ударив себя пальцем по лбу, начинает мерить ее от бровки до бровки. Заложив руки за спину, он ступает широко, как строгий землемер. Майор и бойцы, усмехаясь, ждут.

Промерив раз и другой, Хома заявляет, что этот асфальт уже украинского грейдера на три метра.

— Когда идут здесь несколько полков на марше, то никак не обогнать передних, товарищ гвардии майор. Або съезжай на обочину и подрывайся на минах, або чеши батогами других ездových, чтобы пропустили. А наши грейдеры — и на Винницу, и на Могилев — куда шире! Мы их от района до района сами прокладывали. От каждого колхоза — бригада.

— Будет время. — говорит Воронцов. — мы наши грейдеры тоже зальем таким асфальтом.

— О, это будут хорошие шляхи! -- взволнованно говорит Хома. -- И гладенькие, хоть катись... Как этот. Но на три метра шире! Тогда и они начнут облизываться...

— Товарищ гвардии майор, а как железнодорожные пути? — спрашивает кто-то из бойцов. — Тоже ведь неодинаковые! У нас шире, у них уже. Будут они когда-нибудь перешиваться?.. Чтоб всюду одинаковые?

-- Очевидно, будут.

— А кто к чему примеряться будет: они к нашему или мы к ихнему?

-- Только не мы, -- усмехается Воронцов, показывая крепкие, тесные зубы. -- Разве вы не знаете, товарищи, что поезд на широкой колее держится уверенней?.. Гони на полную скорость!.. Но, — майор хитро грозит пальцем, -- следи за атмосферами!

VI

Бойцы соскучились по солнцу. Видели его давно, давно...

Круглые сутки — ветры, дожди, туманы.

На огромных плантациях, где держали оборону, виноград был собран лишь частично. Оставшийся гнил на корню. Туманными утрами, когда враг постреливал наугад, пехотинцы вылезали из своих глинистых окопов, как суслики. Пригибаясь, рассыпались с котелками в руках между рядами лоз, выбирали еще не сгнившие от дождей седые кисти, лакомились ими после солдатской каши.

А там, где-то впереди, затянутый дождями, стоял загадочный дунайский красавец Будапешт... Будапешт! Это слово теперь не сходило с уст.

Все дни в ротах шли занятия. Сталинградцы проводили беседы с молодыми, делились опытом боев в условиях большого современного города. Командиры батальона снимали по очереди в тыл с переднего края отдельные отряды, формировали штурмовые группы, гоняли их до седьмого пота. Занятиями руководили также сталинградцы. В районе полка были местечки и села с постройками городского типа, и бойцы штурмовали по нескольку раз давно захваченные ими улицы, вели жаркие гранатные бои, строили и взрывали баррикады. Все было всамделишное, за исключением того, что каждый штурм всегда кончался благополучно, а «побежденные», чертыхаясь, вновь поднимались на ноги.

Майор Воронцов придавал большое значение этим занятиям. Бои штурмовых групп он контролировал лично. Как-то замполит зашел к полковым разведчикам. Ребята как раз переживали свои медовые три дня, три дня раздольной свободы, которые получали всякий раз после того, как приводили важного «языка». Разведчики засыпали майора жалобами.

— Хоть бы эту столицу не миновать! — беспокоился сержант Казаков. — А то какие-то все Пашкани да Яслодани...

— Нашу дивизию, — гудели бойцы, — уже и так танкисты окрестили: непромокаемая, невысыхающая, мимо-бухарестская, мимо-будапештская...

— Степная, лесная, горная, болотная!..

— Гвардейский аттестат, — сказал майор, — почетное имя. Разве фронт — это одни столицы? Это, товарищи, две тысячи километров... Впрочем, «мимо-будапештской» мы, кажется, не будем. Вы видите, как мы сейчас стоим! Куда нацелены?

— Прямой наводкой на голубой Дунай!

— Да, на картах и в вальсах он голубой. А будет красный, как дубовый жар. Кстати, сержант Казаков...

— Слушаю!

— Вы уже проводили занятия? У вас ведь есть новички.

— Программу из штаба получили, — рапортовал Казаков; он временно замещал командира взвода. — Завтра начинаем.

— Действуйте, — сказал майор, — действуйте.

На следующий день он видел, как разведчики выехали в поле на лошадях. У майора возникли подозрения: какие уличные бои ребята будут вести верхом? Разведчики прищпорили лошадей и понеслись, держа курс на винокурню. Она высилась своей трубой среди хмурой осенней степи, как большой пароход, севший на мель.

Через некоторое время к винокурне подъехал на мотоцикле и сам майор. За рулем сидел его ординарец.

Во дворе стояли подводы, — старшины из всех полков получали здесь вино для своих подразделений. В одном из подвалов слышались песни. Воронцов направился туда. В подвале, среди огромных бочек по щиколотку в вине бродили оседланные лошади разведчиков. Майор приказал ординарцу увести лошадей в полк.

А их хозяева пели «гречаники» где-то вверху на высоких бочках, и Воронцов вынужден был несколько раз крикнуть, пока его не услышали.

— Кто там бубнит внизу? — послышался из-под потолка голос. — Стукни его по-гвардейски, Петя!

— Слезай... — крикнул Воронцов, добавляя еще кое-что.

Узнав майора, разведчики посыпались сверху, как груши, и стали перед замполитом, опустив головы.

— Учитесь? По программе?

— Товарищ гвардии майор, — тяжело ворочал языком Казаков, — м-мы штурмовали его... этот объект... п-по программе... Каменный, крепкий, как город... Мы его с ходу... С поля...

— А тут?

— Это-то... сверх программы. Ап-пробация, не отравлено ли...

Майор вывел разведчиков во двор.

— Где лошади?

— Были тут... Наверное, пасутся.

Воронцов подал команду построиться и повел разведчиков к каменному бассейну, наполненному водой.

— Снять головные уборы!

Провинившиеся старательно исполнили команду.

— На колени!

Шеренга опустилась на колени.

— Головы в воду, по самую шею! Раз-два!..

Ребята нырнули, как селезни. Прodelав над ними несколько раз эту операцию, майор снова построил разведчиков. Они чихали и отфыркивались. Лица становились скорбными, — это означало, что «орлы» протрезвляются.

Теперь Казаков увидел вдали лошадей.

— Вон повела какая-то стер...

— Так вот: на коней каждому из вас запрещаю садиться до самого Будапешта, до его взятия. Лишь после того как падет последний квартал, получите право сесть в седло.

— Рады стараться! — гаркнули штрафованные.

— А теперь — марш в полк! Вечером на задание.

Вечером полковые «волки», совершенно трезвые, действительно пошли на задание.

Там, где они проходили, ничто не звякнуло, не треснуло, не хрустнуло. Слово шли бестелесные темные тени по мягким пуховикам.

Утром сержант Казаков привел к Воронцову молодого венгерского капитана.

Капитан рассказал немало интересного.

— Я убедился, — говорил он через переводчика, — что с немцами нам пора порвать. Они заведут нас в пропасть.

— Поздновато вы убедились, — заметил майор. — Не в Воронеже, не в черниговских лесах, а только под стенами собственной столицы. Поздновато.

— Мы возлагали надежды на Хорти, — мрачно продолжал пленный. — Мы были уверены, что он заключит с вами мир.

Капитан рассказал, что многие из его товарищей офицеров тайно носят при себе гражданскую одежду на случай окружения Будапешта. Все они возмущены засилием гитлеровцев в стране.

— Всюду засели проклятые швабы, — разглагольствовал пленный. — Военное министерство и генеральный штаб возглавляет немец Бергер. Командующие первой, второй и третьей венгерских армий — немцы. Всеми нашими войсками командует немецкий генерал-полковник Фризнер...

Под конец капитан пожаловался Воронцову на то, что вот этот сержант, взяв его в плен, заставлял его, капитана, козырять ему.

— Я офицер венгерской армии, — высокомерно заявил капитан, — а должен козырять вашему сержанту.

Замполит сурово обратился к Казакову:

— В чем дело?

Разведчик, сердито поглядывая на пленного из-под надвинутой на лоб ушанки, объяснил, что хотел знать, как приветствуют в венгерской армии: всей пятерней или только двумя пальцами? Ему, как разведчику, вообще крайне необходимо знать, как отдают честь в разных армиях мира. А именно капитан мог это продемонстрировать по всем правилам.

— Но вы же заставили меня не один раз козырять, а десять! — воскликнул капитан, выслушав объяснения через переводчика.

Сержанта затрясло. Веки его нервно задергались. Заикаясь, он некоторое время дышал открытым ртом, пока, наконец, смог вымолвить первое слово. После контузии Казаков плохо говорил, когда волновался. Воронцову было больно смотреть, как он дышит.

— Я не-не знал, что ты т-такой лягаш, такая дешевка! — прохрипел разведчик, стискивая тяжелые, как гири, кулаки. Иностранец испуганно поглядывал на эти гири. — Т-ты бы мне сто раз откозырял! Т-ты б у меня от самой нейтральной по-пластунски п-полз!..

— Прекратите, Казаков! — сказал майор. — Можете идти.

Когда сержант вышел, замполит встал из-за стола и, заложив руки за спину, молча прошелся по комнате. Его широкое бритое лицо было покрыто серой усталостью. Лоб прочертили глубокие складки.

— Капитан! — остановился майор перед пленным. — Вы напрасно обижаетесь. Совсем напрасно. То, что вы, офицер погибающей армии, отдали честь этому сержанту, не должно ни капли унижать вас. Вы сами уже достаточно унизили себя покорной службой швабам. А известно ли вам, кто этот сержант, который взял вас? — И Воронцов почти прошептал, словно открывал капитану глубокую тайну: — Донбасский шахтер, сталин-градец!.. Понимаете? Спаситель Европы, спаситель мировой цивилизации!.. Так разве он не заслуживает, чтобы вы ему козырнули?

Капитан ничего не ответил.

VIII

Почти одновременно в третий батальон вернулись Шовкун и Черныш. Шовкун, зайдя, как водится, сначала на командный пункт к писарю, неожиданно встретился там с Ясногорской. Фельдшерница, возбужденная, раскрасневшаяся, в расстегнутой шинели, склонилась над раненым пехотинцем. Когда его пришлось поднимать на санитарную рессорку, Шовкун бросился по-

могать Ясногорской, — тут не хватило ее хрупких девичьих сил.

А Шовкун так тихо, бережно уложил тяжелого бойца, что тот, повернувшись бескровным, покрытым щетиной лицом, поблагодарил.

— Вам бы милосердной сестрой быть, — тихо сказал он Шовкуну. — Вы человека берете... сердечно.

В тот же день Ясногорская, с разрешения комбата, взяла к себе Шовкуна в санитары.

— Будете сестрой...

У широкоплечей «сестры» жилы набухли на шее — так ей было неловко.

Иван Антонович в ином случае ни за что не уступил бы своего минометчика. Он был готов схватиться с комбатом, доказывая, что минометчиков не хватает и их место возле «самоваров». На этот раз Иван Антонович не возражал.

— Если Шура выявила у него медицинские способности, то что поделаешь... пусть.

Евгений Черныш принял свой взвод. Рота встретила его поздравлениями: пока Черныш лечился, ему было присвоено звание лейтенанта и пришел приказ о награждении орденом Красного Знамени за высоту 805.

— Вы словно жених! — весело оглядывали минометчики своего офицера.

Черныш был в новом кителе, в красивых, с кантами, галифе, в артиллерийской фуражке. Лейтенант заметно возмужал, стал солиднее. Голову он держал прямо, хрящеватый кадык туго выпирал из-под воротника, на щеках играл смуглый румянец. Кажалось, лейтенант был однажды и навсегда густо обожжен солнцем.

— Как живете, Денис? — обратился лейтенант приятным баском к Блаженко.

— Живем — не горюем, — сдержанно отвечал ефрейтор. — Из земли не вылазим. Теперь, чего доброго, домой вернешься и настроишь на огороде блиндажей. На зарядку всех будешь гнать — и жену, и детей, и тещу...

— Теперь ты и в колхозе не будешь поворачиваться кое-как, — кричали товарищи. — Будешь жить форсированным маршем!

Услышав на огневой голос Черныша, из-под земли выскочил простоволосый Маковей. Забыв, что без шапки, он козырнул по старшинскому фасону: порывисто, кулаком.

— Здравия желаю, товарищ гвардии младший... то есть — лейтенант.

Черныш схватил его обеими руками и затряс.

— Маковейчик... Соловейчик... не охрип? Все попрежнему моешь в трубку?

Маленький телефонист тыкался лбом в грудь Черныша.

Возвращение товарища из госпиталя рота всякий раз пере-

живала как праздник. Словно прибывший приносил с собой живой аромат давних боев, которые, отдаляясь, меркли в памяти и в то же время приобретали все более яркую, почти песенную окраску. Кроме того, возвращаясь в боевые ряды, товарищи своими зарубцованными ранами словно говорили роте: «Мы неистребимы, мы живучи».

На командном пункте батальона Евгений впервые встретился с Ясногорской.

Это было под вечер в поле, у скирд соломы. Почерневшие от дождей скирды еще утром были в руках противника. Вокруг, на зеленой озими, лежали черные звездообразные цветы минных разрывов. Теперь, прохаживаясь между ними, Иван Антонович выбирал место для своих «самоваров».

— А сеяли тут вручную, — говорил старший лейтенант, разглядывая неровные сизые всходы. — Сею, вею, повеваю...

Под скирдами разместился комбат Чумаченко со своей штабной ватагой. Хотя никто не знал, придется ли тут ночевать, работа все же закипела. Свистела земля, выбрасываемая из ячеек, шуршала солома. А в километре, над рощицей, рассыпались ракеты и не умолкала стрельба. Там был передний край.

Без конца дождило, поле затянулось седой пеленой, далекие деревья, телеграфные столбы, скирды — все растворялось в пасмури, теряя очертания.

Когда Черныш подошел к Ясногорской, она как раз переобувалась, сидя на куче соломы.

Где бы ни встретил он ее, все равно узнал бы. Белолицая, прищуренные большие глаза, тонкая фигура... Тугая корона кос под беретом. Он уже видел это лицо в ту голубую трансильванскую ночь.

— Извините... Садитесь... — сказала девушка, когда они познакомились.

Черныш покраснел:

«Бедная, она забыла, что сесть не на что».

— Спасибо.

— Вы давно прибыли? — спросила Ясногорская, лишь бы что-нибудь сказать.

О Черныше она уже слышала раньше, знала, что он был близким другом Юрася. А встретившись, не находила для него слов.

— Давно... Собственно, вчера...

— Да.. Здесь это уже давно. — Шура выжала портянку, с которой потекла вода. — Побродили мы сегодня.. Настоящее море.

— Море... А я вас, между прочим, видел на море, — смущаясь, выпалил Евгений. — На берегу возле байдарки... С веслом в руке.

— Ах, это то фото! — Шура поморщилась, как от боли. — Кстати, вы не знаете, у кого оно сейчас?

— У Сагайды.. Он тоже вернется в полк.

Шура обулась, и, шурша намокшей плащ-палаткой, встала.

— То было море, — вздохнула она. — Прекрасное море.

Оба они в это мгновение подумали о Брянском.

Из соломенного дупла, вырытого в скирде, задом вылез Шовкун. Весь в соломе, с шапкой, повернутой ухом вперед, он, казалось, только что бросил вилы у молотилки.

Увидев Черныша, боец растрогался до слез. Чего греха таить, он был очень мягкий и нежный, этот усатый винничанин.

Потом, обращаясь к Ясногорской, доложил:

— Отрыл окоп полного профиля... Правда, лежа. Сухо. И сверху не пробьет, и ветер не задувает. Только остюгов много и мышей.

Шура подошла к Шовкуну и заботливо поправила на нем ушанку, звездой вперед.

— А вы где будете? — спросила она санитаря. — Отстройте и себе.

— Что я? — смутился Шовкун. — Я могу где угодно. С телефонистами притулюсь.

О Шуре Шовкун заботился так же самозабвенно, как в свое время о Брянском. Делал он это не из каких-то корыстных соображений, — это было его внутренней потребностью.

— Молодой наш цвет, — говорил он товарищам, — как же его не беречь!

— Какой он хороший! — сказала Ясногорская о Шовкуне, когда они с Чернышом перешли в соломенную пещеру.

— Как красная девица, — усмехнулся Евгений.

Прячась от дождя, они присели на краю соломенного дупла. Был только пятый час, а уже темнело. Чернышу хотелось многое сказать этой девушке-вдове с глазами, полными тоски, но он запрещал себе говорить. Он знал: о чем бы ни начал речь, все равно она будет касаться Юрия, будет проникнута Юрием, ибо хоть они и не говорили о нем, он все время был с ними. Утешать? Но она, кажется, из тех, которые не принимают утешений. Пристально смотрит на него, словно хочет увидеть насквозь, а лицо ее в сумерках как будто голубое... Наверное, много плачет по ночам...

Перевела взгляд в поле, темное, холодное.

— Уже пролетает снег, — сказала задумчиво, кутаясь в плащ-палатку. — Но, боже, какой он у них... У нас белый-белый... А тут серый, как пепел...

— Тает.

IX

Как-то утром Хаецкий, вернувшись с переднего края на ферму, был поражен неожиданным зрелищем: во дворе, в саду, за скирдами и далеко в поле — слева и справа — стояли пушки, пушки, пушки. Как будто выросли из-под земли.

Враг ничего о них не знал: благодаря туманам вражеская авиация в последние дни не действовала.

Едва Хаецкий сел с товарищами завтракать, как за окном ударило тяжелое орудие. Дом вздрогнул, и стекла с веселым звоном посыпались на стол.

— Вот это я люблю! — воскликнул Хома, хватаясь за шапку. — Это по-моему!

— Иштенем!.. Иштенем!¹ — прошептал хозяин фермы, глядя на крышу.

Бойцы, одеваясь на бегу, выскакивали во двор.

Пушки уже ухали от края до края. Их залпы сливались в единый, напряженно дрожащий гул.

Во двор влетел Багиров на взмыленном сытом жеребчике.

— Кончай ночевать! — радостноскомандовал он, не сходя с коня. — На голубой Дунай!

Шура Ясногорская в это время стояла на командном пункте. Она впервые видела перед собой поле боя, знаменитую пехотную атаку. Правда, эта атака мало отвечала шуриным представлениям о ней.

Перед глазами расстилался типичный для Венгрии волнистый степной ландшафт: неглубокие лощины, холмы, равнины — и снова лента холмов. По седому полю, словно курени, торчали составленные вместе снопы кукурузы. Между ними неторопливо двигались фигуры бойцов, почти сливаясь с бесцветным фоном стерни, виноградников и кукурузных полей.

Бойцы шли, рассыпавшись по полю. Они именно шли, а не бежали короткими перебежками, причем передвигались не прямо вперед, как обычно в атаках, а пересекали поле в разных направлениях, наискось и в стороны, и, даже сойдясь по несколько человек, некоторое время стояли на месте, как будто о чем-то советовались. Тогда их трудно было отличить от кукурузных снопов. Блеклые, дымчатые тучи летели над полем поосеннему низко и быстро.

— Это уже атака? — спросила Ясногорская у комбата Чумаченко.

Капитан Чумаченко, пожилой, высокий мужчина с моложавым лицом и белыми, как снег, висками, стоял рядом с ней, в фуфайке, в ватных штанах, покрытых на коленях грязью.

— Атака, атака, — ответил он, глядя в бинокль. — Артподготовка кончилась, «карандаши» встали, продвигаются, — чем же не атака! Хлопцы идут, как боги!

Хлопцы шли, как боги. Весь горизонт усеялся этими серыми «богами». Одни поднимались по отлогому склону, другие уже исчезали за холмом.

Шура раньше думала, что при атаке нужно обязательно

¹ Боже мой! (венг.).

бежать — бежать по геометрической прямой, как в фильмах, — тут бойцы шли не торопясь, в полный рост, двигались и прямо, и наискосок, расходясь лучами, будто обмеривали все поле, как землемеры.

Издали Шура не видно было, что бойцы шагают по колена в вязком черноземе и бежать не могут, потому что им нужно перескочить не сто метров, а преследовать противника до самого вечера, потом с вечера до утра. Они не идут напрямик, потому что под ногами то и дело замечают ниточки проводов, которые надо переступить, не зацепившись, чтобы не взлететь в воздух. А «ура» не кричат потому, что «ура» для них не парадное развлечение, а могучее оружие и его, как всякое другое оружие, следует экономить для нужного момента. Сейчас пускать в дело это оружие не было необходимости, потому что противник драпал. Оглушенный ударом артиллерии, он нескоро опомнился. Кое-где стал огрызаться ожившими пулеметами. После грохота канонады поле казалось большим и тихим, как степь в мертвую обеденную пору. Пулеметы трещали в ней, словно степные кузнечики.

Пехотинцы продвигались медленными, методическими волнами. Некоторые даже натянули на себя палатки, потому что сыпал мелкий дождь. И, наверное, именно этой солидной неторопливостью бойцы напоминали девушке землемеров. Шура начинала понимать, что и огромные просторы за ее спиной кажутся ей так бесповоротно, навсегда отвоеванными именно потому, что они взяты не авантурными десантами, не бомбами с визжащими «психическими» сиренами, не декоративными отрядами мотоциклистов, нет! Они пройдены шаг за шагом, основательно измерены ногами пехотинца. Пехота!.. Матушка-пехота!..

И хотя вперед были высланы санитары, а Шуру комбат не пускал туда, пока не будет в этом крайней необходимости, Шура не стоялось тут. Она натянула берет, повесила через плечо санитарную сумку:

— Товарищ комбат, я пошла.

Чумаченко на этот раз не стал ее задерживать.

Ясногорская, тяжело шлепая сапогами по хлюпкой грязи, пошла вперед.

Вася Багиров по опыту знал, что коль уже началось такое наступление, то батальон, рано или поздно, пойдет вперед. Чтоб не отстать от своих огневиков, старшина всегда выступал заранее. Еще не утихла артиллерийская подготовка, а подводы минометчиков, нагруженные боеприпасами, уже выкатывались из фермы в направлении передовой. Хозяин фермы, закопав сапоги и нарядившись в рваные чуваки, стоял у ворот и прощался.

— Хома! — растроганно кричал он Хаецкому, помахивая шляпой. — Ависонтлаташ!¹

¹ До свиданья! (венг.).

С общительным, говорливым Хомой он особенно сблизился. Не раз по вечерам, когда Хаецкий был свободен, они часами просиживали за бутылкой вина, мирно беседуя на том странном, но доходчивом языке, который советские бойцы сами создавали за границей в каждой стране.

Фермер хотел из уст рядового бойца, такого же, как и он, хлебороба, услышать правду о советском государстве, проверить все то, что ему годами вбивала в голову сельскохозяйственная газетка, которую он выписывал.

Хома рассказывал.

В этих беседах один на один с человеком другого мира Хаецкий чувствовал себя совсем иначе, чем в беседах со своими товарищами по оружию. С ними он мог разговаривать о чем угодно и как угодно. Но в беседе с иностранцем он подбирал особенные слова. На какое-то время он чувствовал себя как бы полпредом.

Величие того, что совершается на его родине, отсюда, со стороны, самому Хоме становилось как бы более понятным и видимым. Перед этим мадьяром он чувствовал личную ответственность за все, что делалось и делается в его стране, и, проникаясь гордостью патриота, старался говорить торжественными, большими словами. Дома, в своем колхозе, перед каким-нибудь представителем из района или области Хома первый, размахивая руками, кричал бы о множестве всяких недочетов. Если бы мадьяр услышал его там, он мог бы подумать, что вся жизнь Хома состоит из этих недостатков, трудностей, очередей за мануфактурой в кооперативе, злоупотреблений бригадира или кладовщика. Тут же Хома, почувствовав в самом себе гордость хозяина и защитника нового строя, умел как-то сразу отделить существенное от незначительного, большое от малого. И он рассказывал венгерцу об этом большом с гордостью. Правда ли, что крестьянин, не граф, может в Советском Союзе стать депутатом парламента? Что за вопрос! Конечно, правда. Правда ли, что крестьянские дети могут учиться в институте на государственный счет? А как же! У Хома у самого племянник учится в Киеве.

Фермер хвалит русских коммунистов. Хому он, кажется, тоже считает коммунистом. И только когда речь заходит о колхозах, мадьяр упирается, как вол. Хома бесится, размахивая кулаками.

— Такого закоренелого единоличника, как ты, я давно не видел! — признается Хома. — Хуже бабы! Когда-то наши бабы вот так артели пугались, а теперь, попробуй... водой не разольешь!.. В оккупации пришлось всем селом в лес перебазироваться, к партизанам, — а все равно и там колхозом жили! Разве мыслимо без него... Вот так, как вы здесь, волками?.. Каждый в свой угол смотрит. Ни тебе колхозного клуба, ни тебе собраний! Как вечер — все на запорах, псы спущены, и сам ты, как пес,

не можешь уснуть всю ночь, боишься, прислушиваешься, сторожишь свою бедность. Позабивались в свои хутора, как в норы... Скажи, чи ты ходишь куда-нибудь в гости? Чи есть у тебя кум? По-вашему так: ешь соседа, или он тебя съест!..

Хома наливает белого вина и выпивает залпом. Он и фермера учит пить «по-нашему», единым духом, а не хлебать, как чай.

— А знаешь ли ты, к примеру, — продолжает Хома, — как мы в Трансильвании скалы штурмовали? Думаешь, цеплялись, кто как попало? Ошибаешься, брат... Для этого у нас есть такая штука — альпийский канат... Но это уже военная тайна. Факт тот, что если один сорвется, то все поддержат. А если один взобрался на вершину, так всех тянет за собой... Так-то мы и живем! Но что с тобой говорить: ты человек отсталый и к тому же пьяный... — говорил в конце концов боец и махал рукой. Непокосимое превосходство чувствовалось в этом его движении.

...А сейчас фермер, забыв разногласия, провожал своего бурного оппонента за ворота и желал ему счастливой дороги.

Однако дороги никакой не было.

Для того чтобы выйти на Будапештское шоссе, полк с артиллерией и обозами должен был пересечь около десяти километров трясины. Это не было обычное болото, это было вспаханное поле, но настолько размытое непрерывными осенними дождями, что на нем трудно было достать до твердого грунта. Пехота вышла к шоссе под вечер первого дня наступления и стала продвигаться вдоль него. А транспорт с боеприпасами и артиллерия еще утопали в проклятом разбухшем поле.

Всюду, куда ни глянь, в размытой пашне бились обозы и пушки. Гиканье, нуканье не умолкало над вечеряющей степью. Лошади напрягались из последних сил, барахтались в грязи по самую грудь. Колеса едва поворачивались, выгребая пуды чернозема. Через каждые несколько метров останавливались передохнуть. Более слабые лошади падали с ног и уж не могли подняться: их засасывало на глазах. Из грязи то там, то сям торчали конские уши. Упавших лошадей выпрягали и бросали, заменяя свежими.

Полковые артиллеристы где-то мобилизовали хуторян с волами. Хотя было холодно, хуторяне, жалея сапоги, все же пришли босые, закатав штаны дальше некуда.

Волы были такие, что не достать до рогов. Их впрягали в подводу по три-четыре пары, но и они не могли сдвинуть ее с места. Голоногие мадьяры суетились около скотины, погоняли, кричали, а волы барахтались грудью в болоте и не двигались.

— Бес их знает, что они там гелгочут своим волам! — сердились пушкари. — Может быть, тпрукают... Кугутня!

И люди и животные, вымазанные с головы до ног, стали непохожи на самих себя. А среди подвод ходил тот самый артил-

лерийский техник, который в свое время подвозил Ясногорскую. Он был теперь начбом¹ полка. Когда-то других подвозил, а сейчас сам тащился с седлом на плечах, передавая старшинам приказ «хозяина»: ни одного ящика с боеприпасами не бросать. Кто додумается «растерять» — трибунал.

Багиров кидался во все стороны, отыскивая лучший проезд. Всюду было одинаково. Лишь в одном месте он наскочил на полевую дорожку между виноградниками. По ней, казалось ему, можно было проехать хотя бы километр в нужном направлении. В азарте он погнал коня на дорожку, чтоб разведать ее до конца. Не успел старшина проскакать и десяти метров, как земля под ним взорвалась и лошадь подняло на дыбы.

Острая боль пронизала согнутые в коленях ноги.

«Конец!» — мелькнуло в голове.

Пощупал рукой. Ноги на месте. Мгновенно выбросил их из стремян, потому что лошадь уже падала. Соскочив с седла, Вася сначала не удержался на ногах от страшной боли и упал. Но в ту же секунду поднялся на руках и, словно акробат, перебросил свое тело, высвобождаясь из-под коня. Правая передняя у коня была срезана выше копыта, как бритвой. На счастье Багирова мина была не осколочной.

«Наверное, моя Катерина счастливая», — с нежностью подумал старшина о своей кировоградской молодке.

Лошадь стонала сквозь зубы.

«Если б не твоя нога, друг, поплатился бы я своей, — думал Вася, доставая пистолет. — Конь мой, конь! Если были бы конские протезы, оставил бы я тебя в живых. Сколько раз ты меня спасал! Но что же... Прости!».

И Вася выстрелил коню между ушей.

Багиров не считал это жестокостью. Он давно решил, что если бы ему самому оторвало руки и ноги, он попросил бы кого-нибудь из товарищей его пристрелить. Самолюбивый до крайности, Багиров не согласился бы стать кому-либо в тягость. Он считал, что жить стоит только полной, стосильной жизнью, приятной, как песня, себе и другим.

Сняв седло с убитого коня, старшина вернулся к своим.

— Что с вами, старшина?! — воскликнул Хаецкий, всматриваясь в Багирова. — Так это под вами трахнуло? Вы весь в саже, как ведьма из трубы!

— Отмоюсь... в Дунае, — ответил Вася, бросая седло на подводу. — Что ж делать!..

И, вытираясь, старшина изложил ездовым свой новый план. Планы, иногда почти фантастические, рождались у него в голове один за другим. И чем сложнее были обстоятельства, тем больше было планов. Новый заключался вот в чем.

Одновременно пробиться всем подводам невозможно, это

¹ Начальник боепитания.

видно по всему. На хуторских волов напрасная надежда: с наступлением темноты голоногие погонщики разбежались кто куда, пушкарки выпрягли круторогих «му-два». Но даже без подвод они не могли сойти с места. Значит, одна надежда — только на себя и на своих коней. Иван Антонович уже, наверное, ждался их с «огурцами». Багиров предлагает от всех шести подвод отобрать самых крепких коней, запрячь в одну подводу и тянуть ее к шоссе. Потом таким же образом взять другую, третью, пока не будут вытянуты все.

Этот простой способ дал неожиданные результаты. К полуночи первая подвода была на Будапештском шоссе. Это уже много значило: на подводе десять ящиков, сотни мин.

Метод Багирова вскоре подхватили все.

Начинается целесообразная мысль, живая инициатива не распространяется с такой молниеносной быстротой, как на фронте. Сколько таких мелких зерен, брошенных в боевом западе безыменными тружениками армии, давали в самый короткий срок буйные всходы. Могучая, вечно действующая сила — разум народа! Это было сильнейшее оружие, каким владела Советская Армия и какого не хватало противнику. Не тысячи, а миллионы таких малозаметных, рядовых усилий разума, направленных и объединенных одной идеей, ковали Победу.

Все больше и больше подвод и орудий, перепавших в темноте размытое поле, выезжало на шоссе. Как ни странно, а армейские лошади тянули лучше, чем фермерские круторогие вола. Может быть, потому, что лошади, понимая язык бойцов, напрягались и отдыхали по единой команде.

На рассвете Будапештское шоссе было запружено орудиями и транспортом с боеприпасами. Ни одна подвода не шла навстречу, на восток. Все гремело, спешило, рвалось к Дунаю.

Х

В конце ноября тысяча девятьсот сорок четвертого года войска Третьего Украинского фронта форсировали Дунай на юге Венгрии, у границ Югославии. Создав первый задунайский плацдарм и захватив важные города Мохач, Печ, Батажек, войска фронта повели наступление на запад, между озером Балатон и рекой Дравой, и на север, между Балатоном и Дунаем.

— Из всех наших фронтов мы теперь самые западные, — гордились третьеукраинцы. — Перевалили за девятнадцатый меридиан.

За несколько дней общего наступления на север, вдоль правого, западного, берега Дуная, советские войска очутились в полусотне километров от Буды.

В столице началась паника. Заводчики и коммерсанты удирали на запад. Вверх по Дунаю поспешно отплывали корабли.

груженные добром. Плыли против течения по темному тяжело-му Дунаю, как по тучам.

Одновременно гитлеровское командование снимало новые свои дивизии из Италии и с Западного фронта и бросало на Дунай.

В эти дни на врага свалился еще один оглушительный удар. На северных подступах к Будапешту войска Второго Украинского фронта также перешли в наступление, прорвали оборону и надвигались на столицу. Советские танки, пробиваясь горно-лесистым бездорожьем севернее Будапешта, достигли Дуная. Тем временем ниже по Дунаю, южнее Будапешта, саперы в одну ночь навели переправу. Части, перескочив на западный берег, соединились в районе озера Веленце с «задунайцами», наступавшими с юга.

Полк Самиева все эти дни вел бои вдоль одной из шоссе-ных магистралей, которая шла к столице с северо-востока.

Оправившись после первых ударов в дни прорыва, враг усиливал отпор. То на одном, то на другом участке он, при поддержке «королевских тигров», переходил в контратаки. Против этих «тигров» с нашей стороны была выдвинута не только специальная противотанковая артиллерия, но и артиллерия тяжелых систем. Можно было видеть в степи танковые башни, отброшенные взрывом далеко в сторону от «тигра». Приходилось штурмовать каждую ферму, каждый городок, продвигаясь вперед километр за километром.

В населенных пунктах встречалось все больше беженцев из Будапешта.

Как-то во двор, где остановился Багиров со своими бойцами, зашел высокий старик с элегантной тросточкой в руке, в широком кофейного цвета макинтоше. Здороваясь, он уважительно, но без подобострастия, поднял фетровую шляпу, открывая седую львиную шевелюру, зачесанную на одну сторону, как у русских художников прошлого столетия. Смуглое с орлиным носом лицо иностранца еще сохраняло следы былой красоты. Прибывший говорил по-русски.

— Прошу, панове, у вас есть кухня? — спросил он.

— У нас все есть, — отвечали бойцы. — А тебе что?

— Я хочу вам рубать... огонь. Извините, дрова, — предложил старик свои услуги.

Повар Гриша с недоверием посмотрел на его белые руки, на холеное лицо интеллигента с мешками под глазами.

— Погрейся, — сказал Гриша. — Разомнись физкультурой.

Заинтересованные ездовые пришли посмотреть, как «капиталист» будет колоть дрова. Они не сомневались, что перед ними капиталист, хозяин какого-нибудь разбомбленного предприятия. Венгерец положил свою палочку, пригладил бородку и, стараясь скрыть замешательство, бодро взялся за топор. Уже по тому,

как он его держал, было видно, что этот дровосек не много на-рубит. А Гриша нарочно подложил ему толстую колоду.

Венгерец подходил к ней со всех сторон, хищно нацеливался и тюкал. Колода только перекатывалась с места на место. Бойцы улыбались. Незадачливый дровосек быстро вспотел. Хаецкий не мог больше спокойно смотреть на это самоистязание. Он бросил кнут, плюнул на руки.

— Эх, ты... легковесная Европа! Дай-ка я тюкну.

Венгерец, смущенно улыбаясь, отдал топор.

— Гех! — выдохнул Хома, размахнувшись с плеча. Топор впился в дерево. — Гех! — выдохнул боец, размахнувшись еще раз.

Колода треснула, как тыква. За одну минуту Хома расщепил ее на мелкие куски. Венгерец зачарованно смотрел на работу бойца.

— У вас русские руки, — восторженно сказал он. — У вас золотые руки!

Хаецкий, польщенный такой похвалой, взглянул на свои шершавые, покрытые мозолями ладони. Золотые.. Русские...

— Ты кто? — спросили венгерца. — Капиталист?

Старик засмеялся.

— Я артист, — ответил он. — Живописец.

— А с чего это тебе вздумалось дрова колоть?

Старик смутился.

— Что вы спрашиваете? — вступился за него Хома. — Разве не видите, что он припухает? Гам-гам нечего!

— Гам-гам? — спросил повар. — Говори прямо.

— Да... Я из Будапешта.

Бойцы знали, что беженцы голодают.

— Пойдем... Заправисься.

Артиста повели к кухне. «Заправляясь», старик рассказывал о себе. Звали его Ференц. Он был одним из многочисленных жителей венгерской столицы, которые, спасаясь от террора са-лашистских банд, тысячами оставляли родной город и бежали в провинцию.

В первую мировую войну Ференц три года пробыл в русском плену, в Юзовке.

— Была Юзовка, — поправил старика Гриша. — А теперь Сталино!

Гриша сам был родом из Сталино.

— Ваш народ благороден и великодушен, — говорил художник, вытирая платочком усы после еды.

Он рассказал, как однажды ему пришлось ехать в теплушке вместе с говорливыми украинскими крестьянками. Сжалившись над оборванным солдатиком, они дали ему большую краюху хлеба, хотя тогда в Донбассе с хлебом было туго. Прошло почти четверть века, а старик никак не мог забыть ту краюху.

— Может быть, то моя мама была, — задумчиво сказал повар. — Она жалостливая... всем бы помогала...

— Ваши всегда помогали другим народам, — продолжал Ференц. — Вот теперь ваши армии проливают кровь на полях нашей Унгарии. Кто скажет, что это кровь эгоистов? В Будапеште радио ежедневно распиналось: «С востока надвигаются азиатские варвары! Спасайтесь, венгры!» Тогда я сказал: «Я знаю, какие это «варвары». Я жил среди них три года, как среди братьев... Не от них нам надо спастись».

Художнику пришлось прятаться от преследования в разных районах города, в бункерах и подземельях. Ему помогли многочисленные знакомые. Где-то в Будапеште осталась с маленьким внуком его дочь, муж которой погиб в Испании, в Интернациональной бригаде.

— Все честные люди в Унгарии, — говорил Ференц, — ждут вашу армию. Я мадьяр, я патриот, — верьте моему сердцу.

Художник рассказывал бойцам о жизни в Будапеште, о Салаши, которого считал своим личным врагом.

— Бандит, уголовник, немецкий наймит! — и Ференц, к великому удовольствию бойцов, выругался крепкой русской бранью.

Ему было известно, что Салаши, главарь «Скрещенных стрел», еще во время регентства Хорти Миклоша неоднократно попадал в тюрьму, а однажды некоторое время сидел в сумасшедшем доме.

— Странно, что фашизм выносит на поверхность именно таких дегенератов, — размышлял художник. — Дегенерат Гитлер, морфинист Геринг, тупой разбойник Салаши... Наверное, сама по себе гнилая атмосфера фашизма плодит таких микробов. Но настоящая демократия, как солнце, убьет их!

Ференц, повеселев, рассказал бойцам известный всему Будапешту казус — как Салаши выступал по радио. «Румыния продала нас и всю Европу! — кричал Салаши. — Она капитулировала перед войсками Сталина! Мадьяры, берите пример с каменной Финляндии!»

А на другой день капитулировала и «каменная Финляндия». Гитлеровцы после этого случая не подпускали своего лакея к микрофону.

Захватив власть, Салаши и его подручные устроили в Будапеште, в королевском дворце, комедию присяги короне святого Стефана. Ход церемонии транслировался по радио. Вдруг, когда салашистский диктор сделал паузу, в эфире прозвучал чей-то грозный голос: «Мадьяры! Вспомните, как Салаши в июне тысяча девятьсот тридцать восьмого года стоял перед судом!»

— Этот голос неизвестного патриота был голосом самой правды, — говорил Ференц. — Я надеюсь, что этот пройдоха Салаши предстанет перед судом нашего народа.

— Только теперь его нужно лучше судить, — заметил Хома

с апломбом опытного юриста. — Что это за суд, если живым выпустили!

Художник понравился бойцам.

Постепенно он свыкся с ними, прикатил откуда-то детскую коляску с разными вещами: рулонами холста, красками, бумагой. Другого имущества у Ференца не было.

На досуге он показывал бойцам свои альбомы с этюдами Будапешта. Это были зарисовки руин — разбитые фронтоны, арки, детали храмов, набережные. Под одним рисунком стояла подпись по-венгерски.

— «Разгневанный Дунай», — с горечью перевел художник. — Это мои обвинения. В новой, демократической Венгрии я предъявлю эти этюды судьям. Салаши сам взрывает мосты.

Ференц старался во всем помочь бойцам. Он не хотел даром есть хлеб. Но он был совсем непрактичен, и Гриша немало намучился с ним, пока не научил чистить картофель и молоть мясо для котлет. Однако бойцы с присущим только нашим людям добродушием ценили уже одно стремление Ференца честно трудиться, помогать им. Они не обижали старика, и, когда садились есть, каждый приглашал Ференца к своему котелку. То, что он без конца хвалил свою Унгарию, с которой они воевали, вовсе не обижало бойцов.

— Мы уважаем патриотизм всякой нации, — говорил Багиров, помахивая короткой плеткой, — потому что мы сами патриоты.

Чаще всего Ференц подсаживался к котелку Хаецкого. Хома, который умел над каждым посмеяться, в то же время вызывал общую симпатию своим чувством коллективизма, которое, казалось, было у него в крови.

Как-то Хома изъявил желание, чтобы Ференц нарисовал его «на память потомкам». Художник согласился и за несколько минут увековечил Хому на листе картона. Позируя, полнощекий, с глазами навывкате, Хома надувался еще больше, чтобы выглядеть более воинственным. Он пожелал, чтобы его нарисовали с конем, и, держа своего мерина за повод, время от времени тыкал его в зубы, чтоб и конь вышел бравым, с поднятой головой. Левую руку Хома положил на рукоятку трофейного штыка, висевшего у него на боку. Усы вверх, шапка чортом, набекрень.

— Рисуя так, чтоб на Котовского был похож, — заказывал Хома. — Шею у коня — дугой!

Хома надувался и делал страшные глаза. Но Ференц придал его лицу простодушное выражение беззлобной, веселой, озорной лукавости Кола Брюньона. Несмотря на такое своеволие художника, Хома, посмотрев на свой портрет, остался доволен.

— Похож! — сказал он. — И конь как живой. У тебя, Ференц, добрые руки. — Хома художнику «тыкал». Он вообще почему-то всем иностранцам говорил «ты». — Прямо скажу, Фе-

ренц, что у тебя... серебряные руки. Кесенем сейпен! — поблагодарил он его по-венгерски.

Ференц, улыбаясь, мельком взглянул на свои белые, как будто и в самом деле серебряные руки.

XI

Противник поспешно отходил к Будапешту, минируя за собой шоссе.

Минометчики двигались полем с трубами и лафетами на плечах, не укладывая их на вьюки. Знали, что очень скоро останутся на новом рубеже, отбивая контратаку. Всю ночь пехота вела бой за населенный пункт, маячивший впереди фабричными трубами. Пехотинцы, раненные ночью, брели навстречу и говорили, что это видны уже трубы северо-западных окраин Пешта.

Утро было серое, пасмурное. Падал холодный, острый дождь. Земля покрывалась ледяной коркой. Обледеневшая озимь хрустела под ногами, как зеленое стекло. Палатки тарахтели на бойцах при каждом движении.

Рядом с минометчиками полковые артиллеристы тянули пушки на конной тяге. Всадники, озорую, кричали с седел, что им уже виден голубой Дунай. Молодой лейтенант с батареи Саша Сиверцев догнал Черныша. Они вместе лежали в госпитале, вместе вернулись в полк.

— Ты, Женя, сияешь на все поле, как в броне, — сказал Сиверцев, притронувшись к обмерзлой блестящей кожанке Черныша. — Где достал?

— Выменял у Григоряна на шинель. Прогодал?

— Смотря по тому, как ты себя ночью чувствуешь... Зубами клацаешь?

— Что ты! Даже жарко.

— То-то я вижу: ты весь горишь, весь цветешь. Тут что-то не то, Женя...

Женя ударил товарища по спине, может быть потому, что Сиверцев угадал.

Последние дни Черныш действительно был в радужном настроении. Он не знал, откуда это идет, а может быть, не хотел сам себе признаться.

Вчера вечером на КП¹ он опять разговаривал с Ясногорской. Черныш рассказывал о том, как в госпитале он приволил в порядок записи Брянского, перед тем как послать их в наркомат.

— Сколько там мыслей, и каких богатых мыслей! — вырвалось у него.

— Вы думаете, что когда-нибудь опять будет война? — спросила, хмурясь, Ясногорская.

¹ Командный пункт.

— Я этого не хотел бы. Но наш опыт, добытый кровью, стоит сберечь. Это не помешает.

Шура вздохнула.

— Женя, — сказала она после долгой паузы, — вы... вы — хороший друг.

Возвращаясь на огневую, он слышал, как звенят эти слова в темноте осенней ночи. Будто стало рассветать, быстро, как весной. И весь румяный утренний свет зазвенел над степью, как струна. Сверкнула белая птица-крячок, вынырнув из высокого ясного моря, и понеслась куда-то.

Нет, он ни в чем не хотел признаться даже самому себе. Это было бы слишком.

— О чем ты задумался, Женя? — спросил Сиверцев.

— Так, о Дунае... Какой он весной... Маковейчик, какой он, по-твоему, весной? — обратился лейтенант к своему телефонисту, шагавшему впереди с катушкой на спине.

Боец обернулся, радостный, раскрасневшийся, исхлестанный дождем. Брови у него обмерзли.

— А он такой, как Днепр, товарищ гвардии лейтенант...

— Да, ведь ты днепровец!..

— Не совсем, товарищ гвардии лейтенант... Мы от Днепра двадцать километров. У нас в степи совсем никакой речки нету. И село называется Сухонькое. Была, говорят, когда-то речка Восьмачка, так выпила ее баба Приймачка, была у нас такая бабуся... А как-то раз мама взяла в колхозе коней, и мы поехали на зеленые праздники в Переволошино, к тетке в гости. Знаете Переволошино, где Меншиков Мазепу и шведов потопил?

— Знаю, — рассмеялся Черныш.

— Так вот, едем мы, степь, солнце палит, пыль за нами! И вижу перед собой далеко — бело-бело, а еще дальше — синё-синё, как будто льны цветут у самого края земли. «Мама, — спрашиваю, — то льны цветут?» А мама смеются: «То, — говорят, — Днепр». — «А почему он такой синий?» — «От неба», — говорят.

— Так ты думаешь, что и Дунай такой?

— А почему ж... Летом, может быть, и такой... От неба. Небо везде синее.

— А сейчас он — как сталь, — вмешивается Саша Сиверцев. — Как Нева. (Сиверцев был родом из Ленинграда). Знаешь, реки, как и люди, меняют настроение. Ясно — голубеют, пасмурно — темнеют...

Из-за кирпичных строений поселка вынырнула в поле подвода, запряженная тяжелыми венгерскими битюгами. Когда она подъехала ближе, минометчики обступили ее. Черныш издали узнал Шовкуна, сидевшего на подводе с автоматом за плечами. В руках он держал туго натянутые вожжи. Усы у него обмерзли, а лицо было сердитое. Иван Антонович, остановив подводу,

склонился над ней. Подойдя, Черныш вздрогнул: под откинутой плащ-палаткой лежали рядом Сперанский и Ясногорская. Капитан смотрел куда-то в сторону дикими, бессознательными глазами и едва слышно стонал. Ясногорская, белая как мрамор, была без берета. Ее коса сползла и покрылась седым инеем.

— Женья!.. — прошептала Ясногорская бескровными губами, увидев Черныша. — Женья...

И умолкла, глядя на него с пристальной ласковостью, как будто, прощаясь, хотела о чем-то предупредить.

— Погоняй, да берегись мин, — сказал Иван Антонович Шовкуну, и тот двинулся.

Иван Антонович, взявши за угол обледеневшую плащ-палатку, накрыл адъютанта и Ясногорскую, словно крышкой.

Черныш шел мрачный, как ночь. Хрустел сапогами по ледяной корке. Что она хотела ему сказать? Почему не сказала?

— Вылечатся, вернутся в полк, — глухо говорил Саша Сиверцев, шагая рядом, а Чернышу казалось, что голос доносится издали. — Ведь мы вернулись...

Черныш молчал, изредка оглядываясь на ходу. Подвода скрылась в овраге. Вдоль шоссе, извиваясь, до самого горизонта бежали обледеневшие телеграфные столбы. Противник не успевал их спиливать. Далеко на левом фланге двигались по полю седые танки, покачиваясь как корабли. Рассыпавшись по всему полю, брели подразделения пехоты, и бойцы, подавшись вперед против ветра, напоминали собой серых степных орлов.

Позже Черныш узнал от комбата, как все произошло.

Ночью капитан Сперанский, обходя боевые порядки, напоролся на мину. Ясногорская в это время находилась поблизости, в одной из стрелковых рот. Услышав взрыв, а затем и крик раненого, она бросилась на помощь. Казалось странным, что и она не подорвалась. У Сперанского были изранены ноги. Шура тут же на месте принялась за перевязку. Противник, засевший неподалеку в каменных домах на окраине, открыл пулеметный огонь, целясь в темноте туда, откуда слышались стоны раненого. Ясногорская взвалила капитана на спину и поползла. Вскоре ее ранило в руку, выше локтя. Рука подломилась. Сперанский, очевидно, догадался, что случилось, и приказал Шуре оставить его и ползти одной. Ясногорская отказалась. Сперанский, сдерживая стон и грубо ругаясь, достал пистолет:

— Ползи... Приказываю... Убью...

Шура молча пыталась тянуть его одной рукой. Так их и застали пехотинцы, посланные навстречу командиром стрелковой роты. Один взвалил капитана на спину, другой поднял Ясногорскую на руки, как ребенка, и бросился с ней в окопы. Уже перед самым окопом ее ранило вторично двумя пулями: в бедро и в правую руку.

Шовкун раздобыл подводу и положил обоих раненых.

Лежа рядом, они не обмолвились ни словом о прошлом, хо-

тя Сперанский подозревал, что именно Шура пожаловалась на него Воронцову.

Но все это было таким далеким, таким мелким! Теперь им было совсем не до того.

XII

Двадцать пятого декабря тысяча девятьсот сорок четвертого года на северо-западе от Будапешта советские войска взяли город Эстергом. В этом районе войска Третьего Украинского фронта, обойдя венгерскую столицу за Дунаем с запада, сомкнулись с войсками Второго Украинского, шедшими им навстречу.

Будапешт был окружен.

Днем позже огромный котел был рассечен надвое. Одну часть вражеской группировки наши войска загнали в придунайские горы и леса, на север от столицы, и постепенно уничтожили. Другую, основную, зажали в самом Будапеште. Уже двадцать седьмого декабря завязались бои на окраинах города, начался тот славный будапештский штурм, который продолжался около двух месяцев.

Немецкое командование придавало огромное значение обороне Будапешта. Расположенный на узле железных дорог и шоссейных магистралей, Будапешт стратегически представлял своеобразные ворота в Австрию, Чехословакию, в южные провинции собственно Германии, которые до последнего времени у немцев считались глубоким тылом. Падение венгерской столицы неминуемо должно было выбить у Гитлера последнего и самого закоренелого сателлита. Пошатнулся бы весь южный фланг немецкого фронта, который все еще нависал над Балканами.

Поэтому неудивительно, что немецко-фашистское командование стягивало под Будапешт многочисленные войска, перебрасывало сюда лучшие свои резервы. Немецкие генералы грозили дать Советской Армии под стенами Будапешта неслыханный реванш за Сталинград. Бойцы говорили, что кто-то где-то уже читал фашистские, как всегда безграмотные, шутовские листовки, в которых фюрер хвалился: «Берлин сдам, а Третий Украинский в Дунае выкупаю».

И вот теперь этот колоссальный город в двести квадратных километров территории, начиненный войсками и техникой с действующими заводами, которые еще выпускали танки и снаряды, оказался зажатым в железные тиски.

Разгорался девятый сталинский удар.

Всю ночь с двадцать восьмого на двадцать девятое декабря и утром двадцать девятого декабря армейские мощные звуковые станции с переднего края непрерывно передавали окруженным войскам сообщение советского командования.

Дикторы сообщали, что двадцать девятого декабря в одиннадцать часов по московскому времени в расположение противника придут советские парламентарии, для того чтобы вручить окруженным ультиматум. Чтобы сберечь Будапешт, спасти от гибели его исторические ценности, памятники культуры и искусства, чтобы избежать многочисленных жертв среди мирного населения, советское командование предлагало окруженным гуманные условия капитуляции.

Двадцать девятого, точно в одиннадцать часов, в направлении Кишпешта¹, выехала легковая машина. На ней развевался большой белый флаг. В машине ехал офицер-парламентер с текстом ультиматума, подписанного командующими обоих Украинских фронтов. Всюду вдоль шоссе, по которому проезжала машина парламентария, наступала тишина. Наши бойцы заранее получили приказ прекратить огонь в этом районе. Гитлеровцам также был хорошо известен маршрут следования нашего парламентария. Белый флаг над машиной был далеко виден. И все же когда машина въехала в расположение вражеских передовых позиций, из всех окон и чердаков по стеклам кабины ударили пулеметы.

Парламентер был убит.

В тот же час на другой берег Дуная, в Буду, был направлен второй парламентер с переводчиком. Тут события развернулись иначе. Фашисты пропустили парламентария через передний край и направили в свой штаб. В штабе командование заявило парламентарю, что оно отказывается принять ультиматум. Офицера вежливо отпустили. Выходя из штаба, он не знал, что по проводам на передний край, обгоняя его, уже летят приказы тех, с которыми он только что разговаривал. И когда он возвращался в нашу зону, гитлеровцы открыли огонь ему в спину. Этот парламентер был также убит. Переводчик каким-то чудом проскочил и добрался к своим.

Так могли поступить только гитлеровцы. Разбоем они начинали, разбоем и заканчивали. С давних времен во всех войнах парламентарии пользовались правом неприкосновенности. А сейчас они истекали кровью на правом и на левом берегах Дуная, в предместьях европейской столицы. Упали на мокрую мостовую иссеченные белые флаги, которые должны были даровать жизнь тысячам людей, спасти от разрушения огромный город. Теперь оставалось одно: караты!

Подлое убийство парламентариев вызвало волну гнева и возмущения среди наших войск. Очевидцы их смерти, бойцы передовой линии, сурово смотрели из-под ушанок на чужой огромный город. Сердито набивали диски, заряжали тяжелые гранаты. Пушки с грохотом вкатывали на руках орудия в подвалы,

¹ Предместье Будапешта.

во дворы, за углы домов. Поднялись тысячи жерл, ожидая команды.

— Держись, проклятый гад! — говорили бойцы. — Пощады теперь не жди!

Убийство парламентаров было провокационным вызовом. Армия вандалов, загнанная в безысходность, осталась и тут верной себе. Она не дорожила ничем. Что ей было до этого города, до его жителей? Обреченная сама на гибель, она все хотела потянуть за собой в пропасть. Она бросила вызов...

И тысячи советских орудий ответили на него. Как живые, задрожали серые кварталы. Загудел, раскаляясь, влажный воздух. Будапешт, выбрасывая гигантские языки пламени, окутался едким дымом на пятьдесят дней и ночей.

XIII

Завязались бои в кварталах.

С тех пор как начались городские бои, в минометной роте Брянского произошло немало перемен. Теперь она уже не делилась на «тыл» и огневую.

В городских условиях исчезла необходимость в таком разделении. Сейчас все снабжение происходило непосредственно из полка. Вообще весь гибкий армейский организм здесь сжался, стал тугим, как мускул. Штабы и тыловые базы, которые в полевых условиях, согласно уставам, размещались в определенном отдалении от фронта, сейчас получили возможность базироваться у самого переднего края, в соседних кварталах.

Командир роты Кармазин, собрав всю роту вместе, превратил и ездových в огневигов. Старшина Багиров временно исполнял обязанности командира взвода, а тайком мечтал о том, что ему дадут штурмовую группу. Собственно, у минометчиков такие штурмовые группы были уже подготовлены, — в свободные часы сам Багиров обучал их уличному бою по сталинградским правилам. В тылах остался один Гриша, который заменял на батальонной кухне контуженного повара.

Черныш, как и раньше, занимался преимущественно корректированием. Даже придирчивый Иван Антонович давал его работе положительную оценку. А это многого стоило!

...Черныш стоял на чердаке высокого дома и вел наблюдение через слуховое окно. Объектом его наблюдений было городское кладбище. Оно лежало за квартал впереди, окруженное каменной стеной. Напротив стены, по эту сторону улицы, в развалинах кирпичных строений, засели стрелковые подразделения батальона.

Перед Чернышом открывалась панорама большого города.

После многонедельных дождей и туманов впервые распогодилось, и в ясном воздухе над Будапештом с утра и до ночи висела наша авиация. Окруженный город еще дымился сотнями

заводских труб, вздетых ввысь, как жерла крепостных орудий. На заводах до сих пор производились танки, бронемашины, тысячи снарядов для окруженных войск. Советские летчики то в одном, то в другом районе города сбрасывали бомбы на военные цехи. Грохот стоял такой, что казалось, лопается земная кора до самых глубин. Языки неярких дневных пожаров выбивались то там, то здесь над пестрыми пропастями многочисленных кварталов.

Небо, не мрачное и не голубое, было затянуто каким-то высоким белым покровом, и серебристое холодное солнце лилось сквозь него, словно сквозь грандиозный матово-белый абажур. Под молочными лучами тускло, как броневые плиты, поблескивали крыши домов. На них, отбрасывая косые тени, торчали шеренги дымоходов, как будто поднятые в атаку солдаты: встали, посмотрели вперед, в пропасти глубоких улиц, и замерли на месте.

Над кварталами, как гигантские «фауст-патроны», высились водонапорные башни. И до самого горизонта, сколько хватал глаз, — каменные ярусы кварталов, башни, шпили, купола храмов, заводские трубы, и снова каменные застывшие каскады на том берегу Дуная.

Горячий гул опоясывает каменный необозримый лагерь, канонада не смолкает ни на минуту, грохоча методично, как огромные камнедробильные тараны, заведенные раз и навсегда. Над ближними кварталами — запах тола, пушистая сажа.

Внимание Черныша приковано к кладбищу. Зажав в зубах давно погасшую цыгарку, он припал к узкому окну. Он обыскивает взглядом тот прямоугольник, который лоснится мраморными плитами и надмогильными столбиками, белеет крылатыми серафимами. Лейтенант знает, что за каждым благодушным серафимом притаился автоматчик. Черныш ищет вражеские пулеметы. Командир стрелковой роты с самого утра чертыхается по телефону: пулеметы противника связывают ему руки. Чернышу удалось подавить несколько огневых точек, но на их месте ожидают другие.

В правом углу кладбища стоит, словно старушка, круглая часоуенка. Взгляд лейтенанта поймал под ее крышей едва заметную вспышку. Быстро вычислив данные, Черныш крикнул Маковейчику:

— Передай!

Маковейчик прижался под балкой, согнувшись над аппаратом. Он выкрикивает цифры в трубку.

Лейтенант, нервничая, следит за тем, как мины рвутся вокруг часоуенки. Наконец одна — в крышу.

— На! — выдавливают сквозь зубы Черныш.

Часоуенка дымится.

На этом же чердаке, возле другого окна, стоит лейтенант Сиверцев, высокий, курчавый блондин с золотистыми бакенбар-

дами. Он ведет наблюдение за другим сектором, собирая данные для своей батареи. Иногда он кричит Чернышу:

— Женя! Какая видимость в твой телескоп?

— Много нечисти вижу.

— Пропеки, прожги...

— Жгу.

В этот момент крыша рассекается огнем, словно в нее ударяет молния. Саша Сиверцев падает, закрывая голову руками, как будто только ее и бережет. Тяжелая мина взрывается на балке, озарив весь чердак. В туче дыма и пыли просвистели осколки. Саша поднимается, протирает глаза. Они у него живые, подвижные, схватывают все сразу. Бакенбарды стали серыми от пыли.

— Женя, ты живой? — кричит Сиверцев.

— Кажется.

Они встают и, снимая с себя паутины, идут навстречу друг другу.

— Неужели нащупал? Как ты думаешь, Женя! Выкурит нас из этой мансарды?

— Ты куда бьешь? — спрашивает Черныш.

— По семнадцатому объекту. Уже горит...

Закурили, присели.

Сиверцев в свое время много рассказывал Чернышу о Ленинграде, о трагедии блокады. Перед войной он закончил среднюю школу и мечтал о художественном институте. Саша знал не только Ленинград, но и Пушкино, Гатчину, Петергоф, как свой дом. Все дворцы, памятники, аллеи, статуи... О них он подробно говорил с Чернышом, даже советовался, как лучше будет реставрировать тот или иной дворец. В азарте он забыл, что Черныш не ленинградец и знает не все, о чем идет речь.

— Как, ты не знаешь статуи Самсона? — искренне удивлялся Сиверцев. — Женя, ты шутишь!..

Он всех считал ленинградцами. Иногда начинал:

— Да, ты знаешь, Женя, Эрмитаж восстановили.

Саша хорошо знал, что это не так, и все же, почти подсознательно, пылким своим воображением он уже заравнивал воронки на ленинградских площадях, реставрировал Эрмитаж, вводил в порт пароходы. У него все становилось на свои места. Черныш, слушая трогательную неправду своего друга, поддакивал и невесело усмеялся.

Теперь, когда они сидели, покуривая, под будапештской крышей, Черныш подумал, что его другу-ленинградцу, наверное, хочется здесь все стереть с лица земли. Сиверцев с такой гордостью сообщил, что его семнадцатый объект уже горит!

— Скажи, Саша, тебе иногда хочется за все, за все... За Петергоф... За ленинградские развалины... За погибших друзей...

Понимаешь? Сделать и тут так, — Черныш кивнул в сторону окна. — Чтобы все дотла... чтоб распахать плугами. Скажи...

Сиверцев задумался. Его мальчишеское лицо сразу повзрело.

— Нет, — ответил он вздохнув. — Нет, Жспя. Разве Эрми-таж был разбомблен будапештским музеем? Разве я не знаю, кто это делал?

— А мне иногда хочется.

— Не дури, Женя. Разве я тебя не знаю! Кстати, тебе показывал Ференц фотографии дунайских мостов? Красота!

— Взорвали салашисты.

— Что ты? — ужаснулся Сиверцев. — Кто сказал?

— Были вчера перебежчики.

Сиверцев помолчал.

— Цепной мост, — стал припоминать он.

— Нету.

— Эржебет-хид¹...

— Нету.

— Ференц-Йозеф-хид...

— Нету.

— Проклятые, проклятые! — неожиданно крикнул Сиверцев. — От Пушкино до Дуная! Всюду рвут, все уничтожают! — Его охватила ненависть, как будто он говорил о собственном уничтоженном добре. — А послушать их — только и слышно: цивилизация, цивилизация.

— Они ведь краснобан, — Черныш грубо выругался. — Мастера на крокодиловы слезы.

В этот момент Маковейчик, подслушав разговор на КП, закричал:

— Самоходки!

— Где? Чьи? — Офицеры вскочили.

— Наши. Будут таранить стену.

Штурмовым группам никак не удавалось ворваться на кладбище. Несколько раз они пытались перескочить через стену, но неудачно. Свалились на тротуар первые атакующие. По требованию комбата поддерживающий артиллерийский полк выслал два самоходных орудия. Они вышли на передний край и с расстояния в несколько десятков метров прямой наводкой ударили в стену.

Снаряды прогудели у самой земли. Пушки били раз за разом по одному и тому же месту. Стена окуталась тучей каменной пыли. Сквозь нее засветились пробоины. Один за другим штурмовики ринулись в них и рассыпались по кладбищу.

Черныш переносил огонь все глубже и глубже, кладя мины впереди штурмовиков. словно вымащивал бойцам горячую мостовую, выкладывал ее огненным щебнем.

¹ Мост Елизаветы.

Вечерело, и пожары над городом, малозаметные днем, теперь как бы разбухали и наливались кровью. Их стало неожиданно много.

XIV

За домом, с крыши которого Черныш вел свои наблюдения, стоял другой такой же высокий дом. Время от времени из его окон вырывалось хвостатое упругое пламя: били минометы.

Вначале Иван Антонович хотел поставить «свои самовары» на земле. Для этого нужно было срубить несколько каштанов во дворе, — они мешали стрелять.

Хаецкий уже спустился в подвал дома, чтобы достать пилу или топор. Ференца он взял с собой в качестве переводчика. Старый художник, как и многие другие беженцы, двигался вслед за фронтом до самого Будапешта. Зная уже немало людей из полка — старшин, писарей, политработников, Ференц на новом месте всегда отыскивал «хозяйство» Ивана Антоновича. Около минометчиков он никогда не оставался голодным. Зато Кармазин и комбат Чумаченко и даже бойцы при случае пользовались им как переводчиком. Художник гордился этим и называл себя «партизаном».

Хома Хаецкий, хотя и хвалился тем, что уже хорошо «шпрехает» по-венгерски, однако, спускаясь в бункер, на всякий случай взял с собой и Ференца.

В бункере было полно детей, женщин, стариков. Они выглядывали отовсюду: из груды каких-то лохмотьев, из-за пуховиков, поднимались на нарах, настеленных в три ряда.

— Как в вагоне, — заметил Хома, осматривая бункер хозяйским глазом.

Узнав от Ференца о том, что русский ищет пилу или топор, венгры всполошились. Они до смерти были запуганы пропагандой о «зверствах русских». Увидев усатого черного Хому со штыком на боку и автоматом за спиной, они решили, что зверства сейчас начнутся. Дети бросились к материнским подолам и заревели на все голоса. Они думали, что усач со звездой на лбу начнет их сейчас пилить или рубить топором.

— Что за шум? Чего это они там шпрехают по-дойчому? — сурово спросил Хома у переводчика. Когда дело становилось серьезным, Хома всегда обращался к своему приятелю строго и никакого панибратства не допускал. — За кого они меня принимают?

Ференц объяснил.

— Спокойно! — поднял руку боец. — Передай, что я ни рубить, ни пилить их не буду. Передай, что пила нужна мне для каштанов, потому что они нам мешают. А молодички пусть тоже не пугаются, бо я на грех не пойду.

Неизвестно, как перевел Ференц, только после его слов жи-

тели бункера ободрились. Молодицы перестали прятаться в платки. Некоторые, посмелее, стали просить «пана капитана», чтобы он не рубил каштанов, — это пролетарский квартал, и дети рабочих летом не видят никакой зелени, кроме каштанов. Пусть «пан капитан» сжалится над ними...

Хома, забыв о европейском этикете, задумчиво почесал затылок и, взяв в руки два топора, заявил, что сам этого решить не может, что у него есть командир постарше. Хома так и сказал, считая себя перед мадьярами также командиром. К тому же они его величали «паном капитаном». Хома не растерялся от того, что они его так называли, словно не замечал ошибки. Если бы кто-нибудь из наших назвал его офицером, то Хома, безусловно, сразу внес бы соответствующую ясность. Но перед иностранцами он чувствовал свое превосходство и не удивлялся тому, что в их глазах он из рядового бойца превращается в «пана капитана». На шапке у него светилась вырезанная из белой жести большая звезда. Он нарочно сделал ее большой, чтобы далеко было видно, чтоб уважали его иностранцы.

Мадьяры вслед за Хаецким послали наверх делегацию к «старшему командиру».

Иван Антонович, с присущей ему педантичной сухостью, через Ференца выслушал делегатов. Он стоял в дверях первого этажа под своей неизменной плащ-палаткой, которую никогда не снимал с тех пор, как получил ее со склада. На КП среди офицеров эта вечная палатка давно уже стала притчей во языцех. Говорили, что Иван Антонович поклялся сбросить ее только после Победы.

— Чего тут ржать? Не понимаю, — удивлялся Кармазин. — Палатка записана на меня. После войны я обязан буду отчитаться за нее перед интендантами. А знаете, какой это народ! Это было убедительным аргументом. То, что Кармазин под Будапештом уже думает о своих послевоенных делах, никого не удивляло.

Слушая делегацию говорливых женщин, Иван Антонович несколько раз исподлобья взглянул на голые почерневшие каштаны. Выражение его широкого, скуластого, со вздернутым носом лица не обнадеживало. Он видел, что Хаецкий и Островский уже встали около деревьев с топорами наготове.

— Руби! — скомандовал старшина Багиров.

— Постой, — медленно поднял руку старший лейтенант.

— Отставить! — крикнул Багиров.

Иван Антонович неторопливо осмотрел двор, словно был тут комендантом и задумал какую-то внутреннюю реконструкцию.

— Хорошо, — сказал он. — Хай живэ! Пусть ваша мелюзга, играя после войны под этими зелеными деревьями, помянет и нас незлым, тихим словом. Так, товарищи?

— Так! — отозвалась огневая. — Так!

И старший лейтенант приказал ставить минометы внутри дома, у окон. В такой высокой позиции каштаны минометам не мешали.

Даже венгерки понимали, что вести огонь со второго и третьего этажей менее безопасно, чем с земли. Однако и они и сами бойцы были довольны тем, что Иван Антонович амнистировал каштаны. По-человечески хорошо было смотреть, как истощенные матери окружили старшего лейтенанта, благодаря за подарок, сделанный ротой детям будапештской окраины. У Ференца на веках задрожали слезы. Он знал, что придет время — и солдатский подарок зазеленеет на радость ребятам, которые, живя в придунайском городе, почти не видели самого Дуная и не ездили, как дети богачей, на белые дачи Балатона.

— А нам говорили, что русские... Что коммунисты... — волнуясь, лепетала одна из делегатов. — Вы, конечно, не коммунист?

Кармазин улыбнулся.

— Коммунист.

Женщины вытаращили на него глаза.

— Коммунист?

— Коммунист! — ответил Иван Антонович с гордостью.

Ночью рота собралась переходить на новую позицию. Расчеты, привычно разобрав минометы, спускались вниз. Этажи замирали. Уходя последним, Вася Багиров заметил у одного из вырванных окон высокую согбенную фигуру.

— Ты, Денис?

Фигура не шевелилась.

Старшина подошел ближе и узнал Ференца.

Художник стоял, прислонившись к подоконнику, и молча смотрел на город. Горбоносое, застывшее лицо Ференца, тускло освещенное далеким заревом, напоминало штампованного орла со старинной монеты.

Багряные хребты подпирали небо. В подоблачных черных глубинах гуляли прожекторы. Зенитные пулеметы прокладывали тонкие трассы. Грохотала канонада.

— О Будапешт! — с болью вырвалось у Ференца.

В Будапеште художник провел всю свою жизнь.

Тут были похоронены его родители и деды, тут промелькнула его молодость. Отсюда он тайком провозжал своего лучшего ученика в Испанию, в Интернациональную бригаду... Янош, Янош!. Чахнет твоя жена, сиротой растет твой сын... Где-то затерялись они в подземном Будапеште. Живы ли? И где их искать? На Догань-утца? Но существует ли сейчас эта улица? Швабы и салашисты заминировали все. Вчера Ференц разговаривал с перебежчиком. Подземельями тот пробрался на советскую сторону. Рассказал: в центре нестерпимые грабежи, мародерство, голод. Гитлеровцы отбирают у населения остатки продуктов, гонят всех баррикадировать улицы, возводить противо-

танковые сооружения. Кто уклоняется — расстрел. Никаких признаков гражданской власти, полный разгул и террор «Скращенный стрел». Чем все это кончится? Чем кончится твоя большая драма, Будапешт?

Не гириандами фонарей — пожарами осветились твои улицы. Не пестрят веселой толпой набережные Дуная — трещит камень от стали! Не звенят трамваи, не поют авто... Тысячетонными глыбами валятся стены на мостовую. Все трещит, грохочет в невиданной катастрофе. Кажется, что за ночь город провалится, бесследно исчезнет и только дунайские волны понесут пушистый черный пепел к морю...

Все лучшее, созданное Ференцем-художником, родилось в Будапеште и для Будапешта. Его картины украшали ратушу, парламент, отель «Европа», кафе «Балатон»... Правда, ими наслаждалась преимущественно аристократия, но художник не терял надежды, что когда-нибудь их увидит и весь трудящийся Будапешт.

Над островом Чепель, урча, кружатся «юнкеры». Они еще могут садиться на городском ипподроме. Вывозят раненых, подбрасывают снаряды. Гитлер приказал держаться во что бы то ни стало: в Комарно выгружаются сотни танков, они идут на помощь. Что ж это будет? Чем все кончится?

Ференц оборачивается к старшине.

— Да... Горит правильно, — говорит Багиров.

Художник пристально смотрит на Васю.

— Спасите, — говорит он тихо и торжественно. — Спасите Будапешт! Кроме вас... больше никому.

— Не тужи, Ференц. Все будет в порядке.

Старшину зовут снизу. Рота выступает.

Спускаясь с Багировым по ступенькам, Ференц начинает рассказывать ему о знаменитом отеле «Европа», до которого отсюда рукой подать.

Снаряды с мертвенно белыми вспышками рвутся на стенах. Проваливаются сквозь крыши. Осколки гулко стучат по жести.

— Словно домовые ходят, — глухо замечает кто-то.

Хома задорно вскидывает голову.

— Эй вы, нехристы! Чем там грохотать, спустились бы сюда! На рукопашную!

— Хаецкий! — прикрикнул Иван Антонович.

Дальше двигаются молча, как на облаву.

XV

Следующей ночью батальон врзался в новый квартал, который упирался углом в перекресток. Продвигаться дальше мешал угловой дом противоположного квартала, выходящий фасадом на этот же перекресток. Под вибрирующим, неестественно кровавым светом зарева разведчики прочли: «Еигора».

Латинский шрифт теперь свободно читали даже бойцы с низким образованием.

— «Hotel Eugora», — медленно разбирал какой-то усатый воспитанник церковно-приходской школы.

Все этажи отеля, снизу доверху, щетинились пулеметами и автоматами. Из одного окна время от времени выбрасывалось пламя миномета.

Отель представлял собой выгодную позицию. Отсюда противник простреливал не только две улицы, к которым подошли стрелковые роты, но и держал под огнем весь квартал, захваченный батальоном Чумаченко. Огонь был большой плотности. Бойцы для эксперимента выбросили на перекресток пустое ведро. Через минуту оно превратилось в решето.

На командном пункте, который разместился в длинной низкой казарме, стоял неумолкающий шум. Перекликались телефонисты, исчезали и вновь возникали ординарцы, некоторые бойцы разбирали трофейные седла, занимавшие почти четверть казармы. По очереди приходили греться минометчики, их огневая была у самой казармы.

— Добрые седла, — кричал веселый старик, — да не на ком поездить! — И он одним взмахом отсек крыло от седла: — На подметки!

Капитан Чумаченко в углу обсуждал с офицерами положение. Отель нужно было захватить этой же ночью, днем его никак нельзя было взять. Но как захватить? Правда, можно было вызвать полковых саперов и с их помощью, подкравшись в темноте, пустить дом на воздух. Но в данном случае комбата это не устраивало. Исходя из тактических соображений, он хотел захватить отель нетронутым. Если бы ему нужно было взять только этот объект, Чумаченко безусловно взорвал бы его. Но, кроме «Европы», ему предстояло сломать сопротивление еще десятков объектов, и он уже сейчас думал о них. Здание отеля, во-первых, было высокое, крепкой старинной кладки, а во-вторых, угловое. Овладев им, батальон приобрел бы своеобразный удобный трамплин для того, чтобы захватить весь квартал.

— Я установил бы в нем «самовары», — соображал Кармазин, — и тогда вся близлежащая площадь была бы у меня как на ладони.

Гвардии майор Воронцов, прибыв на КП с вечера, сейчас молча сидел у стены на куче немецких противогозоров, похожих на собачьи намордники. Казалось, он сидя дремлет, зарыв широкий подбородок в курчавые отвороты колушка. А между тем он внимательно слушал офицеров. Наконец поднял тяжелые припухшие веки:

— Чумаченко, где твои сталинградцы?

— Все на местах, товарищ гвардии майор: возглавляют штурмовые группы.

— Кто да кто?

Комбат стал считать по пальцам. Своих сталинградцев он знал наперечет. Когда назвал Багирова, Иван Антонович спохватился:

— Да! Мой старшина носит с оригинальным планом...

Кармазин вкратце изложил суть этого плана.

Комбат послал за Багировым.

В это время неожиданно в казарму вошли командир полка Самиев, маленький, черненький, как жучок, и генерал-майор, командир дивизии.

— Батальон, смир-но! — вылетел вперед Чумаченко.

— Вольно, вольно, — остановил его генерал.

Генерал был коренастый, крепкий, выбритый до синевы. Оглядывая на ходу казарму и вытянувшихся бойцов, он прошел к столику, сооруженному из двери.

— Ну-с, чумак, давай карту объектов.

«Чумак» в устах генерала звучало шуткой и свидетельствовало о том, что «хозяин» в веселом настроении. Генералу, конечно, было известно, что комбат-3 совсем не чумак — не тот чумак, что ходил в Крым за солью и гулял в Киеве на рыночке. Генерал знал, что комбат-3 капитан Чумаченко — в прошлом инженер-электрик Днепроэнерго. Но сегодня «хозяин» называл комбата чумаком, и комбат уже чувствовал, что если и будет нагоняй, то не слишком жестокий. Нужно сказать, что насколько Чумаченко был спокоен и выдержан в бою, настолько же он терялся и дрожал перед начальством. Засуетившись, он подал генералу не ту карту, какая была нужна.

— Ай, чумак, зачем ты мне даешь Терексентмиктош? Неужели мы его должны вторично брать? Я думаю, с них хватит и одного раза.

— Простите, товарищ гвардии генерал-майор!

Вошел старшина Багиров, смело и по форме подошел к высшему командиру, вызывая восхищение Ивана Антоновича.

— Товарищ гвардии генерал-майор, разрешите обратиться к гвардии капитану...

— А-а, это тот, что гнался на коне за танком? — усмехнулся генерал. — Помню, помню... Ну-с, обращайся, что там у тебя...

Речь зашла о гостинице. Старшина, не торопясь, изложил свой план. Генерал заинтересовался.

— Смело, хотя и рискованно, — сказал он. — Но риск для гвардейца... — генерал выжидающе посмотрел на сухого, как шкварка, Самиева.

— ...благородное дело, — закончил скороговоркой Самиев.

Багирову разрешили отобрать штурмовую группу людей по своему выбору. Такую роскошь Чумаченко допускал только в исключительных случаях. Итти захотели многие. Однако Вася 'брал «по знакомству».

— Может быть, на смерть идут, — рассуждали между собой телефонисты, — а тоже по блату. Как будто не успеют! Чудное творится с людьми.

Действительно, среди отобранных оказались давние друзья старшины, большей частью отчаянные ребята из взвода батальонных автоматчиков. Из минометчиков Вася взял Дениса и Романа Блаженко и Хаецкого. Хотя старшина нередко и укорял Хома за его штучки, однако явно симпатизировал подолянину.

— Чортов балагур, — говорил Вася Хоме, — ты становишься настоящим солдатом!

Сейчас, когда старшина спросил Хаецкого, готов ли он, тот ответил:

— Как штык!

Осматривая штурмовиков, генерал остановился против Хома. Подолянин ел его глазами.

— Ту же затянитесь, — заметил генерал, беря бойца за ремень.

Ватные штаны на Хоме спустились: в карманах было полно гранат.

— Не спадут, товарищ гвардии генерал-майор! — уверял Хома, затягивая ремень.

— Не спадут? — генерал оглядел бойца с ног до головы. — Сталинградец?

— Нет, товарищ гвардии генерал, мы... поближе. Но хватка у нас сталинградская. Старшина научил!

Генералу, видимо, понравился ответ.

— А ну, расстегните ватник. Посмотрю, что там у вас есть.

Хома расстегнулся, выставляя грудь с гвардейским значком и медалью «За отвагу».

— Ого! Хорошо! Я себе давно прошу у командующего такую медаль, — не дает. Это, говорит, только передовикам.

— А вы ж орден Суворова недавно получили, — дерзко бросил Хома. — Разрешите глянуть, какой он.

Генерал, улыбаясь, расстегнул свое кожаное пальто, блеснув орденами.

— То же хорошо, — сказал Хома.

— Так, говорите, готовы... Гм... А вот представьте себе: неожиданно в темноте вы сталкиваетесь с фрицем. Что бы вы прежде всего сделали? Ваше первое движение?

Хома задумался. Иван Антонович похолодел.

— Вот представьте, примерно, что я фриц, что вот так я иду... Что бы вы делали?

— Штурмовал бы, товарищ гвардии генерал. Потому что я вас вижу, а вы меня нет.

— Согласен, пусть так... Допустим, я вас не вижу. Но как именно вы штурмовали бы? А ну, вот вас двое, — генерал кивнул на Багирова и Хаецкого, — вы и вы... покажите. Штурмуйте меня.

Хома испуганно смотрел на генеральское пальто, на белоснежный подворотничок, туго подпиривший шею. «Шея, хоть ободья гни», — подумал Хома. От генерала пахло духами.

— Однако, товарищ генерал, — замылся Хома. — Как-то не совсем... Измажем вас.

— Ничего, ничего. Берите так, как вас учили. Я тоже дерусь всерьез.

Вася подмигнул Хаецкому: давай, мол, по всем правилам.

Бойцы расступились.

Генерал берет у кого-то автомат на руку и шагает, прислушиваясь, изображая вражеского часового. Хома и Багиров, уловив момент, набрасываются на «хозяина». Одна секунда — и генеральский автомат летит куда-то в сторону, руки заламываются за спину. Генерал что есть силы отбивается, однако еще секунда — его валят и, держа, — Вася за руки, Хома за ноги, — подносят к командиру полка.

— Отпустить! — приказывает Самиев сияя. — Молодцы!

Генерала отпустили. Он поднялся, тяжело посапывая. Его лицо густо налилось кровью.

«Чи не наштурмует он нам?» — подумал Хома.

Но генерал был искренне доволен.

— Самиев, что же это такое, — обратился он к командиру полка. — Меня и то свалили, а что с тобой, сухарем, было бы? Клас-си-че-ски! — Десятки рукавиц обтирали его хромовое пальто. — Пускай их, Чумаченко, пускай орлов! Штурмуйте, товарищи, на славу! Всем обещаю... Славу.

Бойцы хором заверили, что постараются.

— Крепкий дядька, — сказал Хома, выходя во двор. — Так меня саданул, что я еле удержался.

— Ну, если бы не удержался! — пригрозил старшина. — Я б с тебя шкуру спустил!

Снятая ночным морозцем земля застучала под ногами, как костяшки.

XVI

— Алло, Ференц!

Вздохмаченный художник поднялся на нарах, удивленно оглядывая бойцов, заполнивших бункер.

— Старшина?

— Как видишь... Слазь.

В Будапеште художника многие знали. В подземельях он нередко встречал знакомых, и они давали ему приют.

Ференц спустился с нар, и Багиров стал совещаться с ним. Отель «Европа» интересовал художника, наверное, не меньше, чем старшину. В свое время Ференц оформлял фойе и бильярдный зал этого отеля. Там висели его картины. Теперь художника беспокоило, что дом взорвут и весь его труд полетит

на воздух. Относительно этого они накануне строили немало разных проектов. К удивлению Ференца, Вася немедленно перешел от слов к делу.

Художник разбудил какого-то гражданина в кепке и в легком демисезонном пальто.

— Пролетарий, — отрекомендовал его Ференц.

— Давай-давай, — сказал «пролетарий» и двинулся по длинному бункеру.

Бойцы шли за ним, осторожно переступая через спящих. Проводник остановился против стены, покрытой плесенью, и указал ружьем.

— Здесь.

— У кого кирки — сюда! — скомандовал старшина.

Кирки дружно застучали. Венгры испуганно просыпались озираясь: что тут делается? Не только в Пеште, а и под Пештом нет покоя. Ни днем, ни ночью. Габор, проклятый габор!¹ Ференц успокаивал их. Бойцы долбили попеременно, врубаясь все глубже в стену.

— Может быть, не здесь, Ференц?

— Здесь, здесь! — уверял и Ференц и «пролетарий».

— Смотрите, не ошибитесь! Тогда обоим — секим башка.

— Будь спок, Вася! — ответил Ференц солдатским приложением. — Не психуй.

Бойцы засмеялись.

Наконец Денис сильным ударом проломил стену. Сдерживая дыхание, стали прислушиваться. Из дыры доносился монотонный приглушенный гул, как из улья.

Денис просунул голову.

— Полно, — сообщил он. — Молятся.

Дыру расширили и стали по одному пролезать. Очутились в бункере, еще большем, чем предыдущий. Все жильцы стояли на коленях, с деревянными крестиками и свечами в руках.

— Иштенем, иштенем, — звучало во всех углах.

Здесь советских бойцов видели впервые и смотрели на них как на представителей другого мира. Казалось странным, что они не режут всех подряд, не насилюют, что хорошо одеты, сильно вооружены. Крепкие, как моряки.

«Пролетарий» позвал какую-то пожилую женщину в роговых очках и поцеловал ее. Ференц горячо говорил по-венгерски. Помянул и Хорти и Салаша. Женщина вышла вперед и что-то сказала художнику.

— Старшина, давай! — промолвил Ференц.

Пошли. Женщина в очках шагала впереди. Пересекли весь бункер, маневрируя между постелями, пожитками, мебелью, и стали подниматься по лестнице. С каждой ступенькой звук ка-

¹ Война (венг.).

нонады нарастал, как будто они входили в гроыхающую грозовую тучу.

Очутились во дворе. Пригибаясь, метнулись вдоль стены вперед и через каких-нибудь десять метров опять попали в подвальный ход и стали спускаться. Под ногами захрустело.

Багиров засветил фонарик. Казалось, что они попали в шахту. Просторный бункер чуть ли не до потолка был засыпан блестящим антрацитом. На четвереньках поползли в глубину. Раздвинули немецкие бумажные мешки с чем-то тяжелым, как соль, и, спрыгнув вниз, очутились в сыром и холодном помещении, загроможденном котлами парового отопления.

Молча, стараясь не стучать, не греметь, прошли между котлами и увидели перед собой раскрытые двери, сквозь которые просачивался тусклый свет. Оттуда повеяло на бойцов тяжелым смрадом непроветриваемого жилья.

Старшина погасил фонарик. По его знаку бойцы встали за котлами в ожидании. Женщина в очках вошла в бункер. Вся следил за тем, как она пошла к нарам и начала будить кого-то, дергая за белые боты. На нарах поднялась заспанная девушка и, удивленно слушая женщину, все шире улыбалась. Потом легко соскочила на пол, торопливо взглянула в зеркальце, поправляя прическу, и, схватив женщину за руку, энергично потянула ее к выходу.

— Маричка! — тихо воскликнул Ференц. — Маричка!

Выяснилось, что это была подруга его дочери.

Девушка поздоровалась со стариком, потом повернулась к бойцам, энергично подняв стиснутый кулачок.

— Смерть фашизму, свобода народам! — приветствовала она пришедших девизом партизан.

Ференц объяснил бойцам, что брат девушки в партизанском отряде.

Радость, такая большая и чистая, какой, возможно, никогда не вызывает в человеке его узко личное счастье, охватила в этот момент бойцов.

И башкир, работавший столяром на Крайнем Севере, и русский, и украинец, и далекий брат славянин с балканских гор — как бы встретились здесь, в подземельях Будапешта, у замороженных паровых котлов. И каждый почувствовал, в какой великой борьбе на необозримом фронте он принимает участие, какие надежды на него возлагает человечество. Свобода народам! Бойцы горячо пожимали девушке руку. Хаецкий даже чмокнул ее торжественно.

Женщина в очках, которая должна была теперь вернуться, что-то сказала Ференцу. Художник смутился.

— Чего она хочет, Ференц?

— Просит документ.

Женщина хотела, чтобы пан офицер выдал ей какой-нибудь

документ о том, что она принимала участие... на стороне демократии.

— После, после, — отвечал Багиров. — И ей, и «пролетарию», всем выдам... если живы будем.

Теперь место провожатой заняла Маричка.

Некоторое время шли в темноте, потом старшина зажег свой электрический фонарь. Перед ними была довольно широкая цементная труба. Девушка, согнувшись, уверенно вошла в нее.

— Денис, отныне говори: прошел Крым, Рим и будапештские трубы, — не удержался Хаецкий.

На него зашикали.

Вскоре труба кончилась. Бойцы попали опять в котельную. Нашупали ступеньки и, держась одной рукой за скользкую стену, а другой за автоматы, стали подниматься. То и дело останавливались прислушиваясь.

Небо! Высокий багряный простор молчаливо щупали прожекторы... Бойцы с облегчением вдохнули свежий, морозный воздух.

— Гараж, — прошептал Ференц, разглядывая в темноте длинное приземистое строение. — Гараж «Европа». Я его узнаю.

Багиров осторожно высунул голову, оглядел, словно обнюхал, двор, потом дом над головой. Окна всех этажей с этой стороны были целы и вспыхивали рубиновыми отблесками.

— Как будто «Европа».

— «Европа», «Европа», — уверенно шептал Ференц.

Автоматчик Самойлов, лопоухий, неговорливый москвич, тоже выглянул словно из башни танка.

— Она!

В самом деле, над ними был отель, хотя его трудно было узнать: немой, темный, с балконами. С фасада балконы уже давно были сбиты, на их месте торчали только изогнутые рельсы.

Старшина отправил провожатых обратно, поблагодарив за помощь.

— Завтра встретимся..

Завтра! Ой, как же ты далеко, завтра! К тому, кто, спокойно дремля, будет ждать тебя в бункере, ты придешь скоро и незаметно. Но в какой страшной дали ты скрываешься от глаз штурмовиков! Они должны итти к своему завтра через этот дом!.. Здесь на каждом этаже притаилось сто смертей и ждут, ждут...

— Роман, Денис, ваш дед-кармелюка жил сто пять годов, а пережил ли он хоть одну такую ночь?

— Разве это ночь? Это ведь целая вечность!..

Багиров в последний раз инструктировал свою штурмовую группу. Благодаря рассказам Ференца он хорошо представлял себе внутреннее расположение отеля. Вася распределил штурмовиков по этажам. Они должны были тайком добраться до коридора, засесть там и ждать сигнала. То, что штурмовиков было немного, имело свои преимущества: они могли действовать свободно, не боясь убить в темноте кого-нибудь из своих.

— Знай, что каждый идущий на тебя — враг, — сказал старшина.

На первом этаже должны были действовать Багиров и Хаецкий. Здесь, уничтожая гарнизон, нужно было в то же время выломать парадные двери, для того чтобы первые атакующие влетели в дом без задержки. Комбат предупредил, что, как только в отеле завяжется бой и пулеметный огонь противника будет дезорганизован, с фронта гостиницу атакуют еще несколько штурмовых групп.

Бойцы пожали друг другу руки. Это была взаимная присяга, взаимное заверение в том, что они будут драться до последнего. И если случится так, что эта ночь станет для них последней ночью в жизни, то они, каждый в отдельности, проведут ее с достоинством.

Самойлов, поднявшись в полный рост, с гранатами в обеих руках, пошел прямо в дверь. Мгновенно он исчез за порогом. Все ждали взрывов изнутри. Их не было.

— В порядке, — облегченно вздохнул Хаецкий.

Бойцы один за другим бесшумно скользили в черный провал дверей.

Братья Блаженко шептались о том, что в случае чего они встанут друг к другу спинами. Как-никак, тогда у них будет четыре ноги — не так просто сбить. Глаза кругом, два автомата...

Когда наступила их очередь идти, старшина еще раз предупредил:

— На вашем этаже, в третьем окне слева, — миномет.

— Не в третьем, а в четвертом, — поправил Денис.

Там его дорога и кончилась.

И темный высокий Денис неторопливо направился к двери. В это время в помещении что-то задребезжало и из дверей навстречу Блаженко вынырнул с пустым ведром гитлеровец. Роман приготовился прыгнуть на помощь брату. Но Денис, не ускоряя шага, прошел мимо врага, чуть не задев его плечом. Фриц не обратил на него внимания, приняв за своего, и, насвистывая, пошел куда-то через двор.

— Ну и нервуй! — восторженно заметил о Денисе Ростислав, маленький боец из батальонной разведки.

Ростислав с товарищем должны были оставаться у входа, и Багиров приказал им:

— Когда этот айн-цвай будет возвращаться, уложите... Чтоб ни звука.

— Будет исполнено.

Гостиница молчала, только где-то с противоположной стороны, как раньше, глухо постреливали пулеметы.

Ушел Роман. За ним поднялся Хаецкий.

— Молись за меня, жинка, — промолвил он тихо. — Молись за меня, дети. Я... пошел.

— Дуй!

Тело его сжалось в тугой клубок мускулов. Он шел, словно по воздуху. Земли под ним не было. Старался не дышать, потому что весь Будапешт слышит его дыхание. Весь Будапешт — настороженный, темный — видит в это мгновение его фигуру, которая тенью продвигается к дверям. Трофейный штык, вынутый из ножен, блеснул, как рыба, вскинувшаяся при луне. Хома зажал его намертво.

Но как только он переступил порог и очутился в абсолютной темноте, которая как будто взглянула на него множеством глаз и услышала его присутствие множеством ушей, — он почувствовал себя на удивление уверенным. Знал, что теперь уже никакая сила не вытолкнет его отсюда. Никакая!

Где-то в глубине коридора открылась дверь. Кто-то вышел, смеясь, и закрыл ее за собой. Идет, стуча по паркету подковами. Хаецкий припал к скользкой колонке и стоял не двигаясь.

Шаги приближались.

В этот момент у двери появилась фигура Багирова.

— Алло, Ганс, — спокойно сказал тот, кто приближался, и Хаецкий слышал, как он достает на ходу фонарик. — Ганс, их денке...

Он не договорил. Сверкнули, скрещиваясь, две световых полосы: фриц направил фонарь на старшину, а старшина, не растерявшись, направил свой на него. Какую-то долю секунды не двигались, стояли, упершись тугими полосами света один другому в грудь. Фонарь Багирова был сильнее.

Фашист заморгал, зажмурился. И в это мгновение, сверкнув кинжалом, Хаецкий прыгнул на него из-за колонны.

Свет погас. Никто не вскрикнул.

Когда Ростислав переступил порог и стал на свое место у стены возле входа, он услышал обрывки отдаленного приглушенного разговора:

— Готов?

— Не шевелится.

— Марш на дверь!

— Присветите.

Еще раз на секунду сверкнул фонарик и погас. Хаецкий на цыпочках пошел к парадному.

Старшина стоял у одного из номеров и прислушивался к тому, что делается внутри.

Вдруг за дверью гулко, как в пустой цистерне, ударил пулемет. «А-а!» — Багиров вырвал чеку, рванул дверь и швырнул гранату, отскочив в сторону. Сзади загрохотало. Вырванная дверь полетела в коридор. Перебегая от одной двери к другой, старшина в каждый номер запускал гранату.

Коридор наполнился дымом.

Почти одновременно на верхних этажах загрохотали разрывы. Вся гостиница заходила ходуном.

В удушливой горькой темноте нечеловеческими голосами завывали недобитые. Треском, топотом, грохотом сотрясло все этажи.

Хаецкий, напрягая все силы, отваливал мешки с песком, пробиваясь к парадному входу.

Старшина все глубже уходил в коридор. Номера за ним раскрывались с громом, двери срывались с петель. Тяжело дыша, он стоял уже у шестой или седьмой двери, когда она сама перед ним распахнулась и оттуда, теснясь и застревая, с криками повалили фашисты. Ничего не видя в темноте, они чуть не свалили Багирова с ног. Не ожидая, пока это случится, он сам упал под стену и дал длинную очередь вдоль коридора. На фоне коридорного окна ему было хорошо видно, как падают и снова поднимаются вражеские солдаты. Крича, мечутся от стены к стене раненые, а на их место из номеров выскакивают другие. Старшина выбил вон опустевший диск, загнал полный и снова дал очередь почти по самому полу, срезая тех, которые упали нарочно. Кажется, он никогда не стрелял с таким буйным наслаждением, как сейчас. Знал, что ни одна пуля здесь не вылетает зря. Спихватившись, некоторые фашисты тоже застрочили кто куда, укладывая своих же. По всему коридору, от пола до потолка, зашипели трассирующие, зарикошетили. Недобитые в комнатах гранатами, очумевшие солдаты выбрасывались в коридор на свою погибель.

Как только в гостинице завязался бой, капитан Чумаченко бросил группы в атаку. С автоматами наперевес бойцы неслись через перекресток на kloкочущий снизу доверху дом. К этому времени его огонь был уже парализован. Несколько штурмовиков подскочили к парадным дверям и, схватившись за них, рванули на себя. Изнутри, обливаясь горячим потом, ломился Хома. Двери были крепко, наглухо забиты. Но под дружным двусторонним напором не выдержали, затрещали. Хома, радостно ругаясь, вылетел прямо на головы своих товарищей. Ткнулся лицом в чей-то влажный, пахнущий овчиной полушубок и схватился за него, чтобы не упасть.

— Вы, Хаецкий? — услышал он голос майора Воронцова.

— Ну да!

— Показывайте хозяйство!

— Прощу! Дом, как гром!..

Одни влетали в двери, другие высаживали забаррикадиро-

ванные окна с бойницами и амбразурами и вокакивали в них. Темный пол мягко вдавливался и стонал под сапогами. Кто-то командовал атаковать третий этаж. Выяснилось, что там, в двух комнатах, засели фашисты и упорно обороняются. Когда бой начал уже стихать, Денис и Роман Блаженко ворвались в комнату, где, по их расчетам, стоял немецкий миномет. Зажгли вместо свечи обрывок кабеля, осмотрелись. Все помещение было наполнено белым гусиным пухом. В разодранных взрывом пединах лежали у миномета иссеченные, залепленные пухом солдаты расчета.

— Со всей гостиницы стянули пуховики, — отметил Роман. — И на себя и под себя. Отстреляется — и в перья, греться.

— Такая уж раса хлюпкая. Зябнет.

Денис глазом знатока осмотрел немецкий миномет и, обнаружив, что он не поврежден, приказал брату:

— Срывай плиту. Перенесем.

Миномет перенесли в комнату напротив. Перетащили плетеные кошелки с минами. Выломали окно, выходящее на город. Будапешт гудел, заплывая пожарами.

Денис привычно навел прицел. Хотел спуститься вниз и отыскать Антоныча, чтобы узнать, куда бить.

— Разве ты сам не знаешь, куда? — удивился Роман.

— И то правда.

Мины были трофейные — это были их мины.

— Огонь! — сам себе командовал Денис.

Первая мина опустилась в ствол.

Били, пока раскаленная труба не начинала светиться в темноте.

— Ну, как, Роман? — спрашивает Денис брата, который подавал ему мины из кошелки. — Ну, как?

— За ночь фрицев поубавится.

Давали трубе остыть и снова били, били, били...

XVIII

То освещая путь гранатами, то обходя задними дворами прилегающие к отелю дома, штурмовые группы до утра приближались в глубь квартала.

В «Европу» перешел командный пункт батальона. Сюда уже несли на плечах боеприпасы, связисты тянули кабель, на первом этаже санитары перевязывали раненых. Во всех штабах по инстанции отметили на карте еще один важный объект, захваченный ночью.

Артиллеристы в одних гимнастерках катили на руках противотанковые пушки, устанавливая их за углом отеля и на перекрестке в круглом окопе, отрытом немцами для своей зенит-

ки. Разбитая зенитка еще и сейчас торчала в небо мертвым хоботом.

— Пушкири не отстают, — удовлетворенно сказал Чумаченко, выглянув сквозь провал окна на перекресток. Сегодня он был доволен всем, что творилось на свете.

С того момента, как начались бои в Будапеште, орудия сопровождения шли рядом со штурмовыми группами. Эти славные маленькие пушечки можно было видеть то в разрушенном подъезде, то выглядывающими из окон подвалов, то прыгающими по мостовой, вдоль узкой улицы, зажатой обвалившимися стенами и напминавшей горное ущелье после землетрясения.

Пушкири ладные, крепкие ребята, единым духом выбросили немецкую зенитку из окопа и поставили на ее место свою, русскую. На стволе их пушечки светились, как ордена, красные звезды, а на щите красовалась надпись: «Смерть белофиннам!»

Где остались те белофинны и те карельские леса, а надпись не слиняла и в Будапеште!

Артиллеристами командовал Саша Сиверцев. Его бодрый голос звенел. Сиверцев устанавливал пушки жерлами в разные стороны: одну вдоль проспекта, протянувшегося вниз, к самому Дунаю, другую — в боковую улочку. Сегодня юношеское лицо Сиверцева играло особенно ярким румянцем. Уши под черным околышем фуражки пылали, как петушиные гребешки. Он был в том настроении деятельного вдохновения, которое всегда так озаряет храброго человека перед боем.

— Саша! — услышал он откуда-то сверху знакомый голос.

В окне третьего этажа стоял Черныш.

— Доброго утра, Саша! Как спалось?

— Благодарю, друг! Никак не спалось. А ты разве спал?

— Куда там спал! Ведь у нас сегодня воробьиная ночь! «Хозяин» говорит: классическая ночь.

— Где твои «самовары»?

— Всюду: два во дворе, два тут со мной, один где-то коцует.

— Вы опять ввели кочующие?

— Отчего ж! Тут, как в горах. Ты меня с земли поддержишь?

— Что за вопрос! А ты меня — из своих апартаментов.

— Апартаменты!.. Одни разбитые ванны, и фрицы с ночи лежат... Как «Смерть белофиннам!» чувствует себя в дунайском климате?

— О, будь здоров! Готовится принять новую звезду на ствол.

— Сейп!¹

Морозное свежее утро расцветало над Будапештом. Белело

¹ Прекрасно! (венг.).

небо, беловатым казался тонко выбрирующий воздух. На востоке по горизонту легла светлая полоса. Самолеты над высотами Буды купались в прозрачной белизне.

Где-то внизу, вдоль проспекта, ударил «фердинанд»¹. Одна за другой с адским гудением понеслись болванки, прыгая по асфальту. Тугой ветер рвался с воющим присвистом. Посыпались стекла. Черныш видел, как засуетились артиллеристы. В глубине квартала закрипела «собака» — шестиствольный миномет, и одна мина разорвалась около пушек. Кто-то из них, видимо, выбыл из строя, потому что Сиверцев сам подскочил к пушке и наклонился, стараясь поймать цель в панораму.

А цель надвигалась снизу по проспекту. Выкрашенный уже в белый цвет «фердинанд» приближался, словно сплошная ледяная глыба, выброшенная Дунаем. Только Сиверцев, припав глазами к панораме, хотел подать команду, как тяжелая горячая болванка просвистела над его головой и снесла щит.

— Бей! — что есть силы в тот же момент крикнул Сиверцев и закрыл лицо руками.

Прозвучал выстрел.

Сквозь пальцы Сиверцева сочилась кровь.

Внизу, на другом перекрестке, белая глыба вспыхнула, как свеча.

— Лейтенант! Вас ранило?

— Ранило?

Его не могло ранить: болванка, просвистев над головой, полетела дальше, звеня о мостовую и подпрыгивая как камень, пущенный по воде.

Сиверцев все еще стоял возле своей пушечки, закрыв глаза руками.

— Лейтенант, откройтесь!

Он через силу оторвал от лица окровавленные, дымящиеся руки.

Действительно, Сиверцев не был ранен. Но ударом воздушной волны ему вывернуло глазные яблоки.

Бойцы взяли его под руки и повели в гостиницу.

Сейчас он лежал у стены на ковре и ждал, когда его перевяжут. Косычки бакенбард слиплись от крови.

Батарейцы метались, разыскивая фельдшера. Все они, как один, были гололобые. У них был обычай брить друг другу голову в любых условиях, летом и зимой. Может быть, поэтому их богатырские шеи казались высеченными из камня.

— Запорожец! — позвал Сиверцев одного из своих сержантов. — Сожгли?

— Спалили.

— По моей наводке?

¹ Самоходное орудие; кроме снарядов, гитлеровцы применяли против броневых целей стальные болванки в форме снаряда.

— По вашей.

Офицер помолчал. Фельдшера не нашли, вместо него явился Шовкун и, опустившись перед Сиверцевым на колени, как перед знаменем, начал рвать бинт.

— Последний раз в своей жизни, — сказал Сиверцев неожиданно ровным, спокойным голосом, — я видел в панораму «фердинанда»... Горит?

— Догорает.

— Ребятки... Последняя моя панорама...

Ребятки, отвернувшись к стене, смахивали слезы шершавыми, обожженными ладонями. Гвардейские затылки, тщательно выбритые, лоснились от пота.

Шовкун бережно перевязывал.

— Пушка цела? — спросил через некоторое время лейтенант.

— Цела.

— Берегите ее, — тихо завещал он.

XIX

Черныш как раз вел огонь, когда телефонист передал, что его хочет видеть офицер с батареи.

— Лежит внизу... Раненый.

Командира роты не было, и Черныш не мог отлучиться.

«Раненый... С батареи... Неужели Саша? Конечно, Саша. Но как? Когда?» — думал Черныш между командами.

Вскоре появился Кармазин и, заменив Черныша, отпустил его к товарищу.

Но внизу Сиверцева уже не было. У окна стоял Шовкун с «фауст-патроном» в руках. От санитаря Черныш узнал, что его хотел видеть действительно Сиверцев.

— Но это только так говорится... видеть, — грустно сказал Шовкун. — Ему, бедному, уже не суждено ничего видеть...

— Как?

— Глаза вытекли.

Евгений стоял словно пораженный громом. Мелькнуло в памяти, как однажды в госпитале Саша признался, что ничего так не боится, как потерять зрение.

— Пусть это будет между нами, — говорил тогда Сиверцев, — но я больше всего берегу зрение. Берегу его... для Ленинграда. Так хочется еще хоть раз все увидеть... И шпиль Петропавловки, и балтийских морячков с девушками на набережной. И Петра, устремленного вперед. Нет, Женя, это не любопытство художника. Это все после трех лет разлуки... как-то в глаза просится... Понимаешь, в сердце просится...

Кто-то крикнул, что на проспект снова вырвался немецкий танк. Шовкун приготовил «фауст-патрон» к выстрелу.

«И когда он научился пользоваться им?» — подумал Черныш, избегая на огневую.

Во второй половине дня напряжение боя несколько спало, и Черныш, бродя по гостинице, встретил в бильярдном зале Ференца. Художник, заложив руки за спину, стоял в углу, сосредоточенно разглядывая что-то на полу. Подойдя, лейтенант увидел полотно картины в разбитой раме. Следы многих сапог остались на ней.

— Моя, — промолвил художник, указывая ногой на картину.

Вася Багиров за помощь в ночной операции подарил художнику широкий ремень. Сейчас, затянувшись этим ремнем поверх макинтоша, художник и в самом деле был похож на партизана. Шляпа была высоко поднята, открывая смуглый, с двумя выпуклостями лоб.

— Моя...

Картина изображала гору Геллерт на правом берегу Дуная, где стоит цитадель. На картине гора изображена еще не застроенной, такой, какой она была в древние времена, — словно скала на безлюдном материке. На самой вершине — всадник, суровый степной житель в шлеме и кольчуге. Утомленный конь опустил голову в поисках корма. Корма нет, потому что... «Не прорастет трава там, где ступит копытом мой конь». Всадник, откинув забрало, вглядывается в далекий горизонт.

— Кто это?

— Арпад. Один из первых венгерских витязей, который привел мадьяр на берега Дуная.

— Куда он смотрит?

— Сюда, на Пешт. Вернее, на то зеленое поле, где через много лет вырастут кварталы Пешта.

— Хотите реставрировать?

— Зачем? Разве сейчас это главное?.. Сейчас я вижу новые краски. Вы знаете мои альбомы? Я их пополняю... Заходите — покажу.

В зале появился санитар, козырнул лейтенанту.

— Я отправлял гвардии лейтенанта Сиверцева. Он передал вам письмо.

Незнакомой женской рукой было написано: ...

«Женя, друг мой... Пишу. Не пишу, а диктую. Из санроты. То, чего больше всего боялся, случилось. Случилось бесповоротно, навсегда. В одно мгновение отошло в сторону все, о чем мечталось. Нет художественного института... Пусть! Однако жить буду! Ведь жил как-то Пазва Корчагин, наш старший брат...

А трудно, тяжело. Неслыханно тяжело, Женя. Хотел в гостинице встретиться с тобой, — не удалось. Не обижаюсь, знаю, что ты, наверное, не мог.

Желаю тебе в ближайшее время увидеть Дунай. Тот Дунай, о котором столько передумано, — чистый, голубой от не-

ба... «Как льны цветут». Может быть, он будет таким в ясный День Победы. Желая тебе дожить.

Жди. Буду писать на полк.

Саша Сиверцев».

XX

Через несколько дней, уже в новом квартале, Черныш получил возможность ознакомиться с новыми альбомами Ференца.

Бункер, в котором нашел себе пристанище художник, был в том же дворе, где и огневая минометчиков.

Посреди двора высился замерзший фонтан, возле него накануне, во время налета, были убиты две лошади из боеснабжения. От коней остались уже одни ребра и копыта со стертыми, блестящими подковами. Всю мякоть обобрали венгры. В минуты затишья они выскакивали сюда со всех бункеров, как на охоту.

Приближаясь к подвалу, Черныш обогнал двух девушек. Одна из них несла кусок конины, осторожно придерживая его пальчиками.

Венгерки, пропустив Черныша, о чем-то живо заговорили. Потом одна из них догнала его и слегка тронула за локоть.

— Пан офицер!

Черныш обернулся.

— Что тебе?

— Пан офицер...

Девушка о чем-то быстро говорила все время умоляюще улыбаясь. Черныш понял только одно слово: «кенир» — хлеб. Девушка повторила его несколько раз. Чтоб лучше объяснить лейтенанту свою мысль, она, не смущаясь, расстегнула шубку, показывая свою тонкую перетянутую поясочком талию. Черныш ничего не понимал. Тогда девушка мгновенно оголила белую ногу и шлепнула по ней перчаткой. Черныш покраснел до ушей. За кусок «кенира» она предлагала... Черныш выругался и, отвернувшись, быстро побежал вниз. Девушка смотрела ему вслед с откровенным сожалением.

Чернышу было стыдно и тяжело.

В бункере он сразу увидел Ференца.

Художник работал, сидя в одной рубашке перед узким зарешеченным окном. Подтяжки, словно бурлацкие лямки, стягивали его плечи.

Упругие солнечные лучи заливали бункер. Когда на дворе разрывался снаряд, в бункере возникал неуловимый отблеск, как дневная молния. Сейчас эти отблески не страшны, они не багровые как ночью, а светлые, перемешанные с солнцем. Время от времени они бьются, колеблются вокруг Ференца, жильцы жмутся к стенам, только художник не трогается с места.

Услышав оклик лейтенанта, Ференц отложил работу и почтительно поднялся, приветствуя вошедшего.

Пришли и девушки с кониной. Избегая взгляда Черныша, они шмыгнули в угол. У них был пристыженный вид.

Ференц достал обещанный альбом. Это были зарисовки венгерских дорог, трупы в кюветах, придорожные указки, эскизы серых степных ферм, забытых богом и людьми. Карандаш, тушь, акварель...

— А вот мой шедевр.

Ференц перекинул лист.

Юноша с бакенбардами стоит на коленях у пушки. Сосредоточенным взглядом устремился вперед. Саша Сиверцев!

— Вы его видели... тогда?

— Видел. Какой офицер! Мне говорили его солдаты... Я знаю...

Черныш посмотрел на Ференца.

«Что ты знаешь о нем, Ференц? Очень мало ты знаешь! Разве знаешь ты о том, что этот высокий юноша-мечтатель, ведя огонь в Будапеште, думал уже о восстановлении Ленинграда? Сколько он, Саша, говорил об этом Будапеште! И ненавидел, и любил его... Беспощадно бил и не хотел убивать!»

Девушки, готовя пищу, украдкой поглядывали на лейтенанта. Он стоял над раскрытым альбомом, глубоко задумавшись. Густые черные брови сурово сошлись на переносице. Девушки разочарованно шептались о том, что этот черный, как мадьяр, офицер, наверное, в кого-то влюблен. Иначе почему он отказался? Они ведь молодые, красивые... Может быть, он боится плохих болезней? Но ведь можно было расспросить жителей бункера, убедиться... Нет, он, видимо, идеалист и безнадежно влюбленный. С такой нежностью рассматривает альбом...

— Что вы тут подписали, Ференц?

— «Спаситель», — перевел художник подпись под рисунком. Вечером, когда на огневую прибыла кухня, Черныш позвал повара.

— Гриша, у тебя остается в котле?

— Бывает.

— Если сегодня останется... раздай тут жильцам. Припухают.

— Я знаю, что у них в этом году пятнадцать месяцев.

— Как пятнадцать?

— А так: кроме наших двенадцати, прибавилось три фашистских.

— Выдумывай!

— А как же: терпень, холодень и голодень¹.

После раздачи в котле оказались остатки, и Ференц объ-

¹ В стиле украинских названий месяцев — травень, липень и др.

вил в бункере, чтобы шли с посудой во двор: русский Гриша будет выдавать суп.

Гриша с черпаком в руке, в белом халате поверх ватника, стоял над котлом. Его хитрое носатое лицо на этот раз было серьезным, словно он вершил какое-то важное государственное дело.

Венгры выстраивались в очередь, и Гриша отмерял каждому полчерпака, стараясь никого не обделить. Он сердито ворчал, что нажил себе «этих нахлебников» и должен из-за них торчать тут, пока фриц не пришлет ему горячей засмажки. И все же Гриша честно примерял глазом, чтоб всем было поровну, чтоб всем хватило. Венгры смотрели на него с благоговением. Надолго, надолго запомнится голодным жителям будапештских трущоб этот «русский Гриша» с черпаком в руке, с автоматом за спиной.

Гриша ворчал и злился; однако, когда женщина, которой он наливал еду, показала на пальцах, что у нее еще двое «кичи» — маленьких, то Гриша, вместо того чтобы отмахнуться, пропустил это мимо ушей, сразу навел справку:

— Правду она говорит?

Мадьяры закивали головами: правду, правду.

Гриша отмерил и на «кичи».

Черныша, который со стороны наблюдал за раздачей, взволновала эта дотошность повара.

«Сколько написано о человечности, о гуманизме и гуманистах, — думал лейтенант, — Сколько об этом сказано медовых слов, а еще больше лицемерных. Этот простой боец-повар, конечно, ничего этого не слышал. Он совсем не филантроп и даже слова этого не знает. Откуда же у него эта дотошность, это беспощадное правдолюбие? Он раздает пищу чужим людям... Никем не контролируемый. Вот-вот прилетит вражеский снаряд. Мог бы раздать кое-как — и будь вы неладны! Вместо этого он бережно отмеряет, чтоб кого-нибудь не обделить. Ему, очевидно, органически необходимо установить правду: есть ли действительно у женщины эти «кичи»...»

Среди других в очереди стоял, согнувшись, пожилой мужчина с видом министра, в драповом пальто, с толстым портфелем подмышкой. Указывая на этого субъекта, женщины шептали Грише: «Шпекулянт!»

Ференц на ухо сказал лейтенанту, что субъект с портфелем действительно спекулянт. Он уже раз получил суп, а теперь подходит вторично. Черныш тоже видел этого типа днем: он шнырял среди бойцов, спрашивал золото.

— Есть, — сказал ему тогда Хаецкий. — Ой, много есть! Полный диск. Золотом набитый. Только не продаю — даром отдаю! Кому должен — расплачиваюсь! Хочешь?

Спекулянт тогда не захотел. Теперь он стоял возле кухни и, задрав свою козлиную бородку, протягивал банку к черпаку.

До этого Гриша как будто не слышал, о чем ему шептали женщины. Он не боялся промахнуться. Хоть с первого раза лица спекулянта и не запомнил, зато запомнил его консервную банку. Когда она вторично протянулась навстречу черпаку, Гриша, не говоря ни слова, мгновенно размахнулся и треснул черпаком прямо по министерской голове. Черпак наделся на шляпу спекулянта. Венгры были в восторге.

— Я тебя проучу! — закричал Гриша — Я научу тебя честно вести со мной коммерцию! Ишь... дипломат!

«Дипломат», приседая, вырвал голову из черпака и отскочил в сторону. Вытирая с ушей суп, спекулянт издали поглядывал на Гришу с трусливой злобой.

Черныш, смеясь, обратился к Ференцу:

— Скажите, разве это не гуманная расправа?

— Это не по римскому праву, — ответил художник. — Это по русскому праву, по праву справедливости, лейтенант!

— Очень карашо! — промолвила одна из женщин, старательно выговаривая непривычные слова.

Черныш пошел на огневую.

Девушки, которых он встретил днем на ступеньках, сейчас, стоя в очереди, следили из-под надвинутых шляпок за его пружинистой походкой. Он ступал легко и уверенно.

— Кажется, что для него великая радость, — сказала одна из девушек, — делать каждый шаг по земле...

XXI

«На протяжении трех суток вас не слышу. В отчаянии, потому что все время пребываю под угрозой смерти. Делаем все, чтоб поддержать связь. В Офен Штолили Пешт русские заняли новые районы. Ремхплац¹ занят...»

Эта шифротелеграмма была перехвачена однажды нашими войсками.

Окруженные молили Гитлера. Гитлер приказывал держаться.

Дивизии, снятые из-за Рейна, с гор Италии, прибывали под Будапешт. Срочно были высланы на фронт курсанты берлинских военных училищ. Прямо из эшелонов их бросали в бой.

Грандиозная танковая битва развернулась на северо-западе от столицы. Тут враг сосредоточил силы для того, чтобы извне протаранить кольцо окружения. Сметались с лица земли усадьбы венгерских магнатов. Степи пылали пожарами. Танки горели в туманном поле, словно костры кочевников.

...Будет лето после войны. По пыльному шоссе из Буда-

¹ Название площади, на которой приземлялись гитлеровские самолеты со снабжением.

пешта на Секешфехервар будет мчаться «виллис». Американец из союзной контрольной комиссии в дымчатых очках, защищающих от солнца, будет оглядывать ближние поля. Что это за железные стада разбрелись от Дуная до самого Балатона? Желтые обгоревшие «пантеры» да «тигры» зарастают бурьяном выше гусениц... Откуда их столько? За минуту насчитаешь десятки. И кто их остановил? Сколько мчится машина — все они, они, они вдоль дороги. Неужели все это ревело моторами, поводило жерлами, метало огонь? Неужели все это было остановлено теми русыми ребятами в обмотках, которые стоят сейчас на будапештских площадях, уверенно регулируя движение?

Эпос, зарастающий степными буйными травами! Пропетый в придунайских степях зимой тысяча девятьсот сорок пятого года советскими пушками, советскими людьми. За спиной темнел Дунай, впереди светилась Победа. В те дни, озаренные нашей кровью, не один советский боец повторил подвиг Матросова. Обвязавшись гранатами, с гранатами в потрескавшихся почерневших руках, с глубоко запавшими глазами, уже озаренными бессмертием, бросался боец под ревуший танк. И взрывался под танком, как бомба неслыханных атомных сил, наполненная святой энергией любви и гнева.

Окруженные в Будапеште не знали, как за Дунаем советские гвардейцы уничтожают их долгожданных «тигров», как рвут немецкую броню подкалиберные уральские снаряды. Окруженные уже потеряли ипподром, где по ночам садились транспортные «юнкерсы». Теперь боеприпасы им сбрасывали на парашютах в огромных пакетах. Пакеты все чаще попадали в руки наших штурмовиков, которые неудержимо приближались к Дунаю.

Бойцы батальона Чумаченко уже слышали стрельбу с правого берега, из Буды.

Командный пункт батальона в это время помещался в комиссионном магазине, выходящем витриной на одну из центральных улиц.

В полутемном, длинном и узком помещении, где когда-то шмыгали слащавые продавцы, теперь ходили озабоченные бойцы и офицеры. Под ногами трещало стекло расколотых пулями зеркал, шелестели пушистые меха, шелка и бархат, ласкавшие плечи богатых венгерских красавиц. На голом прилавке, задрав ноги, лежал телефонист, передав трубку комбату. Чумаченко, поддакивая, выслушивал рапорт из четвертой роты, которая штурмовала объект в двухстах метрах отсюда.

— Первый этаж занят, — докладывает командир роты, — на лестницах гранатный бой.

— Откуда докладываешь?

— Из ванной на первом этаже.

— Не врешь?

— Слушайте.

В трубку были слышны разрывы гранат.

На другом конце прилавка бойцы возились около патефона, найденного в этом же магазине. Среди груды пластинок со всяческими фокстротами и румбами бойцы нашли и несколько наших, отечественных. Хозяин магазина уже проставил на них свою цену.

— «Есть на Волге утес» — двести пенго! — выкрикивал ба тальонный радист. — «Ой гай, мати» — тоже двести.

— А румба?

— Сто!

— Иштением, что же это такое? Свои дешевле ценят, чем наши.

— Еще бы! Разве у них есть такие?

— Вот смотри: «Побратався сокіл».

— Далеко наши соколы залетели!

— Над Дунаем вьются!

— Две пятьсот.

— Понакрали на Украине!

— Поставь!

Радист ставит пластинку, заводит патефон.

Побратався сокіл
З сизокрилим орлом...

Шовкун, торжественно пригладив усы, присоединяется к пластинке. Товарищи поражены: какой чистый, сочный голос у са нитара! Он пел, задумчиво глядя в разбитую витрину, словно видел там не чужую улицу с искореженным, заснеженным трам- ваем, а родную зеленую весну, когда шумят дубы и зацветают луга.

Ой, брате, мій брате,
Сизокрилий орле...

Бойцы один за другим начали подтягивать. За дружными голосами пластинку уже едва было слышно.

— Прекратить! — рявкнул комбат у телефона. — Ни черта не слышу!

Бойцы умолкли, пластинку сняли. Однако песня продолжала звучать и шириться где-то во дворе.

— Что за чорт!

Иван Антонович кинулся к выходу на внутренний двор. Вся его огневая пела.

Наїхали, брате, пани й панята,
Та забрали діти, мої соколята...

Стоят по грудь в земле братья Блаженко. Стоит лейтенант Черныш. Стоит Хома. Стоит Багиров. Стоят все огневики и, за- думавшись, поют песню, мотив которой долетел к ним из КП.

Діти ви мої, діти-соколята!

Иван Антонович внутренне лжубуется своими бойцами, и ему трудно подать команду:

— Отставить!

Однако он ее подает, потому что комбат разговаривает.

А Чумаченко, закончив разговор, сам подошел к патефону.

— Что вы тут завели? — строго посмотрел он на Шовкуна. — Собрали капеллу!

— Мы так... не нарочно...

— Не нарочно! Где та пластинка? — спрашивает комбат. — А ну-ка, дайте сюда!

И, положив ее на диск, сам начинает крутить ручку.

Теперь комбат мешает Ивану Антоновичу. Но Антоныч молчит. Он сидит в углу в своей неизменной плащ-палатке, в шапке с опущенными ушами и рассматривает топографическую карту.

Эти карты накануне откуда-то принесли батальонные разведчики. Они думали, что захватили карты Венгрии, может быть как раз тех мест, где им скоро придется вести бои. Но Иван Антонович обнаружил, что перед ним самая настоящая Черниговщина.

Шевеля губами, Антоныч медленно разбирает мадьярские названия знакомых мест. Возможно, по этим картам карательные экспедиции венгров гонялись за черниговскими партизанами. Старший лейтенант находит села своего родного района, разыскивает знакомые дороги, перелески, холмы, балки, по которым ему приходилось ездить на партактивы и учительские сессии в райцентр.

— Наврали, стервы, — ругается под нос Иван Антонович. — Тут мне всякий раз приходилось греть чуб. Встанешь, бывало, с велосипеда и прешься на гору одиннадцатым номером. А юни влепили две горизонтали. Две горизонтали!.. Тьфу!

Обнаруживая на карте ошибку за ошибкой, Кармазин всякий раз докладывает об этом комбату с неприкрытым возмущением и презрением. Кажется, будто он готов пожаловаться на составителей карт, но беда в том, что некуда подать жалобу. Поэтому Антоныч сам делает и вывод, словно выставляет школьникам отметку.

— Я их научу составлять, — угрожает он, раскладывая карты на вытертых коленях. — Я им покажу! Пусть попробуют к моей карте подкопаться! Каждый объект занесу, каждый закоулочек. Каждый фонарь на моей карте будет стоять, как виселица!

Дело в том, что Иван Антонович собирался сам составить карту всех будапештских кварталов, в штурме которых он принимал участие.

— Для чего это вам, Иван Антонович? — спрашивали его молодые офицеры.

Старший лейтенант поучающе говорил:

— Никогда не теряйте чувства перспективы. Пройденные пути должны быть зафиксированы. Вот...

Он поднимает замусоленный блокнот. В него — все знали — старательно был занесен весь боевой путь Ивана Антоновича.

Блокнот был душистый: он лежал в сумке рядом с туалетным мылом. На листках — расчерченные схемы, а под ними объяснения маршрута. Эти дополнительные заметки Иван Антонович, пользуясь терминологией топографов, называл легендами.

— Детям передам! — угрожающе говорил он и прятал блокнот с душистыми легендами в свою пузатую полевую сумку.

XXII

— Антоныч, огонька! — кричит комбат от телефона. — Хорошего огонька!

Из третьей роты ему передают, что фашисты идут в контратаку.

Кармазин удивительно быстро вскакивает на ноги.

— Есть огонька!

Голос его, философски спокойный в разговоре, неожиданно наполняется твердым звоном.

— Мы их научим, как составлять черниговские карты!

Старший лейтенант бегом пересекает магазин.

— Черныш! — кричит он с порога. — НЗО! два! Пять беглых! Всеми!

Антоныч сразу посвежел, словно умылся снегом. Стоял и считал выстрелы. Расчет братьев Блаженко, самый бедовый из всех расчетов, опять вместо пяти выпустил семь. Хитрецы, верно, надеются на то, что старший лейтенант за выстрелами всей роты не заметит нарушения. Но Иван Антонович сам хитрее всех хитрых. Наверное, не родился еще тот, кто обманул бы его.

Выстрелы утихли, командиры расчетов друг за другом докладывают:

— Очередь!

— Блаженко! — строго кричит Иван Антонович. — Опять семь?

Ефрейтор выпрямился в ячейке. Молча хмурясь, ждет наказания.

— Товарищ гвардии лейтенант, он случайно, — заступает за ефрейтора Черныш.

«Ври, — подумал Антоныч. — Тоже такой. Я вас всех по глазам вижу».

Но не сказал ничего. Ему не хотелось сейчас наказывать за перерасход мин.

Со скрытой гордостью смотрел он на свою роту. Ишь, лоботрясы! Щеки горят, плечи так и ходят, руки ищут, с кем бы померяться силой. Черныш стал натирать Маковейчика молоденьким снегом Сцепились другие, пошла веселая потасовка по всей огневой.

¹ Неподвижный заградительный огонь.

Комбат снова требует огня. Кармазин подает команду:

— Расчеты!..

Мгновенье — и все на своих местах. Словно стоят так уже давно.

Дома, как четыре высокие скалы, обступили двор. Снесенные крыши, полуобвалившиеся стены. Чудом держатся высоковерху скрученные взрывами лестницы. На четвертом этаже видны внутренние стены одной из комнат, оклеенные обоями, обнаружилась внутренность человеческого жилья, впервые открылись небу. С закопченной оконной рамы свисает головой вниз длинноволосый блондинистый гитлеровец. Пальцы, растопыренные как когти, навсегда выпустили винтовку. Она валяется внизу, под окном, припорошенная снегом. Тут же и пилотка с нашитым спереди мотыльком. Тянутся окостеневшие руки, хотят достать выбитое оружие.

— Глубоко, не дотянешься! — кричит гитлеровцу Хаецкий.

Слева и справа гремит каменный Будапешт. Земля слегка покачивается, как на волне.

Откуда ни возьмись над самыми крышами, воя, проносится самолет. На брюхе черные кресты. Такой, как в сорок первом. Тогда он ходил по головам, как хозяин, а теперь словно удирает стремглав от погони.

— Девочки, по щелям! — командует кто-то из бойцов, имитируя женский голос.

Самолет засыпает двор мелкими трескучими гранатами. Защелкало, захрустело, всюду, как будто рассыпалась на тысячи осколков высокая стеклянная стена.

— Одурел фриц!

Треск утихает, бойцы вылезают из земли.

— Меня ранило, — обращается ко всем Хаецкий.

— Куда?

Хома тут же при всех расстегивается, спускает штаны, нагибается.

— Денис, посмотри!

Осколок, маленький и острый, как овод, впился в белое тело. Денис Блаженко берет его пальцами.

— Тяни, — командует Хома.

Ефрейтор осторожно тянет.

— Ты нас демаскируешь! — кричат ребята Хоме. — Сверкаешь до самой Буда!

Осколок вытасчен.

— Засмоли, Денис! — говорит Хома земляку.

Денис заклеивает ранку бинтом.

— И кровь не идет.

— До смерти заживет.

— Я вам этого не забуду! — подпоясываясь, грозит Хома в сторону Дуная.

— В санзвод пойдешь?

— Ты что: пьяный или кулака просишь? Пошел бы я сра-
миться!

— Очень ты боишься срама...

— Довольно про это, — говорит Хома. — А кто брякнет лей-
тенанту — прибью. Сам скажу, когда присохнет.

Командир роты и лейтенант Черныш курили в тамбуре подъ-
езда и слушали далекую стрельбу с того берега.

— Сужается кольцо, как шагрeneвая кожа, — говорил Иван
Антонович. — Теперь им хоть верть-круть, хоть круть-верть...

Он смотрел на Черныша и ждал.

— ...А под нашей миной смерть, — закончил Черныш именно
тем, чего ждал Иван Антонович.

Мимо ворот неожиданно проурчал танк. Он мчался на мак-
симальной скорости, вылетел на перекресток и, разворачиваясь,
стал палить по прилегающему кварталу, где уже расположи-
лись полковые тылы. Минометчики в радостном азарте кинулись
к воротам, на ходу заряжая противотанковые гранаты. В этот
момент каждому очень хотелось подорвать танк.

— Куда? — остановил бойцов старший лейтенант. Он считал,
что этот танк является «хлебом» артиллеристов, а совсем не ми-
нометной роты.

Черныш тоже схватил гранаты, шмыгнул за спиной Ивана
Антоновича. Но старший лейтенант заметил его.

— Черныш! — крикнул он вдогонку. — Постой!

Черныш не слышал или сделал вид, что не слышит.

Танк газовал по улице назад.

— Гвардии лейтенант!

Иван Антонович выругался так, как педагогам ругаться не
пристало.

Черныш застыл в подворотне.

Пиратский танк, пылая, мчался вдоль улицы. С верхних эта-
жей на него сыпались гранаты, бутылки с горючей смесью, одни
попадали в него, другие падали по сторонам или впереди, весь
асфальт горел. Механик-водитель давал полный вперед, сбивая
пламя встречным ветром и надеясь выскочить из огненного
мешка.

Черныш, стиснув зубы, швырнул гранату. Она ударила в
борт. Неужели удерет? Неужели выскочит? Черныш швырнул
другую. Граната грохнула под гусеницей, гусеница, сползая, по-
тянулась за машиной, как гадюка, — танк дернулся боком и за-
стопорил.

Открылся люк, из него стала подниматься хромовая перчат-
ка. В этот момент артиллеристы дали по борту, и танк взорвал-
ся, как бомба.

Черныш вернулся на огневую торжествующий, радостный.

Сгребал снег с цементного желоба и набивал им рот.

— Наставляй ухо! — с шутливой строгостью сказал Карма-
зин приближаясь.

Черныш, как блудный сын, послушно подставил старшему лейтенанту ухо под всеобщее ликование огневой...

Но на этом не закончилось. Ночью Иван Антонович разобрал своего лейтенанта по косточкам. Он любил исповедовать молодых. Черныш слушал Антоныча покорно, однако глаза его озорно смеялись.

Они сидели на КП у командира батальона.

Был предрассветный час, тот час, когда даже неумолкающий от гула Будапешт заметно успокаивался, содрогаясь, как бы в тяжелой дремоте, редкими взрывами.

— Так вот расскажи, Черныш, гвардии капитану, — говорил Иван Антонович, попыхивая козьей ножкой. — Все расскажи.

— О том, как танк подорвал? — не без ехидства спросил Черныш.

— Нет, как нарушил приказ командира роты.

— Но ведь я же получил за это по заслугам!

— Еще бы, — сказал капитан Чумаченко, явно становясь на сторону Антоныча. — Еще бы! Ты бы ему, Антоныч, на всю катушку...

— Счастье его, что подорвал. А если бы промахнулся, то... был бы ты бедный, Черныш.

И, переходя на свой обычный философский тон, Иван Антонович спросил уже вполне серьезно:

— Скажи, ты задумался над своим поступком? Делал ты тактический и психологический разбор его?

Черныш думал об этом. В самом деле, что понесло его в вояж, где он очень просто мог потерять голову? Официального приказа у него не было, даже наоборот. Честолюбие? Нет, ради честолюбия он никогда не согласился бы рисковать жизнью. Чувство мести? Черныш знал, что чувство мести у солдата на фронте очень много значит. У одного фашисты сожгли хату, у другого дочь увезли на каторгу, третьего самого гноили в концлагерях. Все это много значило. Но разве только это? Семья Черныша жила в Средней Азии и оккупации не знала. Его дом не сожгли враги. Его мать не испытала обид от иноземцев. Значит, не личная месть погнала его с гранатами к воротам. Это было что-то другое, более значительное и более высокое. Черныш знал, что только он, только такие, как он, способны уничтожить этот танк. Он знал, что от этого зависит очень многое для других людей, что неуничтоженный танк через некоторое время ворвется в другой квартал и будет крошить все на своем пути.

В тот момент он и в самом деле не думал лично о себе: будет он жить или нет. Какая-то прекрасная сила направляла его руку и диктовала каждый шаг. И сейчас Черныш сказал Антонычу именно об этом.

— Я понимаю такое чувство, — сказал капитан Чумаченко, радуясь, как всякий, кто неожиданно находит душевного союз-

ника. — Знаешь, я до войны работал электриком. Была такая красивая высоковольтная сеть «Днепроэнерго». Может быть, вы видели за Днепром в степи металлические мачты? Это она. Между прочим, она совсем изменила знаменитый украинский пейзаж. Мне выпало счастье и строить ее и работать на ней. Когда мы ставили мачты, я был еще комсомольцем. Бравый, знаете, парень был, чубатый...

— А теперь, вишь, виски уже, как снег, — задумчиво заметил старший лейтенант.

— Что ж поделаешь, Антоныч... Потерло нас. И сеть мою потеряло. Из тех проводов, которые я собственноручно натягивал, при немцах... ложки отливали. Провода, знаете, алюминиевые, толстые.

— Может, вот эта моя трофейная тоже из них? — невесело пошутил Черныш, вытягивая из-за голенища складную ложку.

— Может быть... А сколько там нашего труда вложено! наших радостей. Нашего сердца. Когда мы форсировали Днепр, я увидел нашу славную мачту-днепрянку. Она была смонтирована на воде, красавица, знаете, была. Легкая такая, стройная, на высоком фундаменте. Гляжу, лежит утопленная головой в воду. Хотелось подойти, обнять, сказать: «Встань, поднимись!» Вам, наверное, трудно это понять. А для меня эта сеть была всем. Потому, что не только я ее возводил, но и она меня поднимала. Родом я из Лоцманской слободы, — есть такая на заднепровских песках. Отцы и деды мои гоняли дубы по Днепру.

— Как это дубы? — спросил Черныш.

— Дубы? Это своеобразные лодки. Я уже их не застал. Хотя, правда, брат мой еще «дубы гонял». Собственно, он работал мотористом на катере, но все равно говорили: «дуба гоняет». Так вот, как только стала действовать сеть «Днепроэнерго», мое село сразу изменилось. Вы знаете, как рисуют украинское село на картинах? Хатки под соломой, тополя, край дороги, месяц над ней. А в нашей Лоцманской слободе вместо тополей выросли металлические мачты, выше всякого тополя. Электричество на улицах. Месяца почти не замечаешь. Есть он на небе или нет его, у нас все равно ночи ясные. На глазах, понимаете, пейзаж изменился. И я, лоцманский парубок, Гаврик Чумачок, становлюсь тем временем инженером Гаврилой Петровичем Чумаченко. Так как же мне было не любить эту сеть? Всю душу она забирала... И вот однажды — тревога! Линейные сообщают, что где-то обрыв. Обычно в таких случаях что делают? Выключают рубильник — и basta. Ремонтируй. Правда, для этого нужно остановить все предприятия Новомосковска или Павлограда примерно на полдня. И вот, знаете, мне так больно стало за мою сеть! Я не мог допустить, чтобы кто-нибудь сказал о ней плохое слово. Не хотелось услышать его, как плохое слово о любимой девчине. И я взялся ликвидировать обрыв без выключ-

чения тока. Вы представляете, что это значит? Дюк по сети идет напряжением в много тысяч вольт. Если б где-нибудь дуть-чуть отступился, в одну секунду от меня остался б только пепел. Но что же? Дал расписку, как перед операцией, что берусь добровольно. И взялся... Не буду говорить о технических деталях этого дела. Дело, знаете, очень деликатное. К тому же никто у нас еще не пробовал так... Скажу одно: когда работал, — а была ночь, непогода, синие искры трепетали в ионизированном воздухе вокруг проводов, — когда работал, ни разу как-то не подумал о себе. Наверно, точно так же, как Черныш сегодня. Тороплюсь, руки немеют, а мне так приятно думать, что все заводы города работают бесперебойно, сотни людей, стоя у станков, не подозревают даже, что где-то в степи орудует штангой неизвестный электрик, думая о них и забывая, что каждую секунду его может испепелить молния.

— И тогда чувствуешь себя настоящим человеком, — радостно сказал Черныш. — Человеком вполне!

«Какой он молоденький!» — неожиданно подумал Антоныч, глядя на своего взводного, и солидно сказал:

— Именно поэтому ты не имеешь права зря рисковать ни собой, ни другими. Не забывайте, что страна отдала фронту самых сильных, самых крепких, самых надежных. Она послала их на Дунай не для того, чтобы они умирали, а для того, чтобы...

Антоныч смотрел на Черныша выжидающе.

— ...Чтоб победили и вернулись возводить мачты. — ответил Черныш, как школьник.

— Пять, — поставил отметку Иван Антонович.

Кармазин строго осуждал тех офицеров, которые иногда ради внешнего блеска легкомысленно относились к себе или к подчиненным. «Неоправданные людские потери — самый большой позор для командира», — говорил старший лейтенант. В этом отношении взгляды Антоныча целиком сходились со взглядами комбата. Всегда уравновешенный и терпеливый, капитан Чумаченко становился беспощадным, когда узнавал, что какая-то рота понесла напрасные потери.

— Ты понимаешь, что дано в твои руки государством? — пробирал он какого-нибудь чрезмерно азартного вояку. — Не конь, не машина, не станок... Шофер машину разобьет — и то его судят. А ведь это люди. Люди, понимаешь?

— Да еще какие люди! — подхватывал Антоныч. — Богатство!

Хоть в душе Антоныч оставался сугубо штатским человеком, он, однако, был влюблен в настоящего бойца-фронтовика.

— Может быть, потому, что фронтовик ежедневно встречается со смертью с глазу на глаз, — вслух размышлял Антоныч, — он лучше других узнает подлинную цену жизни. Вы заметили, что на фронте люди живут дружнее? И мне кажется,

что даже процесс формирования нового сознания здесь происходит интенсивнее.

— Ого! — сказал Черныш.

— Чего ты огокаешь? Возьми, к примеру, отношение фронтовика к деньгам. Он попросту забывает их цену, ни во что их ставит. Или вспомним такое старое выражение: сделать карьеру. Это выражение я слышал тысячи раз среди нашего офицерства, и всегда оно употреблялось только в ироническом смысле. Ты обратил на это внимание? Разве это случайно?

— Нет.

— Потому что на настоящего война, по-моему, меньше всего давит та отвратительная сила, которая у нас, на политическом языке, зовется родимыми пятнами капитализма. Или, вернее сказать, он скорее сбрасывает с тебя этот груз, освобождается от этих пятен. Ибо воин меньше других захвачен узкими личными интересами. Он постоянно, днем и ночью, живет, так сказать, идейной общественной жизнью.

— Наэлектризованный, — сказал капитан, — током высокого прекрасного напряжения.

— Пусть так...

Иван Антонович не договорил. Во дворе разорвался тяжелый снаряд. С минуту все молчали, потом Черныш порывисто поднялся.

— Пойду взгляну, не пришибло ли часового.

Капитан и Антоныч тоже встали. Переступая через бойцов, спавших вповалку, они вышли во двор. В воздухе пахло порохowymi газами.

— Пропуск! — послышался голос Романа Блаженко.

— Не узнаете, Блаженко?

— А спросить обязан.

— Правильно.

Где-то над головами мурлыкали «кукурузники», неутомимые друзья пехотинцев. Когда-то эти учебные самолеты бомбили фрицев в курских и украинских кукурузных полях и там получили от бойцов кличку «кукурузников». Это солдатское прозвище они пронесли до венгерской столицы, где нет уже под ними никакой кукурузы, а высятся лишь каменные громады. «Кукурузники» ходят над ними спокойно и размеренно, не нервничая, как «мессеры», ходят над самыми крышами ночного города, нащупывая каждый купол, готический шпиль, вспышку на вражеской батарее...

За высокой стеной встают малиновые горы. Пылает Буда на том берегу. Горит и здесь, в этом квартале. Ощерились багровые ребра балок... Над иным зданием дым поднимался столбом, курчавясь вершиной, как дуб. Как тот песенный дуб, который разрастался, не боясь мороза. С одной стороны он был зловеще багровым. Большая часть кудрявой кроны оставалась в тени и только угадывалась. Но вот где-то внизу забил дру-

гой световой источник, гигантская кропа обозначилась вся и замигала бледнозелеными светлячками. От этого миганья, частного, как далекие зарницы, в степи, казалось, дуб покачивается. Он расплывается, растет, превращается в тучу. И все мигает, мигает. От этого миганья кажется, что и все небо и вся земля качаются.

— Не холодно, Блаженко? — спрашивает старший лейтенант.

— Ничего.

Боец стоит, положив на автомат руки в лайковых перчатках, которые лопнули по швам.

В ячейках чернеют минометы. Они сейчас напоминают длинноногих лисиц, которые, подняв передние лапы, присели на хвосты в напряженном ожидании. У минометов спят бойцы, накрывшись плащ-палатками и согреваясь собственным дыханием. Иван Антонович обходит их, присвечивает фонариком. Палатки поседели от мороза.

Где-то на левом фланге взметнулись в небо упругие хвостатые кометы «катюш». Полетели яркими, огненными трассами через темный Дунай на Буду. Через минуту донесся грохот, словно ударил молодой весенний гром.

— Звучно, — говорит капитан Чумаченко. — На хорошую погоду. Так и заводские гудки у нас над Днепром: на дождь хрипят, а на хорошую погоду поют звучно.

XXIII

Пешт, восточная часть города, был уже почти полностью очищен от противника. Несколько тысяч кварталов остались за спинами наших бойцов. Тесня врага от квартала к кварталу, советские войска прижали его с трех направлений к Дунаю. Фашисты бешено сопротивлялись в прибрежном районе.

На той стороне Дуная, в белесой мгле, тонула Буда, опускаясь террасами кварталов к самому берегу. На горе был виден высокий королевский дворец. Артиллерия, установленная противником возле дворца и ниже, под горой, обстреливала Пешт.

Полк Самиева и его соседи уже штурмовали площадь перед парламентом. Самоходные пушки и танки, вырвавшись из засад, где они еще с ночи, притаившись, ждали сигнала атаки, сейчас прочесывали всю площадь до самого берега. Прикрываемые ими штурмовые группы шаг за шагом приближались к парламенту.

Минометчики Кармазина прокладывали дорогу автоматчикам своего батальона, наступавшим правее парламента через небольшой сквер. У них было задание выйти к набережной.

Среди памятников, фонтанов, железных оград перебежали,

отстреливаясь, гитлеровцы. Штурмовые группы в гранатном бою вытеснили их из сквера, и они вели теперь огонь из-за колонн парламента, из-за гранитных перил набережной.

Энергичный бой тем временем нарастал. Как лесное птичье царство, стрекотали автоматчики среди каменных громад. И минометы били сегодня как-то особенно звонко, словно в литавры.

Минометчики в это утро уже несколько раз меняли позицию, маневрируя в фарватере штурмовых групп. Сейчас горячие минометы остывали в самом сквере. Их трубы еще дымились, как будто дышали паром на морозе.

— Дожили! — весело крикнул Иван Антонович. — Дожили, что бить больше некуда!

Действительно, штурмовые группы уже сблизились с противником так, что мины могли зацепить своих. Бить по вражескому тылу? Но тылом у врага был Дунай.

Дунай, Дунай! Так вот ты какой! Не голубой, не вальсовый! Темный, как грозовая туча! Широкое смертельное поле, гибельная нейтральная зона! Искрошенный снарядами лед трется о берега. Клокочут темные глубины, пенится вода, как на подводном камне... Нет, не голубой, не вальсовый!

Из Буда пушки противника все чаще бьют по Дунаю. Вражеские артиллеристы уже видят в бинокли своих, припертых к берегу. Сбившись за углом парламента, наскоро перегруппировавшись, гитлеровцы снова идут в контратаку. Удержаться хотя б до ночи... Свинцовый град сечет воздух. Заскрежетала бронза монументов. Трассирующие пронизали сквер.

Черныш, выглядывая из-за пьедестала, видит, как на штурмовиков лейтенанта Барсова кинулись десятки фашистских солдат.

— Гвардии старший лейтенант! — почти кричит Черныш командиру роты. — Разрешите поддержать Барсова! Наседают...

Пятна темного румянца на щеках Черныша разгораются, словно под солнцем.

— Разрешите, гвардии старший лейтенант! — кричат бойцы. Антоныч разрешает первому взводу.

Черныш взмахнул автоматом:

— Первый взвод! За мной!

Как стая тяжелых птиц, у самой земли летели бойцы разворачиваясь. С разбегу Черныш наскочил на какого-то бойца-блестуна. Он полз, волоча автомат, оставляя на снегу кровавый след. След был яркий, пылающий.

— Где санпункт? — поднял голову боец. Он был без ватника, в одной гимнастерке, заправленной в штаны. — Слышите: где санпункт?

— Там! — Черныш показал рукой в тыл не останавливаясь.

— Давайте, самоварники! — крикнул раненый вслед ми-

нометчикам. — За парламентом их набилось, как червей. Давайте, братья...

Парламент, высокий, темнокоричневого цвета, с готическими шпилями по бокам и куполом в центре, мрачно смотрел на бойцов. Похожий на огромный средневековый собор, он как будто удалялся от наступающих, опускался в Дунай.

Без крика падали раненые. Минометчики, передвигаясь короткими перебежками, уже соединились со штурмовиками лейтенанта Барсова.

— Евгений, ты здесь? — услышал Черныш голос откуда-то сбоку.

Оглянувшись, он увидел Барсова, молодого разгоряченного боем офицера, с автоматом в руке. Барсов, не глядя на Черныша, прицелился куда-то из-за каменной тумбы, дал очередь и прыгнул через ограду к перилам набережной. Знакомый Чернышу парторг четвертой роты, пожилой высокий сержант, поднялся в полный рост, крикнул «ура» и повалился, раненный, на талый снег. Но «ура» не погасло, оно вспыхнуло и покатилося вдоль берега, подхваченное многими голосами. Наверное, его услышали и на той стороне широкого Дуная.

Гитлеровцы, бешено отстреливаясь, отступали за гранитные массивные колонны. Эти колонны с западной стороны, со стороны Дуная, подпирали тяжелый тысячетонный парламент.

Хаецкий, пробираясь под стеной, подкрадывался к одной из таких колонн, за которой стоял автоматчик. Фашист строчил, не замечая Хаецкого.

Мало у тебя глаз, враг! Не знаешь ты, что долгие недели городских боев в лабиринтах Пешта многому научили бойца Хаецкого! Сто семьдесят кварталов, добытых в жестоких боях батальоном Чумаченко, не прошли для Хаецкого даром. Он привык уже к этим тущобам и подземельям, к баррикадам на улицах, к окнам-бойницам, к колоннам-защитницам. Он уже знает, где ему нужно быть осторожным, а где бесстрашным прыжком броситься вперед.

Так, как здесь.

Из-за колонны был виден ствол черного автомата. Хаецкий прыгнул сбоку, схватил горячий ствол обеими руками и дернул на себя. За автоматом из-за колонны потянулся гитлеровец. Здоровенный, выше Хомы, в черных наушниках, с блуждающими, дикими глазами. Он никак не хотел выпустить автомат из рук, словно и сам был частью этого автомата. С минуту они, сопя, вырывали друг у друга автомат, каждый стремился схватить и столкнуть противника в Дунай. Но враг стремился в сторону от берега. Пятился и Хома. Наконец Хома, улучив момент, изо всех сил вывернул автомат. Руки гитлеровца хрустнули в суставах. Какой-то солдатик, незнакомый Хоме, пробегая мимо, не задерживаясь, треснул врага прикладом по черепу. Тот схватился за голову, закружился, но не упал. Он с ужасом

косился на высокий берег, закованный в камень. Дунай темнел внизу, как пропасть.

— Не крутись! — тяжело дыша, крикнул Хаецкий и стукнул фрица его же автоматом. — Поддержу!

Враг очутился у берега. Хома с разгона поддал ему сапогом в зад, и тот полетел в воду.

Длилось это считанные секунды.!

Весь берег клокотал и вихрился. Тяжелый смрадный дым стлался над рекой. Штурмовики вдоль всей набережной гранатами и врукопашную добивали противника.

Тем временем по улицам прилегающих к парламенту кварталов уже тянулись колонны пленных. Сами пленные теперь ускоряли шаг, чтобы быстрее выйти из-под огня своей же артиллерии. Она безумолку била по Пешту с высот Буды.

Торопливо прошла колонна венгров с белым флагом из простыни со своим полковником впереди.

— Где плен? — спрашивал полковник.

Орловцы и черниговцы показывали ему, не пользуясь картами Будапешта.

Пленные брели в колоннах, опустив головы, ни на кого не глядя. Они были в самых нелепых костюмах. Только немногие шли в своей униформе, на остальных были пальто, плащи, шляпы, у многих шеи были затянуты платками. Странные превращения произошли с этой армией: как только у нее из рук выбили оружие, она сразу стала похожей на колонну арестантов. Как будто ведут их по городу из тюрьмы на работу, или в баню. У них не было силы, морального права встретиться взглядом с бойцами, которые стояли на тротуарах, еще потные, разгоряченные, радостные после боя. Хоть было не совсем холодно, у пленных под носами висели капли.

— Хотя бы утерли свои арийские носы! — кричали бойцы.

Партию пленных, человек полтора, гнал Казаков. Сержант был сегодня особенно возбужден.

— Чистокровное стадо! — кричал он знакомым однополчанам. — Даже два оберста. Вон видите, нос долотом вниз... Думаю, что майор Воронцов разрешит нам сегодня сесть на лошадей.

— А Буда!

— Ей то же будет!

Пленные брели и брели.

— Было в сорок первом году, — сказал какой-то тонконогий пожилой пехотинец в обмотках, туго накрученных до самых колен, — было, братцы: один из автоматчиков гнал наших десять. А теперь наш автоматчик тонит их сотню.

— История, батя, история, — вмешался бас. — Колесо истории. Тютюн ван?

— Нынче. Сигары... гавайские.

— Это барахло, батя! Кременчугской махорочки бы!..

После боя на набережной минометчики, влетев в помещение парламента, столкнулись у входа с Ференцем.

— Ты уже здесь, Ференц! — крикнул Вася Багиров. — Убьют! Еще стреляют...

— Уже не убьют, — снимая шляпу, торжественно ответил художник. — Уже нет.

Приблизившись к Чернышу, Ференц взял его за руку.

— Товарищ лейтенант... гвардии, — произнес он с акцентом. — За все... всем вам... всей России!.. Большое спасибо!..

Они побежали вверх по белым мраморным ступеням. За бойцами, размахивая полами своего макинтоша, спешил Ференц. Он указывал на колонны из цельного мрамора, возвышавшиеся по сторонам.

— Наш шедевр!

«Шедевр!» Это слово задело Черныша за живое. Перед ним предстал наяву Саша Сиверцев из альбома художника. Тогда Ференц тоже так сказал.

— Эти завезены из Швеции... Эти — из Феррары... Эти — из Германии. Монолиты!..

Хома внимательно оглядывал все вокруг. Ему все казалось, что за каждой колонной в полутьме притаился чужой автоматчик.

— Приемный зал... Красное дерево... Бронза... Розовый мрамор... Шедевр!..

Бойцы какого-то другого полка группами спускались навстречу, с ручными пулеметами на плечах, возбужденные, сильные. Пошучивая, они гнали нескольких обезоруженных фрицев.

— Куда, братья славяне? — спросили бойцы из другого полка.

— К министрам!

— Нету!

— Еще сидят в канализационных трубах!

— Го-го-го!

Залы, словно гулкие Альпы, отражают веселые голоса.

В окна, сквозь разноцветные стекла, льется мягкий радужный свет, наполняя залы, фойе и коридоры пестрым полумраком. Как будто поднимаешься по этим белым ступеням в туманный, фантастический мир.

— Палата депутатов, — с гордостью объясняет Ференц, забегая минометчикам то с одной, то с другой стороны.

Чем выше поднимались, тем светлее становилось вокруг, словно взбирались на высокую гору. Сквозь пробитый купол светило небо.

Палата депутатов... Мрачный, величественный зал с ярусами стульев. Перед каждым стулом столик с табличкой. На ней

фамилия депутата. Где сейчас эти депутаты, продавшие фашистам свой народ? В Швейцарии, или Баварии, или под небом Сицилии?..

Внизу, посреди зала, как на арене цирка, круглый стол под зеленым сукном. Вокруг стола, на полу, разбросаны тяжелые старинные книги, в кожаных переплетах. Стоят кресла министров, обитые красным бархатом.

— Трибуна оратора!.. Ложи дипломатов!.. Ложи журналистов!

Ференц замирает от гордости и умиления.

Хаецкий утомленно присел в одно из кресел, разглядывая разукрашенные стены. Только теперь он почувствовал, как гудят ноги.

— Хома! Хома! — озабоченно говорит Ференц. — Это кресло министра.

— Министра? — Хома заглядывает под себя. — Так что же? Сломается? Нет, как будто стульчик не хуже других. Мягкий, как раз для меня... Ты ж знаешь, Ференц, что я контуженный в это самое место...

Хома утирает пот рукавом. Бойцы рассыпались между депутатскими рядами, шныряют, ищут: не притаился ли часом где-нибудь оглашенный фриц?

Художник собирает с пола тяжелые фолианты и, обтерев их, складывает стопкой на стол.

— Что это за книги?

— Законы, Хома... Наши старые законы.

— А-а, это те законы, что пели, как скрипка! — Хома неожиданно тонким дребезжащим голосом имитирует скрипку: — «Йде весілля! нап'ємося й наімося, йде весілля — нап'ємося й наімося...». Так? А наш бас им отвечает (Хома скандирует медленно басом): «Ще по-ба-чи-мо, ще по-ба-чи-мо...» Вот и побачили. Разве не так, Ференц?.. Однако почему они, твои законы, такие затоптанные, пылью прибитые?

— Я перетру, Хома.

— Перетри, перетри хорошенько, Ференц, — поучает Хома, — да еще и перетруси. Бо там, наверное, уже и моль завелась. Какие хорошие — оставь, а какие плохие, — в печку. На их место положи новые. Такие, чтоб войны не было! Слышь, Ференц?

— Но это в компетенции министров, Хома.

— Как ты говоришь?

— Ну... это наши министры...

— Министры... Гей, вы, министры! — кричит боец пустым местам палаты, как будто там и в самом деле сидят министры. — Подите-ка сюда, у меня к вам разговор. Буду своего добиваться... Вот фашистов мы выперли в Дунай. Места для вас

¹ Свадьба (укр.).

свободны. Будьте ласковы, мерси, занимайте... Но знайте, что теперь Хома не хочет, чтобы вы снова гнули фашистскую политику и загибали ее на войну. Разве напрасно я всю Мадьярщину до самого Дуная своими окопами перекроил? Разве напрасно не вернулись в нашу Вулыгу Олекса и Штефан, и кум Прокоп? Нет, ой нет!.. Теперь я буду внимательно к вам прислушиваться. Не захотите жить мирно да ладно — будет вам горько, как сегодняшним фрицам! Не усмехайся, Ференц, не скаль зубы. У меня еще у самого такие, что гвоздь перекушу. И рука еще не сдает. И сыны еще дома растут, червоные, как калина, крепкие, как дубки. Я им пишу, чтоб смотрели с нашей Вулыги и на Дунай, и за Дунай, и на весь белый свет!

Черныш стоял наверху, в палате сенаторов, окутанный белыми сумерками. Молча разглядывал пышную окраску стен, скользя по ним грустным взором, и думал о тех далеких, растерянных по пути, что шли и не дошли сюда. И боец Гай, и Юрий Брянский, и Саша Сиверцев, и Шура Ясногорская — все, навеки или на время выбывшие из строя, как будто только что поднимались с ним, вооруженные, по белым ступеням и вступили в этот зал. Он ясно видел их лица, слышал их голоса и сам обращался к ним.

«Вы не должны быть никем забыты, ни изменчивыми политиками, ни дипломатами, ибо вы шли в авангарде человечества и без вашей жертвы не было бы ничего...»

«Человечество подхватит вас, как песню, и понесет вперед, потому что вы были его первой весенней песней!..»

Большие дороги армий пролегли перед глазами Черныша. Отсюда, с этой высокой точки чужого побежденного города, он доставал взглядом неисчислимые тысячи серых окопов, разбросанных по полям Европы, слышал перестук солдатских подков по заминированным асфальтам, стон забытого раненого в подоблачных горах. Жизнь, перестав быть для него розовой загадкой юности, открывалась перед ним в простоте своего величия. Он видел ее смысл сейчас яснее, чем когда бы то ни было. И пусть он упадет, как Юрий Брянский, в задунайских низинах или в словацких горах, — он и последним проблеском сознания будет благодарить судьбу за то, что она не водила его зигзагами, а поставила в ряды великой армии, на прямую магистраль.

Мысли его прервал Багиров, явившийся с сообщением, что батальон собирается.

Возвращаясь из палаты сенаторов, Багиров и Черныш услышали голос Хома. Заглянули в нижнюю палату. Хома сидел глубоко внизу, закинув ногу на ногу, и поучал. Автомат лежал у него на коленях. Вокруг Хома, скрючившись, держась за животы, хохотали бойцы. Среди них были и самиевцы, и солдаты из других частей.

— Кончай ночевать! — скомандовал старшина. — Минометная, выходи!

Хома вылетел из кресла.

— Будь здоров, Хома! — тряс ему руку Ференц прощаясь.

— Будь здоров, Ференц!.. И не кашляй!

— Будь спок, будь спок, Хома. Положись на нас. Спасибо за кушай-кушай... Спасибо за все.

Бойцы загрохотали между депутатских мест по паркетным ступенькам.

Из Буды били пушки.

Один снаряд, проскочив сквозь купол, разорвался внизу, в приемном зале. Полетели обломки статуй. Тучей поднялась со стен белая известковая пыль. Бойцы, осыпанные ею, выскакивали из парламента на свежий воздух. Оружие стало белым. И каждый боец вылетел белый, как сокол.

XXV

Вечером полк готовился к маршу.

Подразделения группировались в одном из темных кварталов. Командир полка Самиев, собрав комбатов, сообщал им порядок движения.

Ароматные кухни тряслись через двор, теряя жар из поддувал. Бойцы спешили с котелками на ужин.

Багиров, добыв подводы в транспортной роте, укладывал материальную часть. По всему было видно, что марш будет далекий. Иван Антонович заставлял своих минометчиков переобуваться при нем, чтоб не натерли ноги в пути.

Полковые разведчики уже гарцовали на черных лошадях.

Среди бойцов о марше ходили разные слухи.

— Говорят, под Турцию...

— А я слышал, что на Дальний Восток.

— Брехня!.. Идем на север, форсировать Дунай.

— Чего тут гадать: куда прикажут, туда и пойдем.

В огромном пустом гараже бойцы разложили костры. Ужинали, переобувались, сушили портянки. От нагретых ватных штанов шел пар.

Иван Антонович подошел к одному из костров, у которого сидели минометчики. Волна теплого воздуха мягко накатила на него.

Среди минометчиков у костра сидели лейтенант Черныш и майор Воронцов. Прихлебывая чай прямо из закопченных котелков, присутствующие вели спокойную, видимо давно начатую, беседу.

— ...Знаете, как об этом сказал Михаил Иванович, — говорил майор. — Вы, говорит, явитесь домой новыми людьми, людьми с мировым именем, людьми, которые сознают свое непосредственное участие в создании мировой истории.

— Чуешь, Роман? — толкнул земляка Хома. — Творец мировой истории!

— А они нас считали низшей расой...

— А мы и будем низшей, — говорит Хома.

— Что-о? — насторожился ефрейтор Денис Блаженко.

— Низшей расой, говорю. Потому что мы останемся на земле, а они закачаются на виселице. Разве ж это не выше? Бойцы хохочут. Маковейчик играет затейливым портсигаром.

— А ну, покажи свой трофей майору! — подзуживают его бойцы.

Маковейчик демонстрирует. Умный портсигар, щелкнув, выбрасывает готовую самокрутку.

— Здорово! — заблестели глаза у одного из пехотинцев, такого же молоденького, как и Маковейчик. — Только закладывай бумагу!

— Здорово! — говорит и майор, прикидываясь удивленным. — А ну еще!

Маковейчик с простодушной радостью щелкает.

— Домой повезешь? — спрашивают его.

— Я такой мизерии не повез бы, — говорит Хома. — Чи я беспальный, что сам не скручу себе цыгарки, най его маме! И вообще это выдумка, чтоб только глаза замазывать. Раз-два — и уже заедает. Привезти — так мотоцикл!

— Или часы, — вставляет молоденький пехотинец. — Часов у них, как мусора.

— Все «роскопы»,¹ — замечает Денис Блаженко, не отрывая взгляда от развернутой дивизионной газеты, которую держит в руках. — Штамповка!

— А сколько шелков! — бросает кто-то.

— Искусственные, — возражает Хома. — Только в воду — и расплзаются... Разве мы слепые? Мы все видим.

— Много у них всякой всячины, — задумчиво говорит майор и останавливает взгляд на газете в руках Блаженко. На первой странице, у заголовка, изображен орден Ленина, которым награждена дивизия. — А вот скажите мне, товарищи, — Воронцов передает ординарцу пустой котелок, — скажите мне, у кого из них есть... ленинизм?

— Ле-ни-низм? — переспрашивает Маковейчик, ошарашенный этим неожиданным вопросом.

— Да, ленинизм. У кого из них родилось такое учение, которое, как солнце, осветило дорогу всему человечеству?

— Ни у кого.

— А у кого из них есть такое государство, — постепенно повышает голос майор, — которое устояло, как скала, в этакую бурю?

— Ни у кого.

¹ Марка дешевых часов.

— А у кого из них есть люди, которые, не сломав хребта, вынесли б все то, что вынесли мы с вами?

Бойцы сидели задумавшись. Даже в их молчании было что-то объединяющее. Видно было, что думают они не каждый про свое личное, отдельное, а про единое, одинаковое у всех. Это был момент той глубокой задушевности, которая так часто возникает у солдатского костра между людьми, прошедшими вместе долгий, тяжелый путь, сроднившимся в боях. И радости, и боли, и воспоминания, и перспективы давно уже стали для них общими, как бы семейными.

Черныш достал из кармана треугольник письма и, наклонившись к огню, развернул его.

«Который раз лейтенант его перечитывает». — подумал Хаецкий.

Это было первое письмо от Шуры Ясногорской, полученное Чернышом сегодня.

«Здравствуй, Женя, — писала она. — Лежу в армейском госпитале, в том самом, где когда-то сама работала и встретила Шовкуна. Здесь же и Саша Сиверцев, мы часто встречаемся с ним и вспоминаем полк. Полк! Сколько в этом слове для нас и тоски, и боли, и невыразимого очарования! Где вы теперь, Женя? В Будапеште ли, под Эстергомом, или у Комарно? Мы каждый день думаем об этом с Сашей и никак не можем угадать: всюду, где самые тяжелые бои, там, нам кажется, и вы. Отсюда, со стороны, все предстает перед нами в каком-то особенном освещении. Каждый шаг нашего пехотинца кажется событием, достойным летописи. Женя, как я счастлива!.. Да, именно счастлива. Пусть тебя не удивляет, что после всего случившегося я еще могу говорить о счастье. Не думай, что я забыла что-нибудь или раны уже зарубцевались и не кровоточат. Нет, Женя... Золотая трансильванская сопка горит, не угасая, и не меркнет... И только величие того, за что он погиб и за что готова погибнуть я, дает мне силы и ощущение счастья даже в самую тяжелую минуту. Потому что разве счастье — это только смех, и наслаждение, и ласки? Так представлять его могут лишь ограниченные люди, которые никогда не были бойцами и не имели своего полка и своего знамени. Разве такие мелкие «счастливицы» не достойны жалости? Это, Женя, ты знаешь лучше, чем я. Знаешь ты и то, как осточертела мне эта госпитальная кровать, эти процедуры и режимы. Хочется скорее освободиться от них и опять к вам, к вам, нога в ногу с вами...»

Во дворе послышалась команда:

— Офицеры, к комбату!

Евгений встал, пряча письмо. Воронцова у костра уже не было. Бойцы гасили огонь, выходили во двор. В темноте звучали короткие команды, строились подразделения. Пролетал снег. На западном берегу сквозь порошу метели пылали горы. Белели освещенные пожарами бетонные быки высоких дунайских

мостов. Взорванные фермы опустились в багряную воду, словно пили ее жадно и никак не могли напиться.

— Знаменосцы, в голову колонны! — пронеслась команда командира полка.

Подразделения двинулись.

Они будут идти вначале среди темных ущелий разбитых кварталов. Потом выйдут в придунайские поля, занесенные снегами. Будут идти всю ночь, слыша канонаду и слева и справа на флангах. Будут идти прямо в нее, не колеблясь, сжимая верное оружие. Впереди взвод знаменосцев с полковым знаменем в жестком брезентовом чехле, с позолоченным венчиком на конце древка.

Офицеры на ходу будут поглядывать на компасы, светящиеся в темноте на их руках.

Будут идти, идти, идти...

Золотой венчик знамени, покачиваясь, будет все время поблескивать над головами бойцов.



Книга третья

ЗЛАТА ПРАГА

Девы поют на Дунае, вьются голоса
чрес море до Киева.

«Слово о полку Игореве».

I

Наступила великая весна.

Ширились горизонты, день становился просторней. С каждым пройденным километром солнце припекало все сильнее. Наступление приобретало все более стремительный темп. Куцых топографических карт хватало всего на несколько часов движения. Посылаемые из высших штабов, эти карты едва успевали догонять наступающие войска.

За двое суток полк с боями прошел от Грона до Нитры и форсировал ее у местечка Новые Замки. А сталинскую благодарность, полученную за освобождение Новых Замков, бойцы читали уже за десятки километров от Нитры, на реке Ваг — третьем словацком притоке Дуная.

Сухие дороги запылили в глубь Словакии. Шинели просохли и стали легкими, как птичьи крылья.

Может быть, потому, что весну полк встретил в походе, у бойцов создавалось впечатление, будто самое понятие времени зависит от них, от темпа их наступления. Чем стремительнее шли они вперед, с боями форсируя вскрывшиеся холодные реки и задыхаясь в горячих маршах, тем быстрее, казалось, наступает весна.

Долгожданная пыль апрельских дорог! Впервые в этом году она за клубилась над бойцами. Не та, что разъедала им глаза в сорок первом, не та, что отравляла их в украинских, изнемогающих от жажды степях! То была тяжкая пыль горя, смешанная с грозной сажей пылающих родных жилищ... А эта —

золотистая, легкая, апрельская! — поднимается рядом с тобой могучими крыльями, предвещая великую солнечную весну. Бурная спутница походов. она, кажется, уже несет в себе привкус Победы.

— Странно! — восклицает посеревший от пыли Маковей, обращаясь к Роману Блаженко. — Аж на зубах скрипит, а приятно!

— Приятно-то приятно, да как бы засуха не ударила...

Они скачут верхами за ротными повозками. Вокруг расстилаются плодородные придунайские равнины. Кое-где покажется на горизонте одинокий словак с волом в плуге. Лучи солнца, повернувшего на запад, рикошетят на далеких полевых озерах. Над прошлогодними камышами уже взвиваются белые табунки крячков. Впереди вся дорога запружена войсками. В тучах поднятой пыли видны очертания подвод, всадников, машин. Сотнями серебряных молодиков¹ поблескивают на солнце подковы. Спокойно покачиваются на лафетах полковые артиллеристы. Обгоняя минометчиков, одна за другой проплывают «кастюши»

Гомон марша, как всегда, возбуждает Маковея. Словно сквозь огромный радостный оркестр пролетает он, ротный соловейко. Ему хочется петь.

— Роман, каких я девчат видел в Галанте!

— Эх, Маковей, Маковей... Жди беды. Будет тебе от старшины. Мы тут всей ротой тебя искали...

— Старшине я уже доложил... Выругал на первый раз — и все!

— Счастье твое, хлопче, что не во время боя отстал.

— Дурак бы я был — во время боя отстать! За это дали б штрафную... Но какие там девчата! Видел бы ты их, Роман! — Телефонист сладко прищурился, покачал головой. — Павы!

Этой весной молодой хмель горячо бродил в крови Маковея. Юноша влюблялся в каждую девушку, которая подавала ему кружку воды через ограду или лукаво улыбалась, выглядывая из окна. Упругое, мускулистое тело, на котором трещала изъеденная соленым потом гимнастерка, требовала своего.

— Гляди, как бы эти павы не сбили тебя спанталыку...

— Словачки и мадьярочки, Роман! Как высыпают из костела да как поплывут по улице, — глаз не оторвешь!.. Платки на них яркие, юбки короткие и круглые, как обручами стянутые... Идут по тротуару в красных сапожках, маленькие молитвеннички к груди прижимают и на меня из-под косынок только зырк-зырк!.. А сапожки у них дзинь-дзинь... Иду себе рядом с ними и люблюсь.

«Марусина!» — зову одну, самую лучшую... А она улыбнулась мне, остановилась у калитки. «Я не Марузина, я Ирин-

¹ Молодой месяц (укр.).

ка!» — Ах, Яринка! Йов, — говорю. — Хочу, — говорю, — посмотреть, что там у тебя так красиво позванивает, когда ты идешь по улице... Показжи-ка свое дзинь-дзинь-дзинь!..»

Тогда она глянула на меня — да как глянула! — и, засмеявшись, подняла свой красный сапожок. И что бы ты думал, Роман? Ничего особенного... Просто между высоким каблуком и подошвой у нее прилажен маленький, как пуговица, медный колокольчик... А я вначале думал, что это какое-нибудь чудо особенное!

«Я, — говорю, — Яринка, думал, что сама земля под тобой позванивает... потому что такая ты вся... ладная!»

А она повела глазами, щелкнула по колокольчику своим кожаным молитвенничком, и звоночек аж засмеялся! Чудесно!.. Но вижу: ехать уже пора. Тронул коня, а Яринка как глянет на меня... И жалобно как-то и испуганно: «Хова?»¹ — «Фронт», — говорю. «Не надо фронт... Не любим фронт...»

Ну что ты ей скажешь на это? Пока я за угол не свернул, все стояла на месте, как вкопанная, смотрела мне вслед...

— Ой, хлопче, хлопче, — укоризненно говорит Роман. — не играй с огнем. И не заметишь, как в капкан попадешь...

— Что ты мне мораль читаешь? — вспыхнув, кричит Маковей. — Взялись за меня, опекуны! И ты, и Хома, и все — одно и то же: веди себя хорошо, остерегайся, гляди в оба... Сам не маленький, кое-что понимаю!

— Маковей, — спокойно продолжал Роман, — я прожил две твоих жизни, прислушайся к моему слову, спасибо когда-нибудь скажешь... Разве я, или Денис, или офицеры зла желают, приструнивая тебя? Да ведь вся рота болеет за тебя, как за родного сына! Ты, правда, хлопек хороший, в боях авторитет приобрел... И грамотнее многих из нас, и медали не зря тебе повесили... Но молодой еще и падкий на все, что в глаза бьет!

— А что ж, по-твоему, у меня душа из репейника?

— То-то и оно, что душа у тебя молодая и горячая, доверчивая ко всему. Оберегай ее, Маковей, не вывихни нигде! Разве забыл, сколько в Будапеште шпионок наши хлопцы поймали! Сколько там всяких субчиков в дамские жакеты переодевалось? Уже у них и повязки на рукавах, уже они и «антифашисты», уже они и «подданные» других держав — паспорта у них заранее заготовлены... Для чего это? Думаешь, добра тебе желают такие типы? Они только и ждут, чтобы завести тебя куда-нибудь одного, напоить метиловым спиртом — и ножкой в спину... Это тебе, хлопче, не дома, тут чужая территория...

— Выходит, и на девчину глянуть грех? Уж и пошутить с ней нельзя?

— Грех не грех, а береженого бог бережет. Думаешь, те красные сапожки тебе позванивают? То искуше-ния твои, Ма-

¹ Куда? (венг.).

ковой!.. Ходят юни по улицам в сапожках, обступают тебя со всех сторон. Все перед тобой выставлено: вина панские, картинки бесстыдные, женщины тонкобровые, Бери, Маковей, развлекайся, получай полное удовольствие!.. Разве не капканы? А ты их обойди и иди своей дорогой, куда твоя миссия пролегла. Глянь, Маковей, какие пути-дороги перед тобой стелются! Такие пути, что как встанут, так и до неба достанут!

Маковей невольно поглядел на далекую дорогу, что лежала перед ним, окутанная золотистой пылью, запруженная войсками. Ни конца ей, ни краю... Протянулась далеко-далеко, уходя за горизонт, пылающий над ней грандиозной аркой заката. Неужели, если встанет, так и до неба достанет?

Маковей присмирел, задумался.

— Разве я этого не знаю, Роман? Не такой я легкомысленный, как некоторым кажется... Яринку я сегодня и в глаза не видел!

Блаженко со злостью уставился на юношу.

— А что ж ты мне всю дорогу, о ней тарактишь!

— Так она ж была! Только не в Галанте, а еще в Камелдене на плацдарме... Я видел ее, когда ездил в полк за ордемом.

— Когда это было!..

— А вот сегодня почему-то вспомнилась, встала перед глазами. Вот и рассказал тебе про нее...

— Чудной ты, Маковей... Всегда говоришь так, будто сны рассказываешь... Надумал меня своими сказками развлекать! Весна на тебя действует, вот что я тебе скажу.

— А на тебя не действует?

Роман промолчал, явно уклоняясь от ответа. Потом снова навалился на парня:

— Где ж ты, в таком случае, болтался? Мы тут с ног сбились, разыскивая тебя.

— У меня конь засекался, так я перевязывал, чтоб старшина не заметил и не пристыдил всенародно. Знаешь: он как начнет! И нечего было искать меня... Что я вам — ребенок на ярмарке? Никто не заставлял вас бегать, высунув язык.

— Именно ты и заставил, чтоб тебя лихорадка не схватила! — рассердился Блаженко. — Может, думаем, сдуру, где-нибудь в беду попал, может, ему помочь нужно...

— Не попаду, — засмеялся Маковей, — будьте уверены!

— Потому и не попадешь, что вся рота с тебя глаз не сводит, что все товарищи о тебе заботятся... Как только где-нибудь запропастишься, так и бросаются один к другому: где Маковей? Где телефонист? Разыскать немедленно! Всыпать по первое число! А как же? Вся рота хочет, чтоб из тебя человек вышел.

Парень мечтательно слушал, вглядываясь в высокие стены пылающего заката.

— Что тебе? Образование у тебя восемь классов — не то что мы, церковно-приходские... Котелок у тебя на плечах варит... Да ты даже в офицеры можешь выйти!

Внимание Маковей поглотила дорога. Вся она двигалась, дрожала, бесконечно дымилась, словно горела. Закат полыхал все ярче, полевые озера покраснели, как будто налились яркой кровью. Клубящаяся над дорогой пыль стала красно-бурой. Далеко на горизонте дорога изгибалась, исчезая где-то у самого солнца. Там, на небосклоне, силуэт колонны едва темнел, вытянувшись на розовом фоне, как неподвижная полоса леса. Можно было только догадываться, что и там, вдали, как и здесь, все грохочет, движется вперед, все, как и здесь, затянато красно-бурым дымом, который медленными волнами ложится на окрестные словацкие поля.

Маковей мерял дорогу глазами, улыбался ей.

— А правда, как встанет, так и до неба достанет! Это ты верно сказал, Блаженко!

Вдруг кто-то сзади огрел плетью лошадь Маковей. Она взвилась под своим всадником.

— Гони, не давай мочиться! — прозвучал знакомый голос.

Среди всадников появился Хома Хаецкий. Весь запыленный, будто только что от молотилки. Вспотел «най его маме», ватник на груди распахнул. На погонах, вшитых в плечи ватника, толстым слоем осела серая пыль. Едва заметно тлели под ней красные старшинские «молотки».

Уже около месяца Хома старшинствует. Васю Багирова взяли в полк, к знамени. В горах Вертешхэдьшег погибло несколько знаменщиков, и Багиров в числе других ветеранов-сталинградцев заменил погибших. А в роте его заменил Хаецкий. Кому ж было занять освободившуюся должность, как не старшему ездовому, как не герою Будапешта? Командир роты назначил, а замполит Воронцов, узнав об этом, сказал:

— Добро. Поздравляю вас, Хаецкий... Теперь вы развернетесь.

Сейчас Хома как раз разворачивался. Раздобыл для роты хозяйство большее, чем было раньше. Вышколенный Багировым, уверенно гнул свою старшинскую линию. Маковей покоя не давал. Хорошо, что глазастый, — все видит... Вот и сейчас, поравнявшись конем с Маковеем, он говорил телефонисту:

— Когда остановимся, Маковей, то мы сядем ужинать, а твоя ложка пусть немножко отдохнет... Раньше всего сведешь коня в ветлазарет. Засекся ж!

«И откуда ты это знаешь, чортова мельница? Ведь конь даже не хромает!» — подумал Маковей и начал защищаться:

— Я промыл, забинтовал...

— Знаю, чем ты промыл... Мочою! А здесь нужен ихтиол. Пора уже тебе понимать в медицине. Сделаешь, как сказано, и доложишь.

— Слушаюсь, — буркнул телефонист.

— А сейчас — гони!..

Некоторое время они ехали молча. Жеребчик Хома, несмотря на то, что с него ключьями падало мыло, прижимал уши и упрямо, по-собачьи, щелкал зубами то на Маковейчикова коня, то на коня Блаженко.

Далеко впереди, за едва различимой головой колонны, садилось солнце. Ребристые тучи вдоль горизонта раскалились, встав, словно золотые горы. Протянулись одна за другой неподвижными светлыми кряжами. Одни совсем близко, другие за ними, иные еще дальше, так, как будто пошли куда-то на край света. А между этими чистыми золотыми хребтами в пылающем просторе купалось солнце. Затопило румяным сиянием все вокруг себя, охватило полнеба пылающими стожарами.

Роман закурил, посмотрел на солнце, потом на товарищей, Хаецкий и Маковей, уже кажется, забыли о своем резком разговоре, ехали плечо к плечу, устремив взгляды на закат. Глаза их по-птичьи округлились.

Все трое притихли, завороженные чарами этого ясного весеннего вечера.

— Заходит, — наконец задумчиво произнес Хома. — Где это оно заходит, Маковей?

— За Веной, может быть... Нет, Вена левее, Братислава левее. За Прагой заходит, за золотой Прагой...

— Почему — золотой?

Телефонист задумался: в самом деле, почему?

— А почему — Злате Моравце? Народ так назвал: Злате Моравце, Злата Прага. Сегодня на станции, когда я с конем возился, мне два чеха помогали. «Торопитесь, говорят, пантоварищ, вызволять нашу Злату Прагу... Там на вас вельми чекают...»¹

Грохот подвод, гул моторов, ржанье коней — все звучало теперь значительно громче, чем днем. Звонкие вечерние поля будто подхватывали и усиливали шум похода. Справа и слева по степи всюду шли войска. Все словацкие дороги сегодня запылили на запад. И оттуда, с параллельных дорог, звонкий весенний ветер доносил до Маковей — через луга, через озера! — музыку моторов, которая час тому назад еще не была слышна.

Парню припомнились осенние дожди, туманы где-то у Тиссы... Долгие-предолгие ночи, топкие черные поля... Хриплые команды, тонущие в седой мороси... Там даже звук собственного голоса, отяжелевшего от сырости, падал в нескольких шагах от тебя... А сейчас... Как громко и звонко вокруг! Весна... Маковейю кажется, если он сейчас запоет, то услышат его аж на самом Днепре... По голосу узнают девчата: наш Маковей! Где-то на Дунае поет, а в Орлике слышно!

¹ Там вас очень ждут (чешск.).

А на западе солнце неутомимо возводило свои величественные сияющие здания, воздвигало из золотых туч города с башнями, соборами, кучерявыми садами. И все это светилось изнутри, разгораясь все сильнее.

— Вы видите: город в тучах! — взволнованно крикнул Маковой товарищам. — Смотрите, какой он золотой! Раскинулся в тучах дворцами, башнями, садами... А среди них — волны, волны, волны, как флаги. Плывут, переливаются, летят...

Зрелище захватило всех. Но в этих призрачных сооружениях каждый видел свое. Хоме рисовался гигантский золотой трактор, вставший на дыбы над закатом. Роман уверял, что то гиганты-кузнецы стоят с молотами над огромной наковальней и куют. А Маковой настаивал на своем: это город.

— Ну как вы его не видите? {Кто знает, может, это Прага? Может, она и в самом деле золотая?

В его широко открытых глазах горели радужные мерливы далекого неба.

— Где-то там нас ждут!

Солнце зашло, степные озера потускнели и стали темнокрасными, словно запеклись. Седые волокна легкого, прозрачного тумана поплыли пологими балками, густо усыпанными холмиками кротовых подземных поселений. Сзади в колонне кто-то радостно звал товарищей посмотреть вверх: высоко над войсками летели на север журавли.

— Смотри, как дисциплинированно летят, — заметил, задрав голову, Хома. — Даже дистанцию соблюдают!

II

Старшинствовать Хаецкий начал с наступлением весны.

Полк тогда наступал в горах вдоль северного берега Дуная. Безлюдный, мрачный край... Голые вершины, темные массивы лесов, ущелья, пропасти, размытые проливными дождями дороги, бешеные пенистые потоки, разбухавшие с каждым часом.

Противник откатывался через горы за Грон. Рвал за собой мосты и мостики, забивал тропы и стежки завалами, минировал нависавшие над дорогами скалы. Основную тяжесть наступления в эти дни выносили на себе саперы. Все подразделения помогали им. Чуть ли не каждый пехотинец шел впереди с кайлом или топором, как строитель. Приходилось ежедневно форсировать по нескольку водных рубежей, возводя для артиллерии и тяжелых обозов свежие мосты в таких местах, где их никогда не было.

Дожди лили беспощадно. Гуляли в седых ущельях холодные ветры-бураны. Однако ранняя весна с каждым днем проступала все ярче. Даже в непогоду сквозь тучи пробивалось столько света, что воздух казался не серым, как осенью, а почти беле-

сым, лучистым. И лица бойцов, блестящие, умытые дождями, все время были как бы освещены невидимым солнцем. |

В горах почти не встречались населенные пункты. Лишь изредка попадались убогие поселки венгерских и словацких лесорубов. Гвардейцы не останавливались в них ни ночевать, ни переобуться или отдохнуть. Их обходили, унося в отяжелевших шинелях воду бесчисленных горных потоков, перейденных вброд.

Не хватало фуража для лошадей. Старшины, напрасно обскакав бесплодные окрестности, в конце концов давали лошадям, как и своим гвардейцам, порции размокших сухарей.

В это время Иван Антонович Кармазин получил распоряжение: откомандировать старшину Багирова в полк. На сей раз Антоныч не мог даже пожаловаться на то, что его грабят, что у него забирают лучших людей. Наоборот, Антоныч и вся рота провожали Васю с удовлетворением: он шел к знамени, ему оказана такая честь! Это была честь для всей минометной!.. Старшинские дела по приказу Антоныча принял Хаецкий. Вася передал ему свою полевую сумку с ротными списками, коня и толстую плетеную нагайку.

— Гремела наша минометная и греметь будет! — на прощанье заверяли Васю товарищи. А он, собрав свое немудреное солдатское имущество, уместившееся в карманах, и пожимая растроганному Хоме руку, весело завещал:

— Держи руль, джуже, твердо, не отклоняйся от гвардейского курса!..

Легко Васе сказать: держи! А он, этот старшинский руль, оказался довольно горячим. Поначалу чуть руки не обжег, най его маме! До сих пор жила в памяти Хаецкого первая ночь его старшинства. Горькая и поучительная ночь... Хорошо запомнил ее и командир роты.

Батальон Чумаченко вынужден был тогда задержаться у бурной горной речки. При свете факелов, замерзая в ледяной воде, роты наводили переправу. Некоторым подразделениям, в том числе и минометчикам, комбат разрешил короткий отдых. Наконец-то можно отоспаться!

Расположились тут же, возле речки, на колючих камнях. Завернувшись с головой в палатки, бойцы падали там, где стояли, и мгновенно засыпали. Грудами мокрых тел сплелись под повозками, пригрелись под попонами, у теплых тел истощенных коней. А командир роты Антоныч еще долго сповал по своему табору, проверяя посты. За деревьями по-чужому шумела река, суетились люди с факелами в руках, стучали топоры. Время от времени в черной глубине противоположного берега взвивались ракеты, вспыхивала короткая перестрелка — то батальонные автоматчики, форсировав речку «на котелках», вели где-то разведку боем. Иван Антонович уже промок до последней нитки, и казалось, что теперь ему безразлично, где свалиться, чтобы хоть немного поспать. Но он все еще бродил, не решаясь улечься

прямо в слякоть, как другие. А дождь сплошной пеленой навалился на окрестные леса, на темные кручи и высоты.

Где-то в темноте среди повозок Хаецкий громко ссорился с непослушными лошадьми. «И чего он до сих пор толчется?» — подумал Кармазин.

— Я выбью из тебя эти предрассудки! — кричал Хома коно. — Будешь ты у меня шелковый!

Командир роты направился на голос Хома, осторожно обходя клубки сонных мокрых тел. Хома остановил командира роты грозным окликом: «Кто идет?» — хотя еще издали узнал Антоныча по характерному хлюпанью сапог и по тому глухому покряхтыванию, с каким комроты медленно спускался с бугра.

— Почему до сих пор не спите, Хаецкий?

— На посту, товарищ гвардии старший лейтенант.

— На каком посту? — удивился Иван Антонович. — Кто вас назначил?

— Видите ли... я сам себя назначил.

Старшине, конечно, не полагалось стоять на посту, и Хома это прекрасно знал. В роте существовал порядок, при котором на огневой несли охрану назначаемые офицерами бойцы расчетов, у повозок же старшина должен был выставить отдельный «автоматный» пост из числа ездовых. Охраняя повозки, они одновременно должны были ухаживать за лошадьми. Сейчас на этом посту Антоныч неожиданно застал своего выдвигенца.

— Вам обязанности старшины известны?

Хома насупился в темноте, как сыч.

— Известны.

— Почему же вы своих подчиненных уложили спать, а сами стоите?

Некоторое время Хаецкий молчал. Потом, собравшись с духом, затянул своим полновзвучным подольским говорком:

— Товарищ гвардии старший лейтенант! — Антоныч уже давно заметил, что Хома начинает таким манером напевать всякий раз, когда ему больно и горько на душе. — Все мы одинаково не спали: и я, и они. Да разве ж мне ноги покорчит — выстоять какой-то там час? А не стань — сразу начнутся разговоры!

— Спокойнее, Хаецкий... Какие разговоры?

— Известно, какие... Ишь, скажут, как начальником стал, так и начал из нас веревки вить. Блаженки домой напишут, все отрапортуют в артель... Накинулся, скажут, Хома собакой на земляков...

Иван Антонович слушал жалобы Хома и диву давался: кто это говорит? Тот ли Хома, который будучи рядовым, ни перед кем не поступался своими правами, который не уступил бы самому генералу, если бы чувствовал свою правоту? А теперь, став начальником, вдруг запел такое... Он будто стыдился своего нового звания.

— Да лучше я самосильно все лямки буду тянуть, чем упрски выслушивать!

— Эге-ге, — сказал Иван Антонович. — Вижу, вы, Хаецкий, плохо усвоили свои командирские функции. То, что вы солдата жалеете, это хорошо. Командир — отец своим бойцам и должен их жалеть. Но то, что вы их работу хотите перевалить на свои плечи, — это уже плохо: потому что, как бы крепки ни были плечи одного человека, они не выдержат того, что выдержат плечи коллектива. Что же в конце концов получится? Сегодня да завтра... Отстояв часы за рядового, вы потом свалитесь с ног, зададите храпака... А кто будет за вас посты проверять? Кто будет выполнять ваши прямые старшинские обязанности?

— Меня хватит на все.

— Не хватит, Хаецкий, если будете стоять из ночи в ночь. Свалитесь непременно. Днем начнете дремать, на ходу. А я не дам. Я буду гонять беспощадно. И буду требовать вашей прямой работы не с того ездового, вместо которого вы сейчас с лошадьми возитесь, а персонально с вас. И не спрощу, спали вы или нет. И даже когда с ног свалитесь, то не пожалею, а, наоборот, строго взыщу. Если солдат валится с ног по своей собственной неосмотрительности, его за это надо сурово наказывать. Плохо, никуда не годится, Хаецкий! Подумайте: старшина роты, — Иван Антонович многозначительно поднял вверх палец, — ездовых охраняет! Лошадей за них кормит! А они спят себе сном праведников... Ну, как это называется, Хаецкий? Отвечайте!

— Панибратство, — подумав, говорит Хома. — Либерализм.

— Вот... именно так. А где панибратство, где либерализм, там уже не спрашивай железной дисциплины. Там, смотришь, старшине и на голову сядут. А поэтому, — Кармазин перешел на грозный тон, — отныне приказываю: вам, как старшине, на пост не становиться. Коня под седло возьмите самого лучшего. Артиста возьмите. Чтоб с первого взгляда было видно: ага, это старшина едет! Образец для всех! И никому никаких поблажек. Все, что подчиненным положено, — дайте. Все, что с них полагается, — возьмите. Имейте в виду, я в свою очередь буду взскивать с вас безжалостно по всем пунктам. Понятно?

— По всем пунктам.

— На то не обращайтесь внимания, — уже мягче заговорил Иван Антонович, — кто да что о вас скажет или подумает. Ибо вы не мне угрожаете, не Ивану, не Степану, а выполняете волю Родины. Все отбросьте, все забудьте, кроме нее. Действуйте неуклонно, честно, справедливо. И тогда, каким бы вы строгим и беспощадным ни были, бойцы никогда не перестанут вас уважать и любить.

Иван Антонович склонился у повозки на ящик мин, задумался. Хома тем временем, хлюпая по лужам, добрался до край-

ней повозки, разыскал среди ездовых своего земляка и приятеля Каленика.

— Каленик, вставай!

Ездовой что-то буркнул в ответ, но не проснулся.

— Вставай! Кому сказано!

С большим трудом очумелый Каленик поднялся, сел.

— Что такое?

— На пост.

— На пост? — Каленик вкусно зевнул. — А который сейчас час? Разве ты свое уже отстоял?

— Уже отстоял.

— Что-то очень скоро...

— Положено столько.

— А Гмыря где? Нехай сейчас он станет, а я пойду в третью.

— Нет, ты станешь сейчас.

— Та почему ж?

— А потому, — расшвырялся Хома, — что встань, когда с тобой командир разговаривает!

Приятель вскочил, как ошпаренный.

Когда Хаецкий вернулся к Антонычу, тот все еще стоял, задумавшись, у повозки. Натянутая палатка торчала у него на голове, по ней лопотал дождь. «Почему ж он сам до сих пор не ложится? — подумал Хома о командире роты. — Весь день наравне с нами надрывал жилы, а ночью и не приляжет...»

— Товарищ гвардии старший лейтенант!

Антоныч не откликнулся. Склонившись на ящики, он крепко спал.

«Стой, Антоныч, стой, держись, на своих двух, — дружелюбно думал Хома, остановившись за спиной Антоныча, готовый подхватить его на руки, если тот будет падать. — Держись, потому что должен... Бо свалишься тут, возле воза, по собственной вине, то еще и кару примешь...»

Утром, прежде чем двинуться на переправу, Хаецкий провел ревизию на повозках и доложил командиру роты о наличии мин. На каждой повозке было по боекомплекту.

— Больше не поднимете? — поинтересовался Кармазин.

— Больше? Чего ж... Можно попробовать.

Хома замаялся. Откровенно говоря, ему и самому хотелось догрузить подводы хотя бы сотней мин, воспользовавшись тем, что машины полкового боепитания стояли сейчас под боком. Все может случиться: машины могут отстать, и еще неизвестно, какие горы там, за переправой. Хорошо, если дороги, а если бездорожье, обрывы, овраги? Зарез! Тогда лишняя сотня мин будет находкой. Хома уже давно все это обдумал, прикинул. Не случайно он чуть свет взялся за ревизию. Но дело в том, что на повозках лежали не только боеприпасы, много места занимало личное имущество бойцов и офицеров роты, в том числе вещи самого Ивана Антоновича. Как быть? В какой форме доложить

Антонычу о своем решительном намерении? Но старший лейтенант, видимо, догадался сам.

— Старшина...

— Я!

— Немедленно очистить повозки от посторонних вещей. Выбросить все, что не может стрелять или взрываться. Вместо этого догрузиться боеприпасами.

— Слушаюсь! Разрешите начать?

— Начинай...

Через секунду Хаецкий был уже на повозке. Бойцы, предчувствуя расправу, обступили его со всех сторон. Случилось так, что первым попал в руки Хаецкого ранец командира роты, обшитый снаружи собачьим мехом. Ординарец Антоныча почтиительно смотрел из толпы на этот мех.

— Чье? — глядя в упор на Антоныча, громко спросил Хома, хотя прекрасно знал, чьи это вещи.

— Старшего лейтенанта, — поспешил ответить ординарец.

— Принимай! — крикнул Хома ординарцу и швырнул ранец к его ногам.

— Ну что вы ему на это скажете? Ничего не скажете, — смеялся Черныш в глаза Антонычу.

— Смейся над чужим горем! Рад, что у тебя ничего нет, кроме полевой сумки.

А Хома тем временем лазил по возам, ворочал тяжелые ящики, отчитывал ездовых за либерализм, за то, что принимают на хранение всякую дрянь.

— Чье одеяло?

Одеяло слетело с повозки.

— Чей мешок?

Братья Блаженко дружно стали перед Хомой.

— Это наш, — заявил Роман. — Кидай сюда.

Но Хома, прежде чем сбросить мешок, из любопытства заглянул в него.

— Вот человек! — загремел он, обращаясь к Роману. — Сыромятины в мешок напихал! Тьфу!.. А-а-а, най его маме! Стыдился бы с таким барахлом на переправу въезжать! Гляньте, гвардейцы, на трофей Романа: полон мешок сырца! Чи не на постромки для своей тещи заготовил? Чи не запрягать ее планируешь?

— Не насмехайся, Хома, — мрачно вмешался Денис. — То на гужи для хомутов. Писали ведь тебе, что сбруя в артели никудышняя, все немец пограбил, веревками коней запрягают...

— Так что же ты, Денис, на плечах это в артель понесешь?

— И понесу!

— Ну неси!

Хома кинул братьям их мешок и взялся за другой.

— А это чей?

— То мос, — подбежал Маковой.

— Чего ты сюда насовал, Тимофеич? Может, костлявого фрица заткнул.

— То запасное седло... Праздничное! Не выбрасывай, Хома!

В другой раз Хаецкий, безусловно, уважил бы просьбу Маковой. Как и вся рота, Хома опекал телефониста и, где только мог, покровительствовал ему. Но сейчас Хома был беспощаден.

— Не подбивай меня, Маковой, на грех. Что не положено, то не положено...

Раскидывая ранцы и вещевые мешки, Хома добрался, наконец, и до своего собственного имущества. Стоя на повозке, он взял свой мешок за лямки, вытряхнул содержимое на ящики и начал перебирать. Смена белья, бритва и помазок, пара голенищ, отрезанных от сношенных домашних сапог, полотняный домотканый рушник... Нетяжелый скарб у Хома, однако и ему нет места в армейской повозке. Тяжела даже иголка солдату в походе. Взял вышитый рушник на руки, ветвистая калина улыбнулась бойцам, напоминая далекие родные края, защелкала расшитыми соловушками.

— Патку мий, патку! Своими руками Явдошка эти узоры выводила! Долго берег, а нынче разлучиться должен... Не осуди, жинка, не осуди, любка! Пускаю твоих вышитых соловейков на высокие горы! Летите, коли на то пошло!

— Не выкидай, Хома, — запротестовали товарищи. — Голенища брось, а рушник оставь!

Хаецкий раздумывал мгновение, колеблясь, и послушался совета. Сложил свою красочную памятку, положил ее в карман.

— Немного весит. Может, даже легче с ним будет в походе...

Все это происходило ранней весной в хмурых придунайских горах. С тех пор прошло уже около месяца. Хома освоился, привык уже к своим новым обязанностям. В горных переходах он было заметно похудел, а теперь опять вошел в норму, даже шире раздался в плечах, загорелая тугая шея распирала воротник.

Горы остались далеко позади, серый камень сменился словацким черноземом. Не ранняя, а уже полная весна дышала вокруг.

Едучи в колонне к далеким огням гаснущего заката, Хаецкий чутко ловил ноздрями знакомые с детства запахи весенних, распаренных за день полей. Пахло родным Подольем, пресными земляными соками, хмельной силой будущих урожаев.

— Может, мы уже землю вокруг обогнули и опять домой возвращаемся? Ты слышишь, Роман? Ты слышишь, Маковой?

И земля, и села пошли знакомые, будто виденные уже когда-то давно. Напевная словацкая речь радостно звенела повсюду.

— Добры ранок, пане вояку!

— Здорова будь, сестра!

Где-то поблизости бойцы разговаривали со словачками. Сагайда сквозь теплую дремоту слышал их громкие мелодичные голоса, думая, что ему еще снится. Разве уже утро? Он медленно раскрыл глаза и был радостно поражен: прямо над ним, вся в цвету, раскинула ветви тонкая яблонька. словно пришла откуда-то ночью и стала у его изголовья. И все деревья вокруг, казавшиеся ночью черными и колючими, стояли сейчас бледно-розовые, мягкие, праздничные. Золотые пчелы гудели, копошились в лепестках, то скрываясь в чашечках, то вновь появляясь, еще гуще покрытые золотой пылью. Теплый спокойный воздух, пронизанный солнцем, был чист и ясен.

Сагайда встал, потянулся и ощутил в отдохнувшем теле крепкую силу и желание действия. Совсем близко на западе высились горы Малые Карпаты, они тянулись могучей грядой с севера страны до самой Братиславы. Ночью, когда полк подходил к ним, горы казались мрачными, словно зубчатые средневековые стены. К утру они будто придвинулись ближе, заблестели камнями на солнце, весело зазеленели на склонах. Где-то в горных глубинах глухо гремел бой, а здесь, вокруг Сагайды, было тихо и спокойно. Весь полк Самиева, которому после неистового марша выпала, наконец, короткая передышка, сейчас блаженствовал. Сегодня он должен был получить пополнение. Штаб полка остановился ночью в словацком селе Гринава, раскинувшемся вдоль Братиславского шоссе, а подразделения, в том числе и минометчики Ивана Антоновича, расположились в садах предгорья, нависавших над селом огромным цветущим амфитеатром.

Сагайда, выпрямившись среди низких деревьев, некоторое время стоял ослепленный сверканьем утренней природы. Он подетски протирал кулаком глаза, стараясь освоиться в этой непривычной весенней стороне. Пышными розовыми клубами перекатывались по всему предгорью цветущие черешни. Внизу, словно приплыв из далеких зеленых равнин, пришвартовалась к подножию гор Гринава. Вытянувшись вдоль шоссе, она пробивалась черепичными крышами сквозь густые сады. Вскинула над собой белые снасти садов, натянула сияющие паруса и будто легко повисла на них, готовая отплыть при малейшем ветре... Куда поплывешь ты, Гринава?..

За селом разлеглись густо изрезанные поля. Едва виднелись на дорогах ползущие обозы, их то и дело обгоняли машины, ослепительно сверкая на поворотах стеклами кабин. На далеком горизонте неумоимо передвигались волны марева, словно ряды прозрачных атакующих войск. «Теперь и я понимаю, что весна!» — с наслаждением думал Сагайда.

Роту он догнал несколько недель назад на Гроне. Тогда вес-

на еще только высылала вперед своих дерзких разведчиков — гремучие буйные ручьи на южных склонах, и лишь сейчас она развернулась во всю ширь, двинув навстречу полкам свои прекрасные солнечные силы, и полки соединились с ними, словно две братские армии.

Гринава гудела внизу, как улей, после долгой зимы впервые выставленный на солнце. Бойцы и словаки расхаживали группами по улицам села, толпились на площади. Несмотря на ранний час, то в одном, то в другом конце села взлетала песня.

У минометов несколько бойцов чистили оружие, и среди них похаживал свежевыбритый Денис Блаженко, заглядывая в стволы и придирчиво выискивая пятна.

— Где народ? — крикнул ему Сагайда.

— Все там, — махнул Денис рукой в сторону села. — Митингуют со словаками и словачками. Их партизаны как раз из гор выходят...

— И комроты там?

— Командир роты в полку. Пошли с гвардии лейтенантом отбирать пополнение.

— Пришло?

— Как будто.

Сагайда сбросил китель, снял рубашку и начал мыться до пояса. Денис прямо из ведра щедро лил ему на спину щекочущую воду, а он, с наслаждением выгибаясь, фыркал, гоготал и плескался во все стороны.

— Мне ничего не передавал комроты?

— Они вас вдвоем тащили за ноги, никак не могли разбудить. Потом засмеялись: пускай, говорят, поспит для эксперимента сколько влезет. Говорили, что вы три дня можете спать беспросыпу.

— Вот еще мне экспериментаторы! — засмеялся Сагайда и, сбив набекрень свою кубанку, уселся возле термоса, в котором ему был оставлен завтрак. — Садись и ты, Денис, рубанем. Хватит на двоих.

— Нет, я уже.

— Как хочешь... А я повеселюсь.

После завтрака Сагайда тоже отправился в село. Он шел напрямик, то скрываясь в белых зарослях садов, то снова выходя под солнце на голые еще виноградники. Он приветствовал знакомых офицеров, которые, разувшись, ходили по террасам предгорья и, перекидываясь шутками, впервые пробовали голыми подошвами теплую землю. Два незнакомых Сагайде бойца, сидя под деревом, мирно беседовали, потягивая из котелка свежее, покрытое высокой пенкой молоко.

— Вот ты говоришь, Мартынов, ненависть... А по-моему, не только ненависть, а прежде всего любовь двигает наши армии вперед, — говорил один, в погонах сержанта. — Тяжелая и трудная любовь, освященная нашей кровью... Любовь ко всем угне-

тенным, ко всем трудящимся людям на земле. Ею мы сильны, Мартынов, сильнее любой другой армии...

«Философы, — дружелюбно подумал Сагайда, проходя незамеченным мимо бойцов и, вопреки установленному им правилу, не поднимая их окриком, чтобы отдали ему приветствие. — «Любовь двигает армии... гм... загнул», — улыбнулся Сагайда, припоминая, что однажды уже слышал нечто подобное от Брянского. Тогда он лишь посмеялся над словами друга и почему-то назвал его Спинозой. А сегодня эти слова запали Сагайде в сердце.

Начинались окраинные дворы Гринавы. Тут было совсем тихо и ничто не напоминало о войне. Кудахтали куры, собираясь к гнездам. В парниках поднималась рассада... Лишь за спиной, где-то далеко, зеленые громады гор приглушенно гремели. Неужели там еще идет бой? Неужели он, Сагайда, только на время вырвался из мрачного зноя войны и очутился вдали от грохота, вдали от дыма и крови, среди этих садов, среди цветенья и солнца, словно выброшенный во сне на какой-то солнечный остров?

— Младый пане!

От грядки через двор спешит к нему мелкими шажками старенькая сгорбленная словачка.

— Просим вас, не обходите мой дом, загляните хоть на одну минутку!..

Она стоит перед Сагайдой, маленькая, словно куропатка на меже, жалобно и неуверенно улыбаясь.

— Богатые люди днес¹ открыли пивницы, угощают драгих высвободителей, — губы у бабуся обиженно задергались. — А я, убогая словачка, ниц не мам, герман вшецко ловыел, повыпил... Але хце се ми тако² принять гостя, русского вояка, посадить его на красном месце... Не откажите... Зайдите-но!..

Сагайда взволнованно засопел.

— Отчего ж?.. Зайду... С радостью зайду.

Бабуся торопливо пошла впереди него к дому, то и дело оглядываясь, словно хотела убедиться, действительно ли офицер идет за ней. Скрипнула дверь, распахиваясь настежь, запела на весь двор:

«Про-о-сим!»

Хата была, как в венке. Хотя бедность смотрела из всех углов, впечатление сглаживалось заботливой, какой-то целомудренной чистотой, которая чувствовалась во всем. Стены разрисованы ветвями винограда, на окнах цветы в горшках. От порога к столу протянут пестрый домотканый коврик, очевидно только сегодня положенный. Часть комнаты отгорожена простой

¹ Сегодня (словац.).

² Хочется мне также (словац.).

переносной ширмой. Бабуся, поднявшись на цыпочки, заглянула за ширму, улыбнулась и отставила ее в сторону.

На низкой деревянной кровати, свернувшись клубочком, спала девушка, тяжело дыша и время от времени вздрагивала во сне всем телом. Она была одета так, словно только что вернулась из дальнего пути: в сапогах, в теплом зимнем платке, подпоясана ремнем. Светлые пушистые волосы рассыпались по ее плечам шелковистыми волнами.

— Видите, опять оделась, — говорила бабуся, поглаживая белый, покрытый потом лоб девушки. — Так всегда, только-но выйду на минутку, вернусь, а она уже одета, как бы мает сейчас куда-то итти. Далеко ли ты собралась, голубка?.. И ночью так: проснется, схватится и — все на себя, все на себя. Оденется, как будто до войска, потом упадет и спит... Езус-Мария, как у нее лоб горит!..

— Давно заболела? — спросил Сагайда, стесняясь подойти к кровати.

— О, то было еще зимой, — нараспев, с гордостью говорила бабуся. — Видите, ноги и во сне у нее все дергаются, как будто сами куда-то идут, идут, идут... Юличка моя все Татры прошла с нашими партизанами. А как застудилась, то ее лечили добрые люди в Братиславе. Потом они тайно привезли Юличку сюда. Теперь стала поправляться...

Лицо девушки пылало. Раскрасневшееся, напряженное, оно часто меняло свое выражение. Тонкие изогнутые брови то мрачно хмурились, то ласково разбегались, придавая всему лицу выражение спокойствия, удовлетворения и сердечности.

Старушка вытерла и без того чистый стул и пододвинула его Сагайде.

— Юличка так хотела вас видеть, так хотела, — говорила она таким тоном, словно Юличка лично знала Сагайду и именно его хотела видеть. — «Покличьте та покличьте, мамця, русского вояка, пусть увижу...»

У самой кровати на тумбочке стояла корзинка со свежими синими цветами, похожими на подснежники. Сагайда остановил на них взгляд и задумался. Собственное детство взмахнуло в памяти голубым крылом, пролопотало босыми ножками по загородным рощам... Старушка заметила этот взгляд, взяла в руки корзинку, как вазу.

— Маєте на Руске¹ эти цветы? Как это зовутся по-русски?

— Подснежники.

— Подснежники? По-словацки — небовый ключ. Это есть самый ранний, первый цветок нашей весны. Юличка кохается в тотех цветах. «Мама ходи-но до леса, достань мне небовый ключ». — «О, доня, там еще снега лежат». — «Мама-люба, уже солнце за ркном высокое, уже пророс небовый ключ... Принеси,

¹ В России (словац.).

русской здоровая буду». Теперь каждый день ей ношу, — тихо смеется старушка. — хай видит, хай радеет, хай здоровьем красна будет...

Неожиданно девушка, вскинувшись, начинает говорить во сне.

— Виола! Виола! — настойчиво зовет она. — Где ты, я не вижу тебя, Виола!.. О, какая метель, какой ветер студеной!..

Мать смотрит на Юличку спокойно, она, видимо, уже привыкла к этому.

— Виола — это ее посестра из Банской Быстрицы, — объясняет старуха Сагайде, когда девушка замолкает. — Они вместе были в Высоких Татрах в одном отряде у Яна Пепы. Вы слышали про Яна Пепу?

— Нет, не слыхал, — откровенно признался Сагайда, немного смущаясь от того, что не слыхал про этого Пепу.

— О, та он же был знатным коммунистом, народным посланцем республики. Оккупанты давали сто тысяч корон за голову Пепы!.. Его имя гремело в наших горах, словно весенний гром!.. А про пана Степу вы слышали?

— Про какого Степу?

— Про Степу из Руска... из России. О, его, кажется, вся Словакия знает!.. То был славный парень... Как вырвался из немецкой концентрации та появился прошлый год в Крушногорье, так все гардисты уже не мали себе спокойного сна... Пана Степу наши партизаны признали между собой старшим, хотя летами он был, говорят, юнак. Але ж дался его отряд немцам и гардистам! Мосты летели на воздух, машины с оккупантами скатывались в пропасти... А неуловимый был, как молния в горах!..

— О, кабы я могла, кабы я была мощна!, — снова бредила Юличка.

И вдруг она порывисто поднялась и села, спустив ноги с кровати. Мать бросилась к ней. Девушка смотрела в стену неподвижным, бессознательным взглядом.

— Юличка! — мать обняла ее за плечи и прижала к себе. — Ты хотела позвать гостя, кукай-но!² — Она указала дочери на Сагайду, сидевшего у окна. — Ты видишь, кто зашел к нам? — Она сказала это таким тоном, словно Сагайда приходился им близким родственником, которого давно ждали. — Ты не узнаешь его? Да это ж русский!..

Юличка несколько мгновений молча смотрела на погоны и ордена Сагайды. Потом вдруг встала и вся засветилась.

— Братку!..

Она держалась рукой за плечо матери, боясь упасть. Сагайда поднялся и, густо краснея, пошел ей навстречу.

¹ Сильная (словац.).

² Смотри-ка (словац.).

— Я позову врача...

— Не надо лекаря, братку... Найлучшие лекарства уже есть у меня! Достаточно есть! Открывайте, мама, все окна в сад... О, какая там весна сегодня, какое солнце ласковое...

IV.

Хому в этот день видели повсюду. То он стоял в дверях паровой мельницы и громко витийствовал перед словаками, советуя им «обобществлять предприятия для народа»; то сидел, распустив усы, за столом в садике католического священника и поносил перед ним папу римского: то, наконец, ходил по селу с замелевшими хлебобобами и угрожал поделить чьи-то земли.

В конце концов слух об этом дошел до майора Воронцова, и тот приказал немедленно вызвать Хаецкого к нему: «Дай ему волю, так он завтра колхоз организует, — думал Воронцов 'о подольяине, — а ты в дивизии за него пилюли глотай...»

Вскоре Хома явился на вызов. Он прибыл не один, а в сопровождении целой толпы штатских, с которыми, видимо, успел где-то угоститься сливовицей. Словаки уже звали его по имени, как своего односельчанина, и, размахивая руками, клялись, что избрали б Хому своим приматором, если б он остался здесь.

— Приматор — это что? Председатель сельсовета? — спрашивал Хома и уверял своих новых друзей, что его, мол, на такой пост и дома выберут.

Это были в большинстве пожилые, степенные крестьяне с трубками в зубах. Им не нужен был переводчик, словацкий язык удивительно близок певучему подольскому диалекту Хома.

Шагая по улице, подольянин безудержно шутил, а словаки, весело толпясь вокруг, на ходу заглядывали ему в рот, ловили каждое сказанное им слово.

— Если мой товарищ майор будет меня слишком уж распекать, так вы поддержите, — поучал Хома своих новых приятелей. — Мою руку держите... Будьте живыми свидетелями, говорите, что, мол, Хома нас ничем не обидел...

Возле двора, где расположилась политчасть, Хаецкий столкнулся с Воронцовым. Майор вышел из ворот, с ним было несколько вооруженных юношей в коротких пиджаках и в гетрах, с партизанскими ленточками на шапках. Юноши оживленно рассказывали Воронцову о «Степе из Руска».

Увидев Хаецкого, майор остановился.

— Рассказывайте, — строго обратился он к минометчику, — чью там землю вы собрались делить? Может быть, у вас тут собственные поля? И кто вас вообще уполномочил на такие вещи?

Хома, вытянувшись, некоторое время ел майора глазами, стараясь угадать настроение начальства.

— Совесть меня уполномочила, товарищ гвардии майор! — наконец уверенно выпалил он. — Речь шла о землях тех предателей, что с немцами поудирали.

— То гардисты! Тиссовцы! Полицианты! — дружно загудели словаки. — Бежали б они к своей могиле!

— Не будет им нашей земли!

— Пусть им Гитлер дает!..

Хома, единодушно поддержанный хором голосов, сразу приободрился и, видимо, не чувствуя за собой никакого греха, смело продолжал:

— Зачем бы я ихнюю землю делил? Разве вы, братья словаки, сами не способны управиться? Разве вы позволите врагам народа вернуться из-под немца и осесть на этих полях?

— Не позволим, пане Хома! — возбужденно запротестовали словаки.

— Я, товарищ гвардии майор, только советовал им, как лучше...

— Что ж именно вы советовали?

— А мой совет был такой: обработанные и засеянные поля предателей распределить между партизанскими вдовами и матерями. Здесь есть даже такие семьи, что сыны их у генерала Свободы воюют... А незасеянные поля нарезать более крепким хозяйствам, которые собственное тягло имеют... А чтоб не было никаких нареканий и перекручиваний, надо выбрать такую комиссию, как наши комнезамы были!

«Что ты ему возразишь? — думал, улыбаясь в душе, Воронцов. — Неплохо рассудил, чорт возьми!»

— Все эти вопросы, Хаецкий, будут разрешены органами новой гражданской власти. Я уверен, что здесь обойдется без вашего вмешательства. Товарищи словаки сами управятся с такими делами. Как вы скажете, товарищи? — приветливо обратился Воронцов к свидетелям Хома. — Управитесь?

— Управимся, товарищ майор! — энергично закивали усатые крестьяне.

— Вот видите, Хома, — улыбнулся Воронцов, — выходит, что ваше вмешательство непродуманно и излишне.

— Товарищ гвардии майор! — почти с дружеской сердечностью воскликнул Хома, уловив знакомые веселые искры в глазах майора. — Да разве я очень вмешиваюсь? И могу ли я во все вмешиваться! Но если меня люди со всех сторон дергают — расскажи, помоги, посоветуй, — должен ведь я посоветовать. А как же! Ты, говорят, Хома, уже академию социализма прошел, а мы только за парту садимся. У тебя вон какая практика за плечами, а мы еще только по первой борозде проходим. Так должен же я людям помочь, свой опыт передать!..

Воронцов едва сдерживал улыбку, глядя на распалившегося Хома. Вспомнилось майору, как в прошлом году в Альпах то-

варищи тянули Хаецкого канатом на отвесную скалу. А сейчас «патку мий, патку» — уже сам вытягивает других.

«Теперь за папу римского начнется», — решил Хома по тому, как майор снова нахмурился. Хаецкий не сомневался в том, что вся эта волокита началась из-за попа, с которым он сегодня выпил чарку, а после жестоко поспорил. Надо было его совсем не трогать. Ткнуть бы ему фигу при встрече, как мать учила когда-то, и пойти себе прочь. Может, это и предрассудок, но помогает наверняка. Чуть ли не всем чернорясникам Европы Хома уже понатыкал кукишей, чтобы никакой беды не случилось, а этого пощадил. И вот пожалуйста: заработал неприятность. Конечно, этот поп пожаловался замполиту. Наверное, рассказал, какие угрозы посылал Хома папе римскому, сидя за поповским столом... Сейчас начнется, держись, Хома!..

Однако майора интересовало совсем другое!

— Докладывайте, как вы там на мельнице распорядились.

— Должен был, товарищ гвардии майор! — честно докладывал Хома, обрадовавшись, что самая главная, по его мнению, опасность миновала. — Должен был! Хозяин той мельницы в Австрию пятки нарезал, у людей мука кончилась. Как быть? Выходит, надо обобществлять предприятие... Я им прямо говорю: обобществляйте! Набейте жернова по-новому и пускайте машину! А то как же? Правдивое мое слово, Юраш? — апеллирует Хома к одному из своих явных приверженцев, стоящему ближе других.

— О, Хома, — с удовлетворением откликнулся Юраш. — Обобществим для народа, най его маме!

Воронцов переглянулся с юношами-партизанами, которые весело следили за происходящим, и все засмеялись.

А неугомонный Хома разошелся и уже допрашивал другого:

— Штефан, а твое мнение?

— То как должно быть! — воскликнул Штефан, приземистый, воинственный, видимо готовый хоть сейчас взяться за мельницу богача. — То буде демократическая справа!

— Францишек! А ты почему молчишь? Ты — за?

— Айно!, — решительно топнул босой потрескавшейся ногой Францишек. — Айно!

— Айно! — подхватили в один голос остальные крестьяне.

— Слышите, все говорят: файно!² — резюмировал Хома. — Народ хочет! А если народ чего-нибудь дружно захочет, то уже так и будет, клянусь своими сынами!

Воронцов отпустил подолянина, не наложив на него взыскания. Однако серьезно предупредил, чтобы в дальнейшем Хома не брался распределять землю, которая ему не принадлежит.

Хома заверил, что — най его маме! — линию не перегнет...

¹ Да (словац.).

² Красиво (укр.).

А часом позже уже хозяйничал в роте. У него и тут было немало дел.

Офицеры только что привели несколько бойцов молодого пополнения, и Хаецкий, осуществляя свои старшинские права, должен был выстроить их и проинструктировать. Иван Антонович, лейтенант Черныш и все расчеты, посмеиваясь, наблюдали, как Хома приструнивал новичков. А он начал с того, что, не моргнув бровью, важно обошел шеренгу. Что там говорить, он знал, с чего начать! Прежде всего стал экзаменовать новоприбывших, твердо ли запомнили номера своих автоматов и карабинов? Потом просовывал свою руку за ремень каждого и выворачивал, определяя, туго ли затянуты «орлы». Видно, Хома остался доволен.

— То, что номер карабинки заучил, — это раз хорошо. То, что погоны на тебе сидят как влитые, — это два хорошо. А то что вид имеешь молодецкий, — это три хорошо. Таким будь! — восклицал Хома. — Должны и в дальнейшем внимательно за собой следить, бо у меня на 'тяп-ляп не проживешь. За первую пуговицу даю замечание, за другую — уже взыскание накладываю. Звезды на пилотках чтоб сияли у вас на две версты вперед! Иначе я не признаю. Ведь ты не какой-нибудь там айн-цвай, ты — великий человек! На тебя весь мир смотрит, следит, как ты сел, как встал, как двинулся, как пошел!.. Все это вы должны себе раз навсегда зарубить на носу и держать голову высоко. В нашей минометной нема таких, что уши по земле волочат. У нас такой народ, что сам на чужие уши наступает! Всем понятно?

— Понятно!

— Не слышу!

— Понятно!

— Разойдись!..

Новички рассыпались во все стороны. Однако Хоме показалось, что они разбежались недостаточно быстро.

— Эге, разве ж так гвардейцы расходятся? Гвардейцы отскакивают во все стороны, как пружины. Становись!

Новички снова выстроились.

— Разойдись!

— Становись!

— Разойдись!

— Становись!

Уже пот ручьями катился по раскрасневшимся лицам новичков. Наконец Хома сжалился:

— Добре. Вот так чтоб всегда. А сейчас пойдете со мной на склад. Я получу обмундирование, а вы принесете.

Весть о летнем обмундировании вызвала в роте всеобщий восторг.

«Что, собственно, произошло? — думал Сагайда, шагая по улице Гринавы. — Почему тебе таким особенным, многозначительным кажется этот сегодняшний разговор в словацкой хате. Ну, пригласили тебя, ну, обласкали... В конце концов самая обычная вещь... Но почему ж ты вышел оттуда таким смущенным и взволнованным? Каким зельем тебя напоили в той убогой светлице, разрисованной до самого потолка буйным виноградом? Идешь — и земли не чувствуешь под собой... Идешь — и звенит все время у тебя в ушах нежное слово: «Братку!» Словно разбогател неожиданно, словно впервые со всей полнотой ощутил свою большую солдатскую ценность...

Откуда все это?

Было время, когда тебе, грубому, мстительному, озлобленному личными потерями, хотелось все вытоптать в этих чужих землях, ты не видел перед собой ничего и никого, кроме врагов. С мрачным недоверием смотрел ты на тех, кто тебя приветствовал. В их приветствиях тебе слышались неискренность и виноватая предупредительность, покорность перед твоей силой. Упрямый в своей ненависти к врагам Отчизны, ты с постоянным подозрением проходил среди чужих людей, будто продирался сквозь колючий кустарник, полагаясь только на себя, на товарищей, на оружие.

«Любовь двигает армии вперед»... Кто это сказал? Где? А-а, это те молочники... Те философы... Здорово... В самом деле, если подумать, чорт возьми, так это же счастье — любить людей!.. Конечно, стоящих, конечно, настоящих, таких, как... эти».

Сагайда восторженно смотрел на своих однополчан, которые беседовали и смеялись, толпясь попеременно со словаками возле каждого двора. Некоторые уже в светлозеленом, только что полученном обмундировании, другие еще в прошлогоднем... Обтрепанные в походах обмотки, выгоревшие, полинявшие гимнастерки, простые, открытые лица... Однако глядишь на них и насмотреться не можешь... Не впервые ли Сагайда взглянул и на себя и на своих товарищей новыми глазами? Кажется, еще нигде он не ощутил так глубоко свое значение и свою роль освободителя, как здесь, на этой словацкой земле, где его ждали «шесть долгих-долгих лет»...

Только что его спрашивали:

— Матку маш?¹

И утерянная за время войны семья словно возвращалась к нему большой родней — могучими единокровными полками.

— Есть, — отвечал он с гордостью.

— Витця маш?²

¹ Мать есть? (словац.).

² Отец есть? (словац.).

- Есть.
- Братив маш?
- Есть, есть!..
- Сестру маш?

Когда Юличка спросила его о сестре, он не мог сразу ответить. Этот вопрос больно ударил его по незатянувшейся ране. Ведь у него и в самом деле есть где-то сестра, родная щетушка Зинка, вывезенная в запломбированном вагоне в фашистскую каторгу... «Где ты, Зинка, где ты, сестричка? Может, изнашивается рабыней на опостылевших подземных заводах, состарившись в свои восемнадцать лет? А может, палачи уже загнали тебя в могилу?» Юличка, видимо, разгадала его тяжелое молчание.

— Считаю меня сестрой, — сказала она. — Буду тебе, как родная...

Юличка... Лежа, согнувшись в постели, она казалась ему совсем маленькой. А когда, откинув косы, стала на ноги и выпрямилась, то оказалась высокой и стройной...

— Здравия желаю, гвардии лейтенант!

Кто это? Шовкун!.. Стоит перед Сагайдой уверенно, с достоинством, как равный перед равным. Голос его заметно окреп, в нем теперь твердо звенит гвардейская медь, сменив ту вкрадчивую, податливую мягкость, над которой так издевался Сагайда, когда Шовкун был ординарцем Брянского. Теперь Шовкун, очевидно, не позволил бы никому отыгрываться на себе. Усы подстрижены щеточкой, санитарная сумка на боку. Гвоздь! Сагайда от души рад ему, как рад всему на свете, что хоть в малейшей степени причастно к его идеалу, к Брянскому.

— Получил вот письмо от Ясногорской, — сообщает новость Шовкун. — Скоро будет в полку. Комбат сказали, что как только Ясногорская появится на горизонте, опять потребует ее к нам.

— А Муся?

— Наладим, — сказал Шовкун о своей нынешней начальнице так решительно, словно ее судьба целиком зависела от него. — Разве она стоит Ясногорской? Мизинца ее не стоит... На нее уже и командир санроты зубы точит. Нас, то есть санитаров, представил на «Отвагу», а ей — дулю под нос, извините за выражение.. Потому что мы из огня не вылазим, а Муся наша больше за кавалерами бегают...

Чувствовалось, что Шовкун хорошо знает цену своей работе, и хоть тяжела она ему, однако нисколько не обременительна.

— Ты, дружище, уже врос в свою новую должность, как добрый всадник в седло, — засмеялся Сагайда. — Хвалю за ухватку!

— А чего ж... при моей должности иначе и быть не может. Людьями дорожишь, и тобой дорожат.

— Да, я слышал.. Комбат о тебе хорошего мнения... Когда же приедет Ясногорская? Хоть бы увидеть, какая она...

— Через неделю-другую прилетит.

— Ого! До того времени еще трижды умереть можно!

— Теперь уже грех помирать, товарищ лейтенант... К цели подходим.

...Вернувшись в роту, Сагайда не узнал своих: все были переодеты в новое, зеленое, весеннее. Хома встретил его упреком:

— Наконец-то дождался вас, гвардии лейтенант! Видите: все уже, как рута, зазеленели, только вы один вылинявший... Да еще Маковея где-то чорт носит, и на обед не появлялся... Прощу, получайте свое обмундирование и вещевую книжечку.

Черныш был уже с ног до головы в новом — вырядился, как на парад. Привинтил орден, затянул ремень, подошел к Сагайде:

— Осмотри меня, Володька! Скажи свое авторитетное слово!

— Повернись... Так... Все, как на тебя шито. Только сапоги не гармонируют... слишком уж богатые.

Сапоги из желтой юфти, с высокими плотными голенищами, действительно были велики и тяжелы для легкой красивой фигуры Черныша.

— На тебя хромовые просятся.

— Это ничего, что тяжелые, — заметил Роман Блаженко. — Зато походка выработается. Ведь коня-рысака специально подковывают тяжелыми подковами, чтоб ногу до груди выбрасывал.

Антоныч, разувшись, старательно примерял сапоги. Сагайда ждал от него какого-нибудь неприятного сюрприза: где, мол, был да у кого спрашивался, уходя из расположения роты? Но Антоныч сделал вид, будто Сагайда уходил из роты с личного его, Антоныча, разрешения. «В конце концов этот курносый — симпатичный тип, — подумал Сагайда о командире. — Но почему же мы с ним никак ужиться не можем? С первого дня на ножах...»

Вернувшись из госпиталя в полк, Сагайда был неприятно поражен тем, что его ротой — славной ротой Брянского! — теперь командует какой-то Кармазин. Правда, этого «какого-то» он хорошо знал, ибо Иван Антонович долгое время командовал минометчиками соседнего батальона. В ту пору Сагайде не раз приходилось иметь с Антонычем разные дела, официальные и неофициальные, и отношения между ними в основном оставались добрососедскими. Но то, что Кармазин вдруг оказался его непосредственным начальником, Сагайду покорило. Пусть Черныш, пусть кто угодно другой, близкий к Брянскому, возглавит роту, — Сагайда согласится безоговорочно. Но какой-то Кармазин! Посторонний человек, далекий от семейных традиций роты, пришел на готовенькое и начал спокойно распоряжаться!.. Первые дни Сагайда чувствовал себя так, словно, вернувшись в родной дом, неожиданно застал в нем мачеху.

Свое непризнание «мачехи» Сагайда невольно переносил и на бойцов, прибывших в роту уже при Кармазине. Имея привычку давать людям прозвища, Сагайда окрестил их «кармазин-

никами». Незаслуженно обижая их, Сагайда всю свою грубоватую, еще не угасшую влюбленность в Юрия Брянского теперь перенес на ветеранов роты, на тех людей, которые как бы несли на себе немеркнувший отблеск погибшего друга-офицера. Ими дорожил, их оберегал за счет других. Нелюдимому, неуживчивому Сагайде вообще трудно было кого-нибудь полюбить, но если уж кто завоевывал его суровую любовь, то — на всю жизнь. В особом фаворе был у него маленький Маковей. Ему лейтенант даровал всякие льготы, выматывая жилы из других телефонистов, напарников Маковея. Антоныч не мог смириться с такой несправедливостью, и на этой почве между ним и Сагайдой возникали острые стычки. Иван Антонович, рассвирепев, кричал, что, пока он командует ротой, никому не позволит создавать в ней нездоровые отношения. «Нет у меня сынков и пасынков, своих и не своих! У меня есть только наши люди, советские бойцы!» Накануне, сцепившись с Сагайдой, Антоныч пригрозил, что предаст его офицерскому суду чести.

А сейчас как будто ничего между ними и не было. Примеряя сапоги, Кармазин спокойно сообщил Сагайде, что только что получил пополнение — несколько молодых, необстрелянных ребят.

— Все пойдут в мой взвод? — настороженно спросил Сагайда, ожидая, что командир роты умышленно даст ему всех новичков вместо воспитанников Брянского.

— Не дам тебе ни одного, — оглушил Антоныч Сагайду.

— Почему?

— А так... Ты трудно уживаешься с людьми. Воспитываешь медленно. Всех даю в первый взвод, Чернышу, а ты возьмешь тех, с которыми... полегче.

Сагайда обиделся, но промолчал. Он понимал, что здесь не обошлось без сговора командира роты с Чернышом. Черныш, конечно, тоже хотел бы иметь у себя людей проверенных, опытных, на которых можно положиться. Но он согласился взять к себе весь этот необстрелянный молодняк. Думает, что у него лучшие, чем у Сагайды, командирские данные. Ну что ж... Пусть будет так.

Натянув, наконец, новые желтые сапоги, Антоныч прошелся в них туда-сюда, попробовал, не жмут ли, и, усевшись на холмике, снова разулся. Потом кликнул ординарца:

— На, спрячь мою обнову!

— А вы как? — удивился ординарец.

— Пока что буду шкрябать в старых, добыю уж их до конца. А новые, — Антоныч улыбнулся и оглядел окружающих, — новые обую в День Победы.

— К тому времени я себе еще одну пару выцыганю у начальника ОВС, — решительно сказал Сагайда и, держась за плечо Черныша, с такой силой выбросил вперед ногу, что наполовину снятый старый его кирзовый сапог отлетел на несколько

метров в сторону, едва не стукнув Ивана Антоновича по темени.

— Куда вы швыряете? — неожиданно послышался снизу голос Маковей. Телефонист вышел из-за ветвистых белых деревьев, улыбаясь всей роте. — Разве вы не видите, что это я иду?

— Иди-ка, иди, гуляка, — поманил его Хома, — засажу тебя до ночи бараболоу чистить!

Маковей появился на огневой, как молодой королевич: в складке его пилотки задорно синел кустик небового ключа. Увидев новичков, хлопок тут же предупредил их, что, как только отдохнет, будет с каждым из них по очереди бороться!

— Испробую вашу зеленую силу.

Обедать Маковей отказался.

— Я недавно заправился, — сообщил он. — Обедал с разведчиками и партизанами. Вы не знаете, что это за народ — партизаны! Как есть наши. «Полюшко» даже поют! Мы с Казаковым первыми их заметили, когда они с гор спускались. Смотрим: спускаются стезжкой один за другим, машут нам фуражками и беретами... Они береты носят, как Монтгомери. Я сгоряча подумал даже, что это мы со вторым фронтом соединились. «Союзники!» — кричу Казакову. А ближе подошли, слышим по разговору — братья словаки.

— Откуда ж они «Полюшко» знают?!

— А у них в отряде командиром был какой-то наш капитан по имени Степа. Он их всему научил. «Степа из Руска» — так они его называли. А настоящей его фамилии никто не знает. Только то и известно, что был этот Степа офицером Красной Армии, потом попал в плен, все концлагери прошел... Его уже в печах должны были сжечь, а он организовал товарищей, перебил с ними охрану и вылетел, как орел, на волю! — Маковей даже засмеялся при этом. — Появился в Высоких Татрах, установил контакт с партизанами и в боях славу добыл. А потом они выбрали его командиром одного из своих отрядов. Незаменимый, говорят, был вожак! Повсюду гитлеряки перед ним дрожали.

— Это правда, — поддержал воодушевленного Маковей Сагайда. — Я тоже слышал о нем.

— Бывает же такое с человеком, — задумался Роман Блаженко. — Дома его уже, наверное, занесли в без вести пропавшие, а он где-то живет, действует, за наше дело борется...

— Где он сейчас, Маковей?

Парень опустил глаза.

— Месяц назад где-то в Моравии голову сложил... Вместе с целой группой партизан... Но фамилия его непременно будет установлена! Майор Воронцов сам взялся за это.

— Данных мало, — пожалел Денис, — трудно будет искать.

— Чего там мало, — энергично запротестовал Маковей. — Звание известно — это тебе раз. Имя известно — это тебе два. Родом... советский — это тебе три! А я еще не договорил — у него где-то дивчина осталась. В свободный час он как-то расска-

звал о ней партизанам. И песни, говорят, по вечерам пел для нее. Чтоб она их услышала, чтоб знала, где он есть. Всюду, где он проходил со своим отрядом, словаки поют его песни. По всему Крушногорью поют, в каждой хатенке лесника, где он отогревался в метели и завирухи... Разве по таким фактам нельзя человека узнать?

— Узнают, — убежденно заявил Сагайда. — По таким следам да не найти!

VI

Так Хоме и не пришлось на сей раз засадить Маковея чистить картошку. Вечером полк снялся, вошел в зону Малых Карпат. Чем дальше, тем слышнее гремел бой, ленточки трассирующих, прорезая темные ущелья, приближались, становились ярче.

Отсинело высоченное гринавское небо, отзвенела певучая братская речь, отшумели белым шумом переполненные чащи садов. Кончилась короткая передышка, когда солдаты, как бы выйдя из войны, из ее душных цехов, попали на мгновение в неожиданно солнечный, непривычный, обновленный край. Все это опять оборвалось... Впереди темным зловещим морем снова клочкотала война. Полк привычно входил в нее по пояс, по грудь, по шею...

По крайней мере такое ощущение было сейчас у Сагайды. Он шел по обочине узкой дороги с командиром взвода бронебойщиков Теличко. Из-за ближнего хребта уже вздымались багровые маяки зарев, подпирая небо над передним краем. Дорога круто поднималась в гору, пролегая то по узким карнизам над пропастями, то входя — как сейчас — в лесистые ущелья, темные и тесные, как туннели. Тяжело дышали в темноте лошади, вытягивая повозки и пушки. Позвякивало оружие на бойцах. Слышались короткие сердитые команды.

Постепенно приходя в себя после сильных гринавских впечатлений, Сагайда беспощадно гремел своими новыми сапогами по мелким камням. Его спутник, Герасим Теличко, маленький, задиристый, горластый, принадлежал к числу тех, с кем у Сагайды был определенный круг своих общих солдатских сердечных тайн. Младший лейтенант Теличко был ветеран, «старик», с ним Сагайда не раз попадал в трудные переделки, и поэтому, встречаясь, они никак не могли выговориться до конца. Сегодня минометчики и бронебойщики шли рядом, и Сагайда, уверенный в своих «гренадерах» (а с новичками пусть нянчатся Кармазин и Черныш!), мог спокойно всю дорогу точить лясы с приятелем. Они успели уже перемыть косточки любовнице какого-то дивизионного начальника, уже дали прозвище знакомому скрягентадунту и теперь добрались до Антоныча, над которым поиздеваться и сам бог велел.

— Знаешь, Герасим, мой курносый Сократ (так Сагайда за глаза величал Антоныча) опять проехался по мне.

Услышав это, Теличко расхохотался:

— Как же это он умудрился, формальная его душа? Ведь по тебе, Вовка, проехаться — нелегкое дело!

— Представь себе — умудрился. Из нового пополнения не дал мне ни одного свистуна. «Ты, говорит, медленно воспитываешь, тебе с новыми людьми трудно, — садись на более легкий хлеб...» Так разве не дракон он после этого, скажи?

— И ты смолчал?

— Смолчал. Как раз был в таком настроении, такая лирика нашла на меня после Гринавы... Не хотелось ни с кем ссориться, с каждым братался бы... Как ни говори, а он тоже честно протопал свою тысячу километров, чтобы освободить эту самую Гринаву... Работяга, вол!

— А как же с новичками? Что... он их себе за пазуху положит?

— Передал всех в первый взвод Чернышу. Пускай, дескать, выковыивает.

— И тот не возражал?

— Куда там, сам захотел. Видишь ли, Черныш считает, что у него для этого больше данных, что мне это будет труднее, чем ему... Ну и пусть тянет...

— Он, кажется, до сих пор из себя недотрогу жорчит, этот ваш Чернышок? Ни анекдота от него стоящего не услышишь, ни спиртяги с ним не потянешь. Все чем-то озабочен, все время серьезный такой, все у него идет по программе. Чихнуть не может без программы.

— Ты его просто мало знаешь, — возразил Сагайда. — Он только на вид теоретик, а на деле задушевный парень. А что любит на каждом шагу мировые проблемы решать, так это уж у человека такой характер. Между прочим, он хочет после войны диссертацию писать о роли минометного огня в условиях форсирования водных рубежей. Целые вечера бубнят об этом с Кармазиным.

— Лишь бы уменья хватило, — заметил Теличко, — а мысль неплохая.

— Умения хватит. У него шарики работают, дай бог.. Недаром с ним Брянский дружил.

— А это правда, что у него с Ясногорской что-то наклеивается?

— Факт. Тайком молится на ее фотографию.

— Почему тайком? — удивился Теличко. — Если бы мне такая ответила взаимностью, я на весь мир раструбил бы...

— А он корчит из себя безразличного. Мучается, кипит, переживает, а письма ей пишет холодные, как рапорты Чумаченко. Вот натура! И знаешь, что его сдерживает? «Она, говорит, была невестой моего друга. Я, говорит, не имею морального

права на это». Так и живет, стиснув зубы. А по-моему, именно он, а не кто-нибудь другой, далекий Брянскому, имеет право на ее любовь. Как ты считаешь?

— Я лично не вижу тут ничего особенного, — развел руками Теличко. — Конечно, если бы закрутился легкий роман, мне было бы обидно за Юрия.

— А мне? — воскликнул Сагайда. — Да за такое я им обоим глаза повыдираю бы! Но тут совсем другая песня... Тут дело серьезное... Если уж Евгений не может пересилить себя, если это для него «первая и последняя», если и она его искренне сердцем избрала... то тут нужен другой подход. Здесь должен сказать свое слово настоящий судья.

— Кого ты имеешь в виду?

— Брянского. Представляешь, как бы он ответил на этот сложный вопрос? Осудил бы он их или нет? По-моему, нет. По-моему, он одобрил бы, потому, что тут не пустячки, не шулки, тут люди сгорают. Разве чистой, настоящей любовью осквернишь его память? Разве, скажем, для меня или для тебя было бы что-нибудь обидное в том, что человек, которому я хотел создать счастья, нашел его где-нибудь после моей вынужденной посадки? Я ведь не какой-нибудь дикарь, скиф, который, давая дуба, приказывал убивать свою жену и класть ее рядом с собой в могилу. Я, наоборот, завещал бы друзьям беречь ее, любить, осчастливить. Погибая сам, я хотел бы, чтобы моя любовь была, как знамя, подхвачена другим и честно пронесена им дальше через всю жизнь... Чтобы в ваших чувствах билось мое чувство, чтобы в вашей верности жила моя верность. Кому бы из нас не хотелось даже после смерти остаться примером для других? Примером не только в подвигах и боевых делах, но и в самом интимном?

— Ты, Вовка, разошелся, как влюбленный. Все это результат твоих гринавских встреч. Теперь мне ясно, что ты влип.

— Ты со мной не согласен?

— К сожалению, я тут не при чем. Выкладывай это Чернышу, а не мне.

— Уже выкладывал.

— А он?

— Молчит...

Черныш молчал. Шел с новичками впереди, иногда вместе с ними подталкивал повозки, все время думая о Ясногорской. То, что Сагайде казалось простым и понятным, для него было мучительным клубком чувств — их трудно распутать, трудно выразить словами. Так и вырвал бы их из своего сердца, чтоб не жгли, не растревляли его... Скоро она вернется в полк... Опять будет рядом. Хочет он этого или не хочет? Иногда он готов закричать ей отсюда: «Приди, скорее приди!» А иногда хочется кричать: «Не приходи! Ведь он не тот, ведь он... другой!» Но, забегая мыслями в послевоенное время, представляя себя в

новой, необжитой обстановке, он почему-то всякий раз встречал ее там, хотел и не мог разминуться с ней: она возникала всюду на его воображаемых путях.

Выплыл месяц, и хребты гор заблестели каменной чешуей. Колонна, перевалив через кряж, начала спускаться. Здесь был яснее слышен привычный гул ночного боя. Стали видны оружейные вспышки в далеких ущельях. Повозки, спускаясь на разогретых тормозах, громко стонали в ущельях, словно лебеди из старинных славянских песен.

Черныш слышал, как позади, то и дело спотыкаясь на острых камнях, Маковой допытывался у Блаженко:

— Интересно, Роман, чем тебе кажутся эти силуэты на месяце? Говорят, какой-то Авель поднял на вилах своего брата Каина.

— Не Авель Каина, а Каин Авеля.

— В конце концов это не так важно — кто кого. Факт, что брат брата заколол. Вот варвары!.. Но где же вилы? Сколько ни смотрю, а вил не вижу. По-моему, эти силуэты больше на солдат похожи. Смотри: один сидит, а другой над ним склонился и рану ему перевязывает... Будто девчина над бойцом.

Где-то совсем близко, как бы проснувшись, заговорили пулеметы. Громкий шум дерзко ворвался в тишину, словно кто-то сверху по длинной водосточной трубе спустил щебень. Перекатилось эхом, замерло... Голубые ракеты, взвившись над ущельем, мрачно осветили часть горной дороги, безлюдную опушку, лесной домика на курьих ножках...

Прозвучал приказ: немедленно развернуться в боевые порядки. С оружием наготове подразделения спускались в темные буераки, куда не достигало голубое сиянье месяца.

По пояс, по грудь, по шею.

«Здравствуй, Женя!

Вот я уже и на пороге родного дома. Наш санитарный эшелон сейчас стоит на пограничной станции Н. Это письмо пишет тебе под мою диктовку медсестра Лида.

Утро. Мы только что умылись на берегу и теперь сидим под насыпью, ожидая встречного поезда. Все, кто только мог, высыпали из вагонов, восторженно приветствуя долгожданную, родную землю. Даже если бы мне не сказали заранее, что за рекой, в нескольких метрах отсюда, уже начинается наша Родина, то я сам узнал бы об этом. Я почувствовал бы ее по легкому весеннему воздуху, что плывет на меня оттуда, словно с высоких, вечно чистых гор.

Представляешь, Женя, что у меня на сердце? Представляешь, что может быть на сердце у человека, когда у него есть куда возвратиться, есть с чем возвратиться? Я не случайно подчеркиваю именно то, что у меня есть, что я приобрел, а не то, что я потерял. Поверь, мои потери в сравнении с моими приобретениями кажутся мне в этот момент совсем ничтожными. Так,

верно, должен чувствовать себя каменщик, чьи руки выложили хотя бы один карниз величественного дворца.

Постепенно привыкаю к своему положению. И странная вещь: мне временами кажется, что несмотря на утерянное зрение, я все-таки вижу. Может быть, это потому, что я не одинок, что меня всегда окружают товарищи и друзья. Со всех сторон я чувствую поддержку товарищеских рук, товарищеских глаз. Они стремятся передать моему восприятию окружающий мир во всей его полноте, они хотят, чтобы мне все было видно так же, как им. И я вижу, Женя!

Мы ехали через Трансильванию. Проходя в туннелях, наш эшелон пролетал теми самыми ущельями, где в прошлом году были наши огневые. Два дня мчались над самым Мурешом, над тем самым бурным Мурешом, который — помнишь? — пришлось нам форсировать вброд октябрьской ветреной ночью... — Я снова чувствовал под собой те хребты, по которым мы прошлый год рвались на запад. Мезитур, Арад, Дева... Вслушайся, дружище, в название этих мест! Я уверен, что от них на тебя так же повеет чем-то теплым, чем-то близким.

Мне кажется, что все земли, по которым мы прошли с такими боями, стали для нас навсегда близки. Я, во всяком случае, не смогу теперь безразлично слушать румынскую или венгерскую речь, не смогу спокойно воспринимать газетные или радиосообщения о жизни этих народов. Я не смогу быть беспристрастным к ним. Да и кто из нас отныне может не интересоваться ими, не следить за развитием их жизни, за их движением по новому пути? В конце концов разве это не естественно? Разве не оставил здесь каждый из нас частицу самого себя? Земля эта еще и сейчас горяча от нашей крови, еще до сих пор солена от нашего пота. Вот почему я волновался, как при встрече с родными, когда Лида сказала мне, что вдоль железной дороги стоят вооруженные кирками и лопатами смуглые трансильванцы в своих боярских шапках и в войлочных штанах. Это те самые чабаны и лесорубы, которых мы с тобой часто встречали в горах. Сейчас они прокладывают через горы газопровод. Я слышу их искренние выкрики, которыми они приветствуют наш эшелон. Все мы взволнованы до глубины души. Да! Освобожденные не могут забыть освободителей, — это понятно. Но я уверен, что и освободители тоже никогда не станут безразличными к освобожденным.

Иногда горы поднимались к самым вагонам, как небоскребы. Иногда отступали вдаль. Тогда бойцы, толпясь у окон, с радостью узнавали вершины, которые им довелось штурмовать, вслух обращались к ним, как к живым существам. Для меня эти вершины, окутанные тучами, были как бы символами развенчанной недостижимости, они воплощали в себе величественный эпос нашего похода. Чувство преодоления всего, что раньше казалось непреодолимым, — не это ли самое важное чувство, ко-

торое вынес я из войны? Сейчас в моем представлении все самое могущественное на свете кажется карликовым по сравнению с человеком, борющимся за свои идеалы.

Может быть, все это не ново, но для меня лично это было в какой-то мере открытием. Откровенно говоря, раньше и люди и явления жизни выступали передо мной несколько преуменьшенными. И только на фронтах этой войны я узнал настоящую цену себе и своим товарищам. Потому что именно на этих фронтах каждый из нас, простых людей, рядовых гвардейцев человечества, отчетливо ощутил, что он имеет свой определенный вес на великих весах истории.

Такими мыслями я жил, пересекая вторично Трансильванские Альпы. Не раз мне хотелось поделиться этими мыслями с тобой, вспоминая наши ночные беседы под мокрыми скирдами, разбросанными в венгерских степях, под холодными заревами Будапешта, когда мы волновались за судьбу и пути человечества не меньше, чем за нашу полковую разведку, ушедшую куда-то на смертельное задание. Кстати, как там наш Казаков? Как другие «волки»? Приветствуй их, если живы.

В Плоешти нам пришлось перебазироваться из мадьярских вагонов в советские. Теперь уже до самого Плоешти доходит наша отечественная широкая колея. Отсюда поезда водят наши машинисты с нашими девушками-кочегарами. Нам попались обычные «телячьи» вагны, поклеванные за войну пулями и осколками и уже старательно залатанные на наших вагоноремонтных заводах. Гвардейцы, ощупывая нашитые доски, нежно поглаживали их ладонями, как зарубцевавшиеся раны. Гладил и я. А Лида плакала.

Как твои отношения с Ш.? Я почему-то уверен, что если вы до сих пор не сблизились, то в будущем это произойдет непременно. Зная вас обоих, ваши характеры, ваши взгляды, склонности и интересы, я себе представляю вас в жизни, не иначе, как рядом.

Прибыл встречный эшелон, остановился рядом с нашим. Заиграли гармошки, зазвучали песни. Это молодежь едет на фронт. Счастливые, они пойдут в бой! Возможно, кое-кто из этих новичков попадет именно в твою роту. Придется тебе, Женя, выступать уже в роли ветерана-учителя... Что ж! Обучай их гвардейской науке.

Должен кончать. Гудок. Эшелон молодых двинулся к вам на запад. Нам тоже команда: по вагонам... Домой, домой!..

Привет однополчанам, привет гвардии.

Саша Сиверцев».

VIII

Это письмо Черныш получил на Мораве.

Полк готовился форсировать реку. В кустарниках вдоль полноводной Моравы уже ползали разведчики, изучали характер

противоположного берега, засекали вражеские огневые точки, выскивали самые выгодные причалы для предстоящей высадки десантов.

Десантные группы уже были здесь, неподалеку, за спиной у разведчиков. Если бы враг мог заглянуть в гущу приморавских лесов, он увидел бы, какая целеустремленная и уверенная гроза собирается у него над головой! В лесу становилось тесно от непрерывно прибывавших войск.

Полк Самиева работал старательно, спокойно и деловито, как огромная мастерская. На этот раз он должен был переправляться на подручных средствах. Вся техника сосредоточивалась где-то севернее: направление главного удара было выбрано там.

Самиевские мастера сегодня соревновались в изобретательности. Саперы и пехотинцы, скинув телогрейки и поплевав на ладони, принялись вязать плоты. Из ближайших сел по лесным тропинкам несли на плечах тяжелые лодки и остроносые душегубки. Отдельные десантные группы были уже сформированы и, располагая перед боем несколькими свободными часами, проводили пробные учения. Атака на Мораву должна была начаться вечером, с первыми сумерками.

Черныш готовил своих новичков, когда батальонный почтальон Олег Чубарик принес ему письмо.

— Танцуйте, лейтенант!

Но Чернышу в этот день было не до танцев. Выяснилось, что большинство его новичков впервые стояло перед серьезным водным рубежом. Были, правда, среди них и прошедшие суровую купель форсирований. У молодых наводчиков Бойко и Шестакова за плечами стоял опыт форсирования Дуная. Солдатская судьба привела их сюда через госпитали и запасные полки из Третьего Украинского. Они уже побывали в Болгарии и Югославии, имели на груди красные и золотые нашивки и держались уверенно. Даже Хома, ведя с ними длительные беседы, признавал, что хлопцы видали виды и могут немало интересного рассказать ему о балканских краях, о тамошних порядках.

За этих Черныш был спокоен. Беспokoили его такие, как рядовой Ягодка. Этот статный краснощекий юноша с умными внимательными глазами с первых дней заинтересовал Черныша. «Видно, человек с богатым умом, с хорошим образованием, — думал о Ягодке Черныш, отбирая его из пополнения. — За три дня станет наводчиком».

Каково же было его разочарование, когда он узнал, что Ягодка неграмотный: не умеет даже расписаться. Вся рота была удивлена. В самом деле, бойцам непривычно было видеть неграмотного юношу двадцати лет, умного, работающего и, безусловно, способного. На Ягодку приходили смотреть, как на что-то диковинное. Где он рос? В каком лесу?

Оказалось, что Ягодка родился и вырос в годы румынской оккупации. Он был родом из Измаильской области. В роты при-

было несколько солдат, недавно ставших советскими гражданами, и все они первые дни держались в стороне, ходили невеселые. Их, видимо, угнетала собственная отсталость. Одного из них, бессарабца Иону, Хаецкий взял к себе в ездвые, пообещал «сделать из него человека», остальных Черныш забрал в свой взвод. Сегодня он должен был повести их в первый, самый страшный для них бой. Как они будут держать себя на Мораве? О чем они сейчас думают? Что их беспокоит?

Прочитав письмо Саши Сиверцева, Черныш оглядел своих молодых бойцов. Они сидели возле него на перевернутой вверх дном лодке. Одни смотрели на Черныша доверчиво, спокойно, у других в глазах была глубокая тревога. Вероятно, им казалось, что они сидят сейчас на собственном гробу, а не на боевом судне, которое очень скоро понесет их навстречу подвигам, славе, победе. Может быть, именно их встретил Саша на границе? Может быть, как раз им не хватает великой науки — науки боя? Обучать? Но как их сейчас обучать?

Сагайде — тому легко. У Сагайды просто. Вот он поблизости муштрует своих бывалых.

— Пока Денис и Анохин гребут, ты, Роман, ведешь по берегу огонь. Понял?

— Понял.

— Если тебя легко ранило, все равно ведешь огонь. Понял?

— Понял.

— Если тебя... совсем ранило, тебя заменяет Фесюра. Фесюра, понял?

— Так точно.

— Ну вот...

— Товарищ гвардии лейтенант! А если меня убило?

— Убило? — Сагайда на мгновение заколебался. — Тогда, — еще энергичнее выкрикнул он, — передай весло Маковею, а сам падай на плот! Похороним на плацдарме!..

Черныш не мог так легко договориться со своими. Для них нужны другие слова. Прощальная тоска залегла в голубых глазах Ягодки. Чем его утешить, чем ободрить? Как разбудить богатырскую силу, что дремлет сейчас в широких плечах юноши, в его крепких, развитых руках? Трудно? Но ведь ты командир, ты коммунист, сумей найти дорогу к его сердцу!

— Вы, Ягодка, хорошо действуете веслом?

— Неплохо.

— Наверное, часто рыбачили дома?

— Не часто, но по воскресеньям ездил... когда хозяин пускал.

— Какой хозяин?

— А тот, у которого я служил.

— Кем вы служили?

— Кем? — Ягодка стыдливо покраснел. — Всё вместе... и ча-

баном был... и брэнзу делал... Зимой со всей худобой сам управлялся... Двенадцать лет отбатрачил.

— Двенадцать из двадцати! И круглый год? Чорт возьми, это же каторга! Неужели нельзя было иначе? Иона тоже вот батрачил, но он только посезонно.

— Я не мог посезонно, потому что я... безродный. Ни кола, ни двора. Да, может, это и лучше...

— Почему лучше?

— А потому что, как стукнет вот здесь, на Мораве, так никто жалеть не будет. Никому и не икнется.

— Это вы, Ягодка, уж слишком...

— Почему слишком? Скажете — не так? Это только для виду каждый хочет показать, что ты ему нужен... А я, товарищ гвардии лейтенант, уже давно знаю, что никому не нужен. Нагьюсь вот навеки моравской воды, так никто и не заметит. Да, ничего тут не поделаешь... Кому же по-настоящему больно — есть такой Ягодка на свете или нет его?..

Боец безнадежно махнул рукой, словно уже хоронил себя.

— Все это чепуха, — сказал Черныш, после гнетущей паузы. — Безродный, ненужный... Чепуха, товарищ Ягодка. Давайте подумаем так: вот вы скоро выйдете на тот берег. Что он сейчас представляет собой? Чужая опасная земля, начиненный фашистскими войсками клочок австрийской территории. Место, где только предполагается создать плацдарм. Но как только ты, Ягодка, ступишь туда своей ногой, сразу все изменится. Тот загадочный берег перестанет быть просто берегом, он уже станет плацдармом. Произойдет на земле событие, пусть небольшое, пусть не решающее, но оно вызовет немедленно сотни других событий, повлияет на них, внесет изменения в судьбу многих людей. И если сейчас, пока ты сидишь в этих кустах и изливаешь мне свою хандру, о тебе, может быть, и в самом деле мало кто думает, — то тогда о тебе подумают все. Для противника ты станешь большой опасностью. Друзьям ты будешь крайне нужен, не только нужен, а просто-таки необходим и дорог. Тогда ты увидишь, какая у тебя родня! Весь полк, вся армия, с молниеносной быстротой узнает, что у нее на таком-то участке за Моравой появился плацдарм. Откуда, каким образом? Очень просто: ведь там уже стал своей ногой гвардии рядовой Ягодка. Поддержать его немедленно! Помочь ему во что бы ни стало! Можешь представить себе, сколько людей будет тогда за тебя тревожиться. Все взгляды обратятся к тебе, все мысли будут о тебе, тысячи людей будут работать для тебя. А как же? Для тебя где-то на Урале девчина целые сутки не выйдет из цеха. Из-за тебя Верховная Ставка даст кому-нибудь добрый нагоняй, чтобы лучше о тебе заботились, чтобы случайно не погиб там, не пропал этот гвардии рядовой Ягодка! В высоких штабах, недосыпая ночей, будут выработать самые лучшие маршруты. Для тебя саперы будут строить мосты. К тебе по всем путям-

дорогам потянутся обозы. А кто о тебе, рядовом Ягодке, забудет в это напряженное время, тот, чего доброго, и под трибунал пойдет... Тут не до шуток. Как же ты можешь после этого сказать, что ты безродный, ненужный? Да какой отец, какая мать вложит столько сердца в своего Ягодку, сколько вложит в тебя Отчизна?

— Здорово! — засмеялся боец, закрыв лицо руками.

Товарищи восторженно смотрели на него, словно сидел перед ними не смущенный измаильский паренек, а кто-то большой и значительный.

Черныш взволнованно продолжал:

— А перескочишь ты Мораву, вырвешься на широкий тактический простор и придешь первый туда, где тебя люди годами ждут... Тебя там ни разу и в глаза не видели, а думают о тебе давно. Ты им нужен, ты для них свой. Знаешь, как тебя там встретят? Видел, как нас встречала Словакия? С колокольным звоном, с цветами, с открыгой душой! Ты для них будешь и самым близким, и самым дорогим, и самым родным! Первые благодарности — тебе, первые приветы — тебе, первая любовь народов — тебе. Потому что ты самый передовой из передовых, ты — освободитель!..

Возбужденный, разгорячившийся Черныш умолк.

— Это все так, товарищ гвардии лейтенант... Но ведь для этого надо быть самым передовым?

— Безусловно.

— Таким, как наш старшина? Как братья Блаженко? Как все ваши «брянчики»?

— А вы думаете, что они такими родились? Думаете, они пришли в прошлом году к Брянскому законченными гвардейцами? Уверяю, что Хаецкого тоже таскали тогда за ремень, не хуже, чем он теперь вас таскает. И меня в свое время таскали, и Сагайду... Не сразу Москва строилась. Но как раз в том и состоит одно из преимуществ нашей армии, что мы быстро совершенствуемся, растем, крепнем. Быстрее, чем другие! Сегодня вы, Ягодка, просто рядовой, завтра — уже хороший боец, послезавтра вы — герой, победитель, любимец народа...

— Только в атаке не оглядывайся назад, — спокойно посоветовал Ягодке наводчик Шестаков. — Это — гибель. Как сел в лодку — забудь про свой берег...

— Но про товарищей не забывай ни на секунду, — добавил Бойко, пришедший в роту вместе с Шестаковым с Третьего Украинского, — иначе беда!.. Когда мы зимой по тонкому льду форсировали Дунай, так приходилось за руки братья, человек по двадцать. Возьмемся и идем так. Крепко держались, пусть вот Шестаков скажет. Если один и проваливался, так те, что шли рядом, сразу подхватывали его и не давали утонуть. А если бы в одиночку двигались, каждый сам по себе, много нас накрылось бы...

Ягодка внимательно слушал. Потом быстро заговорил по-молдавски со своими земляками, а молдавский язык он знал не хуже, чем свой родной. Выслушав Ягодку, молдаване заметно оживились, повеселели.

— Я им сказал, — охотно перевел Ягодка Чернышу, — что хозяин мне всегда врал! Хозяин каждый день учил меня, что лучше всего в жизни идти одному. Быстрее к цели, говорил, приходит тот, кто идет в одиночку, через головы других.

— Это действительно ложь, — согласился Черныш, — Быстрее приходит коллектив.

IX

— Ты знаешь, что это не мой каприз, а желание массы, коллектива, с которым ты не можешь не считаться, — говорил в это время майор Воронцов командиру полка Самиеву.

— Я уже сказал, Воронцов, и — хватит... Как сказал, так и будет. Пока все там не закончу, пусть сидят здесь. Мало чего кому захочется!

Речь шла о полковых знаменосцах. Воронцов настаивал на том, чтобы Самиев разрешил знаменосцам переправиться на ту сторону, как только атакующие закрепятся на плацдарме. Он ссылается на факты, хорошо известные им обоим.

— Ты же слышал, Самиев, солдатскую поговорку: где знамя пронесено, там мы уже в землю росли. Если знамя будет на плацдарме, то сила и уверенность каждого бойца возрастут во сто крат. Тогда его ничем не столкнешь оттуда. Разве твой боец, почувствовав вблизи знамя, отступит от него хоть на шаг? Ты сам видел, как в Барте подразделения реагировали на то, что знаменосцы появились около них в самый критический момент боя. Может быть, мы и выстояли там только благодаря неслышанному энтузиазму, который был вызван знаменем...

Самиев категорически возражал:

— В Барте было одно, здесь другое. Ты знаешь, с кем нам придется иметь дело на этом плацдарме. Пока наведут переправу и перебросят артиллерию, «тигры» могут нас трижды смеять с землей. Еще, может быть, так припрут к берегу, что ты и вздохнуть не сможешь!

— Вот чтобы это не случилось, я и предлагаю...

— Лучше не предлагай мне, Воронцов! На этот раз не сагилируешь. Я пропаду, ты пропадешь. — нас с тобой заменят. А если со знаменем что-нибудь случится? Ты представляешь себе? Самоубийство для полка! Как ты вообще можешь мне предлагать такое?

— Не такое, а совсем обратное. Ответственность за знамя я готов взять на себя.

— Как же! Пока ты будешь «отвечать», мне тем временем голову снимут. Я против таких эффектов. Форсируем, расширим-

ся, пойдем вперед — вот тогда дам команду. Не бойся, Багиров нас не потеряет, у чорта в зубах найдет.

Они разошлись, не придя к общему решению.

Воронцов дружил с командиром полка, любил его за решительность и честность в бою, за горячий темперамент. Воронцов восторгался своим «таджиком», когда тот руководил боем. Это было подлинное искусство, уверенное, всегда изобретательное и точное. Однако слабости вспыльчивого «академика» тоже, бесспорно, никто не знал лучше, чем Воронцов. Проявлением одной из этих слабостей Воронцов считал и состоявшийся только что неприятный разговор. В такое время держать знаменосцев в обозе! Как может Самиев недооценивать присутствие их там, в самом пекле? Это близорукость... И ничем ты его не проймешь, если упрется... «Бывают иногда моменты, когда он становится просто нетерпимым», — сердито подумал Воронцов и пошел в батальоны.

Шел густо заселенным лесом, тяжело ступая и чуть сугулясь, как грузчик, несущий на плечах невидимую ношу. Ко всему присматривался, все ощупывал своими серыми глазами. Останавливался возле десантных групп, привычно «брал на пробу» их настроение. Перед боем Воронцов, казалось, беспокоился больше, чем во время самого боя. Сейчас его приятно удивляло царившее в подразделениях оживление, сверкавшие в глазах самоуверенные дерзкие огоньки, что можно заметить перед наступлением лишь у действительно бывалых вояк.

На прогалине бронебойщики под руководством безусого ефрейтора, разложив костер, варят бог знает где добытую смолу. Ефрейтор, засучив рукава, сидит верхом на перевернутой лодке, смолит потрескавшееся днище.

— Нет непреодолимых водных рубежей, — доказывает он товарищу, — все они проходимы.

Пожилой крепыш вытесывает весло, скептическая улыбка гуляет у него под усами.

— А ты их все перепробовал?

— Дон пробовал, Днепр |пил, Тиссу на |бочке форсировал. Чего тебе еще надо, старый хрен?

Бронебойщики дружно хохочут.

Капитан Чумаченко, собрав под деревом своих командиров, разъясняет им боевое задание.

— Самое опасное на плацдарме — это помнить о лодках и веслах, — слышит Воронцов глухой голос Чумаченко. — Выбрось их из головы! Известно, конечно, — в начале боя тебе и твоим людям будет тесно, душно на пятаке. Река все время будет тягивать тебя, тянуть назад. Тебе будет казаться, что как только ты оторвешься от берега, пойдешь в глубину, так тебя и отржут сразу, окружат, сомнут. Не поддавайся этому чувству, — оно ложное, не настоящее. Смелее отрывайся от берега, углубляйся в лес, выходи вот на эту дамбу. — Чумаченко тычет паль-

цем в карту, расстеленную перед ним на земле. — Тогда ты сразу почувствуешь себя свободнее, развяжешь себе руки для маневра...

Замстив замполита, офицеры вскакивают, отряхиваются.

— Сидите, — машет рукой Воронцов и первый садится возле развернутой карты комбата.

Сегодня с самого утра Воронцов на ногах. Разогнав в «низы» всех политработников, он не мог на этом успокоиться и неутомимо ходил от подразделения к подразделению, в одном выступая с речью, в другом ограничиваясь веселой репликой, брошенной на ходу, в третьем беря кого-нибудь за жабры не хуже, чем Самиев.

Всюду видели в этот день его широкоплечую, высокую сутуловатую фигуру в меховой офицерской безрукавке.

— Имейте в виду, — обратился Воронцов к командирам рот батальона Чумаченко, когда они сели возле него полукругом, почтительно вытягиваясь даже сидя, — имейте в виду, товарищи, что на плацдарме нам не миновать встречи с танками. Предупредите об этом своих людей, чтобы танковый удар не ошеломил их среди боя. Против нас стоит бронетанковая эсесовская дивизия «Шенрайх».

— Битая? — спросил один из молодых офицеров.

— Битая, но мало. Совсем плохо битая. Недавно переброшена сюда с Западного фронта, из Люксембурга.

Офицеры задумались. Чумаченко сердито смотрел на свою четырехверстку, пересеченную голубой лентой Моравы.

В это время на замполита налетел комсорг полка Толя Домбровский.

— Листовки уже получены, как быть? — радостно крикнул он.

— Не знаешь — как? Немедленно в подразделения, читать вслух!

В минроте первым из рук агитатора выхватил листовку Маковой. Протиснувшись между товарищами, вскочил на лодку, зазвенел:

— «Вперед за Мораву, советские богатыри!»

Ягодка, опершись на весло, жадно слушал.

Х

— Десанты, в лодки!

Команду подали шопотом, но впечатление было такое, будто ударила она, как гром. Наконец!.. Весь левый берег, до этого казавшийся безлюдным, теперь ожил, задвигался. Темнота наполнилась почти невидимым, но явно осязательным движением множества человеческих фигур.

— Десанты, в лодки!

Просвистев по песку, лодки стрелами влетели в воду. Затре-

щали темные кусты, выбрасывая на воду тяжелые, заготовленные днем плоты. Заплескалось вокруг, захлопало... Бойцы, по колени в воде, на бегу вскакивали в свои шаткие суденышки, сильными ударами весел отталкивались на глубину.

Грозными роями взвились в темноте ракеты, пущенные с противоположного берега. Осветилась морщинистая широкая река, уже покрытая на всем своем протяжении плотами, лодками и лодочками, низко летевшими от восточного берега. Вдоль реки блеснули пулеметные вспышки, словно рванулись навстречу десантам слепящие струи расплавленного металла. Густо затьохало вокруг, волны закипели.

— Греби сильнее! — хрипел Черныш, не спуская глаз с противоположного берега, направляя веслом лодку. — Греби!.. Греби!..

Бойцы молча гребли. Втянув голову в плечи, выворачивали веслами пенистую волну. Река превратилась в ад. Жутко закричали раненые. Опережая Черныша, пронеслась душегубка с полковыми разведчиками. При вспышке ракеты Черныш заметил зеленоватое сосредоточенное лицо Казакова. Прошмыгнула лодка пулеметчиков, ведя огонь на плаву. Пригнувшись к плотам, яростно гребла пехота.

— Греби, братцы, греби!

В нескольких метрах от Черныша гонят свой тяжелый плот десантники Сагайды. За спинами братьев Блаженко, лицом на восток, сидит, согнувшись, простоволосый Маковой. Торопливо перебирает обеими руками красную нитку кабеля, протягивая его через реку. Широкими серьезными глазами смотрит на свою работу. Кажется, что тянет он красный провод не с катушки, висящей на груди, а из самой груди. Тянет, как окровавленную живую нитку собственного нерва, распуская его вслед за собой. Пуля задела лодку Черныша, прошелестела щепка, отколовшись от борта.

С обеих сторон ударила артиллерия. Лес насквозь осветился пламенем, затрещал, загрохотал. Пузатые немецкие мины зашумели над головой, тяжело шлепнулись в реку, и она всколыхнулась, казалось, до самого дна.

Черныш, отталкивая чью-то перевернутую взрывом душегубку и стараясь удержать направление своей лодки, кричал на незнакомых пловцов, приказывая цепляться за нее. Они нависли на бортах, захлебываясь водой. Грести стало тяжелее, минометчики изо всех сил налегали на весла. Черныш уже не видел ничего, кроме противоположного берега, завихренного огнем. Рвался к нему не только взглядом, но всем своим существом. Вот уже скоро, вот уже близко... Стать бы только ногой на землю!.. Вспыхнуло, взорвалось рядом... Черныш инстинктивно пригнулся ко дну лодки, тяжелый фонтан с шумом навалился на него, окатил с головы до ног. Почувствовал, как неустойчивое дно лодки

выскользнуло из-под него, и охваченное холодом тело начало погружаться в воду.

Неожиданно коснулся ногой дна. Стоя по шею в воде. Черныш посмотрел на свой десант.

— Все здесь?

— Все, все! — откликнулись ему новички удивительно близкими, желанными, родными голосами.

— Лафет пошел на дно, — сердито сообщил Ягодка и, не ожидая приказа, исчез под водой. Через минуту его мокрая голова появилась на поверхности. Набрав воздуха, Ягодка нырнул вторично. — Есть! — доложил он, появляясь над водой.

Кто-то подал ему руку, помогая преодолеть быстрое течение. Бойцы поспешно выбирались за Чернышом на берег. Темная глубина леса перед ними гремела, редела, вспыхивала. Растянувшись на многие километры, плацдарм, рождаясь, клочкотал горячей пальбой, раскатистым, как море, шумом наступления. Зловещие вспышки ракет над деревьями уходили все дальше и дальше.

Вот, наконец, она, таинственная земля чужого берега! Ягодка шагнул из воды, с недоверием занося ногу над берегом, как над огромной миной. Казалось, ступит — и весь берег взорвется под ним. Ступил... и ничего не случилось.

Санитары и фельдшеры уже метались в темноте, подбирая раненых. С левого берега непрерывно прибывали новые волны десантников. Не пришвартовываясь, прыгали прямо в воду, навстречу плацдарму, бежали вперед, мокрые, горячие, стискивая гранаты в руках. Сагайда не стал вытягивать за собой плот. Уже не нужны ему плоты, — драпать отсюда никто не собирается!

Решительно махнул рукой.

— Пускай на голубой Дунай!..

Денис Блаженко, стоя по колени в воде, с силой оттолкнул плот на быстрину.

— Плыви до Черного моря!

XI

Саперы наводили переправу. Рядом с ней в кустах играл оркестр. Музыканты настойчиво дули в свои трубы, сблизаясь потом, изнемогая, как от тяжелой работы. Это действительно была работа. Они знали, что поставлены здесь генералом не для того, чтобы развлекать, а с вполне практической целью: помогать саперам своими маршами. Именно так смотрели на оркестрантов и сами саперы. Они уже по опыту знали, что музыкантский взвод — немалый помощник: под музыку мост вырастает значительно быстрее.

Музыканты играли в нарастающем темпе, саперы двигались быстрее, работа горела у них под руками. Сваи несли бегом, доски несли бегом, все делалось только бегом. До самого утра ра-

ботали в ледяной воде, согревались не спиртом, а собственной кровью да горячими маршами, которые неудержимо рвались с левого берега, требуя простора, звонких мостов на плацдарм, далеких дорог.

И все-таки к утру мост еще не был закончен. Утром над Моравой появилась вражеская «рама», и химики вынуждены были окутать все строительство дымовыми завесами. Однако стук топоров и молотков не затих и в дыму, бурные марши и сквозь дым требовали дорог. Шум предстоящих триумфов, радостных майских громов уже слышался бойцам в этих могучих ритмах, несущихся над незаконченной моравской переправой.

Лес перед будущим мостом уже трещал, запруженный артиллерией, машинами, обозами. Никому не стоялось на месте, каждый тянулся поближе к переправе, чтобы первым вырваться на плацдарм.

Хома со своими повозками бился в общей тесноте, ругался, поносил всех и вся, лез через головы вперед, крича, что, дескать, начальник переправы приказал пропустить его первым. Конечно, Хома и в глаза не видел этого авторитетного начальника, на которого все время ссылался, протискиваясь шаг за шагом к мосту. А тем временем — откуда взялся? — появился и сам воображаемый покровитель Хома. Налетел на подолянина, остолбенел.

— Я? Тебе? Разрешал?

— Товарищ майор!.. Экстренный груз!..

— В сторону! — затрясся начальник переправы. — В сторону! В сторону!

Только что обманутые Хомой и поэтому особенно злые на него, артиллеристы накинулись с кнутами на его лошадей. В одно мгновение все повозки Хома очутились далеко сбоку, затиснутые в кустарник.

— Выставили!.. А-а, чтоб вас...

Хома сплюнул и как ни в чем не бывало отправился искать новые возможности пробиться к мосту.

Неожиданно из-за леса прилетели первые снаряды. Враг начинал обстреливать переправу. Близкие разрывы ударили на берегу, заглушая звуки оркестра. Вскоре возле переправы остались только те, кто работал. Остальным было приказано рассредоточиться в лесу.

Хома не мог больше ждать. Раненые, на лодках эвакуированные с плацдарма, приносили далеко не утешительные вести. С ужасом оглядывались они на реку, словно не верили, что вырвались оттуда живыми. Хоме казалось, что судьба плацдарма зависит от него, что все там пойдет вверх тормашками, если он задержится со своим боевым грузом. Саперы работали уже под обстрелом. Среди них были раненые.

Хаецкий сел на коня.

— За мной! — скомандовал он ездovým. Ездové не спрашивали — куда.

Молодые деревца забились под копытами лошадей, затрепачали под колесами. Выхав на просеку, старшина вырвался на своем жеребчике вперед,

— Гони за мной!

Погнали что есть духу.

Будь что будет! Хома решил попытать счастья у соседей. Он знал, что справа, выше по течению, строит для себя мост «Сестра», соседняя гвардейская дивизия. Еще выше наводило переправу казачье соединение. По дороге Хома узнал от встречных, что мост «Сестры» тоже готов только частично и саперы там работают под огнем.

— А у казачат?

— У казачат заканчивают.

Хома подался к казакам.

Солнце поднялось из-за леса. Чистое, по-весеннему светлое небо синело над просекой. Почки на деревьях тихо, торжественно набухали. О, как эти деревья оденутся через неделю, как закрасуются буйно и весело!.. Но где будет в то время Хома? Дождется ли он зелени в этом году? Может быть, уже сегодня осиротеют его дети? «Явдошка, дружина моя любимая! Сыны мои, Миронко, и ты маленький Ивасы! Чи видите вы, где ваш батько сейчас по свету мыкается? Да разве вы можете?... Если увидите, что среди чистого неба молнии на западе бьют, — то и меня в них увидите. Если услышите, как издали гром на голые деревья рушится, то считайте, что и татко ваш в том грое... Бо то не гром гудит, то гудит наш плацдарм».

За Моравой на десятки километров ухали и ухали пушки. Иногда даже слышно было, как постукивают на плацдарме пулеметы — тонко, дремотно, по-птичьему. Словно пробивают на далеких деревьях кору неугомонные дятлы. Что там сейчас творится? Как чувствуют себя товарищи? Перед глазами Хома пронеслись страшные картины. Он знал, что это значит — удерживать плацдарм без артиллерии. Правда, еще утром несколько легких батарей были переправлены за реку на плотках. Но разве их хватит? Мосты нужны, мосты, мосты!..

Тревога не покидала Хому всю дорогу.

Когда он привел свои повозки к казачьей переправе, по ней уже потоком двигались войска. С холма по отлогому склону влетали на мост всадники, орудия, кухни, транспорты, — в кавалерийском соединении все это, видимо, двигалось одновременно. У переправы стоял генерал в черной косматой бурке, время от времени подгоняя своих казачат:

— Галопом! Пулей! Пошел!

Войска вгонялись в переправу, как в обойму, вылетали на западный берег, разветвлялись по дорогам. А из-за пригорка уже вырывались другие, неслись горячим, шумным потоком конь к коню, колесо к колесу.

Генерал пропускал своих в первую очередь. «Гости» пока

что должны были ждать в стороне, с завистью поглядывая на уплотненную до предела лавину конников, хозяев переправы. Здесь Хома встретил нескольких старшин-однополчан. Они клялись на чем свет стоит казачьего генерала, который на лету выхватывает «гостей» из колонны и без разговоров спроваживает вместе с лошадьми в сторону. Сейчас старшины, раздобыв где-то красные кубанки, маскировали своих ездовых под казаков. У Хома кубанок не было. Да и как он замаскирует, скажем, своего Каленика? Ведь у Каленика на лбу написано, что он пехтура. Хома, не теряя времени, проинструктировал ездовых, как им надлежит держаться. Каленику пригрозил:

— Ты мне чортом смотри!

— Есть! — промычал Каленик.

— Ломитесь за мной!

Пришпорив коня, проникнутый холодком решимости, Хома бросился в общий движущийся поток. Ездовые дружно пробились за ним. Сверкая зубами, огрызаясь налево и направо, Хома в конце концов сбил конем какую-то захудалую казачью кухню, втерся на ее место и, под нагайками сдерживая нажим, втиснул между казаками своего совсем озверевшего Иону. Теперь все. Стоит затесаться одному! Через минуту-две Иона пропустил впереди себя всех своих минометчиков. Их сразу подхватило, понесло. Только б на мост, только б ступить на первую доску! Оттуда уже никакой генеральский окрик не в силах их вернуть.

Мчась рядом с повозками, Хома расстегнул телогрейку, выставил грудь, чтобы звенела «Славой» и «Отвагой». Может быть, заглядится генерал хоть на секунду, zalюбуется таким казачиной!.. Лихо осадил коня вплотную перед генералом, заслоня от него своих ездовых.

— Товарищ генерал!

Первая подвода Хома влетела на мост.

— Товарищ генерал!

Вторая подвода протарахтела на мост.

— Товарищ генерал!

Третья подвода вырвалась на мост.

— Да что ты мне зарядил: генерал, генерал...

Четвертая подвода зазвенела на досках... Все, Хома сверкнул зубами, дал шпоры коню, метнулся за ней. Оглянулся, уже подпрыгивая на мосту. Генерал грозил ему вслед тяжелой плеткой. Напрасно! Хома был защищен тысячеголосым бушевавшим валом, неудержимо напиравшим на него сзади.

За переправой вздохнулось легче.

Миновали перелесок, выехали в поле. Некоторое время двигались вдоль грунтовой дороги, запруженной казаками. Далеко-далеко, до самого горизонта покачивались впереди красные донышки кубанок, как маки на ветру. Куда ехать? Казаки сворачивали на север, Хоме надо было на юг, к своим. Он лишь

приблизительно представлял себе, где сейчас может быть его рота. Попробуй, найди их в этой массе полков, уже развернувшихся по всему широкому пространству. Стрельба доносилась отовсюду, с каждым шагом слышнее. В ней натренированное ухо Хомя различало чахканье батальонных минометов — там, и там, и там... Чахкающих минрот уже можно было считать не менее десятка на широком, еще не остывшем после боя плацдарме. Но где же рота Хомя? Полагаясь главным образом на свою старшинскую интуицию, Хаецкий искал своих где-то слева, там, где, извиваясь в луговых низинах, убегала за горизонт дамба. Между нею и приморавским лесом тянулась на юг широкая полоса открытой местности. Заболоченные балки, голые холмы, покрытые редким кустарником луга... Хома окинул взглядом эту пустыню и взял курс на юг, параллельно дамбе.

Бархатный настил мягко зашелестел под колесами. Зачесанное откуда-то половодьем прошлогоднее сено висело на кустах бахромой, показывая, как высоко еще недавно поднимались здесь вешние воды. Теплые поля, разогретые леса дышали полной грудью, посылая к небу прозрачные струи марева.

Вдоль всей дамбы тянулись окопы — незнакомые Хаецкому подразделения занимали оборону. В некоторых местах, уже на самой насыпи, стояли орудия, и по тому, как они били — отрывисто, сердито, неослабно, — Хома догадывался, что противник где-то недалеко за дамбой.

Хома нетерпеливо подгонял ездовых. Вырывался на своем конике далеко вперед, возвращался к тяжелым повозкам и опять рвался вперед. Если бы мог, то, кажется, сам впрягся бы в эти горы ящиков и тянул их быстрее к огневой. Прибыть вовремя, доложить Антонычу!.. Так, мол, и так.. Ездовые не жалели батогах, пена клочьями летела с лошадей.

Хотя плацдарм был уже достаточно широк и внешне положение казалось более или менее нормальным, Хомя все острее охватывала тревога. По многочисленным, на первый взгляд незначительным приметам он определял, что дела плохи. Почему так часто скачут всадники-связные от насыпи к реке и обратно? Почему так лихорадочно суетится народ, торопливо роет окопы вдоль всей дамбы? Почему артиллеристы, скинув телогрейки, не отлучаются ни на секунду от своих орудий и стоят возле них в напряженных по-охотничьи позах? Раненых много. Одни ковыляют к лесу сами, других несут на палатках. И все обращаются к Хомя с одним и тем же вопросом:

— С переправы? Переправа готова?

Небо дрожит, как натянутое. Снаряды воют над головой, летят к лесу. С характерным пощелкиваньем бьют вражеские самоходки, замаскированные в оврагах за дамбой.

Хаецкий на ходу спрашивает раненых про свой полк. Вот уже начали встречаться люди его дивизии. Где-то здесь ря-

дом, слева, и однополчане Хома. Раненые выглядят страшно. Измученные, бледные, в грязи... Некоторые хромают, смертельно усталые, у иных еще горит в глазах боевое возбуждение. Никто из них не обращает внимания на снаряды, рвущиеся совсем близко на опушке, словно эти разрывы — пустяки в сравнении с тем, что им пришлось пережить.

Тем временем над Моравой в высокой голубизне закружились «юнкеры». Стрекотом зениток встретили их переправы. Не опускаясь, самолеты капнули косыми бомбами, и гулкие леса застонали. Над берегами поднялись дымовые завесы, пышные, плотные, ослепительно белые на солнце.

Стрельба приближалась. Весь ясный горизонт на западе сотрясался неестественным нервным громом. В разных местах над открытым плацдармом высоко взлетали огни ракет, жутко бледные при дневном свете.

Снаряды ложились все ближе. Хаецкий вел свой обоз у самой дамбы, чтобы в случае артналета ездовые могли прыгнуть в готовые окопы. Испуганные лошади, чувствуя опасность, летели ветром, готовые выскочить из шлей. Уже грохотало слева, справа, спереди, сзади. Хома, оглушенный разрывами, не заметил, как очутился против своего батальона. С насыпи на него смотрело множество знакомых лиц, которых он почти не узнавал. Размахивали руками, кричали:

— Падай, падай!

Ездовые, соскакивая с передков, прыгали в ближайшие окопы. Хома с ушами, полными звона, тоже свалился на чье-то тела и оказался лицом к лицу с Маковеем.

— Маковей!

Паренек бросился в объятия Хома.

— Ты с переправы, Хома? Что привез?

— Мины, гранаты...

— О, гранаты!.. Нужны дозарезу! Мы уже пять контратак отбили! Такое тут творилось! На артиллеристах горели рубашки, приходилось бить по танкам с расстояния в полсотни метров!..

— Где Антоныч? Надо доложить ему..

— Докладывай Чернышу. Антоныч... отвоевался.

— Как так?

— А так... Вот он возле моего окопа...

Хаецкий высунул голову за бруствер. Вытянувшись на плащпалатке, лежал Кармазин в своих потрескавшихся разбитых сапогах. Смотрел прямо на Хому, напряженно открыв рот, словно хотел что-то громко крикнуть и не мог. Муравьи гуляли по его серому лицу.

Хома затрясло, как в лихорадке. Лицо его судорожно перекопилось от лютой боли, он сел в углу, стиснул тяжелые кулаки и гневно уставился в стенку окопа.

— И до каких же это пор будет! До каких пор, а?..

Маковея вдруг охватил ужас. В самом деле, до каких пор? И кто на очереди?

Как только кончился артналет, Хому вызвали к командиру полка. Самиев с несколькими офицерами стоял под дамбой. Сегодня все они были с автоматами в руках, как рядовые.

— С переправы? — встретил Самиев Хасцкого, не ожидая формального рапорта.

Хома доложил скупо и невпопад. Все время он думал об Антоныче.

Узнав, что Хома переправлялся совсем в другом месте, «хозяин» не стал его слушать. В другое время он отметил бы старшинскую смекалку, похвалил бы его за то, что он первый прорвался на плацдарм с обозом боеприпасов. Но сейчас Самиев, видимо, думал о другом. Не выслушав Хаецкого до конца, отвернулся и заговорил с офицерами о всаднике, приближавшемся со стороны леса.

— Казаков?

— Он.

Полчаса назад Казаков был послан на переправу узнать, каковы там дела. Сейчас он во весь дух гнал обратно. Посеребривший, с распахнутой грудью, подскакал к командиру, доложил, не вставая с седла:

— Переправа разбомблена. Начинают снова.

XII

Дамба напоминала собой гигантские соты: ямы на яме, окоп на окопе. В ячейках рядом стояли солдаты и офицеры, разведчики и штабисты. Всех, кто был под рукой, командир полка поставил в оборону.

Хома, вытащив из окопа тело убитого пехотинца, занял готовое укрытие на самой дамбе. Соседями Хома были: справа — петезровцы¹, слева — Маковей со своим аппаратом.

Маковею этот день казался неестественно длинным. Солнце, остановившись посреди неба, как будто уже не движется дальше. Отбито пять контратак... Сколько еще их придется отбить до ночи?

В первые часы после форсирования наступление разворачивалось довольно успешно. Полк, решительным ударом выбив противника из леса, отбросил его за дамбу. Многие думали, что теперь наступающие подразделения пойдут и пойдут вперед не задерживаясь. На рассвете комбат Чумаченко наметил было свой будущий КП у станционной водокачки, едва видневшейся в синеватой мгле на горизонте. Самоуверенность Чумаченко никого не удивила, хотя до водокачки было еще много не прой-

¹ От ПТР — противотанковые ружья.

денных километров, а на самой станции еще гудели немецкие поезда. У комбатов уже давно выработался дерзкий гвардейский обычай — под свои будущие КП заранее выбирать пункты, еще занятые врагом. И раньше или позже, но комбаты со своими штабами неизменно появлялись там, где наметили. На сей раз дело обернулось иначе. В самый разгар наступления неожиданно, почти в спину атакующим, ударили вражеские танки. Они зашли по балке, смяв на открытой местности пехоту левого соседа. Самиев приказал батальонам немедленно отойти за дамбу. Возвращаясь по голому полю под шквальным огнем, батальоны понесли значительные потери. В это время минометчики и потеряли своего Ивана Антоновича. До насыпи его донесли еще живым. Он умер незаметно, когда рота уже залегла на дамбе рядом с другими искромсанными подразделениями полка и отбивала первую бешеную контратаку. Это было утром. Тогда здесь еще стояла полковая батарея легких пушек, которые собственно и решили судьбу предыдущих схваток. Несколько подбитых фашистских машин сейчас стояло в балке перед дамбой, — результат славной работы батарейцев. Но самой батарее здесь уже не было. Самиев перебросил ее на помощь соседу далеко на левый фланг, куда сейчас перенесся центр боя. Там противник, прорвавшись через дамбу, постепенно вклинивался в плацдарм, стремясь снова выйти к Мораве.

Маковей то и дело тревожно посматривал туда.

Хома тем временем углублял свой окоп, показавшийся ему слишком мелким.

— Это теперь моя хата, Маковей... А все хозяйство — десяток гранат...

Разгрузив свои повозки, Хома передал их в распоряжение санитаров, которые повезли на них раненых к реке. Боеприпасы, доставленные Хомой для своей роты, были распределены поровну между всеми минометными подразделениями полка. Хома не жалел: пусть все пользуются, лишь бы с толком.

— Хуже всего, что местность кругом танкодоступная, — через бруствер жаловался Маковей Хаецкому, — Если он нас столкнет отсюда, с этой насыпи, никто не добежит до леса... Передавит среди поля гусеницами...

— Ячейки держись, — мрачно посоветовал Хаецкий.

— Ура! — неожиданно закричал Маковей, прижимая трубку к уху. — Иптап пришел!.. Иптап!

Услышав это слово, бойцы выставили головы из окопов, радостно всматриваясь в опушку. Иптап! Истребительный противотанковый артиллерийский полк... Гроза немецких танков, надежда гвардейской пехоты! Не раз бойцам приходилось видеть блестящую работу иптапов. Вооруженные новейшими скорострельными орудиями, подвижные, летучие, как молнии, они неумоимо сновали по фронту, появляясь неожиданно то тут, то там — в местах наибольшей опасности. Прямо с марша

вылетали на поле боя, разворачиваясь с ходу, били без промаху!

— Где иптап, Маковей? — посыпались на телефониста вопросы. — Где он? Где?

— За речкой, у переправы стоит наготове! «Хозяину» оттуда кто-то передает...

Последние слова Маковея потонули в сплошном грохоте. Противник открыл огонь по всему плацдарму одновременно. Ударил из всех видов артиллерии: самоходками, танками, тяжелыми минометами. Плацдарм закипел на десятки километров, от края до края покрылся огромными пузырями разрывов.

Маковей бывал во всяких переделках, но, пожалуй, впервые попал под такой обстрел. Это был даже не обстрел, а разнуданный, всепоглощающий обвал огня, воющая крутоверть разорванного металла и поднятой на воздух земли, тяжело бушевавшей над телефонистом. Исчезли паузы между залпами. Голова еще звенела от предыдущего разрыва, еще сдвинутая земля сыпалась в окоп, а воздух уже опять качался, завывал, пружинил, втискивая в землю. Удар близкой молнии, горячее урчанье чугунных слитков, и снова нескончаемое вытье, вытье, вытье...

Забившись на дно ячейки, спрятав под себя аппарат, как нежное живое существо, Маковей пронзительно молил в трубку:

— «Земля», «Земля», «Земля»!..

— Чего тебе? — кричали на него из батальона. — Сиди там и дыши!

В самом деле, что ему нужно? Просто услышать человеческий голос, убедиться, что линия действует, что все на своих местах. И снова:

— «Земля»!.. «Земля»!..

На этот раз ему никто не ответил. То ли не хотели, то ли связь порвало, «разметало снарядами»?.. Маковей похолодел.

— «Земля», — чуть не плакал он в трубку. — «Земля»...

А «Земля» молчала. Все вокруг вихрилось, оглушало, обжигало горячей воздушной волной, присыпало сверху. Неужели никто не откликнется? Маковей вдруг почувствовал себя брошенным далеко на край света, забытым, обессиленным, беспомощным. «Где ты, Хома? Где ты, Роман? Где вы, товарищи? Связь моя порвалась, аппарат молчит, погибаю!..»

Может быть, только сейчас, в эту минуту, он, беззаботный Маковей, сразу и до конца постиг, какое значение имела для него эта тонкая нитка красного кабеля. Она соединяла его с командными пунктами, с соседями и с тылами, соединяла в конце концов с самой Родиной. Пока она действовала, парень чувствовал себя твердо и уверенно. А порвалась — и все вокруг как бы заслонилось тучей, дохнуло на солдата пустыней, зашаталось, теряя силу и смысл. Уже не нужно ему ни девчат в красных сапожках, ни весенних песен на просторе, — он зады-

хается в своем тесном окопе, как в наглухо заклепанном котле. Так вот как страшно остаться без этой нитки! Нечем без нее дышать в жаркой ячейке, тесно, одиноко и страшно сидеть здесь! Маковой решительно поднимает голову. Дым тяжелыми бурунами бродит над плацдармом, как над разверстым кратером гигантского вулкана. Бьют и бьют огни.

«Побегу!» — решает Маковой поднимаясь.

— Куда? — откуда-то снизу кричит ему лейтенант Черныш. — Сиди, пока не утихнет!

— Порыв!

— Сядь, говорю!

Маковой присел в своей норе. Немая трубка стиснута в его застывшей руке. Не зуммерит онемевший аппарат.

А плацдарм беснуется. Разрывы разворачивают, сотрясают, рвут дамбу. В поднятой на воздух земле мелькают, поблескивая, сплюснутые алюминиевые котелки, колеса станкача, чьи-то желтые сапоги... Может, Антоныча? И солнце еще светит, и небо еще иногда прорывается сияющей синевой сквозь бурлящие тучи земли и дыма, а Макову этот день кажется ненастоящим, неестественным, фантастически уродливым. Как будто земля уже соскочила со своей орбиты и, разваливаясь на куски, летит куда-то вверх тормашками, и некому ее поставить на место.

— «Земля!» — снова неистово молит Маковой в трубку. — «Земля!»

О, если бы она ответила! Если бы ожил его изорванный кабель, его родной живой нерв! Все на свете вернулось бы к Маковой... Все вокруг сразу приобрело бы прочность, целесообразность и выразительность. Тогда ему ничего не было бы страшно! Не давили бы на него вот так эти тяжелые пласты зноя, свиста, стали, что, завывая, проносятся над ним в чужом, затянутом тучами небе... Когда этому будет конец? Когда это утихнет? Почему лейтенант не пустил его бежать на линию? Может быть, приказано сниматься, отступить за Мораву? Ведь ясно, что после этой канонады сюда двинутся танки... Сейчас уже каждому понятно, что батальонам не усидеть на этом фортовом пятаке! Отступить, пока не поздно!.. Может быть, в окопах уже ни души, может быть, Маковой остался один-одинешенек на всей дамбе?

Сквозь сплошной грохот слышно, как размеренно, с беспощадной неутомимостью работающих станков бьют фашистские самоходки. Как будто работают сами, без людей, разряжаясь и опять автоматически заряжаясь из неисчерпаемых погребов. Кажется, что истязание металлом, грохотом, газом, свистом никогда не кончится, не уляжется, не затихнет, пока не доведет несчастного Макова до безумия.

Однако кончилось, улеглось. Окутанная дымом насыпь стояла, словно огромное живое тело, которое четверговали. Раненые звали на помощь. Соседи перекликались между собой. Хо-

ма, черный, как чорт, выбрался на поверхность и положил на бруствер тяжелую связку гранат.

— Теперь беги! — крикнул Черныш Маковею.

Маковей стремглав бросился вниз. Под насыпью он заметил майора Воронцова. Стоя среди раненых, майор едва сдерживая раздражение, успокаивал окровавленного бойца:

— Никуда мы не уйдем, никого не бросим. Сниматься будем только вперед. Я уже послал гонца за знаменем.

XIII

Для Воронцова этот день был особенно тяжелым. Задержка с переправой, неустойчивость общего положения на плацдарме, прорыв вражеских танков на левом фланге, изнурительные контратаки, значительные потери — все это вызывало у части личного состава неуверенность и подавленное настроение. Последний артиллерийский удар, казалось, не оставил на дамбе ни одной живой души. Но дым рассеялся, убитых и раненых снесли вниз, — их оказалось меньше, чем можно было ожидать, — и из окопов опять выглядывали замурзанные, сразу похудевшие, напряженные лица.

Нахмутив косматые брови, замполит проходил вдоль дамбы, задерживаясь иногда возле раненых, осторожно переступая через убитых. Вся дамба следила за ним, утомленными взглядами докладывала, как ей тяжело.

Воронцов знал, что это смотрят на него трактористы и доменщики, педагоги и десятиклассники, шахтеры и студенты... Смотрят не только своими собственными глазами, а и глазами своих семей, матерей и детей, вверяя ему свою судьбу. Майор знал и то, что каждый его непродуманный приказ, каждый его неверный шаг и даже ошибочный жест обернется чьей-то кровью здесь, под чужой дамбой, обернется сиротами и вдовами там, на долине.

«Ты не имеешь права ошибаться. Ты должен действовать безошибочно. Но что такое безошибочно?»

Правильно ли поступает он сейчас, решив с Самиевым держать свой полк на этом голом кулаке, вытянутом к западу? Не обрекает ли он тем самым своих людей на поголовное уничтожение танками, которые, без сомнения, рано или поздно опять пойдут на штурм дамбы? Может, и в самом деле был прав начальник штаба, советуя до прихода артиллерии снять отсюда подразделения и положить их в оборону по лесным болотам вдоль Моравы: танки в лес не пойдут, потери в живой силе будут незначительны, плацдарм будет удержан безусловно.

Все это хорошо. Но если снимется полк Самиева, то правые соседи тоже вынуждены будут один за другим оставить дамбу, перебраться в лес. А окопы? Кому достанется эта из-

резанная норами окопов дамба? Ведь здесь опять засядет противник. И потребуется кровь, много крови, чтобы выбить его вторично. Самиев только что передал в дивизию: «Если танки слева прорвутся и отрежут меня от реки и связи уже не будет, — считайте, что я на дамбе. Дамбу не обстреливайте».

Воронцов поддержал это решение командира полка. Но хватит ли сил удержать дамбу под бронированным натиском «Шенрайха»? Не раскаются ли позже Воронцов и Самиев в своем упрямстве? Вот уже минометчики молча, по-деловому хоронят своего мудреца — Антоныча. Как жил, так и умер: спокойно, просто. Война есть война... Не все умирают с блеском. Антоныча скосила пуля, когда он задержался возле одного из своих убитых новичков, чтобы взять его минометную трубу. Труба... Тысячи таких труб не стоят одного Антоныча! Но разве он мог примириться с тем, что она достанется врагу?.. Минутой позже Сагайда уже тащил через дамбу окровавленного Антоныча и трубу. Теперь его хоронят. Черныш и Сагайда берутся за края палатки, опускают тело в пустой окоп, Хаецкий смотрит на их работу неистовым взглядом.

— Тяжело, товарищ Хаецкий?

— Ой, товарищ замполит... Так тяжко, как будто всю землю на плечах держишь...

— А нужно... Потому что больше некому.

Воронцов проходит дальше. Отовсюду глядят на него изурованные до неузнаваемости почерневшие лица. Родные, близкие ему почти кровной близостью. О каждом бойце Воронцов думает, каждому он хотел бы сберечь жизнь. Как? Что такое безошибочно? Не переоцениваешь ли ты своих людей? Правильно ли ты определил запасы их душевных сил? Майор уверен, что самый лучший полк любой другой армии мира не удержался бы на этой проклятой дамбе в таких условиях. Но ведь его полк — советский. К нему нужно подходить с другой мерой. С новой мерой.

— Знамя несут! — неожиданно послышались в нескольких местах радостные голоса. — Знамя!.. Знамя!..

Словно целительный ток пробежал по утомленным лицам. Раненые поднялись, стали на колени. Все смотрели в сторону леса. Оттуда выходили, направляясь прямоком через поле, полковые знаменосцы.

— Воронцов! — позвал майора командир полка. Он стоял под насыпью, поднявшись на носки, сердитый, нервный. Замполит подошел к нему. — Ты видишь? — Самиев порывистым движением указал на знаменосцев. — Ты видишь, до чего додумались, головы? Ты видишь, куда они идут? Ну, покажу ж я им, ч-чертям!

— Это я за ними послал, — медленно произнес замполит.

— Что? — Самиев весь съезжился, стал колючим, неприятным. — Ты? Ты? Ты? — начал он бешеной скороговоркой.

— Я знал, что ты не станешь возражать, — спокойно продолжал Воронцов, словно не замечая гнева «хозяина». — Надо людям поддержать. Видишь: совсем замучились, гаснут.

— Воронцов, я тебя не понимаю! — крикнул «академик» и петушком отскочил на шаг от замполита. Потом опять впился глазами в знаменосцев, нетерпеливо поскрипывая на месте сапогами. Но чем ближе подходили знаменосцы, тем заметнее успокаивался командир полка. Затихал, остывал на глазах. Стиснутые кулаки постепенно разжимались. !

Знаменосцы пересекали поле. Изрытое, порыжевшее, пережженное, оно местами было еще затянато клубами седовато-бурого дыма. Знаменосцы уверенно продвигались сквозь эти клочковатые клубы, ныряя и вновь появляясь в них, будто двигались на огромных высотах среди туч. !

Дамба притихла в напряженном ожидании. Светлели опечаленные лица, разрисованные высохшими ручьями черного пота. В погасших глазах вспыхивали огоньки, живые, решительные, бодрые.

Маковей, вернувшись с линии, опять стоял в своем окопе. Он одним из первых заметил знаменосцев, когда те появились на опушке. Сейчас Маковей уже не думал о том, будет ли приказ уходить отсюда. Разве это возможно? Ему стало вдруг совершенно ясно, что отсюда можно сниматься только вперед или героем погибнуть здесь, отстаивая знамя. И даже эта страшная мысль сейчас не пугала и не смущала его. Ему было радостно чувствовать в себе готовность идти на все. И он смотрел на знамя сияющими, восторженными глазами.

Привыкнув видеть святыню полка в голове колонны, телефонист надеялся и на этот раз увидеть за знаменосцами колонну боевого подкрепления. И странным казалось, что она, эта колонна, не вынырнула из лесу за знаменосцами. Однако она была! Взволнованный Маковей в радостном порыве как бы наяву увидел ее. Увидел всех, кого привык встречать под знаменами на родине, на бурных демонстрациях, на всенародных праздниках: отцы и матери, сестры и одноклассницы, пионеры и учительницы — все они будто в самом деле шли сейчас за знаменосцами, спешили на помощь Маковею. Чужой глаз не мог их заметить. Они были видны только ему, приднепровскому соловушке, и его верным товарищам.

— Видишь, Хома?

— Вижу.

«Значит, и ему видно», — радостно подумал Маковей.

Знамя все ближе и ближе. Уже ясно видит командир полка Васю Багирова, его скуластое напряженное лицо, на котором еще сохранился загар сталинградского солнца. Уже видны командиру полка шершавые узловатые руки башкира, крепко стиснувшие древко. Уже вспыхнул над чехлом пятилучный огонек золотого венчика, согревая своим светом сердитого, измотанного за

день Самиева. И потемневшее, как волошский орех, лицо «академика» прояснилось. Предчувствие катастрофы быстро исчезало, воздух светлел, тесный пятак плацдарма словно раздался вширь, стал просторным. Даже дышалось легче. Положение казалось уже не таким безнадежным, как до сих пор.

— Посмотри, Воронцов, как он идет, как он идет! — следя за знаменосцем восторженно воскликнул Самиев. — С каким достоинством!.. Даю слово, есть что-то величественное в его походке!..

Самиеву казалось уже, что не Воронцов вопреки его воле послал гонцов за знаменем, а что это сделал лично он, «хозяин». И когда знаменосцы приблизились к нему, неся перед собой святыню полка, Самиев мгновенно как бы вырос, выпрямился и отдал честь энергичным, вдохновенным жестом. И все бойцы и офицеры, мимо которых, чеканя шаг, проходили знаменосцы, тоже будто подрастали и, молчаливые, все же напоминали собой вдохновенных трибунов.

«Вот она, сила, — думал Воронцов, — которая делает каждого из нас способным без колебания выйти на единоборство с вражескими танками».

XIV

Как и надо было ожидать, шестую контратаку начали танки. Они выползли из широкой лощины, тянувшейся перед дамбой, и, выстроившись в ряд, открыли сумасшедший орудийный огонь. Стояли несколько минут на пригорке, захлебываясь вспышками, дергаясь всеми своими стальными мускулами, как на привязи. Потом, не прекращая огня, с грохотом двинулись на дамбу в лоб. Рябые, как гадюки, они еще сохраняли на броне следы неслинявшей зимней окраски. Утром таких здесь не было, — видимо, только что прибыли, спешно переброшенные с какого-нибудь другого участка фронта.

За танками, пригибаясь, высыпали табуны эсэсовцев. Брели, стреляя наугад, выпуская в ясное небо ракеты, словно им было темно среди этого белого весеннего дня.

Дамба молчала. Высоко над нею в сопровождении юрких «ястребков» плыли на запад тяжелые бомбардировщики. Плыли спокойно, уверенно, как в далекое будущее. Они не могли повлиять сейчас на судьбу защитников дамбы, однако после их перелета окопникам стало легче. Может быть, потому, что плацдарм в небе был шире, чем на земле: самолеты гордо понесли на своих крыльях красные звезды на запад.

Дамба молчала. Бронебойщики замерли возле своих ПТР. Хаецкий положил руку на связанные в пучок гранаты, лежавшие перед ним на бруствере. Маковой, по примеру старшины, приготовил и себе связку. Ему казалось, что танки идут прямо

на него и что полковое знамя стоит под дамбой именно за его, Маковея, спиной. А Хаецкому между тем казалось, что знамя стоит как раз за ним, за Хаецким, а не за кем-нибудь другим. Каждый боец, застывший в своем окопе на дамбе, считал лично себя защитником знамени.

Танки двигались, тяжело покачиваясь, тускло лоснясь боками, будто из воды выбирались на сушу доисторические земноводные чудовища. А за ними вихрились огни ракет, в бессильной злобе сбревуясь с весенним богатством солнца.

Маковей уже не видел ни солнца в небе, ни плацдарма, увитого дымами, ни австрийской станции, мрачно маячившей вдаль. Весь мир перед ним сосредоточился в этих гроыхающих стальных машинах, надвигавшихся на него. За машинами уже слышалось воинственное пьяное гоготанье наступавших гитлеровцев.

Дамба грозно молчала. Даже раненые сдерживали стоны, вслушиваясь в нарастающий железный скрежет. Знаменосцы окаменели внизу под насыпью, в глубоком — по грудь — окопе. Знамя стояло между ними посредине, как солдат.

Неожиданно, в момент, когда одна из машин, обходя подбитый утром бронетранспортер, повернулась боком к насыпи, ударила первая бронебойка. Выстрел ее в мощном, тяжелом грохоте танков прозвучал бледно, тонко, почти нежно. Но машина сразу вспыхнула. Это было настолько неожиданно, что вражеская пехота на некоторое время юторопела. Но три других танка, не останавливаясь, лезли вперед, и эсэсовцы, придя в себя, еще с большим остервенением кинулись за ними.

Теперь уже по всей дамбе захлопали бронебойки. Задыхаясь долгими очередями, ударили станкачи. За спиной у бойцов дружно зачихали минометы.

Один из танков идет прямо на Маковея и Хаецкого.

Свирепо подгребая под себя землю, дыша угарным зноем, он неуклонно приближается, вот он уже взбирается на самую дамбу. Еще минута, и он приплюснет Маковея к земле, перевалится через насыпь и, перемальвая раненых, пойдет прямо на знаменосцев. Нет, он не пойдет на них, он ни за что не пройдет здесь! Маковей бросится на него с гранатами, бросится всем своим телом, лишь бы только он взорвался. Уже по танку бьют товарищи. Уже вся земля вокруг него вспыхивает взрывами, гремит, дымится. Хома уперся подбородком в брестер, впился своим сразу озверевшим взглядом в машину, держит наготове тяжелую связку гранат. Еще немного... еще... еще...

И Маковей не дышит. Еще... еще... еще...

Как будто сговорившись, Хома и Маковей метают одновременно. Есть! Но проходят нестерпимо долгие секунды на грани жизни и смерти, пока под жирным закопченным брюхом машины не ударяет громовой взрыв. Танк вздрагивает всем своим телом, дергается на одной гусенице и, неуклюже накренившись,

застывает. Казалось, толкни его сейчас рукой, и он впереворот покатится вниз.

Пулеметчики секли по вражеской пехоте, меняя ленту за лентой. Вода закипала в станках. Из-под насыпи с самой короткой дистанции залпами били минометы, обдавая горячим пламенем бойцов. Мины густо ложились по всей ложине, табуны эсэсовцев растерянно шарахались среди взрывов.

Неожиданно слева, на другом краю насыпи, заглушая трескучую пальбу, прокатилось могучее горячее «ура». Маковей, меняя диск, глянул туда и сам закричал изо всех сил: на самой дамбе, охваченные жирным пламенем, неподвижно стояли еще два танка. Горящие, они были сейчас видны всему плацдарму. Маковей вдруг почувствовал, что ему становится легко, просторно. В это время у него за спиной зазвучали радостные голоса минометчиков:

— Иптап идет!

— С казачьей переправы!

— В атаку!

Маковей не разобрал, кто первый подал эту команду: Самиев или Воронцов, бежавшие по дамбе с автоматами в руках... Казалось, она родилась сама собой и полетела вдоль насыпи.

— В атаку! В атаку!

И как бы в ответ на этот призыв весь плацдарм загремел канонадой. Выскакивая из окопа, Маковей оглянулся и на миг застыл, пораженный: седое поле до самого леса мигало множеством орудийных вспышек.

Иптап!

Это был действительно он. Разворачиваясь с ходу, иптаповцы открыли массированный огонь по танкам, клином рвавшимся к реке. До сих пор их едва сдерживали полковые сорокапятники.

Маковей, передав аппарат напарнику, прыгнул с насыпи в гущу атаки. Среди атакующих уже бежали Черныш и Сагайда, бежали рядом братья Блаженко, бежали Ягодка и Хаецкий, кругом бежали свои, свои, свои....

— Не давай им удрать, не давай! — бурно гремел Хома, делая саженные прыжки.

Бросая убитых и раненых, изредка отстреливаясь на бегу, эсэсовцы удирали в ложину. За холмами на западе авиация уже бомбила ближайшие вражеские тылы.

XV.

Гибель Ивана Антоновича была для роты горькой неожиданностью. Сложилось так, что рота за него беспокоилась меньше, чем за других. И не потому, что Антоныча мало ценили. Наоборот, он пользовался среди бойцов гораздо большим уважением,

чем, скажем, неуравновешенный, временами совсем нетерпимый лейтенант Сагайда. И несмотря на это, Сагайду, особенно во время боя, оберегали внимательнее, нежели Кармазина. Странность этих отношений объяснялась, возможно, тем, что бойцы были глубоко убеждены в безошибочности и правильности каждого шага Ивана Антоновича. На вспылчивого Сагайду иногда «находило» такое, что он, забывая о всякой осторожности, мог вслепую полезть на рожон. С Кармазиным этого никогда не случалось. Осторожный, рассудительный, вдумчивый, он в самые критические минуты не терял спокойствия и самообладания. Никто не помнил, чтобы он при каких бы то ни было обстоятельствах изменил своей степенной походке и пустился бегом, как другие. Даже во время последнего боя, когда подразделения, спасаясь от танков, ветром летели за дамбу, Кармазин в своей плащ-палатке бежал солидной рысцой.

Он был скромный работяга войны, честный, всегда уравновешенный. Именно поэтому он никогда не вызывал опасений за свою судьбу, все были уверены, что кто-кто, а он «дотянет»...

Иван Антонович и сам охотно поддерживал общую уверенность в том, что с ним никакой беды приключиться не может, что он увидит конец войны. Когда Сагайда перетащил его на своей спине через дамбу, никому не верилось, что это лежит, заплывая кровью, Иван Антонович. И когда его засыпали землей, бойцам еще некоторое время казалось, что Ивана Антоновича не похоронили, а просто он ушел из роты по служебным делам, временно передав командование Чернышу.

У Черныша и Сагайды были равные звания, и вначале минометчики не знали, кто из них будет назначен командиром роты. Но бойцы, не сговариваясь, стали сразу же обращаться к Чернышу, как к командиру роты. В первые минуты ему было неловко перед Сагайдой. Но Сагайда, заметив это, сам начал неприятный разговор.

— Принимай роту, Женька, — предложил он мрачно.

— Почему не ты?

В самом деле, почему не он? Ведь у него, Сагайды, фронтовой стаж значительно больший, чем у Черныша. В то время, когда Черныш еще порхал где-то курсантом, Сагайду уже заматали в окопе суровые донские снега. Черныш не перемесил и половины той фронтовой грязи, какую перемесил Сагайда. Все это было так. Но Сагайда не позволял себе закрывать глаза на то, что Черныш «хоть и поздно встал, зато много взял». Знания его были более глубокие, чем у Сагайды, решения более гибкие и дальновидные. «У тебя мысль имеет ровный, анкерный ход, — не раз говорил Сагайда Чернышу. — А у меня все как-то налетами, с приливами и отливами».

Методом скоростной прицельной стрельбы из миномета, который недавно предложил Черныш, уже заинтересовалось высшее командование. Этот метод давал возможность взять от родного

оружия значительно больше, чем предусматривалось нормативами. Воюя, командуя, Черныш непрерывно учился, из каждого боя делал поучительные выводы, словно и на войне оставался курсантом. Сагайда же полагался главным образом на огонь своего сердца, и хотя сердце у него всегда kloкотало и рвалось в бой, этого было, конечно, недостаточно... И вот теперь он должен уступить первенство. Это было обидно, но Сагайда не дал разгуляться своему самолюбию. Речь шла об интересах дела, а в таких случаях он умел быть беспощадным не только к другим, но и к себе. По существу, он сам виноват, и нечего теперь лезть в бутылку. Надувшись не на Черныша, а на самого себя, Сагайда ответил, как думал:

— Ты сам знаешь, почему не я. У тебя больше данных, тебе и поле деятельности шире. И — не ломайся!

Вскоре Чернышу передали из штаба официальный приказ: именно он назначается командиром роты.

Прошло несколько дней. Морава уже стала для гвардейцев глубоким тылом. Плацдарм теперь не воспринимался как плацдарм — он был необъятно широк! Пересекая с упорными боями восточную Австрию, полки постепенно приближались к австро-чешской границе. Здесь бои приобрели своеобразный характер. В большинстве это были ночные короткие атаки, молниеносные штурмы укрепленных высот и дорфов.

Каменные мрачные дорфы... Они лежали, словно зарывшись в землю, отгороженные один от другого валами крутых холмов с ветвистыми виноградниками на склонах. Через голые высоты перебирались большей частью ночью, сквозь перекрестные струи пулеметных очередей. Стегало огнем отовсюду. Засады, западни, минные поля.

В глубоких долинах пылали населенные пункты. На окраинах сел, среди виноградников, ровной линией выстроились приземистые бетонированные бункеры. В мирное время в этих бункерах хранилось вино. Теперь они служили удобными убежищами для эсэсовских банд. Виноградные лозы у бункерных пещер были скошены пулеметами.

После нескольких дней тяжелого наступления полк Самиева оказался в нефтеносном Цисцердорфском районе Австрии.

XVI

Как-то под вечер батальоны штурмовали большую железнодорожную станцию, раскинувшуюся на голом плоскогорье, утыканном на десятки километров нефтяными вышками. Еще до начала боя ударом авиации были разрушены все пути, ведущие от станции на запад, и она сразу превратилась в огромный тупик, замкнутый со всех сторон. Десятки пузатых цистерн с горючим, сгрудившись на путях, гулко лопались, сгорая в собственном ог-

не. То в одном, то в другом месте рвались начиненные боеприпасами вагоны. Несколько паровозов еще кряхтели на тупиках, фыркая белым паром. Вся станция корчилась в огне: горели крыши амбаров, корежились на ветру, из края в край валил дым. Покоробленные сухие поля на подступах к станции вихрились взрывами, бушевали седыми заетами поднятой ветром пыли. Среди этих заетов короткими перебежками наступала пехота.

Хома со своим громоздким транспортом стоял, замаскировавшись в одном из оврагов, в километре от станции. Может, и здесь пробивалась из земли молодая зелень, может, и здесь весна заявляла о себе, но Хома не замечал ее. Ему казалось, что опять возвращается ненастная осень. Ветер разгуливался, собирался дождь. Низко над фронтом нависли темные косматые тучи, стремительно летя против ветра. Потемнели деревья, пригибаясь к дорогам. Нефтяные вышки, четко очерченные днем, сейчас едва маячили на близких и дальних холмах. Только станция горела все ярче, грохотала, билась среди поля гигантскими чернobaгровыми крыльями дыма.

Поле жалобно стонало, нагоняя на Хому тоскливые думы. Вспоминался родной дом, жена, вспоминалось все то, до боли влекущее, что могло осуществиться только после войны. Это была одна из тех минут, когда солдату чего-то остро недостает, когда сердце у него вдруг защежит и он неожиданно почувствует, как далеко зашел, как трудно вернуться назад, какие холодные дали отделяют его от родного края. В такие минуты Хому неудержимо тянуло к своим огневикам. С ними на переднем крае, в самом сердце боя, он чувствовал себя увереннее и безопаснее, чем здесь, в необстреливаемом овраге. Но он был без них, без своих огневиков. Поэтому, как только стало известно, что первые подразделения ворвались на территорию станции, Хома сел на коня и махнул ездовым.

— За мной!

На станции еще все трещало и дышало жаром, когда Хаецкий во главе своего обоза ринулся через перегон. Колеса подпрыгивали на развороченных рельсах, лошади путались в оборванных телеграфных проводах, а ездовые гнали все быстрее. Обгоняя один другого, они с разгону влетели в пристанционный поселок, как в огневую просеку. Обвалившиеся стены, снесенные крыши, изломанные заборы... Вся улица изрыта свежими воронками, на дне которых еще белеет устойчивый дым. Храпят чуткие кони, вдыхая ноздрями тяжелый смрад тлеющего тряпья, горелой сажки, недавно разорвавшихся мин. Ветер с шумом раздувает пламя, и оно бьет жаркими клочьями из дверей пустых, гулких пакгаузов. Слышно, как раскаленные гвозди, срываясь с покореженных железных кровель, словно осколки, свистят в небо.

Пехота, заняв первые кварталы, уже вела бой где-то в цент-

ре, но пули еще жужжали вдоль улиц и переулков. Хаецкий, развернувшись на перекрестке, кинулся на северную окраину, куда, как ему казалось, углубились и его огневики. Проехав узким, изломанным переулком и не встретив однополчан, Хома из осторожности остановил повозки и, передав коня ездовым, отправился пешком искать своих.

Все больше темнело, стал накрапывать дождь. Нигде никого не было видно. Дома, мимо которых пробежал Хома, смотрели на него темными провалами окон. Может, потому, что, пробежав улочку из конца в конец, он не встретил никого из своих, все окружающее особенно остро пахло на него чужбиной... Мелкий дождь, усиливаясь, бил в лицо как-то неприязненно.

В конце улочки Хома остановился. Дальше тянулся пустырь, загроможденный разбитыми машинами и тракторами. «Вот бы добыть разрешение и послать один домой! — подумал мимоходом Хома. — Какая радость была бы в колхозе! Хаецкий с фронта трактор прислал! А то жинки лопатами землю копают, все у них Гитлер забрал...»

За пустырем виднелись длинные серые пакгаузы. «Склады, — мелькнуло у Хома. — Может быть, с овсом? Хорошо, если с овсом! Набрал бы для коней!» У одной двери суетились несколько фигур. Как будто рвались внутрь, высаживая ее прикладами. «Наверное, разведчики». Хома через пустырь разогнался к ним. И вдруг со всего разбегу дернулся на месте, присел и, прыгнув в ближайшую воронку, выбросил автомат вперед.

У сарая были эсэсовцы.

Только сейчас Хома понял, что они не высаживали дверь, а, наоборот, забивали ее, чем-то обливая сверху. У одного в руке блеснул огонек и пламя лизнуло массивную дверь. В тот же миг Хаецкий выпустил очередь из автомата. Двое или трое сразу упали, остальные, пригибаясь, бросились наутек. Хома наводил автомат на каждого в отдельности и скашивал короткой уверенной очередью. Последнего пуля догнала уже на углу длинного сарая. Выскочив из воронки, Хаецкий кинулся вперед. Уже прыгая по ступенькам, он услышал, как внутри сарая ревя ревут, кричат, стонут многочисленные людские голоса. Десятки кулаков бьют в дверь, заложенную снаружи толстым ломом. Пламя уже подбиралось по двери к самой крыше. Перевернув автомат, Хома ударил прикладом по огромному металлическому замку. Внутри сразу притихли, но в следующую секунду закричали с еще большей силой — дико, страшно, нечеловечески. Хаецкий подскакивал к горячей двери, бил и снова отскакивал. Уже тлея на нем рукав, уже потрескался приклад, а замок все не поддавался. Хаецкий оглянулся вокруг, ища глазами что-нибудь более солидное, чем приклад. Обломок рельса!.. Он был такой тяжелый, что при других обстоятельствах Хаецкий, конечно, ни за что не поднял бы его. Но сейчас силы Хома умножились и он, схватив стальной обломок, размахнулся им, синевя

от натуги. Горели обожженные руки и будто прирастали мясом к железу. Изо всех сил ударил по замку. Замок раскрылся. Едва Хома успел выбить его из петли, как дверь с грохотом распахнулась и из сарая повалила плотная кричащая толпа. Мимо Хома замелькали смертельно бледные, искаженные ужасом лица мужчин и женщин. Словно мертвецы встали из гробов. Застывшие, неподвижные глаза смотрели прямо перед собой. Не задерживаясь, люди бежали сквозь пламя, стучали деревянными колодками по ступеням, рассыпались по пустырю, кидались наобум — кто куда. Хома пытался остановить их, но они не замечали его.

Лавируя между тракторами и дзювеченными машинами, не останавливаясь, не оглядываясь, втянув головы в плечи, будто ожидая выстрелов в спину, они бежали в серые тихие сумерки поля.

Только одна слабенькая девушка, похожая в своих шароварах на лыжницу, остановилась, услышав голос Хома, взглянула на него мгновенно выросшими большими глазами и припала к нему, забилась, затрепетала.

— Наши! — обессиленно заплакала она. — Наши, наши!

Хома бережно оторвал ее от себя и только сейчас, при свете пылающего сарая, заметил у девушки на рукаве желтую нашивку с коротким словом: «Ost»¹.

Хома не знал значения этого чужого слова, но сразу почувствовал в нем что-то позорное, унижительное, как клеймо. Схватил нашивку, сорвал ее и зло швырнул под ноги.

— Сестра! — волнуясь, сказал он. — Далеко ж я тебя встретил, сестра!

Девушка посмотрела на свой изодранный рукав, потом на Хома, потом опять на рукав. Глаза ее, еще полные дрожащих слез, вдруг наполнились ярким светом, и она закричала:

— Бронислава! Радомир! Ян!

Кое-кто из бежавших неуверенно оглядывался, потом останавливался и, заметив советского солдата, бросался к нему, как к защитнику. Через минуту Хома обступили люди и прижимались к нему, запыхавшиеся, возбужденные и растерянные.

Рабы, невольники... Истощенные, бледные, будто годами не видали солнца... В беретах, в фуражках, в кепках, простоволосые... Блестящими, как после болезни, глазами смотрели они на него со всех сторон. Говорили на разных языках, тянулись к нему руками. Перепуганные взгляды их находили опору в этом загорелом, обожженном стужами лице, в этой темной тугой шее, облитой сияньем близкого зарева. А Хома, веселый и радостный, поворачивался среди них своими широкими плечами, срывал с рукавов желтые нашивки и отбрасывал их прочь.

— Отныне вы свободны!

¹ Восток (нем.).

— Свободны! — это слово повторялось на многих языках. — Свободны! Свободны!

— Навсегда свободны!

У одного не было нашивки.

— Это француз, — объяснила Хоме землячка. — Мсье Жан... У них не было нашивок.

Старик француз закивал бородой, взволнованно залепетал:

— Же ву, же ву...¹!

— Живу, говоришь? — Хаецкий приветливо хлопнул его по плечу. — Живи на здоровье, го-го-го!.. И больше не попадайся людоедам в лапы!

Невольники наперебой обращались к нему на разных языках. Хаецкий понимал далеко не все, но одно он постиг: он вернул этим людям самое дорогое, самое прекрасное — жизнь и свободу. Сознание значительности этой минуты наполняло его счастливой гордостью. Это он дал им нынешний ветреный вечер, и эти широкие дороги в родные края, и звонкий завтрашний день. Сегодня их несчастья должны были кончиться навсегда. Сколько людских надежд и мечтаний задохнулось бы дымом в этом сарае, погребло бы под пылающей крышей!.. Когда-нибудь комиссия и строгие эксперты откопали бы обугленные кости. Но разве откопаешь мысли, разве воскресишь мечты, нетерпеливо рвущиеся в окутанную сумерками даль, туда, где люди мысленно встречаются со своими семьями и друзьями, ласкают давно не виданных детей?

Освобожденные взволнованно, беспорядочно рассказывали о себе. Они работали недалеко отсюда, на нефтяных промыслах. Когда фронт неожиданно приблизился, фашисты согнали их на станцию, устроив на скорую руку транзитный лагерь в этих сараях. Охрана лагеря ждала со дня на день вагонов, чтобы увезти невольников дальше на запад, на другие работы. Но когда события развернулись с молниеносной быстротой и стало ясно, что ни один вагон уже не выйдет за стрелку, расшарившиеся эсэсовцы заперли барак на здоровенный замок и подожгли.

Среди освобожденных больше всего было чехов и поляков, несколько русских девушек и украинок, несколько французов и даже один араб, неизвестно где захваченный фашистами. Услышав про «арапа», Хома захотел непременно на него посмотреть. Все стали звать Мохаммеда. Но он уже исчез, перемахнув через насыпь в глухое поле.

— Скажите, куда же нам теперь? — спрашивали Хому девушки.

Подолянин указал на восток широким властным жестом:

— Идите! До самого Владивостока путь вам открыт!

— Но ведь где-то должен быть комендант?

¹ Я вас... (франц.).

— Комендант? Я для вас комендант! Я вам говорю: топайте!

Девушки плакали. Достали свои паспорта и просили Хома сделать в них пометки. Это были страшные паспорта рабынь, изобретение новейшего рабовладельчества: «Arbeitskarte». В каждой «рабочей карточке» — фотоснимок владелицы с большой деревянной табличкой на груди. На табличке — шестизначный номер. И тут же рядом — фиолетовый отпечаток пальцев. Надписи повторялись на двенадцати языках: русском, украинском, чешском, английском, французском... Для всех народов были заготовлены арбайтскарты!

Хома не читал. Повернувшись к пылающему бараку, он огрызком толстого карандаша выдавливал через всю арбайтскарту: освобожден, освобождена, освобожден, освобождена...

Протянула карту и девушка, первой пришедшая в себя среди общей паники.

— Как тебя звать, сестричка? — спросил Хома, особенно старательно выводя на ее карте свою резолюцию.

— Зина, — ответила девушка.

— Кто же тебя дома ждет? Мама? Папа?

— Нет никого. Всех растеряла за войну. Один брат где-то в армии...

— К кому же ты вернешься?

— Как к кому? К нам домой. У меня сейчас там все родные!.. Как перейду границу, буду обнимать каждого, кого ни встречу...

— Какая же ты худенькая, аж светишься...

Девушка заметно смутилась, словно в этом было для нее что-то постыдное.

— Поправлюсь... Наберусь сил...

— Набирайся, сестричка, набирайся... Счастливой тебе дороги!

Хома спешил, бой уже откатился за поселок, окутанный вечерними сумерками да багровыми заревами пожаров. У него не было времени расспросить Зину подробнее, он даже не узнал ее фамилии. А если бы спросил, она ответила бы: Сагайда.

Объяснив освобожденным, как им лучше всего выбраться за линию фронта, Хома кинулся разыскивать своих огневики.

Он нашел их уже ночью на западной окраине. Гордый своим поступком, долго рассказывал товарищам о лагере, о землячках, о французах и «арапе», кинувшемся куда-то наобум, вслепую, так что не могли его дозваться.

— Где ни побегаешь, все равно к нашим придет, — рассуждали товарищи.

— Известное дело, придет... Все дороги к нашим ведут...

— А его, беднягу, наверное, где-то арапенята тоже высматривают, ждут...

— А почему же нет? Человек есть человек...

Сагайда, накрывшись плащ-палаткой, не вмешивался в разговор, сидел задумчивый и молчаливый. Сестра Зина не вышла из головы. «Освобождаем же мы многих, — думал он, — может быть, в эту минуту кто-нибудь освобождает и мою сестричку, мою Зинку».

Долго еще потом шли по Австрии, и почти во всех деревнях встречали своих земляков и землячек, работавших у бюргеров. Девчата рассказывали, как добрели толстые бюргерши по мере приближения советских войск.

— Когда вы были на Тиссе, моя хозяйка перестала драться и дала мне платье. Когда стали на Мораве, она прибавила мне кружку кофе. А когда вы вступили в Австрию, так начала угощать вином...

— Где она сейчас, старая волчица?

— Бросила все хозяйство и спряталась где-то в бункере.

— А ты отсюда домой попадешь?

— С закрытыми глазами!

— И не заблудишься?

— Нет.

Сагайда, встречая освобожденных девушек, жадно вглядывался в их лица, надеясь встретить среди них сестру, свою щетунью Зинку, звонкое свое счастьечко.

А она, его любимая сестренка, в это время мелко стучала каблуками по пыльным шляхам на восток, вдоль дорфов и бункеров, и вглядывалась из-под косынки в каждого встречного военного, стараясь найти среди них своего Володьку.

Для нее здесь все были как братья, а для него там все были как сестры.

XVII

В свободные часы Хома со своими ездовыми разбираал положение на фронтах. Для этого он доставал из полевой сумки пачку самых различных карт, вырванных из чужих атласов и учебников. Обложившись ими и потирая руки точь-в-точь, как начальник штаба, Хома говорил:

— А теперь, Иона, разберемся.

Иона-бессарабец пользовался особым вниманием Хома. Полянин твердо помнил, что, принимая новичка в ездовые, он поклялся сделать из него человека. И надо сказать, бессарабец оправдал надежды своего учителя. Хозяйственный, работающий и — когда надо — на удивление храбрый, он выполнял свои обязанности безукоризненно.

А между тем Иона, как и Ягодка, был совсем темный человек. Пробатрачив полжизни в имениях румынских землевладельцев, он и сейчас еще не совсем свыкся с новым положением и в обществе «восточников» болезненно ощущал свою отсталость. Всякий раз, когда приходилось расписываться в бое-

снабжении за мины, его бросало в жар. Иона расписывался с большим трудом. Поэтому обращение Хома к нему звучало участливо и в то же время несколько комично. Разберемся... На это приглашение Хома Иона поддавался довольно туго: сам дракула¹ не разберется в тех картах, где уж ему, Ионе, со своим батоном! Действительно, отпечатанные в разное время и на разных языках — немецком, венгерском, румынском, — эти карты представляли даже для Хома темный лес. Однако Хома, откусив зубами соломинку, дерзко пускался в этот лес, измеряя масштабы до Берлина. С какого-то момента измерение расстояния до Берлина утратило шутливый оттенок и воспринималось вполне серьезно.

— Сколько? — спрашивали у Хома ездовые.

А он, круто выгибая смуглую шею, заглядывал в карту, как в яму.

— Уже немного, чорт его дер!

— Двести? Гриста?

— Смотря, куда пойдем, — уклонялся Хома от прямого ответа. — Может, нам и совсем не придется там побывать: видите, над Берлином навис Первый Украинский...

— А мы как?

— На нашу долю тоже работы хватит, — успокаивал Хома товарищей. — Мы их с юга за жабры возьмем. Думаете, им отсюда не больно? Думаете, дарма Гитлер за эту Австрию держится, как чорт за грешную душу? Э-эх, качался б ты под осиновой веткой вместе с твоими геббельсами и геббельсенятами!.. Все слышали, что майор Воронцов говорил давеча? Гитлеровцы, говорит, называли Австрию своей южной крепостью. Одолеем ее — откроем настежь двери во всю Неметчину, в самое настоящее бомбоубежище фашизма. Это сюда Гитлер эвакуировал свои военные заводы. Это ж сюда удирали фашистские крысы из Восточной Пруссии, из Силезии и Померании! Видишь, Иона, Померанию?

— Где? — Иона доверчиво заглядывает в карту.

— Вот она кругом, — Хома накрывает ладонью Германию. — Где фашизм, там ему и помирие! Мы по их гнездам бьем с юга. Пересечем вот этот кусок Австрии, а тогда, наверное, выйдем на Прагу. Освободим братьев и — дальше на запад. Эй, беда тебе, враже! Не ждал, верно, Гитлер, что так сложится. Держал этот закуток, как самое безопасное место, а мы уже и отсюда в ворота гремим!

— Сдавались бы, и все, — говорили ездовые. — Разве им до сих пор не ясно, к чему дело идет?

— Заартачились! Пока ему автомат к горлу не приставишь, рук не подымет...

— А некоторые уже переодеваются. Казаков одного по гла-

¹ Чорт (рум.).

зам узнал... Стоит в толпе, во всем гражданском, и уже белая повязка на рукаве. Обыкновенный себе австрияка. А Казакову автомат к груди: хенде хох, дескать... И что ж вы думаете? Оказалось, — под штатским у него и штаны офицерские, и китель.

— Вот и верь их белым повязкам!

— Сейчас даже фашисты на своих воротах белые флаги вывесили.

— Знаем их... Сегодня идем с Островским мимо одного такого дома, флаг над ним белеет, а зашли внутрь — нет никого. В чем дело? Потом уже бюргерская наймичка все рассказала. Тут, говорит, фашист жил, старый член ихней партии. Как увидел, что невыдержка, вывесил белый флаг и бумаги все сжег. А потом в последнюю минуту все-таки удрал. Нервы не выдержали.

— Рабочие вышли с красными повязками, видели?

— А с какими же им выходить? И батрачки бюргерские тоже все с красными...

— Вот так и я когда-то выходил, — подхватил Иона. — Это когда вы первый раз пришли в Бессарабию. Бегу с товарищами до шляху, а вы едете машинами и поете. «Братцы!» — кричим...

— Трудовые люди везде братья между собой... Вот и тут... Сразу узнаешь — когда на тебя фашист глянет, а когда честный рабочий человек.

— По виду узнаешь: идут истощенные, худые, а глаза так и светятся нам навстречу...

XVIII

Со дня на день ждали окончания войны. В Берлине над рейхстагом уже реял красный флаг. Из конца в конец трещала фашистская империя, падала в пропасть на глазах у народов. Гитлеровская армия перестала быть единым целым. Теперь она больше напоминала огромные моторизованные банды, мечущиеся по всей Европе под уничтожающими ударами советских войск. Казалось, вот-вот наступит час развязки и самые мощные радиостанции мира поздравят, наконец, человечество с триумфом Справедливости.

А между тем орудия гремели на сотни километров, в городах клочкотали уличные бои, грандиозные строения взлетали на воздух, весенние поля покрывались тысячами свежих окопов. Лилась кровь; как и раньше, бойцы ходили в жаркие атаки по нескольку раз в сутки.

Сейчас это давалось особенно трудно. Все уже чувствовали, как, приближаясь, торжественно шумит Победа, все жили, заглядывая в завтра, — в большое сияющее, сказочно прекрасное завтра, стоящее на пороге.

Что будет завтра? Неужто и в самом деле настанет день без пожаров, без канонад, без крови и убийств? Неудержимо хотелось дожить до этого дня и хотя бы мгновение — хотя бы одно мгновение! — побыть в нем...

Для самиевского полка это «завтра» скрывалось где-то за рекой со взорванными мостами, за гольми возвышенностями противоположного берега, за фортификационными сооружениями, тянувшимися сплошной линией мрачных укреплений. Австрийско-чешская граница... Водный рубеж, пристрелянный врагом вдоль и поперек. Сегодня полки подошли к нему.

Войска сосредоточивались вдоль реки в многочисленных складках местности, в рощах и перелесках. Наверное, никогда еще этот глухой пограничный уголок австрийской земли не видел столько людей и техники. Земля оседала под такой непривычной тяжестью! Стягиваясь в ударный кулак, уплотняясь, полки готовились к решительному штурму.

Все подступы к реке противник устилал огнем. Земля переднего края выгорела от снарядов, почернела, вымерла. Но по ночам пехота ползла и ползла к берегу, залегая в камышах, нацеливаясь на запад тысячами глаз.

Евгений Черныш окопался со своими людьми в одном из крутых оврагов неподалеку от реки. Тут же остановились и минометные роты двух соседних батальонов. Начальник артиллерии от имени командира полка приказал на этот раз свести все минометные роты воедино, чтобы испытать метод скоростной стрельбы, предложенный Чернышом. Больше десятка стволов стали рядом. Это была роскошь, какую полк сейчас мог себе позволить. Уже не надо было растягивать огневые средства на километры по фронту, прикрывая наиболее уязвимые места. Сегодня орудиям и минометам было тесно.

На время артподготовки Чернышу пришлось быть старшим, командовать объединенным огнем всех трех минрот. Сагайда в шутку окрестил его «капельмейстером сводного оркестра». Но Черныш сейчас был глух к шуткам Сагайды. Он с готовностью принял на себя обязанности старшего, чувствуя, что они ему под силу. Но волнение не покидало его на протяжении всего дня. Ответственность, возложенная на него, как бы натянула все его мускулы и нервы.

Огневая позиция была почти готова. Черныш расположил ее по самому дну оврага, защищенного от противника крутым холмом. В круглых сырых ямах-ячейках стояли минометы всех трех рот. Объединенные в одну батарею, выстроенные в строгий ряд, они имели сейчас грозный, хищный вид.

Расчеты работали дружно. Проверяли механизмы, ставили вежи, прокладывали последние ходы сообщения. Слева к огневой примыкал лес, и стройный молодой дубняк косяком заходил оттуда на самую огневую. Группа самых высоких деревьев, как нарочно, оказалась против взвода Сагайды. Надо было

залить деревья, расширяя сектор обстрела, создавая перед каждым минометным стволом широкие ворота на запад. В другой раз Сагайда, безусловно, надулся бы на Черныша и стал бы доказывать, что тот по дружбе отвел ему самый худший участок на огневой. Но сегодня Сагайда принял это как должное. Черныш поставил его на первый взвод, которым раньше командовал сам. Это было почетно и льстило самолюбию Сагайды. Ведь неспроста Черныш передал свое любимое детище именно ему, а не молодому офицеру Маркевичу, который накануне прибыл в роту из резерва. Маркевич принял от Сагайды второй взвод, «самый легкий», высколенный лучше других.

— Садись на готовое и, смотри, не отпусти гайку, — поучал Сагайда Маркевича, передавая ему взвод. — С такими гранатами тебе и море по колено. А я не гонюсь за легким хлебом, пойду на первый, к молодым гражданам...

— Я тоже не ишу легкого хлеба, — обиженно заметил на это Маркевич.

— Не ищешь, согласен, но если дают, — бери. Потому что так нужно. Значит, считают, что мой хребет крепче твоего. Тебе, видишь, прогалину Черныш выделил, а я должен лес корчевать.

— Могу вам помочь, — предложил Маркевич.

— Если можешь — давай, быстрее разделаемся.

На том и сошлись. Сейчас бойцы обоих взводов дружно наступали на дубняк. Сагайда, раскрасневшись, тоже носился с топором по огневой и молодецки набрасывался на деревья.

А на склоне холма все глубже зарывались в землю ординарцы, телефонисты, наблюдатели соседних батарей. Даже Маковейчик, который всегда избегал земляных работ, сегодня натер себе честные мозоли. Конечно, вместо того чтобы копаться в этой тяжелой австрийской земле, парень с большим бы удовольствием прошелся бы на руках по огневой, поборолся с товарищами или, закинув голову, махнул бы в весенний лес, который высится рядом. Как там, должно быть, прекрасно! Озера, птицы, песни!.. Гудит весна в лесу, заглядывает в тесный, пронизанный сыростью окоп Маковея, зовет-вызывает: бросай лопату, хлопец, выпорхни из своей норы на свет божий, махнем степями-лесами! Покажу тебе свои чудеса, напою тебя березовым соком, улыбнусь тебе синими подснежниками!..

— Прочь, не мешай мне! — кричит Маковей соседу-связисту, который напрашивается к нему в напарники. — Дай-ка развернуть!

— Да ты уж и так вымахал по грудь...

— А что же? Может, я последний окоп рою, для истории его оставлю!

— Давай «на пару».

— А этого не хочешь? Ишь какой ласый на дурняк! Видишь мои мозоли?

— Вижу... Тоже исторические?

— Тоже!

В это время с КП батальона, запыхавшись, прибежал Шовкун. Лишь только он влетел на огневую, как все поняли, что сейчас услышат радостную весть. Она светилась в теплом, размякшем взгляде санитара.

— Ясногорская вернулась! — крикнул Шовкун сияя. — Уже в тылах батальона... Сегодня будет здесь!..

Ясногорская! Шовкун кричал всей роте, а смотрел почему-то на Черныша. И все бойцы, как сговорившись, посмотрели на Черныша. Лейтенант покраснел и, хмурясь, бросил офицерам:

— Пошли пристреливаться.

XIX.

Забравшись с командирами рот на вершину холма перед огневой, Черныш терпеливо вел пристрелку. Как всегда в таких случаях, бил только один миномет. (Сегодня честь пристреливать цель выпала расчету Дениса Блаженко. Стоя внизу и держа в руке дефицитную дымовую мину, Блаженко смотрел оттуда на офицеров так, словно ждал сигнала вызвать землетрясение. Но Черныш не спешил с командами. После каждого выстрела наступала длинная пауза — офицеры, не торопясь, разглядывали цель, советовались, вели подсчеты.

День стоял ясный, прозрачный, с далекой видимостью. Трепетный воздух мягко струился, как бы подмывая своими волнистыми потоками высоты на том берегу, блиндажи, далекие деревья. Все плыло куда-то и в то же время оставалось на месте. Фронт притих, как перед бурей, лишь изредка кое-где лениво ухали пушки. Черныш знал, что завтра они заговорят иначе, — сегодня артиллерия еще только примеряется, работая с притворной бессистемностью и скупостью, чтобы не вызывать подозрений противника.

Все мысли Черныша невольно связывались сейчас с Ясногорской; все, что он делал, уже как будто посвящалось ей. Наверное, Шура и не догадывается, как ее приезд отражается на чьей-то деятельности, на чьих-то настроениях... Вернулась!.. Неужели она и в самом деле с часу на час может появиться здесь? Иногда Чернышу это казалось маловероятным. Когда выдавалась свободная минута, он поглядывал с холма на дорогу, тянущуюся вдоль леса к селу, в полковые и батальонные тылы. При этом каждый раз он смущался, подозревая, что соседи-офицеры догадываются, почему ему не сидится возле них. А они, озабоченные пристрелкой, не замечали его волнения.

Дорога, которой должна была приехать Ясногорская, жила нормальной фронтовой жизнью. В направлении передовой двигались группы бойцов; проскакал верхом начальник штаба с несколькими помощниками и ординарцами; выползла на опушку артиллерийская кухня, запряженная знаменитым верблюдом,

одним на всю дивизию, который дошел сюда от самой Волги; вот из-за поворота вылетает на своем коньке Хаецкий, за ним одна за другой вытягиваются повозки, груженные боеприпасами. Может быть, Шура придет с ними? Но на повозках, кроме ездовых, никого нет. Что ж это такое? Где она так долго задержалась? Хома грозит кому-то плеткой, сбивает верблюда с дороги... Еще кто-то едет... А ее нет. Нет. Нет...

— Ну и жара, — жалуется Чернышу один из его товарищей, капитан Засядько, расстегивая воротник. — Сюда бы сейчас ведро пива-холоднячка.

— Толстиков уже и без пива клюет, — улыбаясь, кивнул Черныш на своего правого соседа, который, уткнув голову в руки, упорно боролся с навалившейся дремотой.

Они только что кончили пристрелку и, удовлетворенные результатами, лежали втроем на верхушке холма, от нечего делать перебрасываясь вялыми фразами. Давала себя знать усталость последних дней. Не хотелось подниматься, трудно было даже повернуть разморенное теплой истомой тело. Солнце припекало. Воронки, еще утром жирно черневшие на поле, сейчас посерели, высохли. Черныш, положив голову на планшет, закрыл глаза...

— Прекрасная, — слышит он поблизости.

«О ком это? Конечно, о ней. Сегодня все думают о ней, все ждут ее».

— Кто прекрасная, капитан?

— Позиция, говорю, прекрасная, — поясняет Засядько. — И до противника рукой подать, и укрыта хорошо...

— Да, да, прекрасная, — тихо соглашается Черныш, думая о Ясногорской. — Прекрасная... Прекрасная...

— Стоп! — капитан хлопнул себя рукой по шее. — Кажется, капнуло! Еще! И Еще... Толстиков, проснись!

— Что такое?

— Дождь!

Офицеры, оживившись, как ребята, вытянули ладони перед собой, радостно глядя в небо. Высокие тучки были почти незаметны, таяли в бледной синеве. А между тем дождь усиливался, падая, казалось, с чистого неба. Зашумел над лесом, приближался тысячным хрустальным шорохом, легко позванивая в деревьях.

Черныш лег навзничь, подставляя обветренное лицо под приятные удары капель.

— Вы видели такое: солнце и дождь!

— Слепой дождь!

— Почему слепой? Наоборот, ясноглазый!..

Все гуще и гуще осыпало руки, лицо. От каждой капли радостная дрожь пробегала по всему телу. Уже вокруг, над лесом и над холмистыми полями, засверкали мириады блестящих жемчужных нитей. Слово небо, играя, весело стреляло бесчислен-

ными тонкими очередями и каждая капля-пуля, проносясь в этой очереди, сверкала, слепя глаза. Чернышу казалось, что после этого весеннего дождя все сразу буйно зазеленеет, зацветет. Припомнил, как в прошлом году в Трансильвании, изнемогая в горах от зноя, бойцы с жадностью высматривали ручьи... Реки остались внизу, ручейки остались внизу... Воды, воды! А небо было безводным, жестоко-голубым. Потом однажды показалась на горизонте дождевая туча. Будто сама Родина, услышав мольбы бойцов, послала им издалека свой подарок. Расстелив на горячих камнях плащ-палатки, бойцы собирали в них долгожданную влагу. Потом делили. Черныш поделился с Брянским... Какой это был животворящий, незабываемый напиток!

Дождь усиливался. Никто и не думал прятаться от него. Слышно было, как на огневой щебетал Маковейчик:

Дождик, дождик, припусти
На бабины капусты,
На дедово сено,
Чтоб позеленело!..

— Маковей, где та капуста? Где то сено? Глянь, австрийская земля кругом!

— Все равно, пусть и она зеленеет!..

Черныш, щурясь, улыбался щедрому небу. Гадал, где застанет этот дождь Ясногорскую: в санроте или по дороге сюда... А она в это время уже соскочила с коня на его огневой. Ординарец комбата, гоня своему хозяину «порожняком» оседланного коня, по пути прихватил Ясногорскую.

Весь мир засиял. Солнце светило сквозь серебристую мглу, дождь становился мельче и гуще. Вдруг небо над головой заиграло. Мелодично, сильно, свежо. Впервые в этом году загремел гром. Как будто заговорили где-то высоко, за голубыми тучами, дивизионы. Раскатилось, разлеглось — широко, привольно... И сразу всей природе вздохнулось легче, будто мир обновился, помолодел. Наверно, не было в эту минуту в войсках ни одного человека, который не взглянул бы зачарованно в разбуженное синее небо и не подумал бы: «Весна!»

«Весна», — с наслаждением подумал и Черныш, вдыхая по свежевший воздух. Но что это? Вдрогнув, он порывисто поднялся на колени. С огневой, вместе с радостной разноголосицей солдатских басов, неожиданно донесся девичий голос.

В то же мгновение он увидел Ясногорскую.

Она стояла, окруженная бойцами, и о чем-то весело говорила, глядя вверх. Черныш не знал, смотрит ли она на него, или же на пронизанную солнцем серебристую пряжу дождя, неудержимо падавшую с высот.

— Гвардии лейтенант! — позвали его снизу бойцы. — Гвардии лейтенант!

— Тебя касается, — подмигнул Чернышу Засядько. — А может, тебя, Толстикова?

Толстикова благодушно улыбался, разглядывая Ясногорскую.
— О, как она цветет!..

Черныш, придерживая рукой бинокль, стал быстро спускаться по косогору. Прыгал через чьи-то окопы, осыпая в них землю. В окопах не было никого. Все собрались внизу, как на митинг.

Спускаясь, Черныш смотрел как будто себе под ноги, а между тем видел только ее, долгожданную. Приближаясь, видел мелькнувший на ее лице радостный испуг. Она показалась ему выше, чем была. Будто выпрямилась, стала стройнее, моложе. Для Черныша уже не существовало ни дождя, ни веселой толпы огневики, существовали только ее глаза, которые приближаясь, вдруг заблестели. Задрожали длинные ресницы. Она еще говорила с бойцами и смеялась, но Черныш не слышал ее слов, да и сама она, наверное, не слышала их. Глаза ее тянулись к нему, о чем-то спрашивая его и в то же время что-то говоря ему.

Бойцы торжественно расступились, давая лейтенанту дорогу и глядя то на него, то на Ясногорскую.

Черныш поздоровался, твердо выговаривая привычные слова воинского приветствия; вернее, они сами сказались, он их не слышал. Ясногорская подала ему руку, и нежный румянец покрыл ее щеки.

За спиной Шуры стоял Сагайда, улыбаясь до ушей. «Чего он?» — удивился Черныш и пробежал взглядом по другим. Все смотрели на него доброжелательно и подбадривающе... «Мы всё знаем, — говорили их взгляды, — и всё понимаем... И мы даже рады за вас, если уж на то пошло...»

Черныш почувствовал себя легко, как бывает всегда в обществе самых близких друзей и единомышленников. Ему хотелось благодарить каждого из присутствующих за это ощущение.

— Как хорошо загремело! — улыбаясь, медленно говорила Шура. — Даже странно: откуда этот гром? Небо как будто чистое, и вдруг так загремело. — Она взглянула на небо. И Черныш взглянул. И все подняли головы. — А лес какой стал, посмотри! Как он зазеленел сразу! Будто горит под солнцем зелеными огнями, даже зеленоватый дымок над ним вьется. — Она показывала на лес и глазами, и рукой; вся тянулась к нему.

Черныш одновременно видел и зеленоватую дымку над лесом, и Шуру, которая даже как будто окутывалась этой дымкой.

Она стояла в новых сапожках на высоких каблуках, в темно-зеленом армейском платье, плотно облегавшем ее фигуру. Платье явно шло ей. Не измятое, выглаженное, свежее... Видно было, что она надела его недавно. «Наверное, даже перед тем, как идти сюда», — мимоходом отметил Евгений, и Шура, перехватив этот взгляд Черныша, поняла его именно так. Но не смутилась и не застыдилась, а весело, даже с вызовом ответила на него. «Да, я готовилась, — говорили ее глаза, — я хотела явиться сюда красивой и не стыжусь этого, и все это ради тебя».

— А Шовкун уже глаза проглядел, высматривая, — говорил

Черныш, счастливо любуясь Шовкуном, красневшим, как девушка. «Но я высматривал тебя гораздо больше, чем Шовкун,— скрывалось за этими словами. — Я начал тебя ждать с той самой минуты, когда мы расстались... Я хотел бы коврами устлать дорогу, по которой ты приближалась к нам... Разве ты не слышишь, как все во мне поет: тебе, тебе!»

«Слышу, слышу! Я даже издали слышала тебя и летела к тебе!»

«И где ты пролетала, там леса зеленели, а небо над ними гремело молодым громом! Слепой голый дождик бежал впереди и кропил перед тобой пыльные фронтовые дороги... Ты и сама, как тот солнечный летучий дождик, откуда-то прилетевший и озаривший все вокруг! Взгляни, как парует земля, как дымятся леса! Опьянеть можно от этого!»

«Разве ты еще не опьянел? Я уже опьянела! Смотри...»

Смеясь, Шура схватила голову Маковея, который как раз пробегал мимо и попался ей под руку.

— Маковейчик! Как я соскучилась по тебе, — щебетала она ему и в то же время ласково смотрела на Черныша. — Мне даже в госпитале слышались твои песенки... О, какой же ты большой стал! И какой хорошенький! Дай я тебя поцелую! Тебе не стыдно? — И она целовала Маковея в обе щеки, а счастливыми смеющимися глазами, как заговорщица, смотрела на Черныша.

«Еще, еще», — уговаривал ее Черныш влюбленным взглядом. Весь мир неистово прыгал перед ним в зеленом тумане.

XX

— Почему вы так смотрите на меня, Шовкун? — настойчиво допрашивала Шура своего санитаря, идя с ним принимать взвод. — Вы не узнаете меня? Да, у вас, пожалуй, есть основания... Сегодня я сама себя не узнаю...

— Что ж тут такого, — деликатно возражал Шовкун. — Сколько не виделись и вдруг опять вместе... Это с каждым бывает...

Бывает! Значит, что-то между ними было? И все это заметили, и все поняли? Ужас! Но что именно было? Короткое рукопожатие, невинный разговор на огневой, несколько взглядов... О, эти взгляды! Разве их можно было скрыть? Разве они не высказали всё? Что — всё? Не было никакого «всё»! И не будет его, не будет!

Неужели это может произойти так естественно и просто? А что, если оно уже произошло? Страшно представить себе, страшно подумать.

— Не смотрите, не смотрите на меня, Шовкун! Это я просто отвыкла... Мне тут еще страшно, и я дрожу... Но я не боюсь. Наоборот, мне очень, очень хорошо!

В госпитале Ясногорская не раз представляла себе встречу с

Евгением. Она ждала этой встречи, тайком мечтала о ней, заранее готовила Евгению много упреков... Почему так быстро забыл? Почему так редко писал? Редко, лаконично и сухо... Но разве на него можно сердиться за это? Едва они повстречались, все упреки как-то вылетели у нее из головы. Все заготовленное пошло кувырком, повернулось иначе...

А его писем ей не хватало в госпитале. Не раз Шура ловила себя на том, что ждет их, и даже отчаявшись, теряя надежду, все-таки ждет. Ей было уже мало того, что писали другие однополчане, ей почему-то хотелось, чтобы писал он, Черныш.

Особено, когда стала поправляться, когда вышла из палаты и увидела вокруг неудержимую весну. Песни, недопетые когда-то, опять просыпались в природе, волновали Шуру, трубили в громкие трубы... Кого-то до боли не хватало, сорвалась бы и полетела куда-то.

«Я не люблю, не люблю Черныша, — уверяла себя Шура по дороге в полк. — Это только потому, что он был другом Юрася, что он чем-то напоминает мне Юрку... Только поэтому! И 'я ему в глаза скажу об этом!»

А когда стояла с Евгением на огневой, то ничего не сказала. Что-то сильное, властное диктовало ей другие слова, взгляды, жесты.

— Шовкун, я очень плохо вела себя на огневой?

— Вы такое скажете, ей-богу!.. Да разве вы можете плохо? Мы только радовались, глядя на вас...

— А у меня, поверьте, даже дух захватило, когда я услышала этот гром! Давно я не слыхала такого... Будто маленькая стою где-то в поле под синей тучей и впервые слышу гром...

XXI

Санитарный взвод стоял в лесу неподалеку от минометчиков. Тут же рядом расположился и КП Чумаченко.

Евгению все еще не верилось, что Шура сейчас в нескольких минутах пути от него. Когда она скрылась в дымящейся чаще леса и мокрая сверкающая зелень, покачиваясь, сомкнулась за ее спиной, Чернышу на мгновение показалось, что Шуры совсем и не было на огневой, что все это ему померещилось. Но, оглянувшись вокруг, он увидел, как на всем еще лежит как бы праздничный блеск, принесенный ею сюда: на посвежевших лицах людей, на оружии, на всей природе...

Уходя на КП, Шура пообещала, что через час все устроит, «вступит в права» и потом придет к минометчикам обедать. Ради такого случая Хома привез на огневую бюргерских уток, уверяя, что они дикие.

Прошел час, а Шуры не было. Уже вечерело, а она все не приходила. Наконец Черныш не выдержал.

— Побудь тут за меня, Володька, — смущаясь, обратился он к Сагайде. — Я схожу...

— Крой, — сочувственно буркнул Сагайда, — будет порядок...

На полпути к санвзводу Черныш встретил Шуру с санитарями.

Солнце приближалось к закату, и косые лучи пересекали лесную тропу. В густых вершинах нависали косматые сумерки, а внизу на голых стволах ярко горели огни заката.

Ясногорская шла, склонив голову, и не сразу заметила Черныша. Лицо у нее было озабоченное и серьезное. Будто и не она днем так счастливо смеялась и щебетала на огневой. Будто уже сирятала все, чем так щедро красовалась днем перед бойцами его роты, перед ним.

— Шура! — впервые сегодня Евгений назвал ее по имени.

Ясногорская, словно проснувшись, взглянула на него. И прежде чем она улыбнулась, Евгений успел уловить выражение печали и горькой боли в ее глазах.

— Видишь, — сказала она тихо и растерянно, — а я как раз сейчас думала зайти к вам... Иду в боевые порядки.

— Но там ведь есть твои люди... Ты могла бы и не спешить.

— В эту ночь нужно. Пополнение придет.

Шура сошла со стежки и, пропуская своих санитаров, деловито оглядывала их.

— Шовкун, зачем вы эти носилки взяли? — заметила она. — Там ведь, кажется, есть полегче.

— Зато эти крепче, — с готовностью остановился Шовкун. — А может, за теми сбегать? Так я в секунду!

— Идите уж, идите, — махнула рукой Ясногорская.

И даже в этом жесте Евгений угадал едва сдерживаемую боль, которой Шура сейчас как бы отгораживалась от него. Что случилось? Откуда взялось это отдаление, неожиданно возникшее между ними? А оно возникло. Евгений это чувствовал, холодея, как перед неминуемой опасностью. Днем, на людях, ему, оказывается, легче было найти общий язык с Шурой, чем сейчас, с глазу на глаз, здесь в лесу. Тогда все в ней предназначалось ему: каждое движение, горячий взгляд, ласковое слово и даже то, что слышалось за словом... И вот сейчас все это угасло, заслонилось чем-то другим, может быть, даже этими носилками, — не видеть бы их никогда!

— О чем ты задумался, Женя? Пойдем.

Они пошли по тропинке за санитарями.

— Ты имеешь представление о нашей передовой? — глухо спросил Черныш.

— Имею, — вздохнула Ясногорская. — Рассказывали.

Под передовой подразумевалась пехота. Она лежала за холмом вдоль реки. До берега отсюда было несколько сот метров, но этот путь считался смертельно далеким. Для того чтобы по-

пасть в боевые порядки, надо было проскочить по голому склону, обращенному к противнику. Вражеские снайперы не спускали с него глаз, охотясь за каждым, кто появлялся в этой зоне. Ненавистный горб уже стоил батальону нескольких бойцов. Во избежание излишних потерь Чумаченко приказал в дальнейшем «открывать навигацию» только с наступлением темноты. Боеприпасы, продукты, газеты, письма — все это отныне перебрасывалось в боевые порядки только ночью. И, несмотря на это, были потери почти после каждого рейса. Накануне перед рассветом старшины притащили к КП красивого капитана, работника дивизионной газеты. Черныш видел его, окровавленного, холодного. Кто мог знать, не притащат ли завтра и Шуру на КП?

— Если б можно было пойти вместо тебя, Шура... Если бы я только имел возможность...

— О, Женя, Женя... Если бы нам было дано заменить собой других... Я тоже пошла бы...

Вместо кого? Черныш не спросил, догадываясь, кого она имела в виду. Конечно, Брянского!

— Почему ты не сменила погоны на полевые? — заметил он погодя. — Будут блестеть при ракетах.

— В самом деле, — покорно согласилась Шура. Она была сейчас необычно покорная и мягкая. — Я совсем о них забыла... Кажется, у меня здесь в сумке есть полевые.

Порывшись на ходу в своей набитой пакетами сумке, она вынула полевые погоны и остановилась.

— Пристегни пожалуйста.

Евгений сдерживая дыхание, коснулся ее плеча. Впервые в жизни он касался этого плеча, теплого и нежного. Медленно снял узкие белые погоны — один, затем другой — и приладил на их место полевые.

— Готово?

— Готово.

— Спасибо.

На какое-то мгновение руки Черныша, помимо его воли, задержались на ее плече. Шура будто не почувствовала этого.

— Женя, — едва слышно прошептала она, доверчиво глядя на Евгения, как тогда, под Будапештом, когда, уже раненная, лежала на повозке посреди скованной гололедицей степи. — Скажи мне, Женя, скажи... — На глазах у нее вдруг заблестели крупные слезы. — Ведь это плохо, что мы вот так... что между нами вот такое...

Они одновременно подумали о Юрии. Брянский как бы сошел сюда с далеких Трансильванских гор, встал между ними и смотрел на обоих. Они молчали, обращаясь мысленно к нему, спрашивая у него совета, проверяя свою совесть, как проверяют дорогу по неподвижной звезде.

— Я все время думал об этом, — нахмурился Черныш. — И если ты хочешь знать мое мнение...

— Не надо, Женя, не надо, — энергично перебила его Ясногорская. — Не будем сейчас об этом... Идем!

Они пошли по тропинке, не касаясь друг друга.

— Ты боишься этого разговора, Шура?

— Не боюсь, я ничего не боюсь, но... позже, после!

— Когда — после? Когда? Назови мне этот день...

— Женя, зачем?

— Назови, чтоб я ждал, чтоб я ждал, даже если... погибну.

— Не говори так, не нужно.. Ты знаешь, какой я день имею в виду. Тот, когда все уже кончится, когда наступит, наконец, новая жизнь.

— Это уже так близко! — обрадовался Черныш.

— Тогда, мне кажется, все станет другим, — говорила Шура, постепенно вдохновляясь собственными мечтами. — Тогда все можно будет решать по-новому... И, может быть, то, что сейчас кажется неосуществимым, тогда станет естественным и возможным. Ведь мы очутимся совсем в другой атмосфере, по другую сторону смерти, крови, болей и кошмаров... Как ты думаешь, друг мой? Неужели же люди не почувствуют себя... заново рожденными?

— Я тебя понимаю, Шура... Мне и самому тот день представляется не только большой исторической датой. Это, конечно, будет нечто значительно большее. Ибо там будут возникать все начала, там будет только будущее, там все человечество будет ему присягать.

Черныш не договорил. Знакомый вибрирующий посвист снаряда рассек вечерний неподвижный воздух. Сверканьем и треском взвихрилась лесная чаща. Шура инстинктивно схватила Черныша за руку, и они ускорили шаг, оглядываясь на каждый разрыв, раздававшийся сзади. Поверху за ними гнались горячие осколки, прошивая потемневшую зелень, гулко постукивая в ветвях.

Наконец они вырвались из-под обстрела и вышли на опушку. Вид огневой и близких окопов сразу успокоил их.

Высокое небо колосилось последними заревами. Шовкун уже взбирался с санитарями по крутому косогору. Внизу на огневых спокойными группами стояли минометчики, слушая чью-то грустную песню. Среди этих австрийских оврагов она воспринималась особенно остро:

Ой, зійди, зійди, ясен місяцю,
Як млинове коло...
Ой, вийди, вийди, серце-дівчино,
Та промов до мене слово...

То невидимый Маковей, свернувшись где-то в сером окопе, дал волю своему сердцу.

Всю ночь прибывали войска. Дорога от ближайшего тылового села до переднего края была забита танками, тягачами, автомашинами. Постепенно все это рассасывалось по придорожным рошам и оврагам. Командиры батарей отчаянно спорили за каждый клочок земли: не хватало места для огневых.

В полночь у овражка, обжитого минометчиками, загудели тяжелые танки. Хома, который расположился на ночь со своим транспортом вблизи огневых, ястребом накинулся на танкистов. Наверное, из-за собственного огорода он не ругался с таким азартом, как сейчас из-за этой ночной опушки, где была его стоянка. Метался с кнутом перед машинами, тщетно пытаясь перекричать ворчанье моторов.

— Цоб держи, цоб! — кричал он изо всех сил невидимым механикам. — Дышло сломаешь!..

Водители не обращали внимания на Хому, лошади шарахались в темноте, дышла трещали.

— А-а, чтоб тебя!..

Танки выстроились вдоль опушки там, где было задумано. Хаецкий, оттесненный со всем своим хозяйством в колючую чащу, в свою очередь вытеснил в глубь леса несколько артиллерийских передков и чью-то кухню. Устроившись на новом месте, Хома быстро успокоился и примирился с судьбой.

Через некоторое время он уже снова прохаживался возле заглушенных машин, спокойно постукивал по ним кнутовищем и допытывался у танкистов, какова толщина брони. Потом, разлегшись с измазанными водителями возле танков и забыв про все обиды и несправедливости, растолковывал новоприбывшим, с кем они ныне вступили в контакт.

Слушая Хому, можно было подумать, что гвардейский стрелковый полк, с которым сейчас танкистам выпало счастье действовать совместно, не имеет себе равного. Выходило так, что он состоит сплошь из исключительных людей, из отборных героев-богатырей. Командует этим полком решительный и грозный гаджик — академик Самиев. Полковую разведку каждую ночь водит на невероятные задания знаменитый «волк» Казаков, полный кавалер ордена Славы... Единственный на всю дивизию полный кавалер!.. У полкового знамени стоит герой Сталинграда и Будапешта старшина Багиров. Про этого, наверное, все слышали. Не слышали? Стыд и срам! Да это же они изпод земли штурмовали отель «Европу»!.. И про Хаецкого тоже не слышали? И про Воронцова? О, люди! Герой Советского Союза майор Воронцов — замполит в этом богатырском полку. На нем, говоря правду, все держится. Сила, голова! Ему уже за сорок, у него сын в армии, а поглядите на этого мужика: вот это, скажете, сила, этот поведет и выведет!.. Если ты плохой

вояка, так он тебя в бараний рог скрутит, а если ты честно выполняешь свою миссию, от него тебе и почет, и хвала.

— Зарубите себе это на лбу, не задирайте нос, бо здесь такой народ!..

Казалось, все в этом необычайном полку должно было оглушить самоуверенных танкистов. Было от чего прийти в восторг! Ведь в эту ночь неутомимые полковые разведчики шныряют уже на пятой иностранной границе. Через пять кордонов, сквозь тысячу боев пешком пройти — это вам шутка, что ли?

А между тем механики-водители, по очереди угощаясь из конистры и угощая Хому, слушали его без особого удивления. Они как будто и не представляли себе этот полк иным. Днепр? Альпы? Штурм Будапешта и знаменитая битва на Гроне? Хорошо, но что же здесь особенного? Полк как полк.

Когда же Хома слишком уж разошелся, восхваляя свои минометы, кто-то сзади осадил его спокойной шуткой:

— Довольно тебе, друже, про свои чихалки... Пей.

— Чихалки?! А где вы были, когда эти чихалки в Трансильвании по-над тучами грохотали? Когда мы с вьюками к чорту на рога продирались? Не эти ли чихалки тогда вам дорогу протаптывали? Безводье и жара, аж слюна во рту скипалась... Коней побросали, шинели кинули, а минометов не бросили... Шли и шли, аж горы дрожали от наших залпов! Где вы тогда были, я вас спрашиваю?

Танкисты с великодушным спокойствием рассказывали Хоме, где они были. При этом неожиданно выяснилось, что за их бригадой лежит путь не менее славный, чем за полком Хома. Командует ею гвардии майор Молоков. Хорошо знают Балканы, сколько фашистов перемололи эти зубастые уральские гусеницы! Потом битва на Балатоне. Потом рейды в промышленном районе Вены. А сейчас бригада прибыла сюда для последнего штурма. Круглые сутки мчались на полном газу, чтобы успеть... Завтра танки первыми будут форсировать эту австрийско-чешскую реку. Не дожидаясь мостов, наглухо задраив люки, боевые машины пойдут по дну, под водой.

«Так вот какая это бригада. Тоже, выходит, богатырская!» — думал Хома, постепенно проникаясь уважением к своим прокопченным собеседникам. Он даже почувствовал радость от того, что другие части армии были такими же замечательными, как и его родной полк.

Танкисты лежали звездой, голова к голове, между их темными лицами нашлось место и для гвардейских усов Хома. Подолянин теперь и не пытался оглушить собеседников подвигами своего полка. Он был захвачен другим. Братцы, неужели же это и в самом деле последний штурм? Неужели же через несколько месяцев он, живой, неубитый Хома, будет шагать домой полями своего родного Подолья? Гей-гей, если б так слу-

чилось! Он наклонился бы и поцеловал бы пыль родного шляха!..

Возвращаясь к своим, Хома столкнулся в темноте с Маковеем. Хлопец, присев по-восточному, налаживал кабель.

— Слыхал, Маковей? Танкисты поговаривают, что завтра выйдем на последний штурм. На последний, понимаешь? А там — мир...

— И верится мне, и не верится, Хома, — признался телефонист, зачищая зубами конец провода. — Не могу даже представить себя не в земле, а на подушках, не в походе, а на одном месте. Мне кажется, что я уже весь век буду солдатом.

— Это добре, — похвалил Хаецкий. — Гвардейская жилка тебе всюду пригодится... Скажи, к примеру, ты мог бы телефонизировать нам район? Весь район — от колхоза к колхозу, от бригады к бригаде?

— А почему же нет? Конечно, мог бы. Только где ты столько аппаратов и кабеля наберешь?

— Ого, об этом, Маковей, не беспокойся. Разве мало аппаратов освободится после войны? А кабеля? Все обратится на мир!

— Но я, наверное, останусь в армии.

— Конечно, тебе еще служить, как медному котелку. Надо же будет кому-то и на границах стоять.

— Если бы только женатому, — засмеялся Маковей. — После войны, наверное, все поженятся.

Несмотря на поздний час, войска продолжали прибывать. Шли люди, двигалась техника. Вдоль леса до самого села гудели во тьме моторы. Близость чего-то большого, необычайного возбуждала бойцов. Мало кто спал в эту ночь.

Высланные политотделом мощные громкоговорящие установки остановились впереди войск, загадочные и молчаливые. Прямо с поля надвигались машины с громоздкими понтонами и останавливались около минометчиков. Понтонеры громко переругивались в темноте. Хома, оставив Маковеев, не замедлил подойти к ним со своими советами.

А Маковей, наладив линию, возвращался в свой окоп, веселый и довольный. Мурлыкал какую-то песенку, улыбался своим мечтам. Из головы не выходила Ясногорская. Шутя приласкав парня днем, она и не догадывалась, какой след оставила в его сердце, какую молодую неутихающую бурю вызвала! Маковей, конечно, понимал, что то была только девичья шутка, но надежда на что-то серьезное начинала теплиться на дне его встревоженной души. Тлела, разгоралась, согревала.

«Ведь может случиться, — думал Маковей, уже сидя у себя в окопе, — что она приглядится ко мне внимательнее и я ей понравлюсь. Не так, как до сих пор нравился, а как-то совсем иначе... Всякие чудеса бывают на свете!»

Мысли его все время тянулись к боевым порядкам полка.

Где-то там, освещаемая ракетами, готовая к штурму, лежит под огнем пехота. Там где-то и Ясногорская, ползая в прибрежных росистых шелюгах, перевязывает пехотинцев. Маковей хотел бы сейчас быть на месте одного из них, в самом острие полка, направленного на запад... Пусть бы Ясногорская, склонившись над ним, перевязывала ему горячую рану... «Потерпи, Маковей, потерпи, — скажет она ему. — Сейчас я прикажу отправить тебя в медсанбат...» Но он на это только гордо усмехнется. Как? Перед общей атакой, перед штурмом пойти контоваться по тылам? «Спасибо, но я никуда не пойду отсюда в такой решающий момент. Я останусь тут». Ясногорская в восторге от его мужественного поступка, она кладет ему руку на плечо, заглядывает, пораженная, в его глаза: «Так вот ты какой, Маковейчик!.. Ты, оказывается, герой!»

Вот тогда он, наконец, откроется ей. Скажет ей, что думает. Даст волю своей нежности, своей любви. И Ясногорская приласкает его, как днем. «Маковей, любимый, я, оказывается, совсем мало знала тебя, считала мальчишкой. Теперь я о тебе другого мнения. Теперь я тебя люблю».

И раны его заживут сразу, и он встанет на ноги, веселый, здоровый, счастливый. Скажет: «Что хочешь, я все для тебя сделаю».

Она скажет: «Возьми меня на руки и неси по белому свету».

И он возьмет ее, легкую, как ласточка, и понесет. Она будет говорить: сделай еще то, сделай это, — и он все исполнит, потому что все сможет. Горы будет способен сдвинуть с места.

— Ты спишь, Маковей? Или просто дремлешь? }

Вспугнув грезы Маковей, гвардии лейтенант Черныш прыгает на дно окопа. Сам черный, а глаза под сведенными бровями весело поблескивают.

— Спишь, говорю?

— Нет, это я так...

— Царица полей подает голос?

— Подает.

— Как там у них?

— Пополнение принимают, всю ночь возятся. Замполит с «хозяйном» боевые порядки проверяют.

— Ну, а мы пока что давай закурим по одной.

Усевшись на дне тесного окопа, перепутавшись ногами, они старательно крутят цыгарки. Маковей ждет от лейтенанта еще одного вопроса, самого главного. И после напряженной паузы Черныш задает его, этот вопрос, попадаясь на крючок к Маковейю.

— Меня оттуда никто не вызывал? .

Маковей набирает в грудь воздуха и торжественно отвечает:

— Никто!

Черныш жадно тянет цыгарку.

Теперь Маковейю все ясно. Да, собственно говоря, разве еще

днем не видно было, к чему все клонится? Его обостренный взгляд отмечал тончайшие оттенки в поведении Ясногорской и Черныша... Когда она стояла на огневой и радостно болтала, лоя в протянутые ладони мелкий солнечный дождик, Маковой заметил, как тревожно перебегал ее взгляд по людям, ища кого-то. Потом, когда подошел Черныш, Маковой понял, кого она искала. У всех на глазах она стала будто еще лучше, еще краше, чем была. А когда они говорили между собой о первом, громе и лесе, вспыхнувшем после дождя зеленым сияньем, Маковой казалось, что они разговаривают не о том громе, который только что прокатился, и не о лесе, вымытом дождем и зазеленевшем вблизи, а о другом громе, более прекрасном, редчайшем, — его слышали только они двое. Это была уже тайна для всех! Маковой хотелось увидеть все, что видели они, постичь очарование их тайны, к которой они, весело сговорившись, никого не пускали.

С ревнивым вниманием следил Маковой за Чернышом, сидевшим в задумчивости против него. Парень хотел понять, за что Шура отметила и избрала именно этого человека, худощавого лейтенанта Черныша, а не кого-нибудь другого. Почему она после Брянского, столько обойдя, столько дав отпор, остановилась именно на нем? За черные брови, за ясные очи? Но ведь и Сперанский был, как нарисованный. За отвагу? Но ведь и Сперанский был храбрый! Нет, здесь что-то совсем другое. Наверное, в нем есть как раз то, чего она искала в жизни. Что-то от Брянского.

Избранник!.. С нежной завистью Маковой разглядывал Черныша. Тайно ревновал его к Ясногорской, но даже ревнуя, не испытывал к лейтенанту неприязни. То, что Ясногорская любила Черныша, еще больше возвышало любимого командира в глазах Маковой. К присущим лейтенанту достоинствам прибавилось еще одно — особенное, исключительное. Отблеск этого исключительного, редчайшего остался на Черныше после того золотого дождика и синего грома. Сияющие взгляды Шуры до сих пор еще сверкали на нем, очаровывая Макова.

«Странно, что я раньше не замечал, какой он и в самом деле особенный, — волновался телефонист, думая о своем командире. — Ведь он самый лучший офицер в нашем батальоне, сейчас мне это ясно. Правда, стрелковыми ротами командуют тоже храбрые, опытные, прекрасные люди... Но наш Черныш все-таки самый лучший. Если уж Ясногорская отдала ему предпочтение, значит он особенный. Интересно, что же в нем особенного? — терялся Маковой в догадках. — Как приобрести это особенное? Как его найти? Разве я тоже не могу иметь то редкое, что мило ей?»

Он смотрел на крепкие плечи лейтенанта и украдкой поводил своими. Замечал при свете цыгарки острую борозду на смуглом лбу лейтенанта и хмурился, чтобы у него появилась

такая же. Если бы можно было перенять все чувства и мысли лейтенанта, то он, Маковей, конечно, сделал бы это. «Я тоже добыюсь всего, что ей мило, — убеждал себя взволнованный парень. — Буду справедливым во всем, буду честным, храбрым, образованным! Обо мне «хозяин» будет тоже говорить, что я неумоимо дерзаю, совершенствуюсь, ищу новых методов и нахожу их... Тогда подойдем к ней вместе: мы оба вот какие, мы сравнялись, — выбирай!»

Черныш, затоптав цыгарку, встал и прислушался. Маковей спрятал свой погасший окурочек за манжет пилотки. Шум на передовой постепенно стихал. Лишь изредка кое-где постукивали контрольные пулеметы. На огневой братья Блаженко степенно рассказывали кому-то о февральских боях за Гроном.

— Может быть, меня будут спрашивать, — предупредил Черныш Маковея, — я буду в окопе у Сагайды. Только гляди не засни. Лучше уж потихоньку пой.

— Хорошо, я буду петь. Но все равно всего не перепою до утра.

— Завтра допоешь... когда снимемся... вперед.

Легко подтянувшись на руках, Черныш выскочил из окопа. Навстречу ему с пригорка спускалось несколько бойцов. Один из них сдержанно стонал и все время просил воды.

— Откуда? — остановил их Черныш.

— С передовой. Раненые.

Все оказались незнакомыми, из свежего пополнения, вчера только прибывшего в полк.

— Быстро вы...

— Окопаться не дал... Как чесанул по всему берегу... Сейчас уж лучше, все окопались...

— Кто вас перевязывал?

— Там одна девушка, спасибо ей... Намучилась с намн...

— А она... а ей... ничего?

— Ничего... жива-здоровая... Нас вот на весь батальон только четверо.

— Воды... ох, воды... — тянул скорчившийся высокий юноша, которого товарищи поддерживали под руки.

Черныш крикнул своим вниз:

— У кого есть вода?

На его зов первыми явились братья Блаженко, на ходу отстегивая алюминиевые фляги. Раненый оживился, потянулся всем телом к ним навстречу, Денис зубами открутил пробку.

— Куда ранило? — спохватился Черныш.

За раненого ответили другие:

— В живот...

Братья Блаженко выжидающе смотрели на лейтенанта.

— Ведите! — с неожиданным гневом скомандовал Черныш легко раненным, державшим юношу под руки. — Санитарные подводы внизу налево!

- Мы знаем...
 - Роман, проводите их!
 - Братцы... один глоток... сгораю... Каплю, братцы, — жадно умолял пехотинец, оборачиваясь к братьям Блаженко.
- Но они уже накрепко закрутили свои флаги.

XXIII

Половина шестого.

Солнце только что взошло, стремительно поднимаясь из-за леса. Черныш с офицерами-минометчиками стоял на холме перед огневой и, поглядывая то и дело вперед, делал в блокноте какие-то заметки. Сейчас он напоминал прилежного студента, записывающего в лаборатории сложные и важные процессы.

Невдалеке стоял Хома и в трофейный бинокль разглядывал вражеские позиции. Пожалуй, впервые за всю войну подольник стоял вот так, не маскируясь, и никто уже не кричал на него за это: до начала артподготовки оставались считанные минуты. Правду говоря, самому Хоме было как-то непривычно стоять открыто, не маскируясь. Как будто он вышел перед людьми совсем голый, в чем мать родила. У него деревенели ноги, настойчиво хотелось присесть. Но офицеры стояли, спокойно выпрямившись, и Хома, черт побери, тоже мог так постоять. Противник не стрелял, наверное, сэкономил снаряды.

В бинокль Хома отчетливо видел вражеский передний край, проволочные заграждения, которые в несколько рядов тянулись вдоль берега, словно за ним сразу начинался огромный концентрационный лагерь. Вдоль высот — причудливые зигзаги траншей, вкопанные в землю самоходки, едва заметные доты и блиндажи, обложенные дерном. Возле одной землянки сушилось солдатское рванье, небрежно брошенное на траву.

«Вот мы вам высушим!» — подумал Хома, опуская бинокль на грудь.

Довольным взглядом он окинул позицию своих войск.

Теперь война уже не казалась ему, как под румынскими дзотами, непонятным ужасом, в котором трудно разобраться. Боевые порядки войск со всеми приводными ремнями, к ним, со всеми шестернями и винтиками сейчас воспринимались Хомой как одно неразрывное целое, устроенное чертовски мудро, и он уже сам как механик, мог охватить — и на глаз, и на слух — всю эту хорошо налаженную, тяжелую и грозную машинерию.

Притаившись в складках местности, густо зеленеют окрашенными стволами батареи. На опушках застыли тяжелые танки, в овраге выстроились понтоны. По другую сторону шоссе, среди австрийских бункеров, где расположился штаб полка, стоят наготове лошади связных, громкоговорительная установка с большим рупором, как у гигантской трибуны. Она готова

в любую минуту передать войскам историческое сообщение о капитуляции фашизма. Хома чувствует себя так, словно и сам он стоит сейчас на высокой трибуне. Ему кажется, что и это предполье, запруженное вооруженными войсками, залитое утренним солнцем, сейчас поднято над землей, как гигантская трибуна, с лесами и оврагами, с огневыми позициями и стрелковыми ячейками. Поднято и хорошо видно всем державам!

Настороженная грозная тишина царит вокруг. Залегла, на извилистых берегах пехота, спокойная, уверенная в себе, готовая ко всему. В балках и оврагах стоят артиллеристы и минометчики. Они прошли с боями полмира и сейчас стали на последнем рубеже. Тишина. Слышно даже, как звенят жаворонки, повиснув высокими колокольцами над нейтральной зоной.

Слушай, Хома! Смотри, Хома! Не часто такое случается в жизни! Каждое слово команды, каждая отсчитанная часами секунда навсегда врезается в твою память. Ты уже никогда не сможешь забыть этих всадников, галопом скачущих от штаба во все концы, группу танкистов на опушке, окруживших своего комбата, который указывает им боевые маршруты. Все запоминай, Хома, потому что это уже история! Не та история, которая дремлет где-то на страницах книг, а та, что проходит через твои собственные руки! Ты ведь слышишь, как она близко, как она дышит рядом, ты можешь заглянуть ей прямо в глаза, най его маме! Когда-то ты только от людей слышал о знаменитом колесе истории, а сейчас можешь собственноручно пощупать его, как шупал накануне каток уральского танка!

Величие нарастающих событий и сознание того, что эти невероятные события в какой-то мере зависят непосредственно от него, переполняли Хому неизведанной доселе гордостью. Удивительное ощущение — он, простой подолянин, взошел на трибуну, такую высокую, на какую до него никто еще не поднимался, — это ощущение не покидало его все утро. Если б он мог, воскресил бы всю родню, до самого далекого колена! Пусть бы его деды и бабки глянули на Хомку, который родился в темной хате, а вырос на печке! Разве смогли бы они узнать в нем оборванного подпaska, который ковылял за чужим скотом на мучных лугах? Э, да разве они способны это понять? Сейчас он стоит у всех на виду, проходит в параде перед всеми народами. В разных землях знает его и стар и мал. Издали узнают по гвардейской походке, по знаменитой пилотке с бессмертной звездой.

Тишина в войсках.

Жаворонки над войсками.

И вот, наконец, 6.00.

С окраины села, из-за спины Хаецкого, упиваясь собственной музыкой, заиграли длинную очередь гвардейские минометы. рванулись наискось в небо огненные реактивные снаряды. Бодрый, сильный гром прокатился от края до края. Не успел он исчезнуть за ясным небосклоном, как заговорило все широченное

предполье, вспыхнув до самых дальних флангов огненными языками выстрелов. Воздух над головой вибрировал, звенел невидимыми струнами. Тонны раскаленного металла, вырвавшись из сотен жерл, стремительно прошумели на запад.

Минометы, вверенные Чернышу, присоединились к общему грохоту. И он сам, как наэлектризованный, включился в эту единую силу, которая бушевала вокруг. С этой минуты он не думал ни о себе, ни о Ясногорской. Искал глазами плывущую в дыму цель, не замечая ничего и никого, кроме нее. Его тоже не замечали ни бойцы, ни офицеры, стоявшие внизу на своих местах. На лету подхватывали брошенные сверху, с холма, команды, как бы существующая в эти минуты: только для этих команд.

— Огонь!

— Огонь!

— Огонь!

Хома, обливаясь потом, таскал вместе с подносчиками тяжелые ящики к раскаленным минометам. Походя громко стыдил Ягодку, который до сих пор прикрывал ухо, опуская мину в ствол. Ягодка сегодня впервые стоял заряжающим.

«Катюши» беспрерывно играли и слева и справа, десятки батарей били одновременно. Грохотал бог войны, заглушая все вокруг. Хлопающие удары минометов, гулкие выстрелы сорокапяток терялись в тяжелых вздохах крепостных орудий-гигантов. Разнокалиберные голоса батарей вскоре слились в сплошной железный гул.

Через несколько минут над полками прошла на запад авиация. Казалось, самолеты идут беззвучно, немыми силуэтами, выключив моторы. Гул эскадрилий заглушался гулом наземной артиллерии. Лишь громовые взрывы фугасок по ту сторону реки свидетельствовали о том, что и на самолетах в унисон с сердцами наземных войск бьются напряженные сердца летчиков.

Пехота, до сих пор скрытно лежавшая на берегу, поднялась во весь рост, окутанная тучами дыма. По остаткам взорванного моста, по шатким фермам, торчавшим из воды, — на ту сторону, на ту сторону! Разведчики Казакова кинулись вплавь.

Огненная буря начала откатываться, переносась во вражеские тылы. Черныша вызвали на провод. Говорил начальник артиллерии. Оказывается, он все время из боевых порядков следил за результатами скоростной стрельбы по методу Черныша, сегодня впервые примененной массово. Сделав несколько замечаний специального характера, начарт поздравил Черныша с успехом его боевого эксперимента.

Тем временем на опушках взрели танки и, разметав зелень маскировки, ринулись со всех сторон к реке. Покачиваясь, поплыли через поле понтоны. Артиллерия постепенно стихала, огни разрывов все реже возникали в сплошном море дыма, затя-

нувшего вражеские позиции. Стала слышна истерическая стрельба оживающих вражеских пулеметов и автоматических пушек, бессистемно разбросанных на высотах.

— Весело сыграно! — кричал Чернышу раскрасневшийся Сагайда. — Роскошно!

В самом деле, из всех (артподготовок) сегодняшняя, организованная с таким блеском, была, пожалуй, самой радостной и поистине праздничной.

«Прекрасный, может быть заключительный, аккорд наших великих боев», — подумал Черныш и, откинув упавший на лоб потный чуб, подал команду выючиться.

Танки, в разных местах достигнув берега, один за другим входили в воду все глубже и глубже. Сотни глаз страстно следили за этим героическим переходом танков по дну чужой реки.

— Если остановятся хоть на секунду, моторы зальет водой, — с тревогой в голосе объяснил товарищам Хома.

Но ни один не остановился! Поднимая вокруг себя сиянье вздыбленных волн, машины уже уверенно выбирались на противоположный берег.

XXIV

Войска уходили вперед. Вскоре все опустело: окопы, леса, многочисленные стоянки батарей...

Хаецкий, сидя в седле, давал последние указания бессарабцу Ионе, которого оставлял на огневой в роли своеобразного «ликвидкома».

— Смотри мне, не забудь выправить у них бумажку, — получал Хома ездового. — А как все закончишь, тогда догоняй нас по указкам.

Речь шла о порожней таре, которая горой лежала на огневой, ее надо было сдать в боепитание, получив соответствующую «бумажку», то есть расписку. В такой бурный, почти праздничный день, когда наступающие войска уже неудержимо шли вперед, Ионе совсем не хотелось расставаться с товарищами, связываться с этими пустыми ящиками. Подумаешь, сокрвище! Кто о них спросит? Кому они нужны в такой суматохе? Не такое война списывала, спишет и это...

Иона не скрывал от старшины своего презрения к этой таре.

— Махнуть бы на нее рукой — только и делов!

Однако Хома непоколебимо стоял на своем. Как это — махнуть рукой? Что значит — война спишет? Против такой бесхозяйственности протестовало все его существо. Конечно, в такую пору людям не до пустых ящиков. Может быть, и в самом деле никто не обратит внимания на то, что он оставил свою тару где-то в поле без присмотра. А потом и вовсе забудется, перемелется... Где пьют, мол, там и льют!

Но Хома не хотел проливать ни капли.

— Плохой тот старшина, Иона, который хоть гвоздь разбазарит в этих чужих землях. Дома нам все пригодится. Я брошу, и пятый, и десятый — вот тебе и эшелон! Тысяча вагонов наберется! Прикинь, сколько сюда лесу пошло да сколько столяров работало, чтобы все это нам приготовить. Прикинь, наконец, сколько «огурцов» завод опять упакует в эту тару!

— Довольно уже паковать, — благодушно возразил бессарабец, — война вот-вот кончится.

— Вот человек! — воскликнул Хома, укоризненно качая головой. — А Япония? Ты про нее забыл?

Иона молча принялся швырять на повозку ящики, срывая на них свою злость. Автомат болтался у него на шее.

— Скинь автомат, на время работы разрешаю, — смилостивился подолянин, поудобнее усаживаясь в седле.

Иона не принял милости.

— Пусть тот скидает, кому он тяжелый.

— А тебе нет?

— Мне родное оружие никогда не тяжелое.

— Ов-ва! Ну, вижу, из тебя человек выйдет!

Свистнув нагайкой, Хома помчался догонять своих. Разыскал их уже за рекой, среди множества разных подразделений, которые, перебравшись по только что настланному мосту, на некоторое время смешались и слились в одну огромную возбужденную, шумливую армаду. Развернувшись по всему подгорью, войска сплошными массами двигались на высоты. Оставленный противником укрепленный район скалился разорванным бетоном, зиял мертвыми дырами амбразур. Стальные колпаки дотов рассыпались вконец, потрескавшись под ударами, как хрупкие колокола. Разрушенные траншеи, распотрошенные блиндажи, свежие воронки — все здесь еще дышало горячей яростью недавней канонады.

Хоме припомнились первые бои под румынскими дотами и то пышное голубое утро, когда они после штурма взбирались за Брянским на отвоеванную высоту. Тогда мир тоже ширился, на глазах становился просторней. И такая же просторная тишина господствовала вокруг, и такие же сложные вражеские укрепления лежали у ног. Но в то же время доты оставались почти целыми, их приходилось выкорчевывать из земли взрывчаткой. А теперь они с первого удара трескались, разваливались... «Да, не шутка это, — думал Хаецкий, оглядывая огромные развалины. — То, чего в Пашканях еще ни один снаряд не брал, сейчас потрескалось, как кавун. Сталь не та или бетон другой? Нет, не в этом дело... Крепнет гвардейская техника, а гвардейцы и того больше! Вот причина всему... Сейчас глянешь: пушку от земли не видно, а она «тигра» бьет...»

Хома с любовью смотрел на подразделения, поднимающиеся по косогору. Пушки, транспорты, кухни путались между пехотой. Как всегда бывает при наступлении, количество всадников

быстро возрастало. Комбаты, адъютанты, старшины сели на лошадей. Даже гвардии майор Воронцов, которого привыкли всегда видеть пешим, сейчас был на коне. «Значит, дорога предстоит дальняя», — подумал Хаецкий, взглянув на майора. Это был верный сигнал! Весь полк знал, что замполит садится на коня только в далеких горячих маршах.

Черныш всл роту все выше и выше по изрытому воронками скло́ну среди густого переплетения разбитых траншей. Он знал, что скоро встретит Ясногорскую и что на марше они будут вместе — может быть, день, может быть, два, может быть, и три, — ему хотелось, чтобы этот марш никогда не кончился... Ноги ступают легко, тело налито силой, веселый шум стоит вокруг. Глаза бойцов еще горят вдохновением боя, чувство окрыленности охватывает войска. Все выше и выше...

На бетонном укреплении, из которого в разные стороны торчат рваные железные прутья, стоит группа девушек полковой санроты. Среди них Ясногорская.

— Вот твои «самоварники» идут, — весело толкнула Шуру одна из девушек, которую в свое время Хаецкий прозвал вертихвосткой. На сапожках у нее и сейчас поблескивали шпоры, большие и нелепые. — Смотри, как Чернышок впился в тебя глазами. Смотри, он краснеет. Ой, умереть можно.

Черныш, приблизившись, подал Ясногорской руку, и она легко прыгнула на землю.

— А я вас тут уже с полчаса поджидаю, — откровенно говорила Шура, шагая рядом с Евгением. — Сколько здесь сегодня народа проходит! Как будто война сейчас только начинается!

— Ты знаешь, меня тоже это поразило. Подумать — столько жертв, столько потерь, а приближаемся к финишу более сильными, чем стартовали. По крайней мере я не помню, чтобы в нашем «хозяйстве» было когда-нибудь больше активных штыков, чем сейчас... Как это получается? Мудро, очень мудро...

Вражеские трупы, скрюченные, изорванные, валялись по всему склону. Ясногорская брезгливо обходила их.

— Обрати внимание, Шура, — спокойно говорил Черныш, — почти все лежат головой на запад, а ногами на восток.

— Удирали, — определил Сагайда. — Не удрали.

— Интересно, кто они? — задумалась Шура. — Может быть, среди них как раз те, что начинали войну, те, что под гром своих барабанов выходили в сорок первом через Бранденбургские ворота на восток? Как они тогда шли! С жадными взглядами, с засученными по локоть рукавами. Как мясники. Теперь они утихомирились, теперь им уже ничего не надо. Отныне человечество, наверное, никогда не будет знать войн, — закончила Ясногорская радостно.

— Вот этот тип, безусловно, считал себя созданным для господства над народами, — говорил Сагайда, проходя мимо убитого гитлеровца в изорванном офицерском мундире. — Я думаю,

сидя где-нибудь в мягком кресле с сигарой в зубах, легко представить себя господином мира. Долго ли? Взять и бросить в мясорубку миллион или десять миллионов простого народа... Пусть гниют в окопах, пусть валяются в госпиталях, а ему что? Ему тепло, ему спокойно, ему подай на тарелке весь мир! Где гарантии, что со временем не вынырнет откуда-нибудь новое чудовище, какой-нибудь новый Гитлер?

— Не выйдет, — категорически возразил Черныш. — Народы поумнели. Теперь они не позволят обманывать себя. Да и кто стважится после такой науки претендовать на мировое господство? Какой маньяк пойдет на это? Мир, по-моему, наступит теперь на долгие столетия, а то и на тысячелетия.

— Ого, как ты размахнулся, — удивленно заметил Сагайда.

— Ты не согласен?

— Я лично не против... Но, друже, всем свой ум не вставишь...

— Можно подумать, — засмеялась Шура, — что вы собираетесь жить по меньшей мере тысячелетие!

— А ты меньше? — горячо взглянул на нее Черныш.

— Нет, нет... Наоборот, еще больше... Мне кажется, что я никогда не умру...

Разговаривая, они шли все время в гору. Солнце уже пригревало их спины, мягко ложилось на плечи, и они, взбираясь все выше, поднимали и его на своих плечах, как приятную легкую ношу.

Взошли на гребень высоты, и мир выступил из своих прежних берегов, разлился широким ясным океаном. Черныш вспомнил другие высоты — первую, румынскую, где остался Гай, и другую, трансильванскую, высокую, как грандиозный обелиск... Как бы он хотел, чтобы все, кого он оставил на пути, были здесь! Не нужно ему ни чинов, ни орденов, ни славы, ни любви — лишь бы только встали те далекие и прекрасные... Разве не им принадлежит все, что сейчас сбывается? Разве не для них легли вдали сероватыми коврами дорожные асфальты? Пусть бы шли они рядом! Пусть были бы здесь... Звал всех, но никто не приходил. Сколько прошло с тех пор... О, как это далеко, как давно это было...

На высоте посреди окопов остановился «виллис» командира дивизии. Стоя в машине, генерал что-то энергично говорил командирам полков, которые слушали его, вытянувшись в седлах. Самиев был среди них самый маленький, зато лошадь у него была выше чем у других.

Генерал, видимо, был чем-то недоволен. Его как будто не касалась та общая радость, то повышенное, почти хмельное настроение, которое господствовало сейчас в войсках. Он, комдив, будто и не замечал того, что противник только что сбит со своих позиций, что танки, обогнав пехоту, уже рейдуют за десятки километров впереди, что, наконец, победа близка. В такое вре-

мя и генералу полагалось бы повеселиться вместе со всеми, пошутить так, как он умел: невзирая на ранги. Но сейчас, видимо, было еще не время... Генерал стоял в машине возбужденный, побагровевший и почти с раздражением отдавал приказы командирам полков. Кое-кто, настроившись до этого на довольно благодушный лад, при взгляде на генерала, понимал, что впереди предстоят и бои, и трудности, и опасности.

Противник, удирая, оставил немало своей техники и боеприпасов. По всей высоте торчал из земли перемятый, искалеченный металл, деформированное тяжелое оружие.

— Будет трофейщикам работы, — переговаривались бойцы, — насобирают.

— Смотрите, зенитка! — кричал Маковей товарищам, надеясь таким нехитрым способом привлечь внимание Ясногорской.

Шура, шагая между Чернышом и Сагайдой, оглянулась на миг, увидела Маковея и приветливо кивнула ему. Но сразу же опять оживленно заговорила с офицерами.

— Цела-целехонька! — не унимался Маковей, хлопывая ладонью теплую, нагретую солнцем пушку. — Еще и заряжена! — Однако Ясногорская на этот раз даже не слыхала его.

Пушка стояла в круглой яме-ячейке, уставив свой длинный хобот в голубую высоту весеннего неба. Телефонист еще что-то кричал, но Ясногорская не оглядывалась.

Тогда парень, не долго думая, припал к механизму пушки...

Прозвучал выстрел. Одинокий и потому удивительно резкий среди этой огромной тишины. Пролетел далеко над полями, и эхо еще долго перекатывалось в берегах, в лесах и оврагах. Тысячи людей на мгновение застыли, удивленно прислушиваясь. Казалось, что это прозвучал последний выстрел на земле. В высокой синеве распускался белый цветок взрыва. Наверное, этот цветок виден был и с дальних чешских селений, едва проступавших на западе из сплошных садов.

— Что ты делаешь? — спохватившись, накинулись на Маковея командиры.

— Я хотел дострельнуть вон туда, — смеясь, показывал озорник рукой в небо.

— Куда?

— В самую синеву... В стратосферу!

В конце концов парень и сам не знал, зачем он выстрелил. Может быть, для нее, для Шуры Ясногорской? А может, он салютовал миру, который, приближаясь издалека, уже чуть слышно трубил навстречу людям, которые добывали его...

XXV

Полки, стянувшись в колонны, летели вперед. Рассекая горячие, разомлевшие от зноя поля, навстречу бежал асфальт, сплошь политый свежей водой. Празднично одетые чехи и чеш-

ки неумолимо поливали его с утра до вечера, чтобы не пылила дорога, чтобы не падала пыль на *освободителей*.

Чистые красивые села и городки, утопающие в молодой зелени, подняли над домами красные советские и трехцветные национальные флаги, которые трепетали, словно вымпелы множества кораблей в огромной гавани. Весь мир стал сразу необычайно ярким и пестрым. Сквозь вдохновенный людской гул безостановочно проходили войска.

— Наздар! — единой грудью восклицала освобожденная Чехия. — Наздар! Наздар! Наздар!

— Ать жие Сталин!

— Ать жие Руда Армада!

Триумфальные арки возникали на пути полков, словно вырастали из плодоносной чешской земли.

Хома Хаецкий пролетал под этими радужными арками одним из первых. Грива его коня уже третий день расцвечена пахучей сиренью, автомат обвит цветами и лентами. Его украшали белые худенькие руки освобожденных сестер, лица которых подолянин даже не успевал запомнить.

Наступил всемирный праздник, которому, казалось, не будет конца. У каждого двора на чисто вымытых скамейках стояли ведра с холодной водой и хмельной брагой, а возле дворов побогаче — бидоны с молоком и бочки с пивом. Радостный, энергичный народ безустали угощал желанных гостей. Среди машин и лошадей храбро сновали ребятишки с полными ведрами, наперебой протягивая каждому кружку, наполненную от души — до самых краев!.. И какое счастье светилось в ясных детских глазах, когда боец, наклонившись с седла, брал кружку и, улыбаясь, пил добрыми солдатскими глотками.

— Я опиваюсь в эти дни, — хвалился Хома перед товарищами. — Не могу никому отказать, у каждого пью.

Всякий раз, угощаясь, он успевал перекинуться с чехами хоть несколькими словами. Прежде всего интересовался, давно ли прошли здесь фашисты.

— Час назад... Полчаса назад... — отвечали чехи, мрачней при одном лишь напоминании об оккупантах.

— Чудно! Чудно мне, братцы! Когда вы успели столько флагов наготовить, да еще и вывесить?

— О, пан товарищ! Прапоры у нас готовы еще с сорокового года, — дружно признавались чехи. — Шесть лет мы ждали этого благословенного дня. Мы знали, что вы нас не забыли, что вы придете и Ческословенска будет!

— Уже есть! — вытирая усы, говорил Хаецкий с таким видом, будто передавал тут же эту Ческословенску в руки своим собеседникам. — Держите крепко, бо дорого стоит!

Чехи отвечали хором, словно присягали:

— Пан товарищ, будем как вы!

Полк Самиева в этом наступлении делал по полсотни и боль-

ше километров в сутки, однако ни один боец не отстал. Все подразделения были на колесах. Автоматчики мчались вперед на велосипедах и мотоциклах, припадая на крутых виражах почти к самой земле. В повозках тесно сидели усыпанные цветами пехотинцы, выставив во все стороны примкнутые штыки, и от этого повозки были похожи на больших катящихся ежей. В голове колонны неслась конница и полковая артиллерия, готовая по первой команде вступить в бой.

Несколько раз в сутки вспыхивали короткие, молниеносные стычки с вражескими заслонами, после чего дорога снова становилась свободной и полк опять сжимал крылья своих боевых батальонов, словно птица в стремительном полете. Главные механизированные силы врага бежали на Прагу, остальные, не поспевая за ними, сворачивали с основных магистралей, рассыпались по лугам-берегам, зарывались в стога сена, волками бродили в лесах, собираясь в бандитские шайки. Там за ними охотились неутомимые чешские партизаны. Трудно было избежать палачам суда в эти дни, когда, как судьи, над ними поднялись целые народы!

Как-то в полдень полк приближался к большому чешскому городу, выросшему на горизонте лесом заводских труб. После веселых белых поселков, которые то и дело кокетливо вытягивались вдоль шоссе, панорама индустриального города, за долгие годы насквозь прокопченного и усыпанного заводской сажой, показалась Хоме необычной для этого края. «Такая маленькая страна, и такие крепкие заводы! — с восторгом думал Хома, проникаясь еще большим уважением к чехам. — Жилистый народ, такой, как и мы!»

Врага в городе уже не было, но след его еще не выветрился: темные городские окраины мрачно полыхали огромными пожарами. Горели длинные заводские корпуса, дылало круглое железнодорожное депо с проломленным черепом крыши. Некоторые строения уже совсем сравнялись с землей, превращенные силой взрыва в сплошные развалины. Стены уцелевших построек снизу доверху были изрезаны причудливыми зигзагами трещин. Отряды черных мокрых рабочих, вооруженных брандспойтами, пытались тушить пожары, но их усилия не давали почти никаких результатов. Все вокруг дышало удушливым жаром.

«Когда они успели учинить такой погром?» — гневно думал Хаецкий, подъезжая к бетонированному заводскому забору, покосившемуся от удара воздушной волны. Близкое пожарище пахло ему в лицо, словно южный суховея.

Едва Хома остановил коня, как его окружили измазанные возбужденные рабочие. От них Хома узнал, что заводы были разбомблены всего лишь час назад, и сделали это не гитлеровцы, а «летающие крепости». Это от их бомб зияют между цехами воронки, на дне которых выступила подпочвенная вода, —

ею пользовались сейчас рабочие, из брандспойтов заливавшие пламя.

В первый момент Хома был искренне восхищен такой работой авиации союзников. «Молодцы, вот так давно бы надо!..» Но рабочие вскоре погасили его восторги. Оказалось, американцы налетели на заводы, когда врага здесь уже не было.

— Выходит, промахнулись, — с сожалением сказал Хома. — Не рассчитали.

Рабочие держались другого мнения. Видимо, этот налет их не только не восхищал, но даже вызывал возмущение, хотя они и старались сдерживать его, как могли. Хома уловил в их толках горькие нотки. В чем дело? Можно допустить, что летчики ошиблись, войдя в азарт. Но почему рабочие так беспокоятся об этих предприятиях? Разве мало жил вытянули из них капиталисты, разве мало за свою жизнь эти рабочие наглotalись сажи ради чужих прибылей?! Пусть горит!

В беседе, однако, выяснилось, что дело не так просто, как на первый взгляд казалось Хоме. Далеко не так, товарищ! Терпеливее других втолковывал это Хоме простоволосый коренастый юноша в промокшей от пота майке. Его грязная, огрубевшая в работе рука спокойно лежала на седле Хома. Тугие жилы вздулись на ней, синея, как реки на карте. «Тоже движильный», — сразу окрестил чеха подолянин, считавший себя движильным.

Юноша, как и многие чехи, довольно свободно говорил по-русски.

— Правду сказал советский товарищ — эти заводы из нас жилы вытягивали. Было так, вытягивали. Но не все вытянули, для себя кое-что осталось. — Юноша весело взглянул на Хому. — И сажи наглotalись вволю. Да, это правда. Но отныне говорим: «Довольно!» Хозяева фирмы, господа акционеры, удрали доживать свой век где-нибудь в швейцарских виллах. Все это мает стать людовым, народным. Все будет конфисковано. Вся Ческословенска отныне есть хозяин тотем заводам.

Не зря рабочие тушили пожары. И не зря чехи в претензии к панам американцам за их запоздалые бомбы.

— Они и на фронте выше всего ставят свой бизнес, — мрачно сказал кто-то в толпе рабочих.

Хома не понял слова «бизнес», однако не стал спрашивать у чехов, что это за зверь. Лучше он после спросит об этом у своего замполита. Сейчас, выслушивая сдержанные жалобы рабочих, Хома чувствовал себя довольно неловко. Впервые ему, дерзкому, острому на язык подолянину, не хватало слов для ответа. Он, как солдат, хотел бы взять на себя всю ответственность за действия союзников, но в данном случае он этого сделать не мог. Однако и хулить американцев ему не позволяло собственное достоинство, достоинство честного союзника. И тут, возле разгромленных пылающих заводов, Хома впервые серьезно на-

сторожился, пытаясь постичь не совсем понятные ему действия «летающих крепостей».

«Как же быть с вами? — колебался он. — Что вам сказать на это?»

— Мы разберемся, — пообещал он наконец, имея в виду прежде всего себя и Воронцова, и сердито дал шпоры коню.

Хома догнал майора Воронцова уже за городом, когда полк, прогремев сквозь тысячеголосый гомон центральных площадей, пробравшись серпами-подковами сквозь бурю музыки и цветов, вышел на асфальтовую загородную дорогу. Леса и холмы, как живые, расступались перед полком, а дорога, залитая солнцем, сама стелилась-разворачивалась вдаль.

Майор ехал по обочине и читал на ходу письмо. Сгорбившись в седле, углубившись в чтение, он в этот момент мало чем напоминал строгого командира. Он водил прищуренными глазами по строчкам, время от времени хмурясь или улыбаясь.

Это была непривычная для него улыбка, нежно интимная, почти ласковая. Майору, видимо, не легко было разбирать мелкий почерк, и Хома с сочувствием подумал, что будь это где-нибудь дома, за столом, Воронцов, наверное, вооружился бы надежными очками.

— Как там поживает ваша жена, товарищ гвардии майор? — спросил Хома, вежливо откозыряв — Бригадир не обижает? Дает соломы для хаты?

— У нас там соломы нет, товарищ Хаецкий, — улыбнулся Воронцов, аккуратно складывая письмо. — У нас тайга кругом, на сотни верст... Да и письмо не от жены, кстати. Сын пишет.

— А-а, сын... Тот, что в армии?

— Тот... Коля. Самый старший мой.

— На каком он сейчас?

— На Первом Украинском. Был под Берлином, а сейчас, надо думать, уже в Берлине. Если, конечно... жив, — глухо произнес майор последнее слово. — Он уже танковой ротой командовал.

Хаецкому казалось странным, что рядом едет не просто Герой Советского Союза с майорской звездой на погонах, а пожилой человек, отец, у которого уже взрослый сын, и он волнуется о сыне так же, как и другие люди. Больше того, как и другие, он порой беззащитен, подвержен боли, нуждается во внимании и поддержке. Разве не беззащитен он сейчас, когда судьба его сына, может быть, зависит только от случайного попадания или промаха вражеского артиллериста? Чем он может сейчас защитить себя от тучи тревожных мыслей? Чем может в эти минуты помочь себе — так, как помогает каждому человеку в полку? !

— Не волнуйтесь, товарищ гвардии майор, не очень переживайте, — смущенно утешал замполита Хома. — Все будет в порядке с вашим сыном... Броню наших танков нелегко пробить.

Некоторое время Воронцов ехал, не отвечая Хоме, беспомощно моргая на солнце. Потом порывисто повернулся к Хаецкому.

— Не легко, говорите, пробить? Не пробьет, говорите? — оживившись, спрашивал он, словно советовался, почувствовав неожиданную поддержку. — В конце концов это правильно. Как-никак, они все же в машинах, не то, что мы, голая пехота, царица полей...

— Жив, жив будет, товарищ замполит. — еще решительнее уверял Хома.

— Знаете, я тоже так думаю... Ведь уже полгода провозвал благополучно, а тут каких-нибудь несколько дней и — конец.

Воронцов посветлел, выпрямился в седле и снова стал тем крепким, подтянутым Воронцовым, которого Хома привык ежедневно видеть в полку.

Они как раз въезжали на невысокий холм. Отпустив поводья, дали свободу вспотевшим лошадям. Однако лошади не воспользовались этим и сами торопились вперед, стремясь быстрее одолеть крутизну и выбраться на ровное место.

— Оказывается, товарищ гвардии майор, те заводы разбомбили не фашисты, а паны американцы, — заговорил, наконец, Хома о том, что грызло его всю дорогу. — Налетели в последний час и трахнули! Как, по-вашему, это у них бизнес или не бизнес? !

Воронцов удивленно посмотрел на Хому.

— Где вы это слово поймали?

— Оно давно при мне, — спокойно соврал подолянин. — За плечами его не носить... Только до сих пор не очень понимаю, что оно должно означать. Гешефт?

— Что-то вроде этого, — ответил Воронцов, сразу мрачней. — Все заокеанские капиталисты на бизнесе держатся.

— Держатся?.. Ну и пусть себе держатся, пока не сорвутся. Но, патку мий, при чем же тут чешские заводы? Разве они уже стали косткой кому-то поперек горла?

— Может быть, и стали, товарищ Хаецкий...

— Как же так?

— Очень просто. Представьте себе: кончится война, империалистические хищники снова примутся за свое. Очевидно, опять развернется борьба между соперниками, между конкурентами. Тогда и эти чешские заводы могут стать для кого-нибудь помехой. Почему же не расправиться с ними заранее, тем более в такой горячке, когда под видом военных действий можно безнаказанно учинить настоящий погром своим будущим соперникам? Почему не сделать на этом, как говорят, бизнес?..

Слова замполита направили мысли Хаецкого в неожиданное русло. До сих пор он, как и многие его товарищи, представлял себе послевоенный мир иллюзорно, в какой-то туманности, видел его как бы через золотую дымку близкой победы, сквозь

цветы и музыку, сквозь пьянящую радость последних дней войны. Там должна начаться жизнь, совсем не похожая на прежнюю; там общечеловеческое счастье забьет миллионами живительных источников, там праздникам не будет конца — ведь все люди станут, наконец, настоящими людьми! После того, что народы пережили, что увидели, — не может быть иначе!

И вдруг Воронцов своей спокойной, твердой рукой как бы приподнял эту туманную дымку, и Хома на миг увидел в далекой глубине послевоенного бытия мир, охваченный тревогами, неугасающей враждой, холодным расчетом...

Все это было для Хома настолько неожиданным, что он невольно положил руку на свой автомат, как перед близкой опасностью. Краем глаза Воронцов заметил этот инстинктивный солдатский жест.

— Теперь вы поняли, что такое бизнес?

— Уразумел.

— Но нервничать из-за этого не стоит. Пан бизнес молодец против овец... а против дружного фронта народов он ничего не сделает.

Речь замполита прервал вестовой, мчавшийся галопом от головы колонны.

Майора срочно вызывал командир полка.

Хаецкий остался один со своими мыслями. Около часа ехал он, глубоко задумавшись, ни с кем не заговаривая. Пробегал суровым взглядом по войскам. Подразделения, доукомплектованные в последнее время, шли сомкнутыми рядами.

Распространяя аппетитные запахи, тряслись жирные горячие кухни. Обед давно готов, но приказа раздавать его не было. Перетомится все в котлах, — пожалел мимоходом Хаецкий, угадывая по запаху, что находится в том или ином котле. — Кажется, опять не будет остановки...»

— О чем задумался, земляче? — Кто-то с налету сзади огрел лошадь Хома. — Гони, не давай мочиться!

Это Казаков. На взмыленном рысаке. с гранатами и флягой на боку.

— Слыхал, Хома! — В Праге восстание, народ дерется на баррикадах!

Хома насторожился, как птица.

— Ты откуда знаешь?

— Знаю! Вот тут, в лесничестве, чехи рассказали... Пражская радиостанция уже в руках патриотов. Все время передает: «Руда Армада, на помощь, Руда Армада, на помощь...» Красная Армия, на помощь, Красная Армия, на помощь...

— Так это к ним мы так спешим сейчас? — оживился подояннин. — Замполита зачем-то позвали к «хозяину». И комбатов тоже. Глянь, там уже переходят на гвардейский аллюр!

— Видно, услышали. Услышали!

Казаков рванулся дальше, на скаку выкрикивая во весь голос:

— Прага восстала!.. В Праге баррикады!.. На помощь братьям! На выручку!

Хаецкий гикнул и дал шпоры коню. Скорее, скорей бы! Прага тянулась к нему, звала его издалека хором живых человеческих голосов. «На помощь!» Этот трагический крик восставшего города заслонил собой все мысли и интересы Хома. Он уже ни о чем не думал, ничего не слышал, кроме призыва, обращенного лично к нему: «На помощь. Хома, на помощь!». Ведь это ему кричали, его звали с той же силой, как недавно его звали невольники через пылающие двери пакгауза на австрийской станции.

Распалившись, Хома гневно кричал на скаку и людям, и лошадям, и моторам:

— Быстрее, быстрее! Иначе им — хана! Если мы не выручим, то не выручит никто!

Шоссе бурлило. Кухни тряслись с нетронутыми, перетомившимися борщами. Полк заметно набирал темпы.

XXVI

Все были охвачены мыслью о восставшей Праге.

Для Казакова чешская столица была не просто стратегическим пунктом, важным военным объектом или «узлом дорог». Прага для него была прежде всего гордым, непокорившимся городом. Казакову рисовались улицы в задымленных баррикадах, задыхающиеся, залитые кровью братья-повстанцы, женщины и дети с кошелками патронов... Как не спешить к ним на выручку, как не вцепиться в отступающих гитлеровских вояк, чтоб оттянуть их на себя от Праги? Казаков смотрел на это, как на свое личное дело, обычное и естественное. Точно так же он бросился бы на улице защищать ребенка от бешеной собаки или кинулся бы в реку спасать утопающего. Действия полка были направлены именно к этой цели, и поэтому приказ, отданный полку, казался Казакову его собственным приказом.

Если бы Казакова спросили, где кончаются его сугубо служебные, официальные дела и где начинаются дела личные, он только пожал бы плечами. В полку уже давно все стало его личным делом. Однопольчане были его кровной родней, оружие — профессией, знамя — семейной святыней.

В бою Казакову приходилось действовать большей частью самостоятельно, и он, не колеблясь, принимал нужные решения на свой страх и риск. При этом его не пугало, что он может ошибиться, споткнуться, хотя за малейший промах ему пришлось бы расплачиваться первому и, может быть, даже собственной головой. Казаков беспощадно гнал из разведки людей, пы-

тавших на каждый свой шаг получить санкцию начальства, чтобы потом, в случае неудачи, иметь оправдание. К таким типам Казаков относился с презрением. Сам он всегда был готов отвечать не только за себя, но и за действия всей части. Раньше, когда полк еще, бывало, терпел поражения, проигрывая отдельные бои, Казаков обвинял в этом в первую очередь себя и готов был нести на себе позор проигранного боя. Зато теперь он принимал приветствия гостеприимных чехов непосредственно в свой адрес, не перенося их на кого-нибудь старшего. Он был ухом и глазом полка и понимал это почти буквально.

Выходя в разведку, Казаков отрекался от всего, сразу вышался над простыми смертными и уже чувствовал себя богом. Боевое задание никогда не казалось ему тяжелым, скорее оно было для него благословением и пропуском в царство желанных подвигов. Он чувствовал, что ведет разведку не только от себя, но и от имени того нового мира, который послал его вперед, поддерживая своего отчаянного посланца во всех его мытарствах.

Может быть, поэтому Казакову все удавалось, всюду ему сопутствовала гвардейская удача.

Подчиняясь дисциплине, Казаков, конечно, выполнил бы любой приказ командира, даже тот, который был бы ему не по душе. Но тогда гнал ли бы он так немилосердно своего коня, как сейчас, мчась на Прагу? Несся бы он так нетерпеливо за врагом, по-ястребиному сидя в седле, подавшись всем корпусом вперед?

В этой войне все приказы, все задания, даже самые сложные, приходились Казакову по душе потому, что вели к единой ясной цели, к которой сам он неудержимо стремился.

Сейчас он также не жалел ни себя, ни коня, ни своих ребят. Призыв изнемогающей Праги неотступно звенел у него в ушах.

Ночью вражеские части неожиданно оказали упорное сопротивление. На нескольких километрах по фронту разгорелся тяжелый бой с участием танков и самоходок. Все полки дивизии вынуждены были развернуться в боевые порядки. Офицеры водили пехоту в неоднократные ночные атаки. И Казаков водил свою братву, выкрикивая в темноту ночи: «Даешь Злату Прагу!»

Лишь перед рассветом удалось сломить противника, и полки, зачехлив теплые стволы пушек, снова двинулись вперед.

Полк Самиева в колонне дивизии шел головным, и Казаков, вылетев на рассвете со своими разведчиками вперед по звонкой автостраде, надеялся, что окажется на ней первым. Но автострада была уже освоена: незадолго до того, по ней пронесли на Прагу «тридцатьчетверки». Казакова мучила ревность пехотинца, он ощущал себя чуть ли не обозником и незаслуженно упрекал коня, который никак не мог стать «тридцатьчетверкой». А танкисты, перехватив пальму первенства, оставили на автостраде, словно в упрек разведчикам, свежие следы сво-

ей работы: разбитую фашистскую артиллерию, дотлевающие в кюветах машины, толпы пленных, которых конвоиры-чехи гнали по обочинам автострады. Пленные брели молча, понуро, намочившие по пояс в росистой траве.

Казаков, завидуя танкистам, был, однако, искренне доволен тем, что они так быстро двигались вперед.

— Хоть и отбивают у нас хлеб, зато помочь Праге успеют, — утешал он своих «волков». — Не дадут братанам задохнуться!..

— А может, там уже союзники? — высказывал предположение Славик, самый молодой среди разведчиков, — «хозяин» даже не называл его «волком», а только «волчонком».

— Могут, конечно, и они поспеть, если нажмут на все педали, — согласился толстошей ефрейтор Павлюга. — Союзникам, кажется, ближе, чем нам..

Казаков покосился на Павлюгу своим зеленоватым глазом.

— На союзников надейся, а сам не плошай. Ясно?

— Ясно.

— Аллюр три креста!

Перебрасываясь на скаку словами, разведчики в то же время внимательно осматривали местность. Впереди им ничто не угрожало, там уже действовали танки. Опасность могла появиться только с флангов, слева или справа. Туда, конечно, танкисты не имели возможности сворачивать, оставляя эти просторы пехоте. Но и на флангах никакой видимой опасности не было.

Все больше светало. Тугой ветерок шекотал разгоряченные лица разведчиков. В предчувствии солнца заволновались в низинах белые туманы. Холодноватая даль еще мягко синела, но все вокруг уже прояснялось, приобретало естественные, законченные формы. Восток расцветал высоким венком рассвета. Вон далеко справа, между лесными массивами, загорелись на горных вершинах голые камни. Обновленные солнцем вершины сразу как бы приблизились к разведчикам. Вот и слева, перебегая в волнистых полях от села к селу, солнце окрасило маковки кирх, высокие деревья, пропеллеры ветродвигателей на пригорках. Раскинутые в равнинном раздолье вёски и фермы забелели фасадами, радостно заиграли навстречу солнцу светлыми стеклами. А оно, могучее светило, все больше заполняло собой мир, все дальше бросало световые стрелы из-за кряжистых спин разведчиков. Оно опережало полки, выставляя на их пути свои утренние румяные вехи. Разведчики шли на галопе по этим вехам солнца — вперед, вперед..

Изредка оглядываясь, разведчики видели полк. Он двигался колонной, подмятая под себя автостраду, которая, словно на волнах, то прогибалась в долинах, то поднималась на невысоких пригорках. На расстоянии полк казался серым, одноцветным: серые люди, серые лошади, серые пушки... Едва заметное,

как тонкая антенна, древко знамени все время покачивалось над головами всадников. Знамя, как всегда на марше, было в чехле.

Справа над автострадой нависали леса, насквозь промытые росой, пропахшие свежей зеленью. Спускаясь с далеких гор симими оползнями, а ближе — крутыми зелеными обвалами, они дружно останавливались у дороги, как бы советуясь: перешагнуть ленту автострады и спуститься в поле или остаться на месте?

Пока полковая колонна была на виду у разведчиков, они скакали уверенно и беззаботно. Но вот уже четверть часа, как полк, скрывшись за поворотом леса, не показывался. Казаков обладал острым чувством расстояния, и по его расчетам полк, идя заданным темпом, уже должен был выйти из лесу, обгибая его. Но блестящая изогнутая дуга автострады оставалась безлюдной.

Казаков, настороженно съездившись в своем седле, приказал товарищам пустить коней шагом. В лесах, уже залитых солнцем, стояла тишина. Она не нравилась Казакову, он чувствовал в ней что-то коварное. Как на грех, никто не попадался на пути: ни военные, ни штатские. Далеко слева вставал на горизонте легкий белый дым — горели какие-то скирды. Прислушавшись, Казаков отчетливо уловил редкие постукивания пулеметов, тонко долетавшие издалека. Лошади ступали медленно, разведчики с возрастающей тревогой поглядывали назад.

— Что это значит? — первый не выдержал Славик, раскрасневшийся от скачки. — Почему их до сих пор не видно?

Павлюга поднялся на стремянах и, оглянувшись, подтвердил:

— Не видно.

— Может, «привалились», — мрачно предположил Архангельский, широкоплечий, коренастый, издали в седле всегда называвший беркута. — А может быть, и в самом деле что-нибудь случилось?

Разведчики подозрительно смотрели в зеленые глубины незнакомых лесов.

Проехали с километр, до следующего поворота, и Казаков дал, наконец, команду остановиться.

— Подождем, — пояснил он, сдерживая раздражение. Такие остановки его всегда нервировали.

Соскочили с лошадей, разминая затекшие ноги.

— Ручаюсь головой, что с ними ничего плохого не случилось, — уверял Павел Македон, весельчак и красавец, задушевный друг Казакова. — Вы же знаете, как мое сердце в таких случаях сигнализирует. Безошибочно!

Казаков не раз убеждался в том, что павкино сердце действительно обладает удивительной способностью угадывать на расстоянии беду или удачу полка.

— Просто какая-нибудь очередная заминка, — весело убеждал Македон.

— Ну, уж если твое сердце сигналит, — махнул рукой Казаков, — то загорай, братва! Может, скорее появятся на горизонте.

Пользуясь случаем, Архангельский пошел обследовать подбитый невдалеке, меченный черным крестом броневик. Павлюга, вынув из кармана плитку пивных дрожжей, принялся кормить ими своего скакуна, угощаясь заодно и сам. Тем временем Казаков и Македон, скинув пилотки, расстегнувшись, сколько можно было, пошли к ближайшему дубу умываться. Умывались они своим давним разведческим способом: с дерева. Трясли густо покрытые листьями ветки, осыпая себя густой росой, свежая на глазах, брыкаясь и балуясь под ветвистым зеленым душем. Вскоре к ним присоединился и Славик, соблазненный этой богатырской купелью. Македон, вскидывая мокрым черным чубом, уверял, что росяная купель, особенно на восходе солнца, придает разведчику силу и красоту.

В это время они услышали неистовую беспорядочную стрельбу где-то позади себя, за лесным полуостровом. Не было сомнения, что эта стрельба имеет прямую связь с задержкой полка.

— Бой! — выкрикнул Казаков темнея. — Вы слышите: бой!

Разведчики стремглав кинулись к лошадям. Как всегда в таких случаях, им казалось, что в полку внезапно случилась какая-то трагедия и надо спешить туда как можно скорее. На бегу Казаков метнул уничтожающий взгляд на Македона и свирепо схватил своего рысака за хrap.

Уже поставив ногу в стремя, Казаков вдруг задержался. Товарищи тоже застыли возле лошадей. Стрельба была необычная. Она нарастала, стремительно приближаясь. Такого удивительного летучего боя разведчики не слыхали за всю историю полка. Они привыкли к заземленным огненным рубежам, к продвижению вперед шаг за шагом, они знали, что даже победоносная пехотная атака не может перемещаться в пространстве с такой неимоверной быстротой. Это было нечто большее, чем атака.

Держа настороженных лошадей в поводу, разведчики устремили взгляды на дорогу. Веки у Казакова нервно подергивались. Стрельба слышалась все ближе, все громче.

И вот из-за леса вылетели, наконец, маленькие силуэты первых всадников, за ними показалась голова колонны — и разведчики ахнули! Полк выглядел необычно, он был какой-то обновленный, торжественный, озаренный. Над колонной, развеваясь в полете, ярко пламенело полковое знамя. Впервые за долгие месяцы боев с него был снят чехол. Почему? По какому поводу? Разведчики переглянулись, не веря своим глазам, будто испугавшись догадки, осенившей их всех одновременно. Неужели наступила, наконец, та минута? Никто не мог промолвить ни слова: на секунду не хватило воздуха, как на поднебесной высоте, куда словно вынесло их сейчас неестественной силой.

А полк приближался, и развернутое знамя пылало прекрасным пламенем.

Вся колонна весело палила в небо из карабинов и автоматов, стреляла из чего попало, безумствуя в неудержимом радостном экстазе. Взлетали солдатские пилотки, мелькали на солнце белые голуби листовок: всадники подхватывали их на лету.

Разведчики бросились друг другу в объятия.

— Победа, товарищи!

— Победа!

— Победа!

Они поздравляли друг друга, произнося это великое и еще не совсем привычное слово. Каким безопасным, надежным, просторным сразу стал мир! Уже смерть не угрожает тебе на каждом шагу, уже ты заговорен от ран и увечья, уже расступились перед тобой стены в прекрасное, светлое будущее. Такое огромное солнце еще никогда не светило тебе. Такое глубокое синее небо еще никогда не высилось над тобой. Такая всеобъемлющая, всепроникающая весна еще никогда не ступала по земле. Каждый своим стебельком, каждой выпрямившейся веткой она посылает тебе свой зеленый салют.

Переполненные счастьем до краев, наэлектризованные его хмельной сладкой силой, разведчики снова сели на лошадей.

— А теперь... куда? — спросил Павлюга Казакова.

Лошади сами поворачивали назад, ржали навстречу полку. Словно спохватившись, Казаков дернул повод и направил своего рысака снова на запад. Разведчики пригнулись в седлах, глубже натянули пилотки, чтобы не сбило их ветром.

— Вперед! — крикнул Казаков. — На Прагу!

Он еще не знал, что на рассвете в Прагу с другой стороны вступили советские части, посланные Сталиным.

А полк, вызванивая на автостраде, уже спускался в зеленую, до краев налитую утренним солнцем долину. Вдохновенно стрелял в небо многочисленным оружием, не целясь, не готовясь, не стремясь кого-нибудь убить. Тот и не тот, чем-то прежний и уже чем-то будущий.

Обновленный, торжественный, озаренный...

XXVII

— Передайте по колонне, — скомандовал Самиев офицерам, ехавшим за ним, — прекратить стрельбу, беречь боеприпасы!

Когда этот приказ, гася на своем пути стрельбу, докатился, наконец, до Маковea, парень удивился. Наверное, недоразумение? Может быть, кто-то в горячке перепутал приказ? Но товарищи уже ставили оружие на предохранители, и Маковей сделал то же самое, сразу возвращаясь к реальной действительности.

Известие о победе вначале оглушило парня. Ему казалось, что отныне люди должны руководствоваться в жизни совсем иными правилами, чем до сих пор. Могут снять с себя всякие ограничения, забыть обо всем будничном, заговорить другим языком. Ведь сегодня все вокруг было иным, неповторимым, фантастически прекрасным...

Началось это утром на восходе солнца. Известие о победе донесло полк на марше, и взволнованный, побледневший Самиев, вырвавшись вперед, к знаменосцам, на лету скомандовал им:

— Знамя из чехла!

Взглядом, полным счастья и готовности, Вася Багиров принял команду, ловким движением сорвал югробевший, как солдатская ладонь, чехол, и шелковое багряное пламя вырвалось из-под него, упруго залопотав на ветру.

Полк ответил на это всеобщим салютом.

Маковей и стрелял, и плакал, и смеялся, не слыша ни себя, ни других. Тут же, посреди дороги, возник короткий, летучий митинг, бойцы на ходу соскакивали с седел, что-то радостно крича друг другу, теряя свои выгоревшие под всеми солнцами пилотки, крепко обнимаясь и целуясь. Маковей тоже целовали счастливые люди, и он кого-то целовал, кого-то поздравлял. возбужденный, взволнованный, влюбленный во всех и во все. Как-то невзначай увидел сквозь бурлящую толпу Черныша и Ясногорскую. Они тоже поцеловались, видимо впервые, долгим и крепким поцелуем, до горячего опьянения, на людях, при всех. И никто этому не удивился, и Маковей не вскрикнул, — сегодня все было можно, все разрешалось, потому что все самое лучшее в мире начиналось с этой минуты... Однако Шура тут же почему-то заплакала, закрыв лицо белыми руками. А Маковей в жгучем неистовстве повис на шее своего коня, возле которого не раз грелся в жестокие морозы и вьюги, по-детски сладко мечтая о таком вот весеннем солнечном утре, как сегодня... А Шура стояла, закрыв лицо руками.

Маковей обнял коня, как друга, и горячо поцеловал его в бархатную теплую шею. Конь удивленно и нежно косился на него сверху своим большим ясным глазом.

А майор Воронцов с трубочкой бумаг в руке уже стоял перед бойцами на оружейном лафете. Глаза его в пучках золотых морщин какое-то мгновение моргали, словно привыкая к солнцу, потом вдруг глянули на гвардейцев и заблестели славными, добрыми, отеческими слезами. И все сразу увидели, какой он сейчас богатый и безгранично щедрый, вот этот их родной майор Воронцов.

А он, оглядев всех и поздравив, торжественно и непривычно молодо скомандовал:

— Слушай! Читаю обращение товарища Сталина!

Полк выпрямился, застыл. Стало слышно, как безустали зве-

нит мелкая мошкара, столбами вставая над головами бойцов. Облепляла напряженные лица, нахально лезла в глаза, но из сотен людей ни один не пошевелился. Ни единая жилка не дернулась на закаменевших солдатских лицах.

— «Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, — не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеяться великое знамя свободы народов и мира между народами».

После короткого митинга полк снова двинулся вперед, салютуя на скаку, не только не уменьшив темп марша, а еще сильнее прищпорив коней. Вот тогда разведчики и услышали буйную, летучую, быстро нарастающую стрельбу.

И вдруг: «Прекратить стрельбу, беречь боеприпасы!»

Эта команда «хозяина», обдав Маковея боевым холодком, как бы вернула ему утраченное на время ощущение реальности, вывела его из самозабвения, из того зеленого сна, в котором он летел, салютуя лесам, лугам, небу, солнцу. Маковей понял, что с приходом праздника большое наступление не может остановиться, оно должно продолжаться, пока на пути еще есть враги.

А они были. Немецко-фашистские войска из группы генерал-фельдмаршала Шернера отказались капитулировать и поспешно отступали на запад. Их надо было привести в чувство. Эта задача выпала на долю армий Второго Украинского фронта, в составе которого шел и полк Самиева.

Кроме высшего начальства, никто не знал маршрута полка, но все почему-то думали, что идут на Прагу. Может быть, потому, что каждый сердцем был там, с восставшими чешскими патриотами.

По дороге Маковей то и дело поглядывал на Ясногорскую. Она ехала вся в лентах и венках, ритмично покачивавшихся на ее груди. И сама она была, как цветок. Такой она стала, проехав первый городок, встретившийся на пути полка после митинга. Население, бурной радостью встречая полк, Ясногорскую приветствовало с особой нежностью. Чешские девушки заплели ей косы, убрали ее цветами, как невесту. Девушка-воин, она вызывала в их сердцах особенно горячий восторг.

Иногда Маковей стыдливо гарцовал на коне перед Шурой, а она задумчиво улыбалась ему из-под венка. Иногда он ехал следом за ней, как верный ее оруженосец, желая и боясь услышать, о чем говорила Шура с Чернышом. Но опасения его были напрасны: они разговаривали не о себе. Они вели беседу о мар-

ше, • Драге, о победе, читали стихи. Маковей слышал, как Шура взволнованно читала наизусть:

И вечный бой!
Покой нам только снится...

Подхватив эти слова, Маковей ускакал, напевая их на собственный импровизированный мотив.

А леса зеленели удивительно мирно, а села мелькали приветливо, а шоссе уходило вдаль, сверкая, как солнечная дорога в полдень на море. Далекие удары орудий на флангах уже не вызывали представления о крови и смерти, в их глухом добродушном громе кадровикам слышались учебные выстрелы на летних лагерных полигонах. Полковое знамя то ныряло красной птицей в тенистую чашу леса, то вновь вырывалось на просторы, залитые душистым солнцем, высоко развеваясь в прозрачных степных ветрах. И даже когда знамя скрывалось за изгибом леса, все чувствовали его там, впереди себя.

Все было сегодня поразительно новым, необычным, праздничным. И воинственные гвардейские лозунги звучали для бойцов по-иному. Вот приближаются к Маковею две доски в виде креста, прибитые на перекрестке:

«Добьем фашистского зверя!»

Добьем... Кто-то уже приложил к лозунгу руку, зачеркнув первое слово и размашисто написав сверху: «Добили!»

Неужели доби́ли?

Маковей видит разгоряченного Сагайду, который, осадив своего вороного на перекрестке, задержался на секунду перед крестом, как перед непонятым дорожным указателем.

— Неужели доби́ли, Маковей? — догоняя телефониста, кричит Сагайда. — Неужели мы с тобой уже едем... в мир?

Сбив на затылок свою черную кубанку, он оглядывается с таким видом, будто только что пришел в себя.

Маковей напевает:

— Едем, гвардии лейтенант, едем, едем...

— А клены какие пышные, Маковей! А дубы! И листва на дубах... И небо над нами синее... Небо, Маковей, ты видишь? Чистое, как до войны!..

— А вон кирха в долине виднеется... И село выплывает из-за горизонта! Да какое белое! Интересно, как оно называется? Кто там живет?

— Может быть, то Гринава плывет к нам из-за горизонта? Спешит на великий праздник. — Сагайда, широко улыбаясь, машет вдаль рукой: — Быстрее, Гринава, полный вперед!

— Вы еще не забыли ее, лейтенант?

— Кого? Ее? Вовек не забуду!

— Представляете, что там делается сегодня? А что у нас дома делается! А в Будапеште!.. Езус-Мария, что только делается сейчас на белом свете! Мне сейчас хочется всюду побывать!

Всюду сразу: и дома, и здесь, и на Дунае! Всех обнять, всех поздравить! Даже обидно, что ты... неделимый... Если б как солнце! Вы знаете, я сейчас люблю... всё! А вы?

— Я? — Сагайда красивым жестом отбросил за ухо свой растрепанный чуб. Все тело его дышало жаром. — Я роздал бы себя всем... Я воскресил бы погибших... Если бы сейчас все наши встали! Если бы они дожили, Маковой...

— А вы сами думали дожить до этого дня, лейтенант? Помните, как вас бронетранспортеры окружили в замке? Я уже вас тогда похоронил было...

— Я тебя, Маковой, тоже не раз хоронил, когда ты победишь, бывало, на линию... Вообще мы с тобой дожили, наверно, чисто случайно. Ведь на каждого из нас горы металла выпущены, — давно могло где-нибудь долбануть... Но главное не в этом... Главное, что наступило то, к чему мы с тобой стремились. И наступило совсем не случайно... Неминуемо!

— Конечно, если б не я, так другой кто-нибудь сидел бы сейчас в моем седле. Потому что полк всегда будет... Но как же хорошо! Смотрите, сколько народу валит...

Вдоль автострады шумит пестрая ярмарка. Из ближних сел узкими полевыми дорогами тянутся и тянутся к шоссе хлебоборобы. Босоногие дети, аккуратные матери, веселые хозяева... На велосипедах, на лошадях, на волах, пешком... Спешат посмотреть на серые толпы пленных, спешат приветствовать яркозеленые, как май, колонны победителей.

— Взгляните, гвардии лейтенант: вон какой-то чех в очках нашего Ягодку обнимает... По щекам гладит, прижимает, как родного сына... А у Хаецкого маленький чешеня в седле... И второго мальчонку взял... Смотрите, как смеются и хватают его за усы... И нисколько не боятся...

— Вот в этом и весь секрет, Маковой, — Сагайда задумался, свесив обе ноги на правое крыло седла. — В этом именно наша великая сила и наше великое счастье.

— В чем?

— В том, что не завоевателями, а друзьями приходим мы к народам. В том, что путь наших армий не был отмечен ни виселицами, ни концлагерями, ни фабриками смерти... В скольких хатах за нас молились! Из скольких окон глядели, нас поджидая! За это, Маковой, стоило гнить в окопах и умирать в атаках. Откровенно говоря, он был прав...

— Кто он?

— Брянский. Это он однажды весной сказал мне где-то в белом садике... Мы с ним пили молоко... Не только, говорит, ненависть, а прежде всего любовь двигает наши армии вперед. Горячая братская любовь ко всем трудящимся людям на земле. Это он так сказал мне...

Сагайда, расстегнув воротник, медленно поглаживал свою волосатую вспотевшую грудь. Потом, словно о чем-то вспом-

нив, достал из бокового кармана блокнот, перелистал его, все время улыбаясь сам себе с добродушной таинственностью.

— Узнаешь? — вдруг повернулся он к Маковею, бережно вынимая из блокнота своими толстыми пальцами что-то похожее на фигурный вензель из синего тонкого фарфора.

Маковей узнал с трудом: Сагайда держал в руке засушенный небовый ключ.

В предобеденную пору полк встретил несколько машин с надписями на бортах CSR¹. Хозяева машин, энергичные симпатичные юноши, оказались участниками пражского восстания. Бойцы обступили своих братьев по оружию.

— Куда? Откуда?

— На Братиславу, из Праги!

Они везут братьям в Словакию сообщение о том, что Злата Прага уже свободна: сегодня ее освободили советские танкисты.

— Как это произошло?..

Произошло это на рассвете. Озверевшие фашисты еще тиранили многострадальную Прагу, расстреливая на площадях ее лучших сынов; еще выпущенные фашистами гранаты взрывались в подвалах Панкраца, разрывая беззащитных женщин, детей и стариков; еще пулеметные очереди решетили окна «Людового дома»; еще вооруженные до зубов бандиты шли на штурм баррикад, гоня впереди себя заложников, — еще все это было, когда в горячий стрекот уличных боев неожиданно ворвался могучий и решающий голос советских моторов. Сплошными потоками, на максимальной скорости танки влетели в чешскую столицу с северо-запада, со стороны Берлина, и с юго-востока — от города Брно. Неслыханный по темпу, несравненный по героизму многосуточный марш танкистов Рыбалко, Лелюшенко, Кравченко достиг своей цели: Прага была спасена от разрушения, а жители ее — от уничтожения. Из тяжелых фугасок, дремавших под влтавскими мостами и под фундаментами города, в последнее мгновение были вынуты запалы. Сотни тысяч неугомонившихся фашистов были зажаты в железное кольцо сталинскими бронетанковыми армиями.

— Воля Сталина, воля советского народа выполнена, — радостно рассказывали чехи. — Прага жива, Прага цветет!..

У Маковея сразу отлегло от сердца. Свободна!.. Спасена!.. Уже слышался ему праздничный гомон славянской столицы, лопотанье высоких флагов, музыка и солнце, и цветы на площадях. Пролетев на коне мимо Ясногорской и Черныша, Маковей обрадовал и их счастливой новостью.

— Прага освобождена! Танкисты-рыбалковцы вступили в нее с севера!

¹ Чехословацкая республика.

Теперь уже, казалось, можно было не спешить. Теперь уже можно было, расседлав коней, пустить их на луг, почистить оружие и залить маслом стволы — щедро, надолго. Теперь уже можно было заняться и самим собой. Рассупониться, освободиться от солдатских ремней, побриться, выкупаться, попеть на досуге... Вдали заманчиво синеют на лугах озера, зовут, заывают Маковея своей свежей влагой! В этот день небо как бы расслоилось, огромными пластами осело на землю, засинело на ней всюду.

— Хома, — кричал телефонист Хаецкому, поравнявшись с ним, — ты видишь, какие озера?

— Вижу, Маковей, — синие!

— Не я ли вам говорил, что в этот день все реки на свете станут такими!... И Дунай, и Морава, и Днепр, и Волга!.. Правда: как льны цветут! Скинуть бы с себя все и поболтаться в тех льнах!..

— Помолчи, я тебе говорю! — неожиданно гаркнул подолянин на парня. — Слышишь, команду передают!

Команда налетела, ударила, как гром среди ясного неба:

— Танки справа!

Это было девятого мая, в полдень.

XXVIII

Полк как раз входил по автостраде в широкую раздольную ложину. Насыпь дороги пересекала ее. Слева в ложину на многие километры врезались леса, обступившие ее с двух сторон, тянувшиеся зелеными ярусами далеко в горы. А справа от автострады все поле пылало на солнце красными маками.

Красные маки!.. До самого горизонта пылали они в широком травянистом русле, которое, разворачиваясь, плавно переходило в ровные луга. Далеко за лугами, за мелькающими озерами белело какое-то село с высокой ребристой башней костела. Казалось, война совсем обошла этот тихий, как оранжерея, уголок чешской земли. И вот в этой большой оранжерее, наполненной теплыми легкими запахами разомлевших цветов и трав внезапно свалилось на бойцов грозное предупреждение:

— Танки справа!

Казаков первым подлетел к командиру полка и угрожающе рапортовал, будто своему подчиненному. Самиев, выслушав разведчика, тут же отдавал офицерам боевые приказы. Рота автоматчиков, бросив у дороги свои велосипеды и мотоциклы, вытнувшись в лес — в засаду. Стрелковые подразделения батальонов, пулеметные роты и взводы бронейщиков тоже один за другим исчезали в лесу, занимая боевые порядки вдоль долины, по которой глухо грохоча, где-то двигались к автостраде вражеские танки. Остальные подразделения полка с пушками и ми-

нометами, с лошадьми и повозками, со всем сложным боевым хозяйством ринулись с высокой насыпи вправо, заполняя собой всю буйно цветущую просторную долину. Полк молниеносно превратился из мирного, походного, в ошестинившийся, жестко-деловой. Вдоль автострады, которая на случай боя могла служить бойцам противотанковым барьером, стали артиллеристы и минометчики.

Уже сняты чехлы с минометов и орудий. Уже горячие гонцы полетели в дивизию. Уже в бетонной трубе, проложенной под шоссе, врачи развернули медпункт. Люди притихли в привычном молчаливом напряжении.

А может быть, обойдется без боя?

Маковей, набив патронами обоймы, лежал у самой бровки шоссе рядом с Хаецким и другими однополчанами. Он следил за противником. Хома, сопя, ковырял на склоне насыпи ячейку, похожую на канаву. Механизированная вражеская колонна, выходя из глубины леса, двигалась посреди балки прямо на Маковея. Она была еще далеко, урчала глухо, но этот зловещий гул рвал Маковею сердце. Неестественно, страшно было ждать разрывов, стонов и чьей-то крови в этот день. Жутко было ощущать, как смертельная опасность, приближаясь с каждой секундой, словно грабит тебя, проглатывает огромный цветущий мир, синеву озер, красные маки, рушит высокое, только что воздвигнутое здание праздника. Еще несколько минут назад бойцы слышали золотой благовест над землей, слышали праздничный, охватывающий материки гул народный. И все это должно затихнуть перед мрачной силой, которая быстро выползает из лесу сюда, к автостраде?

Уже невооруженным глазом видно: два средних танка впереди, за ними несколько бронетранспортеров, а дальше — вереница черных крытых автомашин.

Колонна не сделала еще ни одного выстрела.

— Может быть, это и не немцы? — обратился Маковей к Хаецкому, который удобно улегся в своей канаве.

— А кто ж, по-твоему?

— Может быть, это союзники вышли нам навстречу? Видишь, не стреляют.

— До союзников еще — боже мой...

— Чего там — боже мой! Ведь у них тоже все механизировано... Они могут за сутки продвинуться, знаешь, на сколько?

— Знаю... С каких пор скажут да никак не доскажут...

— Неужели ж немцы? — Маковей не хотел верить собственным глазам. — Почему ж тогда они не стреляют? Ведь они видят наших лошадей...

Маковей оглянулся. Лошади, брошенные пехотинцами на произвол, разбрелись по долине и спокойно паслись. Оседланная гнедая кобылица Ясногорской, подняв голову, тихо ржала. А буланый Маковея медленно переступал ногами рядом с конем

Сагайды, пощипывая траву, по колени бродя в красных маках. Конь Черныша бил копытом землю. Маковой отыскал глазами Черныша. Лейтенант стоял на цыпочках возле насыпи перед своими готовыми к бою минометами. Седая женщина, врач санроты, о чем-то спрашивала его, вытирая руки, а он сквозь зубы отвечал ей. Возможно, врач спрашивала его о Ясногорской. Шура вместе с пехотой Чумаченко была где-то в лесу, по ту сторону автострады.

— На погибель их несет, — заметил Хаецкий, внимательно следя за молчаливым движением колонны. — Наберется не меньше полка.

— Они, наверно, надеются, что мы их не тронем, пропустим без боя, — соображал телефонист. — Где-то, видно, задержались, а теперь спешат на асфальт.

— Асфальты теперь не для них. Им остались только болота да чащи лесные.

— А может быть, идут сдаваться? — утешал себя Маковой, сясь разгадать намерения вражеской колонны.

То, над чем он ломал себе голову, командиру полка было понятно с самого начала. Окинув взглядом «колбасу» (как мысленно назвал Самиев колонну), он сразу определил ее характер, огневые средства, тактические возможности. Опытный глаз без труда мог заметить, что эта громоздкая неаккуратная колонна, растянувшись на километр или больше того, не представляет собой постоянную боевую единицу, что сформировалась она наспех из остатков разных, где-то разгромленных, частей. По характеру движения колонны легко было определить, что она уже не чувствует на себе твердой руки единого командования. Только этим и можно было объяснить хаотические заторы, то и дело возникавшие в результате своеволия водителей. Огневые средства колонны, возможно, даже сильнее, чем у полка Самиева. Но сейчас это не могло быть решающим. Сейчас действовали другие факторы, более значительные, нежели количественное соотношение стволов. И разное моральное состояние личного состава, и разный уровень дисциплинированности, и даже леса, обступившие балку, ограничивавшие врагу возможность маневра, — все это отметил и учел подполковник Самиев.

Замаскировавшись с офицерами на опушке, он «читал», всесторонне определяя, механизированную толпу врага. Ясно, она спешит вырваться на автостраду, чтобы податься к американцам. Захваченные в последнее время пленные откровенно заявляли, что, удирая к американцам, эсэсовские головорезы надеются получить у них отпущение всех своих преступлений. Ведь они не успели пройти с огнем и виселицами по заокеанским штатам, они еще только мечтали об этом. Их надеждам помешал Сталинград. Сейчас «колбаса» тоже, видимо, спешит вырваться на большую дорогу, чтобы устремиться на запад. Конечно, дело может обойтись и без боя. Если колонна согласит-

ся капитулировать, Самиев примет капитуляцию. Обезоружит, направит в тыл. А может быть, гитлеровцы и в самом деле надеются, что он их пропустит, не тронув? Тогда они его, конечно, тоже не тронут. Но для Самиева такой вариант был неприемлем. Честь советского офицера не позволяла ему уступать фашистам дорогу, уклоняться от опасности

Следя за колонной, Самиев ждал сигнала капитуляции. Вот-вот взвьется над передней машиной белое полотнище... Ведь им уже ясно видно, что дорога перехвачена, занята советскими войсками. Несколько бронезиков и легковых автомашин, обгоняя колонну, мчатся по балке. Тупорылые, как бульдоги, они рыскают у самого леса, словно обнюхивая его.

Не командование ли колонны едет капитулировать?

Вдруг передний броневик с ходу стеганул по опушке. К нему присоединились другие. Танки наводили хоботы орудий прямо на автостраду.

Самиев, подскочив, как на пружинах, энергично махнул кулачком офицерам-артиллеристам: давай!

Пушки взгремели. Лошади, пасшиеся в долине, подняли головы, наострили уши и стали сразу похожи на диких.

XXIX

Над всей долиной стоял дым. Не оранжерею, не теплицу, а огромную свежую воронку напоминала она теперь. Воздух нагрелся, погустел. Иссеченная металлом зелень опушек заметно поредела. Там, где еще полчаса назад двигалась грозная колонна, теперь в беспорядке догорали разбитые машины. Черные остовы их оголялись металлическими костями, оседали, тлели.

А в лесах, на восток и на запад от балки, еще трещали выстрелы. В бой вступали подразделения других полков, прибывших на помощь Самиеву. Как теперь выяснилось, механизированная вражеская колонна, которую только что разгромили самиевцы, была лишь передовым отрядом потрепанного эсэсовского корпуса, пробивавшегося лесами к автостраде. После разгрома своего авангарда гитлеровцы, бросая в панике технику и тяжелое оружие, массами ринулись в леса. Сбиваясь в отдельные большие и малые группы, они искали там спасения. Но всюду их встречали огнем гвардейские засады.

— Всех на аркан! — скороговоркой частил Самиев, высылая свои подразделения на перерез отступающим. — Чтоб не улизнул ни один!

Закинутый аркан стягивался все туже. Бой, распавшись на несколько мелких стычек, догорал в лесах отдельными пожарами.

Черныш, оставив у минометов одних наводчиков, повел свою роту на подмогу пехотинцам. Ему хотелось попасть в восточ-

ную часть леса: там действовал батальон Чумаченко, где-то там была и Шура. Но Самиев бросил минометчиков вместе с полковыми артиллеристами и ротой связи совсем в другую сторону — в западный сектор леса.

Эсэсовцы защищались упорно, сдавались неохотно. Некоторые, не бросая оружия, торопливо натягивали в кустах гражданскую одежду, срывали с себя награды и знаки различия.

На протяжении часа минометчикам несколько раз приходилось пускать в ход гранаты, итти врукопашную. Уже были ранены Иона-бессарабец, ординарец Черныша Гафизов и командир второго взвода Маркевич. Однако, несмотря на потери, настроение у бойцов было повышено боевое. Кто-то пустил слух, что среди эсэсовских недобитков шныряют, маскируясь под рядовых, известные военные преступники, и Хома хвалился, что собственноручно поймает хоть какого-нибудь завалищего геббельса. Но как назло ему попадались одни только ефрейторы и обер-ефрейторы.

После короткого жаркого боя минометчики возвращались из лесу триумфаторами. Они гнали впереди себя вдсятеро больше пленных, чем было в роте бойцов. Эсэсовцы топали в своей обвисшей опозоренной униформе, опустив глаза в землю, тупо покорившись своей судьбе, потные, оборванные, как сборище истощенных лесных бродяг. Особенно повезло на этот раз Маковею: ему удалось захватить живьем генерала, когда тот, сопя, в кустах натягивал на свою прусскую лапу элегантный чешский туфель. Он так и не успел обуться и ковылял перед Маковеем босой, в тесных гражданских штанах. Артиллеристы шутя предлагали Маковею обмен: давали ему за босого генерала двух оберстов с железными крестами. Маковей уже согласился было на обмен. Но братья Блаженко отсоветовали:

— Не надо, Маковей, не меняйся. Веди своего люцифера сам. Благодарность получишь от «хозяина».

— Но ведь он босой, — беспокоился телефонист. — Туфли не налазят, а сапоги где-то пропали, пока я его обыскивал. Как в воду канули. Кто взял?

— Не волнуйся, Тимофеич, — успокоил телефониста Хаецкий. — У меня тоже один босой... Чорт его знает, где он чоботы потерял...

— Так у тебя ж ефрейтор...

— Это он только на вид ефрейтор, — объяснил подолянин. — А ты перелицуй его, посмотри, что у него там под спудом. Я уверен, что это непростая штучка! Видишь, как он нежно ступает босыми пятками по сухим кочкам? На пальчиках! Помоему, это какой-то переодетый Кох, а может быть, даже Гудериан. Вихвиль яр война? — обратился Хаецкий к своему босоногому пленнику, топавшему в толпе.

Тот, оглянувшись, молча поднял четыре растопыренных пальца.

— Четыре года! — воскликнул Хома. — Так ты, значит, все прошел, хламидник! По-первах, наверно, хорошо было итти, задрав голову, зеньками весь мир зажирая! Направо: «Матка, яйки!», налево: «Матка, млеко!» Когда шел к нам, не думал про такой аминь! Думал, что на слабых нарвался, ведь они, дескать, войны не хотят. А как растревожил, так и сам не рад! Приходится босиком скакать по колючей чешской земле. Скачи, скачи, волоцюга, перемеряешь голыми пятками мир, узнаешь, какой он широкий! Не влезет ни в чью глотку!

— Что ты их агитируешь? — упрекал Хому Денис, шагая рядом с Чернышом. — Ты же видишь, они еще в себя не пришли.

— Разве я агитирую? — возражал Хаецкий. — Я только объясняю, какая она есть наша правда! Не трогаешь нас, — мы смиренные и мирные, затронешь, — пеняй на себя.

На автостраде уже снова былолюдно. Со всех концов леса возвращались подразделения, возбужденные, распалившиеся, бодрые. Как будто не из утомительного боя выходили, а только сейчас собирались в бой. Гнали косяками пленных, несли какие-то трофеи, волочили по земле фашистские знамена. Оседланные лошади, с налитыми кровью глазами, испуганно металась по долине, вырывались на шоссе. Уздечки в цветах, гривы в лентах... Маковой узнал среди них и лошадь Шуры. Запаленно храпя, она летела без своего всадника вдоль шоссе, и седло на ней, повернувшись на подпругах, сползло вниз, болталось на животе.

Передав генерала братьям Блаженко и сразу же забыв о нем, Маковой кинулся ловить Шуриноного коня. Сагайда и Черныш бросились к нему на подмогу. Но дрожащий, встревоженный конь не дался им в руки: опалив горячим дыханием, он проскочил между ними и, звонко выстукивая подковами, помчался вперед, вдоль автострады.

Внизу, возле виадука, медсанбатовские машины забирали раненых.

«Как их много! — вздрогнул Маковой. — Лежат на дороге, выходят, окровавленные, из лесу... И, кажется, большинство из нашего батальона. Даже комбата Чумаченко офицеры ведут под руки. Без фуражки он совсем седой... А кого-то несут на плащ-палатке... А кому-то уже копают край дороги могилу... и Шовкун идет с забинтованной головой... Что ж это такое?»

Шовкун, заметив минометчиков, быстро пошел к ним навстречу. Приближался, позванивая медалями, забрызганными яркой, еще свежей кровью. Маковой стало страшно: глаза Шовкуна были полны слез.

На этом обрывалось последнее ясное восприятие Маковой. Дальше все уже пошло кошмарной коловертью, пролетали в сознании только отдельные, болезненно яркие обрывки окружающего. Мир наполнился угаром, как огромная душегубка.

На рябой трофейной палатке автоматчики несли Ясногорскую.

— Он выстрелил ей в спину из-за дерева, когда она перевязывала комбата... Двумя разрывными подряд...

«Кто он? Почему из-за дерева? Почему в спину?» — думал телефонист, слушая суматошный гомон вокруг, куда-то торопясь за товарищами, путаясь в крепкой прибитой траве. Не заметил, как очутился в тесной толпе и, ступая нога в ногу с другими, молча побрел за палаткой. С каждым шагом сознание его проваливалось в удушливый мрак. А перед ним между солдатскими пропотевшими спинами ритмично плыла поднятая палатка, проплывала в туманную безвестность — сквозь бесконечный угар, сквозь конское ржанье, сквозь команды, уже звучавшие где-то на опушках, будто ничего и не случилось.

А на палатке лежит навзничь какая-то незнакомая Маковой девушка. Растрепанная, спокойная, в изорванных венках, в измятых погонах. Не она! Плывет и плывет, покачиваясь, словно на волнах тумана. Голова бессильно клонится набок, а чья-то рука, загорелая, исцарапанная до крови, время от времени поправляет ее. Кто это? Чья это загорелая рука с разбитым компасом на запястье? Лейтенант Черныш. Простоволосый, сгорбленный, перетянутый накрест через спину пропотевшими ремнями... Бредет рядом с палаткой, то и дело спотыкаясь, оставив назад острые локти, словно толкает впереди себя что-то каторжно тяжелое.

Да, это действительно она лежит, раскинувшись устало и неудобно, в венках, которые забыла снять перед боем!.. Нет венков, нет цветов, — одни лишь стебли, оборванные, залитые кровью...

Лежит, как живая, неестественно белая, спокойная. Смотрит на Макову удивленным, неподвижным, раз навсегда остановившимся взглядом. Вот-вот шевельнутся полуоткрытые губы, оживут в тонкой улыбке, а рука сожмется, чтоб подняться... «Поднимись, улыбнись, вздохни! На, возьми мою силу, мою кровь, мое дыхание!»

Перешли автостраду, побрели среди пылающих маков, остановились на склоне долины, у дороги. Яма была уже готова. Возле нее, прикрытые палатками, лежали погибшие в этом бою Ясногорскую положили рядом с ними и тоже прикрыли палаткой до самых глаз. Похоронная команда со скрежетом счищала с лопат сырую землю. Этот скрежет обжигал Макову. Парень словно только сейчас постиг все, что произошло. «Яма! Яма!!!». В ужасе отшатнулся от нее, кинулся прочь, отбежал на несколько шагов, упал лицом в примятую густую траву. Дав себе волю, заплакал, зарыдал в спутанные зеленые космы, удивительно похожие на девичьи распущенные косы-косички...

Зачем, зачем это произошло? Почему он выстрелил ей в спи-

ну двумя разрывными подряд? Кто этот он и где он (сейчас)?
Поймали ли его, уничтожили?

«Маковей, возьми меня на руки и понеси по белому свету!
Пронеси в ту даль, где уже нет войн, где их никогда не будет,
где гремит музыка свободы...»

А может быть, он, тот, что стрелял из-за дерева, еще бродит где-то в лесах, подкрадывается тайком к золотым городам,
с ненавистью прислушивается к радостному гомону народов?

«Маковей, сделай для меня то, сделай для меня это...»

«Встань, и я все сделаю! Живи, и я все сумею!»

«Разыщи того, кто стрелял из-за дерева! Покарай, засуди его,
уничтожь. Тогда я оживу и приду к тебе и всюду! буду твоей
спутницей...»

Маковей поднял на ноги троекратный салют, которым полк
проводил в братскую могилу Ясногорскую и ее товарищей.

Уже было произнесено прощальное слово, уже люди разбе-
гались по своим местам, выполняя команды, снова собираясь в
дорогу. Вот протопал раскрасневшийся Сагайда, вот пробежал,
пригнувшись, Черныш, неловко тыча пистолет в кобуру и не по-
падая в нее. У дороги среди пылающих маков остался свежий
холмик земли с маленьким обелиском; пятиконечная звезда вен-
чала его.

От влажной могилы еще шел пар, она дышала из-под обе-
лиска дрожащим прозрачным маревом. Огромное солнце, со-
гревавшее в этот день далекую трансильванскую сопку, грело
своими щедрыми лучами и эту пирамидку свежей, парной земли,
черную, внезапно выросшую у дороги на расстоянии пушечного
выстрела от Праги.

Будет так: под вечер из окружных сел придут на поле боя
чехи и чешки. Они найдут братскую могилу погибших, любовно
обложат ее красными маками. Молча, как в немой присяге, всю
ночь будут стоять они над ней со свечами в руках. И то, о чем
передумают чешские девушки в эту майскую ночь, уже не за-
будут они никогда. Никакая жара не высушит цветы на могиле:
ежедневно сменяемые, они всегда будут живыми.

А еще позднее в истории полка под датой «9 мая 1945 года»
появится лаконическая запись:

«Бой в Долине Красных Маков».

Команда строиться вывела Маковей из минутного забвения.
Он сразу вспомнил, что у него есть автомат, что у него есть
конь по кличке Мудрый, что где-то на повозке лежат его ап-
параты и мотки красного кабеля.

Где же Мудрый?

Мудрого подвел к нему Роман Блаженко. Сам поправил
седло, сам подтянул подпругу.

Когда полк двинулся своим привычным порядком в преж-

нем направлении, к Маковой подъехал Черныш. Потемневший, заросший, сразу постаревший. Крепко, словно навсегда, сжаты губы. Сухой антрацитовый блеск в запавших глазах. Голова опущена на грудь, плечи остро подняты, словно лежат за ними сложенные крылья...

С километр ехали молча, колено к колену. И даже это суровое молчание сближало их. Потом как-то невзначай переглянулись покрасневшими скорбными глазами.

«Маковой, это ты рядом со мной?»

«Это я, лейтенант».

И оба вдруг поняли, что отныне будут до боли близки и дороги друг другу, еще ближе и дороже, чем раньше.

Всю дорогу их видели рядом.

В первом же поселке, через который проходил полк после боя, минометчики увидели Шурино коня. Он стоял на площади среди громкоговорителей, высоко подняв голову, окруженный чехами и чешками. Сбруя на нем уже была в порядке, седло на месте. Радостные, шумливые, как птенцы, ребятишки толпились вокруг коня, наперебой хватались за стремяна, просили отцов, чтобы посадили в седло. Взрослые подсаживали их по очереди. Каждую минуту в седле появлялся, счастливо оглядываясь вокруг, новый светловолосый всадник или юная храбрая всадница. Вся залитая солнцем, площадь звенела звонким дробным щелчком.

XXX

А в это время чешская красавица-столица шумела радостным праздником.

Злата Прага...

В этот день она была действительно золотой. Словно все предыдущие весны, украденные у нее оккупантами, сейчас возвращались к ней с утроенной звонкостью, роскошью солнца, поводом музыки.

Шумные человеческие реки затопили пражские сады, улицы, площади. Торжественно выстроилась вдоль проспектов зеленая стража каштанов — почетная стража весны.

Стоит на Староместском майдане врезанный в века Ян Гус, осматривает свой старинный град. Еще никогда этот славянский город не был таким молодым и солнечным. Еще никогда такой счастливый шум не клокотал здесь от края до края...

Стоят на Карловом мосту гигантские фигуры двенадцати апостолов, смотрят на ярко разукрашенные набережные, на спокойные воды синей Влтавы. Сегодня Влтава не хмурится ни одной тучкой, потому что не хмурится небо над ней. Уже не падает тень на Злату Уличку, узкое и извилистое убежище средневековых мечтателей-алхимиков... Сегодня она стала по настоящему золотой, не в мечтах, а наяву. Сегодня она как будто

стала шире и выпрямилась, влилась в залитые солнцем проспекты.

Стоят на проспекте имени Сталина десятки тысяч пражцев, еще черных от хронического недоедания, буйно опьяневших от чистого воздуха свободы. Прекрасный проспект, которому народ сегодня дал имя освободителя, очищаясь от баррикад, становится просторнее, вытягивается вдаль, убегает куда-то за город, будто к самому солнцу. Прага звенит, поет, празднует победу...

Итти по ней, итти по великой магистрали Сталина!

Все радиостанции транслируют советские марши. Сквозь гром оваций, сквозь неутихающее на протяжении километров тысячеголосое «Наздар!» проходят танки победителей. Украшенные зеленью, усыпанные цветами, они проплывают сквозь человеческое море, как огромные живые клумбы. А на танке в замасленном шлеме, с развернутым знаменем в руке стоит добродушный русский паренек, улыбаясь народам своей широкой уверенной улыбкой:

— Порядок в танковых частях!

Так вот он какой, боец армии Сталина... Десятилетиями на него клеветали. Десятилетиями народам мира говорили о нем неправду. Теперь он, услышав призыв изнемогающей Праги, пришел сюда железным маршем, высоко выпрямился на своей расцветченной машине, и народы могут, наконец, посмотреть на него вблизи. Озаренный сиянием Сталинграда, вооруженный посланец молодого мира, он стал для них надежным образцом, показав, как надо защищать свою свободу и честь, как надо карать врагов человечества. Великий справедливiec, он собственной грудью защитил народы от разбойничьего потопа.

Теперь он стоит на танке, гордо держа в руке знамя своей Отчизны. Багряная тень шелка ложится на юношеское лицо, переливается в умных глазах, перевидавших многое, вобравших в себя полмира...

Танк пролетает Вацлавским наместьем, и тысячи поднятых рук рвутся вперед за знаменосцем. Они хотели бы поднять его вместе с танком и понести, как свою надежду, через весь город. И очень скоро произойдет именно так: на городской площади свободные руки воздвигнут высокий пьедестал и водрузят на нем этот советский обстрелянный танк, отлитый из уральской победоносной стали...

Злата Прага...

Никогда еще не была она такой золотой. Поэзия свободы, солнечная гроза революции слышались в ее триумфальном клетоте.

В скромный домик на Гимбернской улице, где когда-то состоялась Пражская партийная конференция, в комнату, где тридцать три года назад бывал великий Ленин, шли и шли делегации воинских частей. Днепровские и Трансильванские, Бер-

лиские и Будапештские, Белградские и Братиславские полки и дивизии посылали сюда своих представителей. Густо загоревшие, бывалые воины, в орденах и медалях, с венками и флагами в руках поднимались за проводниками-чехами на четвертый этаж, на высокий командный пункт гениального стратега революции. Несли ему великий сталинский рапорт, докладывали об исполнении его заветов. Задумчивые, притихшие, с пилотками в руках, стояли среди венков и знамен, разглядывая отсюда самые далекие горизонты истории, свое прошлое и свое будущее. И эта скромная сумеречная комната, полная торжественного музейного холода, казалась им вознесенной над миром выше дворцов, выше небоскребов.

Посланцы Сталина, освободители Праги, они отчитывались перед Ильичем самым появлением своим здесь, в этой комнате, которую когда-то так ревностно разыскивали шпики царской охранки и австро-венгерской жандармерии. Отчитывались перед ним сталинской великой победой.

За окном раскрывалась панорама свободного города, плывущего в потоке солнца, в мареве знамен. Везде и всюду плещутся они — на балконах домов, на крышах и на башнях, касаясь множеством крыльев тонкой голубизны небосвода. Трехцветные чехословацкие и рядом с ними, как их старшие братья, красные советские с серпом и молотом. Вот он, триумфальный поход ленинизма, воплощенный материально, видимый и ощущаемый уже всей планетой!

Одной из первых в этот день комнату Ленина посетила группа танкистов. В книге впечатлений танкисты оставили свою короткую запись, которая заканчивалась рядом подписей на полстраницы. Среди других стояла и подпись гвардии лейтенанта Николая Воронцова. Молодой офицер танкист, сын замполита Воронцова, оставляя свою запись, конечно, не знал, что через несколько часов ее прочтут разведчики самиевского полка и привезут майору радостную весть о сыне.

Полк вступил в Прагу под вечер. На рысях проходил по людным рабочим окраинам, получив уже новое боевое задание, направляясь дальше на запад.

Рабочие разбирали последние баррикады, поднимали опрокинутые трамваи. Женщины и дети с криком и проклятиями гнали за город толпы растрепанных, одичавших посадников-швабов. Чтоб не смердело фашистским духом в золотой Праге! Чтоб не гнездилась здесь опостылевшая тевтонская агентура! А по крышам и чердакам дружно сновали рабочие-подростки в новых фуражках народной милиции. Упорно выискивали одиноких фашистских крыс, насквозь прочесывали родные окраины, радостно кричали сверху проходящему полку:

— Наздар!

Мостовая звенит.!

Летят и летят ряды озаренных солнцем лиц, обветренных и

загоревших, закаленных стужами и зноем. Летят, впервые увиденные Прагой и уже навеки родные ей... Видит она в большой гвардейской колонне и сурово настороженного Васю Багирова, с древком в руках, и возбужденного Казакова, и майора Воронцова, который оглядывает бойцов, словно спрашивая самого себя: который из них ему дороже, который для него самый родной? И каждого ласкает теплым взглядом, и каждым гордится, и каждого чувствует сыном... Рядом с Воронцовым скачет маленький горячий Самиев на высоком коне... А дальше — блистает золотыми погонами новый комбат, заменивший Чумаченко... Едут Черныш с Маковеем, оба задумчивые, оба грозно нахмуренные. За ними, плечо к плечу, двигаются Сагайда и Ягодка. Дальше высятся братья Блаженко, Роман и Денис, как два отлитых бронзовых гиганта. Мчится на своем резвом жеребчике Хома Хаецкий, решительно поводя усами, зачарованно разглядывая Прагу. Строго покрикивает, закинув голову, обращаясь к молодой чешской милиции:

— Ищите по всем щелям, по всем дымярям!.. Не давайте им вить гнезда! Выводите их на площади и судите великим судом! Чтоб знали, какая доля разбойников ждет! Чтоб заказали всем внукам и правнукам — до десятого колена!..

Рота за ротой проходит полк, гремит и звенит по пражской мостовой. Ряды уже заполнены, по ним уже не видно, чего стояли полку Плацдарм и Долина Красных Маков, Альпы и тысячи других боев. Проходит он, сдерживая в себе свои большие боли и радости, неся в себе непоколебимые присяги и мечты. :

Рядовой и обычный, похожий на тысячи других полков, проходящих здесь в этот день. \

Монолитной сомкнутой колонной при развернутом знамени, лицом к солнцу...

Таким пройдет он через всю Прагу, оставляя на стенах чешской столицы свои знаменитые указки. Таким уйдет он за город — в золотое марево далеких 'незнакомых' дорог.

Всем испытанный.

Готовый ко всему.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга первая		
А Л Ь П Ы		3
Книга вторая		
Г О Л У Б О Й Д У Н А Й	. . .	114
Книга третья		
З Л А Т А П Р А Г А	214

Обложка В. ТЕЛЬНОВА.
Редактор Г. Худяков.
Техн. ред. Я. Ключкин.
Корректор М. Гольцев.

ФВ14184. Подп. к печ. 17.IX 1953 г. Бумага
60 × 92/16. Печ. л. 21. Уч.-изд. л. 23,9. Ти-
раж 75 000 (50 001—75 000). Цена 7 р.
50 к. (в переплете).

Типография изд-ва «Чкаловская коммуна».
Заказ 1383.



7 р. 50 к.

ЧКАЛОВСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1953